

# Русская литература

№ 3

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1958

*Журнал выходит 4 раза в год*

## СОДЕРЖАНИЕ

М. Алексеев. Пушкин и проблема «вечного мира» . . . . .	3
Н. Гудзий. У истоков великой славянской литературы . . . . .	40
Б. Бурсов. О национальном своеобразии и мировом значении русской классической литературы (статья третья) . . . . .	57
В. Асмус. Пушкин и теория реализма . . . . .	89
В. Виноградов. История одной литературной подделки . . . . .	102
М. Алпатов. Гоголь о Брюллове . . . . .	130

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Г. Макогоненко. Новые материалы о Д. И. Фонвизине и неизвестные его сочинения	135
А. Кушаков. Сигизмунд Сераковский — сотрудник «Современника» . . . . .	148
Ф. Прийма. Шевченко и русские славянофилы . . . . .	153
Ж. Перюс (Франция). М. Горький и Р. Роллан об Анатоле Франсе . . . . .	173
М. Малова. Неизвестное письмо А. В. Кольцова к В. Г. Белинскому . . . . .	182
Л. Назарова. И. С. Тургенев и Ю. П. Вревская . . . . .	185
Б. Гиленсон. Джон Рид о Тургеневе . . . . .	193

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

А. Григорьев. Изучение русской классической литературы в славянских странах (1945—1957) . . . . .	196
Н. Степанов. Изучение поэтического мастерства Некрасова . . . . .	215
Е. Германова (Чехословакия). Н. А. Некрасов и чешская поэзия в эпоху Яна Неруды и Витезслава Галека . . . . .	228
Новые книги о Салтыкове-Щедрине:	
А. Бушмин. Научный вклад в щедриноведение . . . . .	238
В. Баскаков. Современники о Щедрине . . . . .	244

*(См. на обороте)*

В. Тимофеева. Поэма Маяковского «Хорошо!» (о некоторых вопросах изучения творчества поэта) . . . . .	249
В. Гречнев. Еще одна книга о М. Горьком . . . . .	253
ХРОНИКА . . . . .	257
<u>В. А. Десницкий</u> . . . . .	260

**Редакционная коллегия:**

В. Г. БАЗАНОВ (главный редактор), Б. И. БУРСОВ, А. С. БУШМИН,  
 В. Е. ГУСЕВ, В. А. ДЕСНИЦКИЙ, В. А. КОВАЛЕВ, Д. С. ЛИХАЧЕВ,  
 Ф. Я. ПРИЙМА (зам. главного редактора),  
 В. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, В. В. ТИМОФЕЕВА

Отв. секретарь редакции Ю. А. Андреев.

Адрес редакции: Ленинград, В-164, наб. Макарова, д. № 4. Тел. А 2-39-36.

---

Подписано к печати 14 октября 1958 г. М- 37192. Бумага 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. л. 8<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.  
 Печ. л. 16<sup>1</sup>/<sub>4</sub> = 22,26 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 26,47. Тираж 9300. Заказ № 1516

---

Типография № 4 УПП Ленсовнархоза, Ленинград, Социалистическая, 14

## ПУШКИН И ПРОБЛЕМА „ВЕЧНОГО МИРА“

### 1

В черновых бумагах Пушкина, между записей всякого рода, сделанных им для себя по разным поводам, посреди торопливых строк, закреплявших порою в сокращениях, понятных только самому поэту, разрозненные мысли, суждения о книгах, о людях, есть немало мест, еще ожидающих своего истолкования. Если они даже и прочтены, то мы далеко не всегда уверенно можем сказать, *как* они возникли, *чем* были вызваны, *что* заставило Пушкина набросать их на бумагу, чтобы удержать в своей памяти. Раскрытие подобных мест, своего рода загадок, завещанных нам черновыми рукописями поэта, шло чрезвычайно медленно. Потребовались многие десятилетия упорного труда по собиранию автографов поэта, изучению его почерка, совершенствованию методики дешифровки его рукописей, накоплению данных о самом поэте, процессе его творчества, времени, в которое он жил, и т. д., чтобы отдельные черновики, писанные его рукою, поддались прочтению и правдоподобному объяснению.

И все же порою даже всего этого оказывалось недостаточно для проникновения в замыслы или намерения поэта. Отдельные строки и даже целые отрывки рукописей Пушкина становились понятными только в известных исторических условиях; может показаться даже, что они приобретали значение только тогда, когда для этого приходило время. Исторический опыт, сочетаясь с яркими впечатлениями текущего дня, неожиданно подсказывал новое толкование строкам, которые раньше казались темными или малозначащими. Внезапно раскрывалась мысль поэта, поражающая своей силой и яркостью, словно нашедшая своего испытующего читателя именно тогда, когда он ее искал. И тогда лишний раз можно было убедиться в исключительной исторической дальнорзости Пушкина, в его умении увидеть или угадать, понять или предусмотреть многое из того, что волнует людей нашего времени, лучше сказать, наших дней. Он задумывался уже над многими из тех великих проблем, которые решает наша эпоха, и в пользу именно этих решений выставлял такие доводы, какими можем воспользоваться и мы. Впрочем, всё это в одинаковой мере относится не только к рукописям поэта, но и ко всему изданному его сочинениям. Сколько раз, перечитывая Пушкина, наталкиваемся мы на свидетельства того, что его мысль жива и современна нам, что он и поныне еще является соучастником нашей идейной жизни. Как часто вспоминаются при этом и знаменитые суждения о Пушкине прозорливых критиков его времени, Белинского, писавшего о нем как о непрерывно развивающемся явлении нашей культуры, или Гоголя, говорившего о нем как о поэте и мыслителе будущих времен («это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет»). Поистине, Пушкин это какая-то «странная вечность».

Все эти мысли невольно приходят в голову, когда мы перечитываем черновой отрывок Пушкина, посвященный проблемам разоружения будущего человечества, наказания военных преступников, ликвидации войн и установления «вечного мира». Хотя этот отрывок печатается во всех собраниях сочинений Пушкина, но известен он далеко не столь широко, как того заслуживает; помимо этого, в некоторых отношениях он является неясным и спорным и безусловно нуждается в более тщательном разборе и объяснении, чем то, которое удалось представить до сих пор. Так как отрывок этот невелик, необходимо напомнить его текст, чтобы последующий анализ его отдельных строк и положений не повредил цельности впечатления, которое он производит, по крайней мере в своей первой части. Следует также иметь в виду, что отрывок написан по-французски и что в этом, а может быть, следует видеть причину его относительной малоизвестности; тем не менее, во всех наших изданиях сочинений Пушкина он сопровождается русским переводом, который я и воспроизвожу<sup>1</sup>, не касаясь пока тех мест в транскрипции оригинального французского текста, которые, как мне кажется, нуждаются в исправлениях.

«1. Невозможно, чтобы люди со временем не уразумели смешную жестокость войны, как они уразумели существо рабства, царской власти и т. д. Они увидят, что наше предназначение — есть, жить и быть свободными.

«2. Так как конституции уже являются крупным шагом в человеческом сознании, и этот шаг не будет единственным — вызывая стремление к уменьшению числа войск в государстве, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, — то возможно, что менее, чем через 100 лет не будет больше постоянных армий.

«3. Что же до великих страстей и великих военных талантов, то на это всегда будет гильотина, т. к. обществу мало заботы до восхищения великими комбинациями победоносного генерала — имеются иные дела — и не для того поставили себя под защиту законов». Вслед за этими положениями, как бы развивая и конкретизируя их, Пушкин ссылается на Ж. Ж. Руссо, мнения которого, по-видимому, и послужили поводом для записи собственных мыслей поэта о мире и войне. Во всех новейших изданиях сочинений Пушкина дальнейший текст отрывка имеет следующий вид: «Руссо, рассуждавший не так плохо для верующего протестанта, говорит в точных выражениях: „то, что полезно обществу, вводится в жизнь только силой, т. к. частные интересы почти всегда этому противоречат. Без сомнения, вечный мир в настоящее время весьма нелепый проект; но пусть нам вернут Генриха IV и Сюлли, и вечный мир снова станет благоразумным проектом; или точнее: воздадим должное этому прекрасному плану, но утешимся в том, что он не осуществлен, так как это можно достигнуть только средствами жестокими и ужасными для человечества“. Очевидно, что эти ужасные средства, о которых он говорил, — революции. Вот они и настали. Знаю, что все эти доводы очень слабы, так как свидетельство такого мальчишки, как Руссо, не выигравшего ни одной победышки, не имеет никакого веса, — но спор всегда хорош, так как он способствует пищеварению. Впрочем, он еще никогда никого не переубедил»<sup>2</sup>. Таков весь текст, подлежащий исследованию.

<sup>1</sup> Текст русского перевода воспроизводится по Полному собранию сочинений Пушкина, т. XII, Изд. АН СССР, 1949, стр. 480; французский текст оригинала см. здесь же на стр. 189—190, варианты — стр. 413—414. В дальнейшем цитируется это издание: тт. I—XVI, 1937—1949. Цитирование по другим источникам оговаривается особо.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: «и только глупцы думают другое».

## 2

Приведенный отрывок долгое время не привлекал к себе никакого внимания, оставаясь не только неопубликованным, но и непрочтенным. Много лет пролежал он в так называемом «майковском собрании» автографов Пушкина, в числе тех рукописей, которые впервые описаны были в 1906 году. Однако опись эта была столь краткой и невразумительной, что не возбуждала особой охоты заняться дешифровкой этих записей поэта. В описи говорилось: «Заметки и выписки о государственном строе, отрывки (1820-ые гг.). В четверку, 3 л. Синяя, голубая и сероватая бумага. Среди текста красные цифры (т. е. жандармские пометы): 58, 57, 59. На двух листах текст с одной стороны. Писано по-французски»<sup>3</sup>.

По странной случайности в том же 1906 году М. О. Гершензон впервые опубликовал отрывок из неизданного письма Екатерины Николаевны Орловой к брату Александру Николаевичу Раевскому из Кишинева (от 23 ноября 1821 года), в котором есть следующие строки (подлинник по-французски): «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек — *вечный мир аббата Сен-Пьера*. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этими спорщиками»<sup>4</sup>. Это интересное свидетельство обратило на себя внимание и нередко цитировалось в литературе о Пушкине, в частности, в начале первой мировой войны<sup>5</sup>; журнальная статья Гершензона, в которой приводились указанные слова из письма Е. Н. Орловой, перепечатана была два раза (в 1908 и 1923 гг.), что сделало их еще более известными; тем не менее, это свидетельство не связывалось ни с какими другими данными и не имело никаких других документальных подтверждений до тех пор, пока не был опубликован интересующий нас отрывок Пушкина.

В 1924 году в статье «Мысли Пушкина о войне» Б. В. Томашевский впервые привел небольшой фрагмент из этой черновой записи Пушкина по листкам «Майковского собрания»<sup>6</sup>, но лишь несколько лет спустя ему удалось разгадать, что вся она находится в теснейшей связи с приведенным выше свидетельством Е. Н. Орловой, что они взаимно дополняют и поясняют друг друга. В 1930 году Б. В. Томашевский опубликовал запись Пушкина полностью со своими комментариями<sup>7</sup>. С тех пор отрывок начал печататься во всех собраниях сочинений Пушкина, под разнообразными заглавиями редакторов: по первой строке («Невозможно, чтобы люди...») или «Заметки по поводу суждения о проекте вечного мира», или «Запись споров о вечном мире», или просто «О вечном мире»<sup>8</sup>. Во всех новейших изданиях сочинений (не исключая и последнего по вре-

<sup>3</sup> Пушкин и его современники, вып. IV, СПб., 1906, стр. 27 (№ 13).

<sup>4</sup> М. Гершензон. Семья декабристов (По неизданным материалам). «Былое», 1906, № 10, стр. 308.

<sup>5</sup> Интерес Пушкина к проектам аббата Сен-Пьера отметил Б. М. Эйхенбаум в статье: Проблема «вечного мира», «Русская мысль», 1914, № 8—9, стр. 116—119.

<sup>6</sup> «Жизнь искусства», 1924, № 24, 10 июня, стр. 3.

<sup>7</sup> Б. Томашевский. Пушкин и вечный мир. «Звезда», 1930, № 7, стр. 227—231.

<sup>8</sup> Впервые отрывок вошел в издание Полного собрания сочинений Пушкина в шести томах, т. V, М.—Л., 1931, стр. 411.

мени парижского издания 1958 года)<sup>9</sup> текст отрывка дается в чтении Б. В. Томашевского. Ему неоспоримо принадлежит та заслуга, что он первый обнаружил, прочел и напечатал этот отрывок, он также датировал его. Письмо Е. Н. Орловой, устанавливающее, что «вечный мир» является «теперешним коньком» Пушкина, помечено 23 ноября 1821 года. Очевидно, что и отрывок относится к тому же времени. Мы узнаем теперь и место действия — Кишинев, квартира генерала М. Ф. Орлова, октябрь — ноябрь 1821 года. Е. Н. Орлова указала и на источник суждений Пушкина — труды о вечном мире аббата Сен-Пьера, французского писателя раннего просвещения (1658—1743). Сопоставляя это указание с упоминанием в заметке Пушкина Ж. Ж. Руссо, который, как известно, был автором краткого изложения проекта «вечного мира» Сен-Пьера и своего «Суждения» о нем, мы получаем надежное свидетельство и о тех книгах и о том круге идей, которые стали предметом спора. Все это было установлено Б. В. Томашевским прочно, незыблемо и вошло в широкий обиход пушкиноведения.

Тем не менее, с 1930 года, когда появился первый, написанный Томашевским, комментарий к этому отрывку, сколько мне известно, не было сделано никаких попыток его проверки или пополнения. Эти краткие выводы пояснений 1930 года повторяются и доныне во всех новых изданиях сочинений Пушкина. Основную свою аргументацию Б. В. Томашевский сохранил, приведя ее лишь в несколько расширенном виде, на тех двух страницах своей последней книги о Пушкине, где идет речь об интересующем нас отрывке<sup>10</sup>.

Между тем еще далеко не ясными представляются ответы на многие из тех вопросов, которые ставит нам пушкинский текст. Полностью ли он дошел до нас? Доказано ли, что отрывок представляет «запись споров» о вечном мире и как в таком случае определяются границы собственных суждений Пушкина на эту тему? Достаточно ли объяснен повод возникновения этих споров и причины увлечения Пушкина всей проблемой в целом? Служила ли запись Пушкина конспектом его собственных мнений, которые он собирался предложить спорщикам, или же он старался удержать в памяти весь ход спора, уже состоявшегося ранее? Подобных вопросов возникает много, и далеко не на все из них при дальнейшем изучении отрывка можно будет получить исчерпывающие ответы. Но гипотетические объяснения важнейших из этих недоумений не только возможны, но и обязательны, если мы хотим получить более ясное представление об отрывке, его происхождении и месте, которое занимает он в истории идейного развития Пушкина в период его южной ссылки.

Сомнения вызывает уже самый текст отрывка, в особенности вторая, заключительная его часть<sup>11</sup>. Хотя весь отрывок написан четко, уверенной рукой, но уже на первом листке белой текст с поправками переходит в черновой; так, второе из трех положений, которыми начинается текст, подверглось особенно сильным переделкам и заключается в себе ошибку (оно вторично помечено цифрой 1). Дальнейшая запись велась с еще большей поспешностью: Пушкин не только зачеркивал, но и сокра-

<sup>9</sup> P o u s h k i n e. Oeuvres complètes, Autobiographie, critique, correspondance. Éd. H. Meunieux. Paris (1958), p. 36—37 (D'un carnet de notes. «Sur la Paix perpétuelle»).

<sup>10</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин, кн. 1 (1813—1824). Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 534—537.

<sup>11</sup> Мы пользовались автографом, хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (ф. 244, оп. 1, № 284, л. 1—1 об.). Краткое его описание см. в кн. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. Изд. АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 111 (№ 284).

шал при писании отдельные слова и фразы, прибегая для скорости даже к характерным аббревиатурам (пользуясь, например, чертой для обозначения удвоенных согласных: some вм. somme, persone вм. personne). В недописанной строчке, на втором листке, троеточие, заключенное в скобки, указывает, что она должна была быть пополнена цитатой, и т. д.

Что касается сокращенных слов, то их можно читать по-разному и предлагаемое Б. В. Томашевским чтение не всюду является бесспорным и обязательным. Наиболее удачным и правдоподобным представляется мне раскрытие сокращения в строке: *Je sais bien que toutes ces r. s. tr. mau*». «Сокращенные слова вписаны. Может быть, их следует читать так: *toutes ces raisons sont très mauvaises*»,—догадывался Томашевский. В рукописи мы находим также следующую фразу: «*Rousseau qui ne raisonnait pas mal pour un Cr. de prot. dit en propres termes*». Впервые публикуя этот текст, Томашевский писал: «В подлинном тексте не совсем ясно сокращение, которое я условно расшифровываю *croyant de protestantisme*» («верующий протестант») <sup>12</sup>. Несмотря на оговорку, это «условное» чтение удержано во всех последующих перепечатках отрывка в изданиях Пушкина, большею частью даже без ломаных скобок или настоятельного знака вопроса; эта предположительная конъектура донине прочно сохраняется традицией.

Вдумаемся, однако, в эту поистине странную фразу: «Руссо, рассуждавший не так плохо для верующего протестанта...» Пушкин, разумеется, хорошо знал, каково было вероисповедание «женевского гражданина», но почему мог он сомневаться в умственных способностях протестантов XVIII столетия? Где и когда давал он повод для того, чтобы мы могли приписать ему такой образ мыслей? Какое значение могла иметь такая оговорка для логики всего рассуждения, если сам Руссо, излагая политические мнения и проекты католического аббата Сен-Пьера, ни словом не упомянул о вероисповедных с ним различиях? Очевидно сокращенное слово «Cr.» следует расшифровывать не как «croyant», а иначе. Не предвешая окончательного суждения по поводу этого текстологического казуса, требующего, по-видимому, пересмотра и особого обоснования предположительного чтения всех спорных мест указанного отрывка, укажем, в качестве догадки, что интригующие сокращенные слова «Cr. de prot» (или de prof, du proj. и т. д.) мы могли бы читать не *croyant de protestantisme*, а *critique de profession, critique du projet*,—«профессиональный критик», «критик проекта» и т. д. Одно из подобных обозначений было бы гораздо естественнее в устах Пушкина, поскольку он в данном случае высказывал мнение о Руссо прежде всего как о критике проектов Сен-Пьера и воздавал ему должное именно в этом смысле, хотя и с известными ограничениями. Равным образом, цитата из Руссо, которую Пушкин имел в виду, ныне включается в текст его записи по догадке, хотя и правдоподобной, но не исключающей другие предположения. Внимательно вчитываясь в то сочинение Руссо, из которого могла быть извлечена нужная Пушкину цитата, мы можем найти еще несколько аналогичных мест, которые с такой же, если не с большей вероятностью, могли обратиться на себя его особое внимание. Но если эта цитата вызывает сомнения, то тем самым нарушается вся логика рассуждения в фрагменте Пушкина и те выводы, которые можно из него извлечь. Ощущение недосказанности, разорванности, нестройности действительно не покидает нас при чтении заключительных строк отрывка Пушкина. Зачем Пушкину нужно было цитировать эти слова Руссо: «Без сомнения, вечный мир в настоящее время весьма нелепый проект; но пусть нам вернут Ген-

<sup>12</sup> «Звезда», 1930, № 7, стр. 229

риха IV и Сюлли, и вечный мир снова станет благоразумным проектом?» Без предшествующих им страниц, на которых Руссо доказывает, что Сен-Пьер заимствовал свои идеи о вечном мире из проекта герцога Сюлли об организации «лиги христианских государей», указанные слова, которые Пушкин якобы поместил для выписки («Rousseau dit en r g r o r g e t e g t e») могут быть поняты превратно. В какую связь становится эта цитата с пушкинскими словами о значении революций для будущего вечного мира? И почему Пушкин далее иронически и даже пренебрежительно отзывается о Руссо, если в указанном сочинении, которое сам Руссо не мог напечатать при жизни, он объявляет себя убежденным сторонником народовластия?

Приходится признать, что текст заметки Пушкина разобран только предположительно, что он истолкован еще не до конца и что дальнейшие догадки по его расшифровке не только возможны, но и просто необходимы. Однако они останутся бесплодной игрой воображения, если мы не подыщем для них прочных оснований и не постараемся представить себе сущность спора, возникшего в Кишиневе в ноябре 1821 года, и возможное отношение к нему собеседников.

### 3

Участников спора и обстановку, в которой возникли самые споры, мы представляем себе довольно отчетливо. Напомним несколько общеизвестных фактов. Дело происходило в кишиневском доме генерала М. Ф. Орлова, одного из виднейших деятелей Союза Благоденствия, командовавшего здесь 16-й дивизией. Пушкин знал М. Ф. Орлова по «Арзамасу» и еще в Кишиневе иногда именовал его по его арзамасскому прозвищу — «превосходительный Рейн». М. Ф. Орлов, со своей стороны, следил за успехами Пушкина на литературном поприще и вспоминал его еще до того, как они встретились и закрепили свою дружбу в Кишиневе: «поклон юному Аруэту» (т. е. Вольтеру) — Пушкину М. Ф. Орлов послал в июле 1820 г., в письме к А. Н. Раевскому на Кавказ. В мае 1821 года М. Ф. Орлов женился на Екатерине Николаевне Раевской, представительнице семьи, столь близкой Пушкину в годы его южной ссылки<sup>13</sup>, и зажил в Кишиневе открытым домом, игравшим роль и политического салона и места конспиративных встреч кишиневской ячейки тайного общества. В любом очерке жизни Пушкина кишиневских лет можно найти более или менее подробную характеристику той общественной среды и идейной атмосферы, в которой поэт находился во второй половине 1821 года, и того значения, какое имело для него дружеское общение с четой Орловых.

В их доме он бывал едва ли не ежедневным гостем. В переписке Орловых с Раевским (к сожалению, донныне известной только в отрыв-

<sup>13</sup> О предполагаемой женитьбе М. Ф. Орлова Пушкин писал из Кишинева А. И. Тургеневу (7 мая 1821 года) и упомянул об этом в стихотворном послании к В. Л. Давыдову. В письме к П. А. Вяземскому (Кишинев, 2 января 1822 года) есть такая фраза: «Пишу тебе у Рейна — всё тот же он, не изменился, хоть и женился». О характере отношений его с Орловыми мы находим следующее свидетельство В. П. Горчакова: «В половине 1821 г. М. Ф. Орлов приехал назад в Кишинев с молодою женою, Екатериной Николаевной, урожденной Раевской. Пушкин необыкновенно уважал ее; но с самим Орловым он не чинился и валялся у него на диванах в бархатных шароварах. Орлов улыбался и раз сказал ему известные стихи:

Мои, твои права равны;  
Да мой сапог тебе не впору.

— Эка важность, сапоги! — возразил Пушкин: у слона еще больше должны быть сапоги. Орлов говорил ему ты, Пушкин ему вы» (сб. Пушкин в воспоминаниях современников. Гослитиздат, 1950, стр. 223—224).



ках) неоднократно идет речь о Пушкине. Александр Раевский через сестру посылает ему приветы (5 ноября), а Екатерина Николаевна в свою очередь пишет брату, что Пушкин «очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает и болтает очень приятно» (12 ноября 1821 года); «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Он только что кончил оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша. . .»<sup>14</sup> Среди прочих частых гостей Орловых необходимо отметить как возможных участников интересующего нас спора — майора В. Ф. Раевского, И. П. Липранди<sup>15</sup>. Известна злобно-язвительная характеристика этого салона, данная Ф. Ф. Вигелем в его «Записках», и вполне дружелюбные отзывы В. П. Горчакова, также бывавшего здесь запросто вместе с Пушкиным.

В своих воспоминаниях В. П. Горчаков, в частности, рассказывает, как однажды он обедал у Орлова вместе с Пушкиным: «. . . Пушкин говорил довольно много и не скажу, чтобы дурно, вопреки постоянной придирчивости некоторых, а в особенности самого М. Ф. <Орлова>, который утверждал, что Пушкин так же дурно говорит, как хорошо пишет; но мне постоянно казалось это сравнение преувеличенным. Правда, что в рассказах Пушкина не было последовательности, все как будто в разрыве и очерках, но разговор его всегда был одушевлен и полон начатков мысли. Что же касается до чистоты разговорного языка, то это иное дело: Пушкин, как и другие, воспитанные от пеленок французами, употреблял иногда галлицизмы. Но из этого не следует, чтоб он не знал, как заменить их родной речью»<sup>16</sup>. Это свидетельство очевидца одного из жарких споров, возникавших за обеденным столом у Орлова, самим мемуаристом отнесено к марту 1821 г., т. е. еще до женитьбы Орлова; споры велись тогда преимущественно по-русски; появление в доме Е. Н. Орловой в качестве хозяйки вероятно способствовало переходу собеседников на французский язык; в позднейшем письме к брату (Кишинева, 27 июля 1821 года) Пушкин просил его: «. . . пиши мне по-русски, потому что, слава богу, с моими конституционными друзьями<sup>17</sup> я скоро позабуду гусскую азбуку»<sup>18</sup>. Этим, по-видимому, и объясняется, что запись спора о «вечном мире» сделана Пушкиным по-французски.

О горячности Пушкина в это время, о его постоянной готовности отстаивать свои мнения перед кем угодно, о его «мгновенных взрывах» во время беседы мы находим много указаний у различных мемуаристов, у того же Горчакова, И. П. Липранди и других. П. И. Долгоруков пишет в своем дневнике (от 18 января 1822 года): «Рассказывают, что за столом у генерала Орлова Пушкин отпустил ему, разгорячась: «*Vous raisonnez, Général, comme une vieille femme* (вы, генерал, рассуждаете, как старая баба). Орлов на это отвечал: *Pouchkine, vous me dites des*

<sup>14</sup> Выдержки из этих писем, приведенные уже Гершензоном, цитируются также М. А. Цявловским, по версии их с подлинными автографами, хранящимися в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина. (Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, М., 1951, стр. 316—317).

<sup>15</sup> О взаимоотношениях Липранди, Пушкина, В. Ф. Раевского, М. Ф. Орлова интересные замечания сделал П. А. Садиков («И. П. Липранди в Бессарабии 1820-х годов». «Временник Пушкинской комиссии», т. 6, М.—Л., 1941, стр. 266—295).

<sup>16</sup> Пушкин в воспоминаниях современников, стр. 196; по словам Горчакова, спор М. Ф. Орлова с Пушкиным однажды коснулся «Душеньки» Богдановича (там же, стр. 195—196).

<sup>17</sup> Б. Л. Модзалевский объясняет, что под своими «конституционными друзьями» Пушкин разумел М. Ф. Орлова, П. И. Пестеля, В. Ф. Раевского. Пушкин. Письма. Ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, Госиздат, М.—Л., 1926, стр. 228.

<sup>18</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 30.

injures; prenez garde à vous (Пушкин, ты мне говоришь дерзости, берегись)»<sup>19</sup>.

Среди «спорщиков», часто бывавших в доме Орлова, выделялся как опытный диалектик и пропагандист В. Ф. Раевский; Пушкин нередко навещал и его. В. П. Горчаков добродушно рассказывает, что спор разгорался в особенности, «если Пушкин, вопреки мнению Раевского, был одного мнения со мною... мы, кажется, взаимно тешились очередным воспламенением спора, который, продолжаясь иногда по несколько часов, ничем не оканчивался, и мы расходились по-прежнему добрыми приятелями до новой встречи и неизбежного спора»<sup>20</sup>.

Припомним, кстати, конец интересующей нас записи Пушкина: «...но спор всегда хорош, так как он способствует пищеварению. Впрочем он еще никогда никого не переубедил (и только глупцы думают противное)». Эту шутливую мысль нельзя, однако, принимать всерьез: споры происходили тогда не по пустякам и не ради искусства спорить. Один из таких споров воспроизведен самим В. Ф. Раевским в его «Вечере в Кишиневе»<sup>21</sup>; несогласия его с Пушкиным были литературно-эстетического порядка. Для дебатов более жарких, острых, откровенных, избирались предметы более важные: недаром о них меньше всего говорят нам источники; следы их могли быть уничтожены вместе с бумагами Раевского перед его арестом (о котором его предупредил, как известно, Пушкин) вместе с компрометирующими бумагами М. Ф. Орлова, наконец, и самого Пушкина. Вот почему дошедшие до нас листки с записью Пушкина о проблеме вечного мира имеют такое большое значение.

Имея в виду, что запись эта делалась в конце ноября 1821 года, не забудем, что в середине этого же месяца была закрыта кишиневская масонская ложа «Овидий», что уже собиралась гроза над той дивизионной школой, которой руководил В. Ф. Раевский, что 3 декабря того же года произошли события в Камчатском полку, входившем в 16-ю дивизию, которой командовал Орлов, вызвавшие строгое расследование и окончившиеся полным разгромом кишиневской группы декабристов.<sup>22</sup>

Обратим в связи с этим внимание на то, что интересующие нас листки Пушкина были вырваны им из одной из двух его кишиневских тетрадей; сохранился кусок смежного листа<sup>23</sup>. Зачем Пушкин вырвал их? Не из опасений ли, что они обратят на себя внимание постороннего взора? Не из той же ли осторожности не вписал он в рукопись намеченную к выписке цитату из Руссо и заключил запись намеренно шутливой концовкой о бесполезности спора, как бы заматывая следы более ответственных мыслей, которые было опасно доверять бумаге? Во всяком случае, кажется бесспорным, что указанные листки являются одним из важных источников для изучения политических воззрений Пушкина в конце 1821 года и что следует дорожить каждой мелочью, чтобы восстановить их правильное чтение и дать им правдоподобное истолкование.

<sup>19</sup> Дневник Долгорукова. «Звенья», т. IX, 1951, стр. 29.

<sup>20</sup> Пушкин в воспоминаниях современников, стр. 197.

<sup>21</sup> «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 657—666.

Доныне не объяснено еще, что имел в виду Пушкин, когда писал брату из Кишинева 24 сентября 1820 года: «Михайло Орлов с восторгом повторяет... *Русским безвестную!*... я также» (Пушкин. Письма. Ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, 1926, стр. 14 и 216). Подлинник этого письма дошел до нас в поврежденном виде; случайностью ли, однако, следует объяснять тот факт, что автограф прожжен в тех местах, где поставлены точки?

<sup>22</sup> В. Базанов. Декабристы в Кишиневе (М. Ф. Орлов и В. Ф. Раевский), Кишинев, 1951; его же «В. Ф. Раевский». Новые материалы, Л.—М., 1949.

<sup>23</sup> Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский, М.—Л., 1937, стр. 111.

## 4

Имя Ж. Ж. Руссо — единственное, которое Пушкин упоминает в своем отрывке. Если бы мы не имели параллельного свидетельства Е. Н. Орловой о том, что Пушкин носится с проектом вечного мира аббата Сен-Пьера, было бы трудно указать, какое из сочинений Руссо Пушкин в данном случае имел в виду. Не подлежит, однако, сомнению, что именно на юге Пушкин впервые начал серьезно знакомиться с его сочинениями. «По-видимому, по-настоящему к чтению сочинений Руссо Пушкин приступил только в 1820 году», — отмечал Б. В. Томашевский, обращая внимание на то, что до этого Руссо упомянут Пушкиным лишь однажды в «Городке» «без всякой характеристики», и что, по-видимому, «в лицейское время он был для Пушкина главой чувствительного направления, сентиментальным прозаиком»,<sup>24</sup> в 20-е же годы Пушкин впервые заинтересовался философскими и публицистическими работами Руссо.

Ряд данных свидетельствует, что в Кишиневе между 1821—1823 годами в руках у Пушкина было какое-то французское издание сочинений Руссо. В письме к Н. И. Гнедичу (29 апреля 1822 года, Кишинев) Пушкин вспоминает «преlestную быль о Пигмалионе», которая нравилась «пламенному воображению Руссо»;<sup>25</sup> французская цитата из Руссо в письме к П. А. Вяземскому (март, 1823, Кишинев) скорее всего ведет нас к «Исповеди» Руссо, как и некоторые черновики «Отрывков мыслей и замечаний», начатых в Кишиневе и переработанных шесть лет спустя.<sup>26</sup> В примечаниях к первой главе «Евгения Онегина» (писанной в 1823 году) приведена большая выписка из «Исповеди» Руссо (ч. II, гл. IX), и та же книга имеется в виду в письме Пушкина к П. А. Вяземскому (сентябрь 1825 года) в строках о Байроне: «его бы уличили, как уличили Руссо». Наконец, руссоистские идеи отразились в «Кавказском пленнике» и особенно в «Цыганах»: в опущенной из окончательного текста поэмы, но оставшейся в черновиках речи Алеко к сыну находят следы внимательного чтения Пушкиным той же «Исповеди» Руссо<sup>27</sup>. Ничто не препятствует нам допустить, что если Пушкин знал «Исповедь» Руссо в 1822—1823 годы, то он был знаком с ней и раньше — в ноябре 1821 года. Именно в «Исповеди» Руссо, и как раз в той ее части и книге, из которой Пушкин извлек цитату для первой главы «Евгения Онегина», он мог найти подробный рассказ Руссо о том, как возникли его работы о Сен-Пьере.

Руссо довольно много говорит в «Исповеди» о Сен-Пьере (ч. II, книги 9 и 11) и дает ему здесь довольно полную характеристику как прекрасному мечтателю, не имевшему ни малейшего понятия о действительной жизни. Когда племянник аббата обратился к Руссо с предложением просмотреть все печатные сочинения его дяди и все оставшиеся от него рукописи, чтобы подготовить их для нового издания, Руссо оказался в затруднении, стоит ли ему приниматься за это и какую форму следует придать такому труду. Возникший было у него интерес к рукописям аббата не оправдался; оказалось, что в них не нашлось

<sup>24</sup> Б. Томашевский. Пушкин и французская литература. «Литературное наследство», т. 31—32, 1937, стр. 42.

<sup>25</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 372.

<sup>26</sup> К «Исповеди» ведет нас также и фраза из позднейшей статьи Пушкина («О ничтожестве литературы русской»), где Руссо назван «задумчивым» (в рукописном варианте «задумчивым софистом»). Пушкин, Сочинения, т. IX, кн. 2, Изд. АН СССР, 1929, стр. 636, 656, 657.

<sup>27</sup> Г. Винокур. Монолог Алеко. «Литературный критик», 1937, № 1, стр. 217—231.

ничего особенно достопримечательного; что же касается его печатных сочинений, то в них «попадались превосходные мысли, но они были так плохо выражены, что чтение их являлось нелегким делом». «Предстояло прочесть, продумать, изложить двадцать три тома — расплывчатых, нелепых, полных длиннот, повторений, близоруких или ложных взглядов, среди которых надо было выудить несколько великих, прекрасных мыслей, дававших мне мужество перенести тяжкое бремя этой работы». Как следовало взяться за нее? «Оставить вымыслы без опровержения — значило не сделать ничего полезного, опровергнуть их со всей строгостью — значило поступить нечестно. . .» «Наконец,— продолжает Руссо,— я принял решение, показавшееся мне самым пристойным, разумным и целесообразным: изложить идеи автора и свои собственные отдельно, а для этого стать на его точку зрения, осветить, развить и сделать все, чтобы ее можно было оценить по достоинству». Первый опыт Руссо сделал с «Проектом вечного мира», который он называет «самым значительным и самым разработанным из всех сочинений аббата».<sup>28</sup>

В 11-й книге II части Руссо подробно рассказывает, как напечатано было составленное им изложение или «Сокращение» (как его обычно у нас называли) проекта вечного мира аббата Сен-Пьера и какова была судьба одновременно написанного им «Суждения» об этом произведении Сен-Пьера. «Сокращение» Руссо уступил Бастиду, редактору журнала «Monde»: «. . .мы договорились о том, что отрывок этот будет напечатан у него в журнале, но как только он завладел рукописью, то нашел более удобным напечатать ее отдельно, с некоторыми сокращениями по требованию цензора. . . Что было бы — если б я присоединил к этому труду и свою критику? (т. е. «Jugement»,— М. А.),— спрашивает Руссо.— К счастью, я ничего не сказал о ней де Бастиду, и она не входила в наш договор. Критика эта и теперь еще находится в рукописи среди моих бумаг. Если она когда-нибудь увидит свет, то убедятся, как жалки были мне шутки и самодовольный тон Вольтера по этому поводу, ибо я хорошо знал меру способности этого бедняги в политических вопросах, которые он брался обсуждать».<sup>29</sup>

«Мой труд должен был состоять из двух совершенно различных частей»,— сообщает Руссо далее. Одна из них предназначалась для изложения проектов Сен-Пьера, другая, по его замыслу, должна была появиться «лишь после того, как первая произведет свое действие», и в ней он намеревался высказать «свое суждение об этих самых проектах». Руссо не случайно прибавляет тут же, что его «Суждение» могло бы подвергнуть эти творения аббата «участи сонета в Мизантропе». Чтобы правильно оценить этот недвусмысленный намек, надо иметь в виду ту сцену знаменитой комедии Мольера (д. I явл. 2), где Альцест прямодушно и без всяких стеснений высказывает свое суровое мнение о сонете Оронта, утверждая, например,

.. что надо, разум свой исправно в руки взяв,  
Не выносить на свет плоды своих забав,  
И что желанье всем читать творенья эти  
Способно выставить творца в печальном свете. . .

Таким образом, следует строго различать составленное Руссо и изданное в 1761 году «Сокращение проекта вечного мира» (Extrait du projet de paix perpétuelle») и его же «Суждение относительно проекта

<sup>28</sup> Ж. Ж. Руссо. Исповедь. М., 1949, стр. 385. Пользуюсь напечатанным здесь переводом М. Розанова и Д. Горбова, сверяя его по изданию «Oeuvres complètes de J. J. Rousseau», Paris, 1839 (t. 1).

<sup>29</sup> Ж. Ж. Руссо. Исповедь, стр. 491; Oeuvres compl., t. 1, p. 530—531.

о вечном мире» (*Jugement sur le projet de paix perpétuelle*). Последнее впервые увидело свет только через двадцать лет после смерти Руссо и лишь с конца XVIII века стало входить в собрание его сочинений.<sup>30</sup> Хотя обе эти небольшие работы и написаны были Руссо почти одновременно, но они не столько дополняют друг друга, сколько вступают между собою в противоречие: в «Суждении» Руссо подвергает проекты аббата самой суровой критике.

Сен-Пьер многословно изложил в своем трактате идею относительно союза нескольких европейских держав и состоящего при ней своеобразного арбитражного совета, который был бы в состоянии разрешать мирным путем или предотвращать возникавшие между государствами военные конфликты.<sup>31</sup> Как отметил уже и Руссо, эта идея не была особенно новой, поскольку Сен-Пьер в значительной мере исходил из так называемого «Великого плана» французского короля Генриха IV и его министра герцога Сюлли, предлагавших создать союз «христианских монархов» Европы, направленный против турок, но, в сущности, также и для ослабления могущества габсбургского дома.<sup>32</sup> Внимание Сен-Пьера, а за ним и Руссо к этому проекту более чем столетней давности вполне объяснимо: французские просветители ранней поры, как известно, весьма почитали Генриха IV, видя в нем образец «просвещенного» монарха; недаром он стал героем эпической поэмы Вольтера («Генриада»). Впрочем, и этому «плану» предшествовал длинный ряд аналогичных проектов еще более раннего времени.

В своем «Сокращении» Руссо добросовестно изложил проект Сен-Пьера, и это кратко, но ясное изложение его основных предложений о «вечном мире» сделало их чрезвычайно популярными.

Именно это «Сокращение» в большей мере, чем многословные писания самого аббата, дало целое направление буржуазному пацифизму. Самую идею осуществимости прочного мира с помощью некоей международной организации стали связывать с именем Сен-Пьера. Проекты «вечного мира» плодились везде, куда только проникали идеи просветительского века. Во Франции от д'Аржансона, Вольтера, Руссо до Даламбера и Мерсье, в Германии — от Лейбница, Гердера и до Канта тянется длинный ряд обсуждений этой проблемы в книгах и статьях, трактатах и памфлетах — и все они так или иначе связаны с Сен-Пьером (в особенности в тех случаях, когда речь идет о проектах того или иного

<sup>30</sup> «Extrait du projet» издано было в 1761 году трижды: в Париже (без обозначения места и года), в Амстердаме — Мишелем Реем (контрафакция) и, наконец, вместе с памфлетом Вольтера «Рескрипт о вечном мире китайского императора», без обозначения года и места печати. См.: Jean Senélier. *Bibliographie générale des oeuvres de J. J. Rousseau*, Paris, 1950, p. 180—181.

Последующие издания были весьма многочисленны.

<sup>31</sup> Существует две редакции этого труда Сен-Пьера (не во всем сходные между собою): полная, изданная в трех томах (1713—1716) и сокращенная под заглавием: «Abrégé du projet de paix perpétuelle».

О проекте Сен-Пьера существует огромная литература на всех европейских языках. См.: Андрей Лодыженский. Проекты вечного мира и их значение. М., 1890, стр. 141—145; А. Яценко. Международный федерализм. Идея юридической организации человечества в политических учениях до конца XVIII века. М., 1908, стр. 293—296; Joseph Drouet, *L'abbé de Saint-Pierre. L'homme et l'oeuvre*, Paris, 1912; Wilhelm Vogner. *Da Weltstaatsprojekt des Abbé de Saint-Pierre. Ein Beitrag zur Geschichte des Weltfriedensidee*. Berl. — Leipzig. 1913 и др.

<sup>32</sup> О «Великом плане» Генриха IV — Сюлли см. А. Яценко, указанное сочинение, стр. 281—282. Здесь же подробно характеризованы проекты французского публициста времени Филиппа Красивого Пьера Дюбуа (XIV в.), чешского короля Георгия Подибрада (XV в.), гугенота XVII в. Эмерика Круссе (стр. 268 и сл.) и т. д. Ср. Kurt v. Raumer. *Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance*, Freiburg—München, 1953.

международного органа) независимо от того, основаны ли они на его предпосылках или подвергают их критике.<sup>33</sup>

Если д'Аржансон, этот типичный представитель ранней фазы французского Просвещения, охотно называвший себя «учеником» Сен-Пьера, относился к его проектам с полным доверием, пытаясь даже развивать их, то уже Вольтер оценивал их с нескрываемым сарказмом. Хотя Вольтер и ненавидел войну, считая ее несчастьем человеческого рода, но о миролюбивых мечтаниях «Сен-Пьера из Утопии», как он однажды назвал этого прекраснородушного оптимиста (см. письмо Вольтера к Терио от 31 октября 1738 года), всегда отзывался то иронически, то с острой насмешкой. Присущий Вольтеру здравый смысл подсказывал ему, что на истребление войн в недалеком будущем трудно надеяться; он предпочитал задумываться над тем, не являются ли войны очевидным свидетельством неразумия человеческого рода; этому, в частности, посвящена его статья «Война» в «Философском словаре», где утверждается, что разум, казалось бы, дан человеку вовсе не для того, чтобы опуститься до уровня животных, «тем более, что природа не снабдила их ни орудиями уничтожения себе подобных, ни инстинктом высасывать у них кровь».<sup>34</sup> В двух особых памфлетах Вольтер подверг осмеянию идеи Сен-Пьера. В одном из них, писанном в 1769 году от имени некоего воображаемого англичанина, «доктора Добросердечного», Вольтер утверждал: «Мир между людьми может быть установлен лишь одной терпимостью; мир же, воображаемый неким французом по имени Сен-Пьер, это химера, осуществимая между князьями в такой же степени, как и между слонами и носорогами, волками и собаками. Хищные животные всегда, при первом удобном случае, будут разрывать друг друга на части».<sup>35</sup> В более раннем и остро-сатирическом памфлете начала 60-х годов (который, по-видимому, Руссо и имел в виду в вышеприведенной цитате из «Исповеди») Вольтер высмеял мирные проекты Сен-Пьера с точки зрения столь же фантастического, как и его доктор-англичанин, «китайского императора».<sup>36</sup> Если Вольтер и не вовсе отвергал возможности установления «вечного мира», то он считал их делом очень отдаленного будущего.<sup>37</sup>

В середине XVIII столетия, когда в печати появилось «Сокращение проекта мира», составленное Руссо, идеи Сен-Пьера повсеместно широко обсуждались. Так, например, в 1757 году со своим «проектом» выступил Анж Гудар, полагавший, в частности, что хорошим началом для достижения конечной цели было бы обусловленное международным соглашением всеобщее прекращение военных действий на двадцать лет.<sup>38</sup> В 1766 году Французская Академия объявила конкурс на лучшее сочинение на следующую тему, предложенную лицом, пожелавшим остаться неизвест-

<sup>33</sup> Помимо литературы, указанной выше, см. содержательную статью: Werner B a h n e r. Der Friedensgedanke in der Literatur der französischen Aufklärung, в книге: Grundpositionen der französischen Aufklärung (Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft, Bd. I) Berlin, 1955, S. 139—208.

<sup>34</sup> V o l t a i r e. Dictionnaire philosophique (Oeuvres compl. ed. L. Moland, t. XIX), p. 318.

<sup>35</sup> V o l t a i r e. De la paix perpétuelle, par le docteur Goodheart (Oeuvres compl., t. XXVIII, p. 105).

<sup>36</sup> См. выше, стр. 12.

<sup>37</sup> К точке зрения Вольтера близок также Даламбер, который в своем «Eloge de l'abbé Saint-Pierre», читанном на публичном заседании Французской Академии в 1775 году, критически отнесся к проекту «вечного мира» как неосуществимому, поскольку Сен-Пьер не считается со «страстями», присущими «властителям», и слишком оптимистически взирает на будущее (D'A l e m b e r t. Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires, Paris, 1805, t. XI, p. 101).

<sup>38</sup> W. B a h n e r, Der Friedensgedanke, S. 170.

ным и доставившим Академии необходимую денежную сумму для вручения победителю в качестве награды: «Представить выгоды мира, внушить отвращение к опустошениям войны и вызвать все нации к объединению для установления постоянного мира». Первая премия была вручена знаменитому впоследствии литературному критику Жану-Франсуа Лагарпу за сочинение под заглавием «О бедствиях войны и выгоде мира», в котором он красноречиво взывал к человеческому разуму и высказывал надежду, что однажды наступит счастливое время, когда международные отношения будут строиться на основах морали. Другой французский публицист, Гайар, также откликнувшийся на этот же конкурс, в своем сочинении выступал с еще более патетической апологией мира против войн, этого «бича человечества»: выдвинув проект международного судилища как средства ликвидации военных конфликтов, Гайар призывал Францию взять инициативу в свои руки и действовать во имя мира в духе Генриха IV и Сен-Пьера.<sup>39</sup>

В 1782 году во Франции появился еще один трактат на эту же тему, якобы переведенный с английского, с предложением международной организации европейских дипломатов для обеспечения мира, а в 1788 году в Швейцарии (в Лозанне) появился еще один анонимный «Новый опыт проекта постоянного мира», автором которого был Палье де Сен Жермен. В этой работе обращает на себя внимание острая критика монархов, ведущих войны в личных своекорыстных целях, но принуждающих к этому подвластные им народы; автор считает также, что борьбу с войнами надлежит вести международному правосудию.<sup>40</sup>

Для всей обширной литературы, возникшей вокруг проблемы «вечного мира» во второй половине XVIII века, характерно то, что она почти не отразила на себе основных прогрессивных идей французского просветительства зрелой поры. Для виднейших философов-материалистов и публицистов этого времени главные вопросы, подлежащие решению, сосредоточены были не в области международных отношений, но в сфере внутренней общественно-политической жизни. Свою главную цель видели они в расшатывании основ феодальной монархии, в обновлении государственного строя с точки зрения «естественного права»; перспективы будущего мирного сотрудничества европейских наций не могли волновать их в такой степени, как общественные реформы в пределах их собственной страны. Между тем все проекты «вечного мира» строились еще на обращениях к правителям европейских держав или на апелляции к абстрактно понимаемым нравственным обязательствам человека, тогда как Руссо, Гольбах, Мабли, Дидро достигли уже большой глубины в своей критике феодально-абсолютистской государственности. Поэтому все эти «проекты» — при всех их частных различиях — родственны идеям Сен-Пьера; если авторы этих «проектов» и критикуют отдельные его положения, они всё же остаются еще в сфере тех представлений и понятий, какие свойственны были просветительству ранней поры, начала XVIII века. В этом отношении «Суждение относительно проекта о вечном мире» Руссо занимает совершенно особое место в указанной литературе как

<sup>39</sup> Там же, S. 171.

<sup>40</sup> Там же, S. 172. Мерсье в своем утопическом романе о Европе в XXV веке («L'an 2440, rêve s'il en fût jamais», 1786) также исходил из идей Сен-Пьера, пересказанных Руссо, когда создавал картину всеобщего мира, наступившего после ликвидации войн: короли, с общего согласия, устанавливают естественные границы своим владениям; наиболее мудрые люди всех наций установят общий договор, и он будет единогласно принят; предрассудки, разделявшие нации, исчезнут: «Индийцы и китайцы сделались нашими соотечественниками. Мы приучаем наших детей смотреть на вселенную, как на одну семью, собранную перед очами общего отца» (А. Яценко, указанное сочинение, стр. 297).

одно из самых выдающихся сочинений этого рода. Написанное с откровенно демократических позиций и изданное в 1761 году, за год до «Общественного договора», оно находится в теснейшем идейном родстве с этим трактатом и вместе с ним оказало сильное воздействие на последующую революционную мысль.

В отличие от предшествующих рассуждений, посвященных идеям мира, и в полном противоречии с кругом мыслей Сен-Пьера и его многочисленных подражателей, «Суждение» Руссо может быть поставлено во главе тех немногочисленных последующих проектов, которые для достижения будущего всеобщего мира предлагают исходить не из юридических договорных оснований международного характера, но из реформ внутреннего строя государства.

В «Суждении» Руссо подверг беспощадной критике оптимистическую мирную тактику буржуазного пацифизма и не признал сколько-нибудь существенными те средства, которые рекомендованы были Сен-Пьером. Он не верит, что можно убедить когда-либо королей или их министров заключить общий союз и призвать к действенной жизни некую международную организацию только на том основании, что это отвечало бы «общим интересам» народов. «У королей,— утверждает Руссо,— или у тех, кого они ставят вместо себя, есть лишь два занятия, две цели — расширить свое внешнее владычество и сделать его более абсолютным внутри государства; все остальное или относится к указанному или служит только предлогом: таковы *общее благо* (*bien publique*), *счастье подданных* (*bonheur des sujets*), национальная слава (*gloire de la nation*). Все это слова, навсегда изгнанные из кабинетов и столь редко употребляемые в публичных эдиктах, что народ стонет заранее, когда его власти говорят ему об отеческом попечении».<sup>41</sup> Разумеется, рассуждает Руссо, основание какой-либо международной организации окажется в полном противоречии с этими неустранимыми качествами всяческих правителей. Допустим, что какой-нибудь европейский совет, если таковой когда-либо будет создан, заставит правительство каждого государства не переступать границ, установленных с общего согласия, и обеспечит монархов от восстаний их подданных; но все это может произойти лишь в том случае, если тот же совет оградит подданных от тирании монархов, потому что в противном случае он существовать не может. «А я спрашиваю,— восклицает Руссо,— существует ли в мире хоть один государь, который, будучи ограничен в самых близких своему сердцу действиях, смог бы вынести без негодования самую мысль о том, что он будет принуждаем к справедливому отношению не только к иностранцам, но даже к своим подданным?» Отсюда Руссо неопровержимо выводит очень важное для всей его концепции положение, что захватнические войны и развитие деспотизма взаимосвязаны теснейшим образом: у народа, находящегося в рабстве, правители по своему желанию берут людей и средства для угнетения других; война дает предлог для денежных вымогательств и для содержания громадных армий, необходимых, чтобы заставить народ быть в состоянии вечного страха. Можно ли надеяться, что удастся подчинить верховному суду тех людей, которые осмеливаются хвалиться, что они властвуют благодаря своему мечу? Министры подобных правителей недалеко ушли от своих хозяев: «Министры нуждаются в войне, чтобы сделать себя необходимыми, чтобы поставить государя в затруднительное

<sup>41</sup> Здесь и в дальнейшем я пользовался изданием: *Oeuvres complètes de J. J. Rousseau avec des notes historiques par G. Petitan*, Paris, 1839, повторяющим издание 1819 года, где, как и в изд. 1839 года, «*Jugement sur la paix perpétuelle*» напечатано в IV томе (р. 280—288); в нескольких случаях мы воспроизводим удачный перевод А. Яценко, сверяя его с подлинным текстом.



положение, из которого он не мог бы выйти без их помощи, и чтобы скорее погубить свое государство, если потребуется, чем потерять свое место; они нуждаются в войне, чтобы мучить народ под предлогом общественной необходимости; они нуждаются в войне, чтобы предоставлять должности своим креатурам, наживаться игрой на бирже и втайне создавать тысячи отвратительных монополий (*mill odieux monopoles*); они нуждаются в войне, чтобы удовлетворять своим страстям и изгонять друг друга; они нуждаются в войне, чтобы овладевать государем, когда против них при дворе создают опасные интриги. Все эти ресурсы министры потеряли бы при постоянном мире. И люди спрашивают еще, почему, если проект мира осуществим, он до сих пор не принят! . . .»<sup>42</sup>

Руссо приходит к заключению, что нельзя питать ни малейших иллюзий по поводу того, что добрая воля государей и их министров когда-либо создаст общий организованный союз народов. Одна лишь сила может их к этому принудить. «И тогда,— заключает отсюда Руссо,— не придется более убеждать их, но принуждать, и не нужно будет писать книги, но подымать дружины» («. . . et alors il n'est plus question de persuader, mais de contraindre; et il ne faut plus écrire des livres, mais lever des troupes»)<sup>43</sup>.

Именно здесь находится естественный логический центр всего рассуждения Руссо, опорный пункт, на котором оно держится и ради которого оно написано. Оставалось заключить его вынужденной похвалой Сен-Пьеру, более подходящей на беспощадный приговор: «хотя проект Сен-Пьера был очень мудрым, средства, предложенные им для его реализации, доказывали простоватость автора. Он наивно воображал, что стоит лишь созвать конгресс, предложить на нем подписать статьи мирного договора, и все будет сделано. Сознаемся, что во всех своих проектах этот честный человек прекрасно видел результаты вещей, когда они будут установлены, но судил, как дитя, о средствах для их установления».<sup>44</sup>

Возвратимся, однако, к Пушкину. Е. Н. Орлова была по-своему права, когда утверждала, что «коньком Пушкина» сделался в Кишиневе на некоторое время «вечный мир аббата Сен-Пьера», но Сен-Пьер назван здесь, конечно, как родоначальник ранней просветительской идеи о возможности установления мира на началах разума и согласия и только. Пушкин читал не Сен-Пьера, но Руссо, как об этом сам свидетельствует, но какое из двух его сочинений, написанных по этому поводу?

Б. В. Томашевский совершенно правильно указал, что цитату из заинтересовавшего его рассуждения Руссо Пушкин должен был извлечь не из его «Сокращения», но из «Суждения о проекте». Однако трудно согласиться с Б. В. Томашевским не только в определении этой самой цитаты, но и в общей оценке сочинения Руссо. «Цитата не выписана Пушкиным, но ее нетрудно отыскать»,— утверждал Б. В. Томашевский, впервые комментируя отрывок Пушкина о вечном мире, и выделял то место в «Суждении», где Руссо якобы предостерегает от будущих революционных взрывов, как опасных для человечества. В заключении указанного Б. В. Томашевским абзаца Руссо действительно говорит: «Без сомнения, вечный мир в настоящее время весьма нелепый проект, но пусть нам вернут Генриха IV и Сюлли, и вечный мир снова станет благоразумным проектом; или точнее: воздадим должное этому прекрасному плану, но утешимся в том, что он не осуществлен, так как это можно достигнуть только средствами жестокими и ужасными для человечества». Последнюю фразу, действительно, весьма соблазнительно связать со сло-

<sup>42</sup> J. J. Rousseau. Oeuvres, t. IV, p. 284.

<sup>43</sup> Там же, t. IV, p. 284.

<sup>44</sup> Там же.

вами Пушкина, непосредственно следующими за пропуском места для цитаты: «очевидно, что эти ужасные средства, о которых он говорил, — революции». Пушкин как бы непосредственно подхватывает мысль Руссо и развивает ее далее. «Таким образом, — заключает отсюда Б. В. Томашевский, — Пушкин примыкает к мнению Руссо, но вместо того, чтобы считать революцию невозможной или опасной для человечества, он ее приветствует, видя в революционных движениях залог осуществимости идеи вечного мира».<sup>45</sup> Позднее Б. В. Томашевский еще более категорически настаивал на своем мнении и писал: «Указывая на мнение Руссо о проекте Сен-Пьера, Пушкин отмечает то место, где Руссо с характерной для него робостью, противоречащей радикализму его взглядов, советует не осуществлять проекта „вечного мира“ (представляющего собой своеобразную „Лигу наций“ в условиях XVIII в.) из опасения потрясений, так как это осуществление потребовало бы ужасных средств... Пушкину эта боязнь потрясений не была свойственна, и он возражал...»<sup>46</sup> Последующие комментаторы Пушкина вполне согласились с этими утверждениями Б. В. Томашевского и не только варьировали их на разные лады, но, как мы видели, даже ввели в текст пушкинской заметки предположительно указанную цитату из Руссо.

На самом деле и эта цитата вызывает сильные сомнения, и общий ход рассуждения Пушкина представляется в данном случае совершенно иным. Абзац из «Суждения» Руссо, произвольно вырванный из контекста, дает повод к совершенно превратному его истолкованию. Не подлежит сомнению, что Пушкин очень внимательно читал «Суждение» Руссо и что он отчетливо представлял себе его целенаправленность; уже в силу этого он не мог выделить тот абзац, который обычно указывается, и наметить его себе для выписки. Руссо был опытный диалектик, но туманность и недоговоренность многих страниц даже таких прославленных и наиболее разработанных его сочинений, как «Общественный договор», открыли широкое поле для произвольных толкований. Абзац из «Суждения», который указывается как обративший на себя особое внимание Пушкина, также заключает в себе трудно объяснимые противоречия, если его анализировать вне контекста всей этой статьи в целом; не забудем, что Пушкин отзывался тут же с похвалой о ходе его мыслей в этом самом предполагаемом отрывке («Руссо, рассуждавший не так плохо... говорит...»). Что же в этом рассуждении могло понравиться Пушкину? Допустим, что слова Руссо «то, что полезно обществу, вводится в жизнь только силой, т. к. частные интересы почти всегда этому противостоят» импонировали Пушкину, так как они отвечали его собственным взглядам, но как это утверждение Руссо согласуется с его же опасениями относительно «жесточких и ужасных» средств, которые могут понадобиться во имя тех же народных интересов? Что имел в виду Руссо, говоря «пусть нам вернут Генриха IV и Сюлли, и вечный мир снова станет благоразумным проектом», и почему это положение предназначалось Пушкиным к выписке как образец удовлетворившего его рассуждения? Почему, наконец, «более точное» объяснение этих загадочных слов самим Руссо связалось в сознании Пушкина с понятием революции? Приходится признать, что весь указанный отрывок из Руссо достаточно темен для того, чтобы Пушкин мог признать его образцом «неплохого» рассуждения и именно на нем остановить свой взор. В «Суждении» Руссо было много несомненно более замечательных мест, достойных цитации и в то

<sup>45</sup> «Звезда», 1930, № 7, стр. 230.

<sup>46</sup> В Томашевский. Пушкин и французская литература. «Литературное наследство», т. 31—32, 1937, стр. 43.

же время гораздо более ясных и существенных для понимания основной точки зрения автора. Пушкин, в высокой степени наделенный способностью схватывать самое главное в том, что он читал, не мог, с нашей точки зрения, не понять, что является самым важным в «Суждении» Руссо, для какой цели оно им написано и в чем заключаются и на чем основаны его расхождения со взглядами Сен-Пьера. Нам представляется поэтому вполне правдоподобным, что Пушкин разделял мнение Руссо относительно «принуждения» государей как единственной меры, которая в состоянии будет обеспечить впоследствии действительную международную организацию, и что вместе с Руссо, а не возражая ему, он оправдывал революцию как неизбежное средство для достижения грядущего умиротворения народов; очень возможно поэтому, что Пушкин не прошел мимо той мысли Руссо, которую мы назвали «опорной» в его «Суждении», — что наступит время, когда нужно будет не создавать «книжные» проекты всеобщего мира, а действовать силой, «поднимать дружины», и что именно эту мысль он хотел выделить в своей цитате из Руссо, дав ей и свои пояснения. Не забудем, наконец, что этот маленький трактат Руссо обсуждался Пушкиным в самом центре одной из важных «декабристских» организаций, действовавшей совместно с П. И. Пестелем. Могли Пушкин со своими собеседниками пройти мимо утверждений Руссо, что наступит пора, когда «не придется больше писать книги», что надобно будет «поднимать дружины»? Этот тезис звучал как яркий и актуальнейший лозунг.

Характеризуя выше работы Руссо о проектах Сен-Пьера, мы уже подчеркнули, что «Суждение» написано им незадолго до «Общественного договора» и находится с ним в идейном родстве. В «Суждении» на частном примере дается оправдание революции, представленное им вскоре в более широко разработанном виде в «Общественном договоре», где Руссо, как известно, обосновывает смелую мысль, что поскольку все существующие государства не в состоянии справиться с задачами, поставленными перед государствами идеальными, они заслуживают того, чтобы быть уничтоженными: «Пока народ, принужденный повиноваться, повинуется, он поступает хорошо; но как только, имея возможность сбросить с себя ярмо, народ сбрасывает его, он поступает еще лучше, так как народ, возвращая себе свободу по тому же праву, по какому она была у него отнята, был вправе вернуть себе ее, или же не было никакого основания отнимать у него».<sup>47</sup> Если в «Общественном договоре» Руссо дает последовательное изложение и теоретическое обоснование буржуазного понимания революции, не только оправдывая ее, но и отводя ей важное место в своей политической доктрине, то именно в «Сокращении» мы находим уже очертания того же самого круга идей.

Анализируя термин «революция» в понимании и словоупотреблении Руссо, исследователи его обычно ссылаются на знаменитое место в «Общественном договоре», в котором представлены доказательства, что революция не просто избавляет народ от необходимости повиноваться государству, потерявшему свои правовые основы, но и нужна народу как средство его перевоспитания, перерождения, превращающее его в достойного этого государства гражданина. Это положение Руссо, как известно, выделяет его из всех представителей школы «естественного права», которые испытывали страх перед революцией и в той или иной степени были склонны к компромиссу с феодализмом. Руссо же утверждает, что революция необходима, сколь ни жестокими могли бы показаться сред-

<sup>47</sup> Жан Жак Руссо. Об общественном договоре СПб, 1907, стр. 4—5

ства, которыми ей приходится пользоваться. «Подобно тем глупым и трусливым большим,— пишет Руссо,— которые дрожат при виде врача, народ не может вынести даже прикосновения к своим язвам, хотя бы и с целью их уничтожения. Как некоторые болезни производят переворот в голове людей и отнимают у последних память о прошедшем, так и в течение жизни государств встречаются иногда бурные эпохи, когда революции производят на народы то же действие, какое известные кризисы производят на отдельных индивидов, когда ужас прошлого заменяет забвение, и государство, охваченное международными войнами, возрождается, так сказать, из собственного пепла и вновь приобретает силу юности, вырвавшись из рук смерти. Таково было состояние Спарты во времена Ликурга, таково было состояние Рима после Тарквиниев, а в наше время — Голландии и Швейцарии после изгнания тиранов...»<sup>48</sup> Если в свете приведенной цитаты подойти к «Суждению» Руссо,— а именно такова была, как мы предполагаем, последовательность чтения этих сочинений Руссо и собеседниками Пушкина и им самим, обратившимся к изучению «Суждения» только после «Общественного договора»,— то идейный строй «Суждения» представится гораздо более ясным, а его основные положения проступят в тексте гораздо более четко. Вместе с тем отпадут и основания, по которым у нас доньше считается, что Пушкин возражал Руссо, боявшемуся потрясений и предупреждавшему, что они осуществляются с помощью ужасных средств («des moyens violents et redoutables à l'humanité»).

Напомним, кстати, что и Пушкин иногда принуждаем был произносить благонамеренные речи, в качестве «заслона от цензуры», для того чтобы лучше оттенить свою скрытую основную мысль,<sup>49</sup> и что к тому же приему прибегал и Руссо, так как слишком прямолинейно высказанный тезис иногда в состоянии был испугать читателей и тем самым способствовать извращенному пониманию его.

Высказанные выше соображения, впрочем, недостаточны для того, чтобы они могли обосновать необходимость подыскивать к отрывку Пушкина другую цитату из «Суждения» Руссо вместо той, которую обычно приводят; необходимо еще определить, что явилось непосредственным поводом для возникновения того спора, который Пушкин вел в кишиневском кружке М. Ф. Орлова в ноябре 1821 года, и в чем заключалось существо их разногласий. Тот бесспорный факт, что в руках Пушкина находился тогда французский томик сочинений Руссо, вовсе не объясняет нам, почему пристальное внимание поэта и его друзей остановили на себе помещенные в этом томике и давно уже написанные разборы стародавних проектов Сен-Пьера. Очевидно, это объяснялось целым комплексом причин, и нам необходимо будет расчленить их для удобства аргументации и ясности последующего изложения.

<sup>48</sup> Ж. Ж. Руссо. Об общественном договоре, стр. 4—5. Ср. Irmgard Mühlenkamp. Der Begriff der Revolution bei Jean-Jacques Rousseau im Rahmen der Grundbegriffe seines Systems, Diss. Leipzig. 1936, S. 26—27.

<sup>49</sup> Ю. Г. Оксман (Пушкин в работе над «Капитанской дочкой»). «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 241) вскрыл происхождение и истинный смысл тех сентенций, которые вложены были Пушкиным в уста Гринева, утверждающего, например, что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (гл. VI); в «Путешествии из Москвы в Петербург» мы находим ту же сентенцию, выраженную теми же словами: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (гл. «Русская изба»). Было бы глубоко ошибочно не только приписывать их самому Пушкину, но и возводить их к предполагаемой цитате из Руссо, хотя они и имеют текстуальное сходство с ней.

## 5

На рубеже XVIII и XIX столетий проблема «вечного мира» продолжала занимать Западную Европу в еще большей степени, чем в предшествующие десятилетия; она представлялась теперь и более реальной благодаря участвовавшим попыткам применить на практике принципы некоторых политических учений, складывавшихся на основе теории естественного права, и в то же время более недостижимой, так как непрекращавшиеся войны вовлекали в общеевропейский конфликт все новые и новые страны. Современникам Пушкина все начальные десятилетия нового века представлялись не иначе, как освещенные неугасимым заревом войн и опустошительных пожаров. Государственное, публичное осуждение войны было одной из новых политических идей, провозглашенных во Франции в начале буржуазной революции 1789 года и несомненно объяснимым своим философским обоснованием учениям просветителей. Национальное собрание в заседании, состоявшемся 14 мая 1790 года, объявляло народы суверенными и равными между собою и высказывало надежду, что, добившись свободы и развиваясь в условиях взаимной солидарности, они должны будут достичь и высшего блага — всеобщего мира. В соответствии с этим в конституцию 1791 года включены следующие слова: «Французский народ отказывается от всякой войны в видах завоевания. Никогда не употребит он своих сил для подавления свободы других народов» (титул VI).<sup>50</sup> Через несколько лет Робеспьер в выдвинутом им на заседании Конвента (24 апреля 1793 года) проекте «Декларации прав» провозглашал, в частности, следующие три положения:

«34. Жители всех стран являются братьями: различные народы должны помогать друг другу в зависимости от своих возможностей, как граждане одного и того же государства.

35. Всякий человек, угнетающий одну какую-нибудь нацию, является врагом всех народов.

36. Лица, ведущие войну против какого-нибудь народа с целью задержать прогресс свободы, должны преследоваться всеми не как обыкновенные враги, а как убийцы, бунтовщики и разбойники».<sup>51</sup>

Не прошло, однако, и нескольких лет, как эти слова превратились в пустой звук. История Франции и целой Европы последующих десятилетий превратилась в историю непрерывных войн и разделов, походов и вторжений в чужие пределы, династических интриг и попрания международных обязательств; напрасной казалась тогда борьба против всеобщего военного духа, обуявшего властителей и их подданных, недостаточной и не достигающей цели проповедь против войны ораторов и проповедников, становившихся, однако, все более настойчивыми и красноречивыми по мере того, как увеличивалась пропасть между просветительскими идеями и реальной практикой европейских правителей, когда «от Китая до Кадикса мир принадлежал сильнейшему», а «честолюбие и алчность издевались над наукой и общественным мнением».<sup>52</sup>

Закономерно, что проекты «вечного мира» появлялись и в особенности увеличивались в числе в периоды длительных войн и затянувшихся международных конфликтов. Проект Сен-Пьера также возник в самый разгар династических войн, грозивших Европе гегемонией Людови-

<sup>50</sup> Л. Камаровский. Главные моменты идеи мира в истории. «Русская мысль», 1895, № 6, стр. 22.

<sup>51</sup> Л. Герман. Жан Жак Руссо и французская революция XVIII века. «Под знаменем марксизма», 1939, кн. 8, стр. 120.

<sup>52</sup> D r e u f u s. L'arbitrage international. Paris, 1892, p. 71; Л. Камаровский. Главные моменты идеи мира в истории. «Русская мысль», 1895, № 6, стр. 16.

ка XIV, и одушевлявшие его утопические идеи периодически обновлялись в последующие десятилетия в атмосфере новых войн или серьезных обострений международных отношений. Французская революция, последовавшие за ней наполеоновские войны, Венский конгресс 1814 года, прозвевший новый дележ территорий между победителями и положивший начало «Священному союзу» реакционных монархов Европы, в свою очередь, оказались причиной возникновения новых проектов «вечного мира» и разнообразных предложений для достижения «равновесия» европейских держав. В этот период проекты «вечного мира» плодились всюду в необычайном количестве, во Франции, в Германии, Швейцарии и т. д.; как увидим ниже, и Россия во второй половине XVIII и начале XIX века не осталась в стороне от этого общеевропейского движения и внесла в него свой самостоятельный и очень ценный вклад.

В доказательство того, как обширна была в указанные десятилетия литература о «вечном мире», сошлемся здесь хотя бы на «проекты» графа Карамена (1792), И. Канта (1795), Фридриха Гут'эра (1796), Ламотта (1796), Бургуэна (1796), Бертольо (1800), Батэна (1802), Гондона (1807), Де Валя (1808), Бога (1813), Сен-Симона (1814), Липса (1814), Третгёра (1815), Паоли-Шаньи (1818) и т. д.<sup>53</sup> Некоторые из этих проектов стали лучше известны благодаря личностям своих авторов или своей последующей судьбе: таковы, например, трактаты Канта («Zum ewigen Frieden», 1795), Иеремии Бентама («A Plan for an Universal and Perpetual Peace», 1789; впервые опубликован в 1839 году), Сен-Симона («Réorganisation de la Société européenne», 1814)<sup>54</sup>, другие канули в Лету как убогие по своим предложениям и фантазиям продукты злободневной публицистики; тем не менее все они вместе характеризуют определенную направленность общественной мысли этой поры, силившейся удержать проблему «вечного мира» в числе важнейших вопросов дня и укрепить к ней повсеместный интерес. Известно далее, что вслед за попытками отдельных лиц в пропаганду идеи мира включались целые ассоциации: первое общество друзей мира основано было в 1815 году в Нью-Йорке, вскоре подобные же общества учреждены были в той же Америке в штатах Огайо и Массачусетсе. В 1816 году «Общество для установления всеобщего и вечного мира» возникло в Лондоне, в 1820 году — в Париже<sup>55</sup> и т. д. К концу первого десятилетия XIX века движение принимало уже универсальный характер и постоянно привлекало к себе внимание европейской и американской прессы.

Из авторов прежних «проектов» этого рода Сен-Пьера и теперь еще вспоминали чаще других как родоначальника или идейного вдохновителя всего этого шумного, но достаточно бесполезного потока пацифистской литературы. Так, некий Н. Сарразен в своей книге «Возвращение золотого века» (Metz, 1816) поместил собственное «Усовершенствование проекта аббата Сен-Пьера»; чаще всего именно на Сен-Пьера продолжали

<sup>53</sup> Неполный перечень этих проектов, составленный по книге Р. Моля (R. Mohl. *Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften*, S. 348) приводит А. Лодыженский (Проекты вечного мира и их значение. М., 1880, стр. 84), а также А. Яценко (Международный федерализм, М., 1908, стр. 127—128).

<sup>54</sup> Критика проекта Сен-Пьера, данная Сен-Симоном в этом сочинении, имеет сходство с той, которая представлена была Руссо; кроме того, Сен-Симон считает, что неизбежным результатом международной организации, предложенной Сен-Пьером, если бы таковая была создана, было бы закрепление навеки феодальной системы, превращающее власть государей в еще более грозную силу и отнимающее у народов всякую возможность борьбы с тиранией. Не исключена возможность, что через посредство М. Лунина, познакомившегося с Сен-Симоном в Париже в 1816 году, об этом его сочинении узнал и Пушкин еще в Кишиневе. Ср. Л. Гроссман. Пушкин и сенсимонизм. «Красная новь», 1936, № 6, стр. 159.

<sup>55</sup> А. Лодыженский. Проекты вечного мира и их значение, стр. 83—84.

ссылаться в тех случаях, когда возникали споры о каком-либо новом международном соглашении европейских монархов. Характерно, что проекты Сен-Пьера заставило вспомнить основание «Священного союза», подвергшегося широкому обсуждению и нареканиям в самых различных общественных кругах Европы. Интересное свидетельство по этому поводу мы находим во французской книге 1821 года, бывшей, в частности, в библиотеке Пушкина. Неизвестно, находилась ли эта книга у него в руках уже в Кишиневе или приобретена позже, тем не менее не следует пренебречь этим указанием, так как оно, несомненно, было не единственным. Книга называется «История жизни и сочинений Ж. Ж. Руссо»; во втором ее томе довольно подробно и по первоисточникам рассказывается история возникновения обеих работ Руссо о проектах Сен-Пьера («*Extrait du projet*», «*Jugement sur la paix*») и приводятся из них извлечения. Попутно автор замечает, что старинным проектам Сен-Пьера и тому, что было написано о них Руссо «в обстоятельствах, в которых мы теперь находимся, придает известный интерес один новейший договор, более знаменитый, чем известный»<sup>56</sup>. Речь идет о «Священном союзе» (*La Sainte Alliance*), самое наименование которого невольно вызывает в памяти названия союзов эпохи религиозных войн, направленных против Генриха III и Генриха IV («*La Sainte Ligue*» и «*La Sainte Union*») <sup>57</sup>. Как видим, немалое значение для удерживавшейся и в XIX веке популярности Сен-Пьера имели также писания о нем Руссо, хотя демократический пафос второго из них («*Jugement*») оставался еще без настоящих истолкователей и отозвался сравнительно слабо в европейской пацифистской литературе первых двух десятилетий XIX века. Современники и сверстники Пушкина не могли не знать этой литературы, выпускавшейся во всех концах тогдашней Европы. Дворянская интеллигенция и прежде всего офицерская молодежь, участвовавшая в заграничных походах и вывозившая оттуда целые библиотеки текущей политической литературы, внимательно следила за каждой новинкой в этой области и поэтому должна была хорошо знать о Сен-Пьере хотя бы в претворении его новейших подражателей; следовавшие один за другим проекты «вечного мира» должны были интересовать их потому, что они могли читать о них на бивуаках, на роздыхе в европейских столицах, на столбцах ежедневных газет, посреди дипломатических известий, предсказывавших исходы военных действий и новые коалиции держав. Особый интерес этой литературе придавало то, что в эту пору она теснейшим образом связана была с Россией и ее ролью в международных делах. Проекты Сен-Пьера, опубликованные еще при жизни Петра I (1713), вовсе не упоминали еще о России; не назвал ее и Руссо, излагавший эти проекты почти полвека спустя: к тому же он, как известно, хмуро и подозрительно относился к этой великой деспотической северной державе, внушавшей страх всей Европе блеском своих военных побед. В начале же следующего столетия, когда наполеоновские войны привели в действие и войска молодого

<sup>56</sup> «*Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau, composée de documents authentiques*» . . . t. II (Paris, MDCCCXXI), p. 421—426; Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Пушкин и его современники. Материалы и исследования, вып. IX—X, СПб., 1910, стр. 249 (№ 988); принадлежавший Пушкину и дошедший до нас экземпляр этой книги, которым я пользовался, на интересующих нас страницах оказался не разрезанным.

<sup>57</sup> Там же, стр. 425. Р. С. Эдлинг, столь близкая к кругам дипломатов и святош, окружавших Александра I в последние годы его жизни, и к самому императору, в своих «Мемуарах» замечает, что «трактат об основании Священного союза, столь остроумно названный Прадом „Апокалипсисом дипломатии“, есть, в сущности, не что иное, как великолепная греза Генриха IV и аббата Сен-Пьера, но в форме более религиозной и менее положительной» (В. К. Надлер Император Александр I и идея Священного союза, т. V Рига, 1892, стр. 637).

императора Александра, и в особенности в последующие годы, когда русская армия, поддержанная единодушным патриотическим порывом русского народа, ускорила гибель наполеоновских полчищ и освобождение Европы, ни один очередной проект «вечного мира» не мог обойтись без того, чтобы в деле его обеспечения России не отводилась бы та или иная, более или менее решающая роль. Уже по одному этому у нас не могли не знать о существовании этих «проектов» и вызванной ими публицистической литературы.

Авторы иных «проектов» навещали и русские столицы. В первые годы царствования Александра I в Петербурге появился, например, аббат-итальянец Сципион Пьятоли и ненадолго занял здесь внимание русской знати своим проектом «вечного мира». Пьятоли был воспитателем молодого Адама Чарторыйского и через него пытался внушить Александру I свой совершенно беспочвенный план создания европейской коалиции против Наполеона, в которой видную роль он предоставлял России и возрожденной Польше. Это была одна из бесчисленных вариаций на тему Сен-Пьера, примененная лишь к новой международной ситуации<sup>58</sup>. С необычайной художественной прозорливостью и в полном согласии с историческими источниками Л. Н. Толстой вывел этого аббата в начальных главах своей великой эпопеи о войне и мире как типичное для этой эпохи лицо, постоянно рассуждающее о «вечном мире» без какой-либо надежды изменить порядок вещей или даже понять, что для этого требуется. В окончательном тексте романа он назван аббатом Морю, но в черновых рукописях он носит еще подлинное имя; здесь Пьятоли, этому «изгнаннику, философу и политику», привезшему в Петербург «проект совершенно нового политического устройства Европы», предоставлялась еще более заметная роль. Именно с ним вступает в беседу Пьер Безухов, уже и раньше слышавший о его утопических проектах. «... Именно здесь, в Петербурге, и теперь именно, в нынешнем 1805 году, есть возможность навсегда избавить человечество от всех зол деспотизма и злейшего из зол, родоначальника всех других — от войны», — убеждает Пьера аббат.

«— Какие же это средства? — пробурлил м-г Риегге, оживленно заинтересованный.

«— Средства очень простые: европейское равновесие и *droit des gens*. Стоит одному могущественному государству, как Россия — прославленному за варварство — стать бескорыстно во главе союза, имеющего цель равновесие Европы, и она спасет мир».

«— Et la guerre est impossible, — окончил аббат.

«— Что же мы, военные люди, будем делать, любезный аббат, — спросил князь Андрей, лениво улыбаясь»<sup>59</sup>.

Все в этой сцене необычайно верно исторической правде. И наивное удивление князя Андрея, и оживленная заинтересованность Пьера были не один раз пережиты современниками Пушкина, непосредственными участниками войн против Наполеона. Пережил их, в частности, и М. Ф. Орлов, воевавший с 1805 года. Он проявил распорядительность и храбрость в заграничных походах 1813—1814 годов, находился среди русских войск, осадивших Париж, и по поручению Александра I вел переговоры о капитуляции французской столицы. Как видный военный деятель и дипломат, с мнениями которого считались и тогдашние французские публи-

<sup>58</sup> A. D'Ancona S. Piattoli e la Polonia, con un appendici di documenti, Firenze, 1915.

<sup>59</sup> Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 13, Гослитиздат, М., 1949, стр. 186, 193, 194; Л. Н. Толстой. Война и мир. Комментарий Б. М. Эйхенбаума, т. III—IV, Гослитиздат, Л., 1936, стр. 667—668.



цисты<sup>60</sup>, М. Ф. Орлов на личном опыте проверил всю шкалу ощущений, доставляемых войной и надеждами о мире, и хорошо был начитан в посвященной им текущей европейской литературе. В ней же, подобно многим будущим декабристам, участникам заграничных походов 1813—1814 годов, обрел он идейные подкрепления для скорого перерождения своего общественно-политического мировоззрения. В письмах своих к Д. П. Бутурлину 1819—1820 годов, автору «Военной истории походов России в XVIII столетии» (1819), М. Ф. Орлов, уже являвшийся видным членом тайного общества и принявший командование 16-й дивизией, с восторгом вспоминал о пережитых им войнах («Мы сражались против целой Европы, но целая Европа ожидала от наших усилий своего освобождения. Вспомни согласие общих желаний, вспомни благотворное содействие всех благомыслящих людей, когда наши войска, переходя из земли в землю, основывали везде возрождение народов. Тогда-то мы были сильны, тогда-то мы были страшны общему врагу, ибо под знаменами нашими возрастало древо общего освобождения. . .») <sup>61</sup>, но в то же время осуждал бутурлинское славословие как «совершенно противное нынешнему духу времени»: «Зачем возбуждать ненависть к отечеству в прочих народах? Разве тебе не довольно того, что Прад, Биньон, Герц и прочие публицисты восстают против нашего могущества, ты хочешь также восстать против нас? С какого права вручаешь нам политические весы Европы? Друг мой! Нет никого на свете, который бы более меня привязан был чувством к славе отечества. Но не время теперь самим себя превозносить. Ты видишь все с высокой точки умозрения, с поля сражения. Войди в хижину бедного россиянина, истощенного от рабства и несчастья, и извлеки оттуда, ежели можешь, предвозвещение будущего нашего величия» <sup>62</sup>. Эти две цитаты из писем Орлова к официальному военному историку наглядно иллюстрируют тот резкий сдвиг, который произошел во взглядах на войну лучших представителей военной касты русской дворянской интеллигенции: на войну надлежало смотреть не с поля битвы, в упоении удалством и храбростью, и не с точки зрения того, будет ли она способствовать «установлению так называемого равновесия Европы», — по словам того же М. Ф. Орлова <sup>63</sup>, а из хижины крепостного земледельца, бесправного исполнителя царской воли. Это приближало к осуждению давно исчерпавших себя мирных «проектов» сеньеровского типа и одновременно к пониманию критики их у Руссо.

В русскую литературу XVIII века Сен-Пьер введен был именно Руссо. Молодой И. Ф. Богданович, будущий автор «Душеньки», по поручению петербургского общества переводчиков, еще в 1771 году издал отдельной брошюрой «Сокращение, сделанное Жан Жаком Руссо (sic), женевским гражданином из проекта о вечном мире, сочиненного господином аббатом Сен-Пьером» <sup>64</sup>. Следовательно, это сочинение вышло на русском языке еще при жизни Руссо и притом раньше, чем во многих других странах (за исключением Англии, где оно появилось в переводе на десятиле-

<sup>60</sup> В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, стр. 382—384; «Литературное наследство», т. 29—30, 1938, стр. 616.

<sup>61</sup> Письма М. Ф. Орлова к Д. П. Бутурлину опубликованы А. А. Сиверсом в сб. «Декабристы и их время», т. I, изд. Политкаторжан, М., б. г., стр. 200 и сл.

<sup>62</sup> Там же, стр. 201—202.

<sup>63</sup> Там же, стр. 201.

<sup>64</sup> Приводим заглавие по экземпляру Библиотеки Академии наук СССР; переводчик не указан. Ср.: В. С. Сопиков. Опыт российской библиографии, ред. В. Н. Рогожина, т. IV. СПб., 1905, стр. 301 (№ 11107). В. П. Семеновичев. Собрание староееся о переводе иностранных книг. СПб., 1913, стр. 39 (на стр. 13 ошибочно утверждается, что автором проекта является Бернарден де Сен-Пьер). И. Ф. Богданович перевел только «Extrait du projet». «Judgement» Руссо в это время еще не было опубликовано.

тие раньше, в год его первой публикации в оригинале). Хотя на Руссо уже в то время в России косились с опаской в правительственных сферах<sup>65</sup>, но в прогрессивных читательских кругах последних десятилетий XVIII века у нас ценили его не столько как автора «Новой Элоизы» и вдохновителя «чувствительности» в европейской литературе, но как автора трактата об общественном неравенстве, слава которого у нас непрерывно возрастала наперекор запрещениям и всякого рода цензурному вмешательству. Именно это сочинение («Общественный договор»), опубликованное на русском языке в 1786 году, по свидетельству «Словаря исторического» (1793), «почиталось многими за превосходное произведение ума»; Н. И. Новиков считал, что Руссо «обрел славнейшие в нашем веке мудрости», Я. П. Козельский (в своих «Философских предложениях») характеризовал его как «высокопарного орла», который «превзошел всех бывших до него философов», а М. Д. Чулков ставил его первым среди учителей, наставников и путеводителей «к премудрости людей в познаниях и в добродетелях высочайших»<sup>66</sup>. Едва ли не под непосредственным воздействием того же «Extrait du projet» Руссо и сам М. Д. Чулков составил свой «Проект трактата между европейскими государями для вечного истребления в Европе войны»<sup>67</sup>, где, по-видимому, речь должна была идти и о Сен-Пьере. Впрочем, Чулкову могла быть известна уже и вторая статья Руссо о Сен-Пьере («Jugement»), к тому времени уже напечатанная, а наряду с ней и образцы европейской пацифистской литературы, появившиеся накануне и во время революции 1789 года.

Увлечение Руссо как философом-демократом русские просветители завещали будущим декабристам. В показаниях, письмах, воспоминаниях деятелей декабристских тайных обществ сохранилось много свидетельств о том значении, какое имели для развития их общественно-политических взглядов сочинения Руссо, и в первую очередь его «Общественный договор»: это утверждали М. А. Фонвизин, Ф. Н. Глинка, Н. М. Муравьев, А. В. Поджио и Н. А. Крюков, И. А. Анненков и П. Н. Свистунов<sup>68</sup> и многие другие. Примечательно, что и В. Ф. Раевский, по собственному признанию, «Общественный договор» «вытвердил как азбуку»<sup>69</sup>. Поэтому М. А. Цявловский с полным основанием утверждал, что «руссоизм Пушкина в годы южной ссылки был подкреплен Раевским»<sup>70</sup>. Совершенно естественно было бы заключать отсюда, что именно Раевский открыл Пушкину новые стороны в творчестве Руссо-философа и демократа, какие Пушкин сравнительно мало знал в предшествующие годы, и что вместе с настольным для него «Общественным договором» он указал поэту и на «Исповедь» Руссо и на статьи его о проектах Сен-Пьера, которые и вызвали спор<sup>71</sup>.

<sup>65</sup> Борьбу с Руссо начала Екатерина II, еще в 1763 году особым указом запретив в России его «Эмиля» (Д. Ф. Кобек. Екатерина II и Жан Жак Руссо. «Исторический вестник», 1883, т. XII, стр. 611).

<sup>66</sup> М. М. Штранге. Русское общество и французская революция 1789—1794 гг. Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 39.

<sup>67</sup> Это сочинение Чулкова до нас не дошло, но он сам упомянул о нем в приложении к своей книге «Записки экономические» (М., 1790) в перечне написанных им литературных работ (Викт. Шкловский. Чулков и Левшин, Л., 1933, стр. 87).

<sup>68</sup> В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов, стр. 219—227; В. Базанов. Очерки декабристской литературы. Гослитиздат, М., 1953, стр. 94—95.

<sup>69</sup> П. Е. Щеголев. Декабристы, Л., 1926, стр. 13; Воспоминания В. Ф. Раевского. «Литературное наследство», т. 60, кн. I, стр. 116.

<sup>70</sup> М. А. Цявловский. Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому. «Временник Пушкинской комиссии», т. 6, 1941, стр. 43.

<sup>71</sup> Не из библиотеки ли В. Ф. Раевского происходил тот экземпляр французских сочинений Руссо, который был в руках Пушкина в Кишиневе? По свидетельству самого

Со своей стороны, Пушкин также мог знать об этих проектах еще в лицейские годы из сочинений Вольтера и энциклопедистов и без сомнения еще в ту пору не раз сталкивался с проблемой «вечного мира» по литературным источникам, имевшим для него совершенно особое значение. Лицейсты увлекались, например, чтением сочинений Ф. Р. Вейса, швейцарского руссоиста, в 1789 году открыто вставшего на защиту французской революции. Много выписок из Вейса включено было в тот рукописный «Словарь» — объемистый свод сентенций на философские, политические и моральные темы, — который составлял В. К. Кюхельбекер с 1815 года вплоть до окончания лицея; словарь этот был хорошо известен и Пушкину<sup>72</sup> и прочим друзьям Кюхельбекера: именно об этой рукописной энциклопедии Пушкин вспоминал еще в 1825 году (в стихотворении «19 октября»).

И наш словарь, и плески мирной славы,  
И критики лицейских мудрецов!

Были в этом словаре также выписки из Вейса относительно морального оправдания войны и о средствах для достижения постоянного мира, например следующая, помещенная под рубрикой: «Война прекрасная»: «Как благородною была бы война, предпринятая противу деспотических правительств, единственно для того, чтобы освободить их рабов».<sup>73</sup>

Еще раньше Пушкин и все лицейсты хорошо знали всё то, что об этой проблеме написано было первым и всеми любимым директором Лицея — В. Ф. Малиновским. Еще в 1803 году Малиновский издал в Петербурге отдельной книгой свое «Рассуждение о мире и войне», в двух частях, всецело проникнутое дыханьем просветительного века. Это замечательное сочинение, лишь недавно оцененное по достоинству историками русской общественной мысли<sup>74</sup>, явилось как раз одним из самостоятельных национальных вкладов в проблему ликвидации войн, поставленную европейским XVIII веком. Аргументация Малиновского самостоятельна и очень интересна. Уже первая книга «Рассуждения», написанная Малиновским в Англии (в Ричмонде в 1790 году), открывается красноречивой филиппикой против войны, «которая есть зло самопроизвольное и соединение всех зол в свете». «Привычка нас делает ко всему равнодушными, — писал Малиновский. — Слеплены оною, мы не чувствуем всей лютости войны. Если же можно было освободившись от сего ослепления

Раевского, в его квартире, куда хаживал и Пушкин, «был шкаф с книгами более 200 экземпляров французских и русских» (П. Е. Щеголев. Декабристы, стр. 72); по воспоминаниям Горчакова, «книги Пушкин брал у Орлова, у Пушкина и особенно у штаб-офицера И. П. Липранди» («Пушкин в воспоминаниях современников», стр. 224).

<sup>72</sup> Ю. Тынянов. Пушкин и Кюхельбекер. «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 332—336.

<sup>73</sup> Ю. Тынянов. Пушкин и Кюхельбекер. «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 334. К сожалению, этот лицейский «Словарь», бывший в руках Ю. Н. Тынянова, донныне остается неопубликованным. Книга Вейса «Principes philosophiques, politiques et poëtiques», по свидетельству декабриста Н. И. Лорера, очень увлекала петербургскую военную молодежь по возвращении из походов 1813—1815 годов; из нее перевели: А. А. Бестужев, М. М. Спиридов, Н. А. Крюков и др. (В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов, стр. 226, 228, 229). Еще ранее одна часть из трехтомных «Principes» Вейса выпущена была у нас в переводе А. Струговщикова под заглавием: «Основание, или существенные правила философии, политики и нравственности» (СПб. 1807); ср. также «Свойства и действия страстей человеческих, из сочинений Руссо, Рошефукольда (sic), Вейса и других новейших писателей», СПб. 1802 (В. С. Сопиков. Опыт российской библиографии, т. IV, стр. 70 и 230, №№ 7933 и 10161).

<sup>74</sup> Э. А. Араб-Оглы. Выдающийся русский просветитель-демократ (к 150-летию выхода в свет «Рассуждения о мире и войне»). «Вопросы философии», кн. 2, 1954, стр. 181—197.

и равнодушия рассмотреть войну в настоящем ее виде, мы бы поражены были ужасом и прискорбием о несчастиях, ею причиняемых. Война заключает в себе все бедствия, коим человек по природе своей может подвергнуться, соединяя всю свирепость зверей с искусством человеческого разума, устремленного на пагубу людей. Она есть адское чудовище, которого следы повсюду означаются кровию, которому везде преследует отчаяние, ужас, скорбь, болезни и смерть... Время нам оставить сие заблуждение и истребить зло, подкрепленное наиболее всего невежеством»<sup>75</sup>. В особых главах рассматривает Малиновский «Мнимые пользы войны» и «Предубеждение народов», где он, в частности, утверждает, что «привычка, невежество и суеверие причиной тому, что народы убивают друг друга с таким же равнодушием как скотину. Ужасное ослепление века, почитаемого просвещенным, а и того еще более — человеколюбивым»<sup>76</sup>, и что происходит это от того, что «ненависть есть обильнейший источник предубеждения народов», а между тем, «чтобы более уважать себя взаимно, народы должны только более знать друг друга»<sup>77</sup>.

Много говорится здесь о «Причинах войны и политике», «Бедствиях войны» и «Выгодах мира», но одна из наиболее интересных глав — «Почтение к войне, геройство и великость духа», в которой ставится вопрос, следует ли почитать войну «непременным путем к славе». Малиновский дает на это резко отрицательный ответ. «Были люди, которые почитаются великими от всех народов и всех веков. Число их весьма мало и убавляется иль прибавляется со временем, смотря по тому, как люди думают и в чем полагают славу и великость». Так, например, «европейцы почитали превыше всех людей Александра Македонского... Мы так привыкли почитать его великим, что сие слово сделалось почти нераздельным от его имени». Но справедливо ли это прозвание? Ведь «храбрость, мужество и неустранимость сколь ни великие суть добродетели, но они могут быть почтены только по хорошему их употреблению: их может иметь завоеватель и разбойник» «Ревностнейший подражатель Александра был Карл XII. Унижения и несчастья отняли у других охоту подражать ему, и это был первый удар, который претерпела слава Александра. Но она еще гораздо долженствовала унижаться, когда известный шах Надир, будучи в начале токмо разбойник, покорил так же, как Александр, Индию, Персию и многие другие земли...» «К несчастию сей шах не имел ласкательями славных историков, стихотворцев и художников, которые могли бы в приятном виде представить его дела. Иначе европейцы стали бы его почитать и назвали бы его героем и великим человеком». «Из новейших государей мы имеем Людовика XIV, который иными называется великой, и который всю жизнь свою смущал спокойствие Европы и разорил свое отечество для получения славы»<sup>78</sup>.

Это типично просветительская аргументация. Мы узнаем здесь идеи переведенного Радищевым Мабли и самого Радищева, вместе с другими просветителями разоблачавшего «завоевательный дух» знаменитых властителей и относительность понятий «величия», «славы», «геройства»; много писали об этом и английские просветители от Филдинга и до В. Годвина. Что касается Малиновского, то он не только провозгласил, что «никто не достоин столько имени великого как законодатель»<sup>79</sup>, но и развенчал «великих» завоевателей как доказательство, что война не может и не должна служить средством для достижения славы. Нетрудно

<sup>75</sup> Рассуждение о мире и войне, т. I СПб. 1803, стр. 1—2.

<sup>76</sup> Там же, стр. 24.

<sup>77</sup> Там же, стр. 27.

<sup>78</sup> Там же, стр. 31—39

<sup>79</sup> Там же, стр. 5

усмотреть непосредственную аналогию с этим ходом мыслей в том положении отрывка Пушкина о вечном мире, где говорится, что для «великих страстей и великих воинских талантов... всегда будет гильотина», потому что «обществу мало заботы до восхищения великими комбинациями победоносного генерала». Правдоподобно, что это было одно из тех убеждений, которое сложилось у Пушкина еще в лицейские годы. Хотя «Рассуждение о мире и войне» Малиновского вышло в свет без имени автора<sup>80</sup>, но немыслимо допустить, чтобы лицеисты первого курса — Пушкин в их числе — не знали об этой книге своего директора, в которой он пытался утвердить мысль, что Европа должна прекратить войны и установить «общий и неразрывный мир», и предлагал для осуществления этого создать «общий совет», составленный из уполномоченных союзных европейских народов. Не забудем, что сын Малиновского, Иван Васильевич, также учился в Лицее и был одним из самых близких к Пушкину товарищей; с ним и с Пушиным Пушкин был особенно дружен и после выпуска из Лицея<sup>81</sup>. Лицеисты, конечно, знали, что В. Ф. Малиновский и в период своего директорства продолжал работать над еще не опубликованным продолжением своего «Рассуждения о войне и мире»<sup>82</sup> и что в самый разгар освободительной войны против Наполеона, незадолго до смерти, он все еще носился с мыслью, что Россия призвана до конца выполнить свое великое предназначение и, «освободив Европу от общего утеснения», должна будет добиться умиротворения и ликвидации дальнейших военных конфликтов. «И ныне предлежит ей (России,— М. А.) увенчать сей великий подвиг и обеспечить освобожденные народы общим их союзом между собой»,— писал В. Ф. Малиновский в своей последней статье «Общий мир», напечатанной в «Сыне отечества» 1813 года<sup>83</sup> и несомненно читанной всеми лицеистами. Самое Царское Село, наполненное «И славой мраморной, и медными хвалами Екатерининских орлов...», невольно внушало лицеистам увлечение былой «военной славой россиян»; мимо Лицея проходили русские войска, отправлявшиеся воевать с Наполеоном. Вспоминая об этом времени, Пушкин незадолго до своей смерти писал:

Вы помните: текла за рагью рать,  
Со старшими мы братьями прощались  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирать  
Шел мимо нас...

В юношеской оде «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году» Пушкин также сожалел, что он не принял сам участие в военных действиях для защиты отечества:

Я видел, как на брань летели ваши строи;  
Душой восторженной за братьями спешил.  
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?  
Почто, сжимая меч младенческой рукою,  
Покрытый ранами, не пал я пред тобою  
И славы под крылом на утре не почил?

<sup>80</sup> В конце книги стоят инициалы В. М., раскрытые им самим в письмах А. Г. Воронцову и Г. Р. Державину.

<sup>81</sup> Я. К. Грот. Пушкин. Его лицейские друзья и наставники. Изд. 2-е. СПб., 1899, стр. 70.

<sup>82</sup> В. Ф. Малиновский писал Г. Р. Державину из Царского Села 4 августа 1812 года: «Книжка о мире и войне писана мной самим в Англии и в здешних окрестностях, есть и продолжение, но теперь драчливое время, и можно сказать коротко: воюйте прочие и деритесь» (Державин, Сочинения, с объяснительными примечаниями Я. Грота, г. VI. СПб., 1871, стр. 239—240).

<sup>83</sup> «Сын отечества», 1813, ч. 10, № 11, стр. 241—243.

Но это было лишь одическое преувеличение. В том же году в послании «Батюшкову» Пушкин отказывался, например, петь «при звуках лир войны кровавый пир» и еще яснее выражал свое отношение к воинским лаврам в стихотворении «Мечтатель» (1815):

Пускай, удара в звучный щит  
И с видом дерзновенным,  
Мне Слава издали грозит  
Перстом окровавленным,  
И бранны вьются знамена,  
И пышет бой кровавый —  
Прелестна сердцу тишина:  
Нейду, нейду за Славой.

Эта «тишина» мечталась шестнадцатилетнему поэту не только как личное стремление, но и как международный идеал, в конкретно-поэтическом противопоставлении «шуму брани»:

Утихла брань племен; в пределах отдаленных  
Не слышен битвы шум и голос труб военных;  
С небесной высоты, при звуках стройных лир  
На землю мрачную нисходит светлый Мир,—

писал Пушкин в той же оде на возвращение Александра I из Парижа; заканчивалась же она обращением к царю и призывами оставить «и грозный меч войны, и щит — ограду нашу»:

Излей пред Янусом священну мира чашу,  
И, брани сокрушив могущею рукой,  
Вселенну осени желанной тишиной! . .

И в 1816 году Пушкин признается в стихотворении «Сон»:

Я не герой, по лаврам не тоскую;  
Спокойствием и негой не торгую,  
Не чудится мне ночью грозный бой. . .

или (в стихотворении «Из письма к В. Л. Пушкину»):

Дай бог, чтобы во всей вселенной  
Воскресли мир и тишина. . .<sup>84</sup>

«Рассуждение» В. Ф. Малиновского с его проектом «Общего союза Европы» и «совета уполномоченных» народов для утверждения постоянного мира, которое, как мы предполагаем, должно было быть известно Пушкину еще в лицейские годы, не могло ему, однако, напомнить ни о Сен-Пьере, ни о Руссо, так как скупоссылающийся на читанные им книги Малиновский нигде не упоминает ни того, ни другого. Живя в Кишиневе, Пушкин не один раз имел повод вспомнить о Малиновском и о его трактате. По свидетельству В. П. Горчакова, Пушкин часто вспоминал о годах, проведенных в Лицее, и рассказывал о них своим кишиневским друзьям. «Нередко при воспоминании о царскосельской своей жизни Пушкин как бы в действительности переселялся в то общество, где расцвела первоначальная поэтическая жизнь его со всеми призраками и очарованием»<sup>85</sup>. Любопытно, что та самая дивизионная школа при 16-й дивизии, которой руководил В. Ф. Раевский, известна была в Кишиневе под именем «Лицея» и что донос по этому поводу послан был в Главный штаб и дошел до Александра I в те самые последние месяцы 1821 года, когда готовился разгром кишиневской группы «декабристов»,

<sup>84</sup> Попытку проследить отношение Пушкина к войне на всем протяжении его поэтического творчества см. в статье С. Ашевского (М. Н. Столярова) «Пушкин и война». «Мир божий», 1899, № 6, отд. II, стр. 14—20, и А. Дейча «Пушкин и война». «Новая жизнь», 1915, кн. VII—VIII, стр. 153—161

<sup>85</sup> Пушкин в воспоминаниях современников, стр. 198.

а они сами спорили с Пушкиным о «вечном мире»: очень возможно, что этот донос косвенно связан был и с Пушкиным.<sup>86</sup> О Лицее и лицейских наставниках, этих насадителей «вольнлюбивых мыслей», несомненно много говорили в Кишиневе, к Малиновскому же возник особый интерес при первых известиях о греческих событиях в Молдавии. Дело в том, что Малиновский вскоре после окончания работы над рукописью первой части своего «Рассуждения о мире и войне» был отправлен в звании секретаря на конгресс в Яссы, на котором был заключен мир с Турцией, а в 1800 году на два года был назначен генеральным русским консулом в Молдавии. В 20-е годы здесь его еще помнили как гуманного и просвещенного деятеля<sup>87</sup>; вполне естественно, что в те месяцы, когда назревал новый военный конфликт с Турцией, а очагами греческого восстания стали те самые города, которые Малиновский так хорошо изучил за двадцатилетие перед тем, воспоминания о нем в Кишиневе обновились, и первым мог вспомнить о нем Пушкин, потому что и перед ним и перед его друзьями еще раз встала тогда та же жгучая проблема о войне и мире, которую решал и Малиновский. Но на этот раз эта проблема представлялась уже в новом свете: вопрос шел теперь о справедливости национально-освободительной войны в связи с усилиями восставших греков и естественно перерастал в декабристскую проблему о праве народов на свое освобождение. Здесь и оказались весьма кстати старые работы Руссо о Сен-Пьере.

## 6

В своих воспоминаниях о Пушкине и Кишиневе В. П. Горчаков указывает на странное «столкновение событий»: «...в то же время, когда возникла угнетенная Греция и восходила звезда древней Эллады, среди пустынного океана угасла иная звезда лучезарной славы. И тот, кто так недавно возмущал племена и народы своею неодолимою силою, исчезал с лица земли, как невольник, при кликах крамол и неволи»<sup>88</sup>. Действительно, вторая половина 1821 года была насыщена событиями, непрерывно обращавшими мысли к проблемам войны и мира. Известие о смерти Наполеона 21 апреля (5 мая) дошло до Пушкина 18 июля 1821 года; в тот же день он сделал набросок программы и написал текст стихотворения, законченного в сентябре — ноябре этого года. Восстания в Европе продолжались; вслед за революциями в Сицилии (июнь 1820), в Португалии (август 1820) в марте 1821 года началась революция в Пьемонте, почти совпавшая с началом греческого восстания: именно в марте 1821 года Пушкин писал из Кишинева, что там «восторг умов дошел до высочайшей степени» в связи с событиями, происходившими на юге Европы и в европейской Турции. В сожженной 10-й главе «Евгения Онегина» эти события также объединены:

Тряслися грозно Пиренеи  
Волкан Неаполя пылал,  
Безрукий князь друзьям Морей  
Из Кишинева уж мигал...

<sup>86</sup> Об этом доносе и его последствиях см.: П. С. Бейсов. Общественно-политические взгляды В. Ф. Раевского. «Ученые записки Ульяновского государственного педагогического института», вып. V, 1953, стр. 438—439.

<sup>87</sup> В. И. Семевский. Размышление В. Ф. Малиновского о преобразовании государственного устройства России. «Голос минувшего», 1915, № 10, стр. 241—242. Сам Малиновский в автобиографической записке, посланной гр А. Р. Воронцову, рассказывает о своей деятельности в Молдавии («Архив кн. Воронцова», кн. XXX, М., 1884, стр. 391—392); дополнительные подробности — в письме его к В. П. Кочубею («Чтения в Обществе истории и древностей российских», т. I, 1863, стр. 172—175).

<sup>88</sup> Пушкин в воспоминаниях современников, стр. 198.

В апреле 1821 года в Петербурге серьезно обсуждался проект — отправить в Италию русский экспедиционный корпус для помощи австрийцам в подавлении неаполитанской революции; однако этот проект осуществлен не был, в значительной степени потому, что предполагавшиеся военные действия для подавления освободительного движения в чужой стране были резко осуждены передовым русским офицерством. «Настроение умов не хорошо,— доносил по этому поводу кн. Васильчиков Александру I.— Неудовольствие всеобщее и неизбежность жертв, сопряженных с ведением войны, необходимость которой непонятна простым смертным, должны несомненно произвести дурное впечатление»<sup>89</sup>. Но в то же самое время известие о восстании в Греции «воспламенило молодежь... Все были уверены, что государь подаст руку помощи единоверцам и что двинут нашу армию в Молдавию»,— вспоминал Н. И. Лорер<sup>90</sup>. «Важный вопрос: что станет делать Россия: зайдем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов»,— спрашивал и Пушкин, описывая начало греческого восстания. Хорошо известно, как жадно ловил поэт все новости и слухи, которые распространялись по этому поводу, с каким сочувствием отнесся он к успехам дела греческой свободы, мечтая даже принять личное участие в военных действиях и с нетерпением ожидая их начала после того, как в августе 1821 года разорваны были дипломатические отношения между Россией и Турцией. Стихотворение «Война», известное в списках этого года под более точным заглавием «Ожидание войны»<sup>91</sup>, имеет в рукописи дату 29 ноября 1821 года (первоначально оно было помечено 29 октября), т. е. около того времени, когда он вел споры о «вечном мире» и читал Руссо. Очень существенно поэтому, что именно в этом стихотворении, спрашивая громко

Что ж медлит ужас боевой,  
Что ж битва первая еще не закипела?

поэт задавал вопрос и самому себе, вопрос глубоко интимный, сугубо важный, если сопоставить его со всем тем, что думал он о «воинской славе» в предшествующие годы и как излагал он его в своем прозаическом отрывке, вдохновленном чтением Руссо:

Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,  
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев!

Справедливо отмечалось, что пушкинские «военные стихи» 1820—1821 годов «звучали несомненно в радикально-политическом плане, были декабристскими стихами»<sup>92</sup>.

Декабристы, осуждавшие задуманный Александром I поход в Италию для подавления итальянской свободы, напротив того, горячо приветствовали войну против деспотической Турции в поддержку восставшим грекам и втайне, может быть, питали надежду на то, что эта война ускорит освобождение от деспотического режима и в России. Вопрос о войне «справедливой», «освободительной» становился одним из важнейших вопросов, который решали в то время декабристы. Этот вопрос очень волновал и Пушкина, сумевшего поднять его до значения большого философского обобщения и заглянуть далеко в будущее. Однако именно

<sup>89</sup> А. В. Фадеев. Россия и восточный кризис 20-х годов XIX века. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 77.

<sup>90</sup> Там же, стр. 77—78.

<sup>91</sup> Остафьевский архив, т. II. СПб., 1899, стр. 282.

<sup>92</sup> Г. Гук ов с к и й. Стиль гражданского романтизма в творчестве Пушкина. Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». М.—Л., 1941, стр. 181 и сл.



здесь намечались существенные расхождения во взглядах между отдельными членами декабристских организаций. Самая русско-турецкая война, объявления которой ожидали с минуты на минуту, вызывала к себе двойственное отношение. Н. И. Тургенев писал, например, брату, Сергею Ивановичу, 30 июня 1821 года: «...слухи о войне, которая кажется быть у нас популярною, увеличивая беспокойство мое, делая положение моего духа еще более смущенным, не вынуждают от меня решительного мнения на счет этой войны. Напротив того, имея в виду между государствами одну Россию, и между народами одних русских, я никогда не дал бы голоса моего ни для какой войны, кроме войны оборонительной»<sup>93</sup>. П. И. Пестель, напротив, еще в 1821 году пришел к заключению, что главное стремление его времени выразилось в национально-освободительных движениях и революционных войнах и что именно Россия призвана поддержать революционные движения народов, охватывающие земной шар<sup>94</sup>. В течение марта — июня 1821 года Пестель трижды приезжал в Кишинев «по делам о возмущении греков» и именно в эти месяцы виделся и долго беседовал с Пушкиным. Глубоко сочувствуя борьбе греков против турецкого ига, убежденный сторонник этой справедливой, освободительной войны, Пестель тогда уже «намечал проект будущего политического устройства освобожденных балканских стран, выдвигая идею создания балканской федерации из 10 самоуправляющихся областей, образованных по национальному признаку»<sup>95</sup>. Декабристское «Общество соединенных славян» также, как известно, по словам И. И. Горбачевского, «имело главной целью освобождение всех славянских племен от самовластья... и соединение всех обитаемых ими земель федеративным союзом»<sup>96</sup>. Речь, таким образом, шла не только о будущем России, но и о будущем Европы, славянской в первую очередь, — и вопросы будущей военной организации республиканской России и других стран становились злободневной политической проблемой.

Все сказанное приводит нас к заключению, уже намечавшемуся и выше, что отрывок о «вечном мире» представляет собою один из важнейших документов для изучения политических воззрений Пушкина в кишиневский период его жизни, свидетельствующий также о близости этих воззрений к взглядам кишиневских «декабристов». В пользу такого вывода мы можем привести еще одно соображение, представляющееся немаловажным. Пушкин, как мы видели, исходя из того, что «принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее», высказывал такое предположение: «возможно, что менее, чем через 100 лет не будет уже постоянной армии». В чем следует усматривать ближайший источник этой мысли?

Известно, что уже французские просветители XVIII века, Вольтер, Руссо, энциклопедисты выступали против постоянных армий, хотя, как это справедливо отмечал Ф. Меринг, они еще «не могли понять, что система постоянных войск неразрывно связана с определенными потребностями буржуазного развития».<sup>97</sup> Декабристов также весьма волновали вопросы о будущем уничтожении постоянных армий при республиканском строе и о демократических формах организации вооруженных сил. Отри-

<sup>93</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату, С. И. Тургеневу, Л., 1936, стр. 343.

<sup>94</sup> Б. Е. Сыроечковский. П. И. Пестель и К. Ф. Герман. «Ученые записки Московского государственного университета», вып. 167, 1954, стр. 176.

<sup>95</sup> Б. Е. Сыроечковский. Балканская проблема в политических планах декабристов В сб.: Очерки из истории движения декабристов. М., 1954, стр. 73.

<sup>96</sup> Там же.

<sup>97</sup> Ф. Меринг. Очерки по истории войн и военного искусства, изд. 3-е. М., 1937, стр. 451.

цательное отношение декабристов-офицеров к той крепостнической армии, к которой они принадлежали, в особенности «усиливалось тем, что в царствование Александра I происходил огромный численный рост ее состава, а режим „аракчеевщины“ делал ее еще более ненавистной для солдат и для крестьянства»<sup>98</sup>. Положение в армии к началу 20-х годов стало все более угрожающим: друг за другом следовали восстания военных поселян (1817—1819), Семеновского полка (1820), с жестокостью подавляемые солдатские волнения 1820—1821 годов<sup>99</sup>; чем ближе находились декабристы к восстанию, задуманному ими самими, тем чаще возвращались они к вопросу, какой станет армия в преобразованной ими России. Не подлежит сомнению, что в декабристских кругах этот вопрос широко обсуждался в начале 20-х годов и что большинство декабристов уже тогда склонялось к идее будущей замены постоянной армии системой «милиционных войск», при которой оборона государства осуществлялась бы всеми гражданами, способными носить оружие, но призываемыми лишь в случае необходимости. Эта система заимствовалась ими из опыта французской революции<sup>100</sup> и подвергалась постоянному обсуждению: об этом свидетельствуют воспоминания Д. Завалишина, статья М. Фонвизина о сокращении армии. «Идея милиции была частично воплощена в проекте конституции Н. Муравьева, поддержана в „Рассуждениях“ Торсона и не встретила возражений у других декабристов, читавших эти документы».<sup>101</sup> В так называемом «Манифесте к русскому народу», найденном в бумагах С. П. Трубецкого при его аресте, вопрос о форме организации военных сил в будущей обновленной России решался в том же самом смысле. Во втором разделе манифеста, содержащем в себе поручения Временному правительству, ему вменялось в обязанность произвести, в частности, и следующие реформы:

«3. Образование внутренней народной стражи. . .

5. Уравнение рекрутской повинности между всеми сословиями.

6. Уничтожение постоянной армии»<sup>102</sup>. Мог ли Пушкин знать в 1821 году в Кишиневе о сущности задуманных декабристами военных реформ, принадлежавших к числу тех, которыми они, вероятно, неохотно делились с непосвященными? В этом не может быть никакого сомнения. Еще в Петербурге в кругу членов «Зеленой лампы», в конце 1819 года, он мог слышать чтение небольшого произведения приятеля своего А. Д. Улыбышева под заглавием «Сон», эту раннюю декабристскую «утопию», в которой идет речь о будущей России, освобожденной после революционного переворота от гнета феодально-абсолютистского режима.<sup>103</sup>

Среди многих преобразований, полной реформе подверглось также и войско обновленной страны. «— Извините, если я перебую вас, сударь,— спрашивает путешественник жителя этой страны будущего,— но я не

<sup>98</sup> Е. А. Прокофьев. Борьба декабристов за передовое русское военное искусство. М., 1953, стр. 164, его же — «Военные взгляды декабристов». М., 1953.

<sup>99</sup> С. Гессен. Солдатские волнения в начале XIX в. М., 1929.

<sup>100</sup> С. С. Волк. Исторические взгляды декабристов. М.—Л., 1958, стр. 266.

<sup>101</sup> Е. А. Прокофьев. Борьба декабристов за передовое русское военное искусство, стр. 166.

<sup>102</sup> Там же, стр. 167.

<sup>103</sup> Там же. М. В. Нечкина («Декабристская утопия», в сб. «Из истории социально-политических идей». М., 1955, стр. 376—384) справедливо оценила «Сон» Улыбышева как «важный документ передовой политической идеологии эпохи Союза благоденствия». «Сон» читан был на 13-м заседании «Зеленой лампы». «Неизвестно,— пишет она,— присутствовал ли А. С. Пушкин при чтении рукописи А. Д. Улыбышева. Можно лишь заметить, что он мог присутствовать, так как в конце 1819 г. был в Петербурге, а пропуск заседаний „Зеленой лампы“ как будто не был в его обычае» (стр. 379).

вижу той массы военных, для которых, говорили мне, ваш город служит главным центром.

«— Тем не менее, ответил он, мы имеем больше солдат, чем когда-либо было в России, потому что их число достигает 50 миллионов человек.

«— Как, армия в 50 миллионов человек! Вы шутите, сударь!

«— Ничего нет правильнее этого, ибо природа и нация — одно и то же. Каждый гражданин делается героем, когда надо защищать землю, которая питает законы, его защищающие, детей, которых он воспитывает в духе свободы и чести, и отечество, сыном которого он гордится быть. Мы действительно не содержим больше этих бесчисленных толп бездельников и построенных в полки воров — этого бича не только для тех, против кого их посылают, но и для народа, который их кормит, ибо если они не уничтожают поколения оружием, то они губят их в корне, распространяя заразные болезни. Они нам не нужны более. Леса, поддерживающие деспотизм, рухнули вместе с ним. . . Служба, необходимая для внутреннего спокойствия страны, исполняется по очереди всеми гражданами, могущими носить оружие, на всем протяжении империи. Вы понимаете, что это изменение в военной системе произвело огромную перемену и в финансах. Три четверти наших доходов, поглощавшихся прежде исключительно содержанием армии, — которой это не мешало умирать с голоду, — употребляется теперь на увеличение общественного благосостояния, на поощрение земледелия, торговли, промышленности. . .»<sup>104</sup>

Эта красноречивая страница, написанная в самый разгар наступления на армию аракчеевской реакции, выразила в то же время представление о той желательной форме будущей организации вооруженных сил, которое складывалось у деятелей русских тайных обществ, будущих декабристов; ход мыслей Пушкина удивительно к ним близок.

## 7

Выясняется, таким образом, что проблема «вечного мира», увлекшая Пушкина в конце 1821 года, связана была с именем Сен-Пьера лишь внешне и формально; Руссо вызвал его внимание не только потому, что он нашел в его разборах проектов Сен-Пьера аналогию своим мыслям. Спор шел тогда, по-видимому, о гораздо более серьезных вещах — о зависимости войн от феодально-абсолютистских режимов, о том, как долго будут еще необходимы «справедливые» войны, о том, когда будут ликвидированы армии при условии победы республиканского строя в одном и нескольких государствах, о тактике революционных действий вообще. Руссо и Сен-Пьер дали лишь импульс к обсуждению всех этих мыслей, естественно возникавших в той сложной международной ситуации, которая складывалась в последние месяцы 1821 года и возбуждала различные прогнозы и надежды на будущее.

Гипотетически можно указать еще на одну книгу, которая именно в указанное время могла дать М. Ф. Орлову и Пушкину дополнительный повод для споров о войне и «вечном мире» и в то же время сообщить их беседам еще более страстный и взволнованный характер. В июне 1821 года в Париже вышла книга Жозефа де Местра «Петербургские вечера», вызвавшая громкую полемику не в одной лишь Франции. Французская печать объявила «Петербургские вечера» одной из самых примечательных книг всего 1821 года, называя ее исповеданием веры и завещанием знаменитого политического писателя, в которой он в последний раз перед смертью (де Местр умер в феврале 1821 года) давал бой всему

<sup>104</sup> Декабристы и их время, т. I. 1928, стр. 47—48.

европейскому свободомыслию и выступал апологетом «деспотизма во всей его непристойности»<sup>105</sup>. Очень быстро эта книга дошла и до России, где было немало людей, лично знавших покойного писателя или сохранявших интерес к его писаниям: едва ли подлежит сомнению, что ее быстро заметили в «декабристских» и близких к ним кругах русской дворянской интеллигенции. Книга ставила самые жгучие вопросы, освещая их с точки зрения метафизической этики; она давала широкие обозрения предшествующего века европейской истории и философской мысли; завлекательным для русского читателя было, наконец, самое заглавие ее, определявшее место действия. В библиотеке Пушкина сохранилось второе издание «Петербургских вечеров» 1831 года,<sup>106</sup> но он не мог не знать эту книгу и ранее.

«Петербургские вечера» де Местра представляют собою, как известно, серию философских диалогов (числом 11), которые ведут между собою в Петербурге, в 1809 году, три лица: сам автор, петербургский сенатор (le conseiller privé de T\*\*\*, membre du sénat de St. Pétersbourg) и молодой французский эмигрант, бежавший из Франции «во время революционной бури». Первый диалог разворачивается во время прогулки по Неве; автор начинает свою книгу живописной панорамой Петербурга в теплую белую ночь, открывающейся собеседникам с лодки, медленно скользящей по глади реки. Многого должно было увлечь и Пушкина в этой с подлинным литературным блеском написанной картине: «Нет ничего более редкостного и чарующего, как прекрасная летняя ночь в Петербурге, где она нежнее и молчаливее, чем в более мягких климатах. Солнце медленно, как будто с сожалением, расстаётся с землею. Его пылающий диск, окруженный красноватыми облаками, катится как огненный шар над темными лесами, венчающими горизонт, и его лучи, отраженные витражами дворцов, создают зрителю впечатление огромного пожара». Де Местр подробно описывает Неву, полноводно текущую в лоне великолепного города и до самого горизонта «сдержанную гранитными набережными, для чего невозможно отыскать ни образец, ни подражание»; Нева полна нарядных шлюпок, спящих взад и вперед; в отдалении видны иностранные корабли, складывающие свои паруса и бросающие якорь: сюда «по соседству с полюсом» привезли они дары тропических стран и плоды трудов всей земли.<sup>107</sup>

Медленно плывет лодка по Неве, и собеседники внимают красоте пейзажа и тишине ночи. . . Но вот возникает перед ними видная с Невы «конная статуя Петра I, возвышающаяся на краю необъятной Исаакиевской площади. Его суровое лицо смотрит на реку и все еще одушевляет судходство, созданное гением основателя. Все, что слышит ухо, все, что созерцает глаз в этом великолепном зрелище, вызвано мыслью этой могучей головы. Это она воздвигла столько пышных строений из болота. На этих прискорбных берегах, откуда природа кажется вовсе изгнала жизнь, Петр поместил свою столицу. Здесь создал он своих подданных, которые еще толпятся вокруг его царственного изображения. Его ужасная рука еще простерта над их будущей судьбою. Глядишь на него и не знаешь — его бронзовая длань защищает или угрожает?»<sup>108</sup>

<sup>105</sup> С. L. L e s u r. Annuaire historique universel pour 1821, Paris 1822. p. 801—802; из этой книги мы заимствуем и дату выхода в свет «Петербургских вечеров».

<sup>106</sup> Comte Joseph de M a i s t r e. Les soirées de St. Pétersbourg, ou entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence 2-me éd., Lyon, 1831; Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина, стр. 279 (№ 1127).

<sup>107</sup> J. De M a i s t r e. Les soirées de Saint-Pétersbourg (éd. Garnier), t. I, p. 2.

<sup>108</sup> Там же, т. I, p. 4.

Читая эти вступительные страницы к знаменитой книге де Местра, трудно отделаться от впечатления, что какие-то нити протягиваются от них к чеканным строфам «Медного всадника»; и для Пушкина, как и для де Местра, «кумир с простертой рукою», бронзовый облик того,

...чьей волей роковой  
Под морем город основался...

стал художественным предлогом для больших историсофских обобщений, для решения, хотя и в совершенно противоположном де Местру смысле,—проблемы добра и зла в сфере государственных и личных отношений.

В «Петербургских вечерах» рассказано, что в тишине этой сияющей ночи, в виду «медного всадника», простершего свою державную десницу и над городом и над плывущей мимо него лодкой, развертывается философский разговор о человеческой жизни и тех силах, которые ею управляют; разговор продолжается и в последующие вечера: де Местр достигает здесь крайних пределов своего пессимизма и наперекор всякому праву и долгу, в полном противоречии со всеми завоеваниями передовой общественной мысли этой поры, создает свою пристрастную апологию деспотизма, исполненную чудовищных парадоксов и оправдания зла, столь возмущавших впоследствии демократа В. Гюго. Теоретик дворянской реакции, фанатик, яростно боровшийся с наследием просветительского века, который он объявил «одним из самых постыдных периодов в истории человеческого разума», воинствующий ненавистник Руссо и его теории народовластия, пытавшийся реставрировать влияние папства и католицизма, де Местр, помимо того, создал в «Петербургских вечерах» свое учение о «божественности войны» как «искупительной жертвы», как «вечного, неизбежного, постоянного жертвоприношения».

В седьмом диалоге книги, преимущественно посвященном фаталистическому оправданию войны, именно петербургский сенатор Т\*\*\* задает автору ряд волнующих его вопросов, чтобы заставить себя затем убедить в противном; он недоумевает, например, почему отдельные народы, если они действительно перешли «от естественного состояния, в вульгарном смысле этого слова, к состоянию цивилизованному», не имели достаточно разума, чтобы добиться счастья, какое в состоянии были обрести отдельные люди? Как случилось, недоумевает он, что нации никогда не могли прийти к соглашению, чтобы навсегда прекратить возникающие между ними пререкания, ссоры, кровопролитные войны? Характерно, что в этом месте де Местр заставляет петербургского сенатора,—очевидно хорошо посвященного в теорию французских просветителей XVIII века и играющего роль несколько наивного их подголоска,—вспомнить Сен-Пьера и его проекты, для того чтобы тотчас получить резкую отповедь на это. «Можно легко выставить на посмешище неосуществимый мир аббата Сен-Пьера (а я допускаю, что он неосуществим), но я спрашиваю вас—почему?»—рассуждает сенатор. «Я спрашиваю, почему народы не могли возвыситься до общественного состояния (état social), какого достигли отдельные люди? Каким образом в особенности рассуждающая Европа (la raisonnée Europe) не пыталась испробовать что-либо в этом роде!.. Аргумент, который можно было бы извлечь из невозможности придать верховной власти желаемую всемирность, не имел бы силы. Народы и без того достаточно разъединены реками, морями, горами, религиями и особенно языками. И если бы некоторое количество народов согласилось бы перейти в состояние цивилизованности, то это уже был бы один шаг в пользу человечества. Другие народы, скажут мне, нападут на них. Не все ли равно! Они все-таки всегда ста-

нут с бóльшим спокойствием относиться друг к другу и будут более сильными с точки зрения других, и этого достаточно. Совершенство вовсе не необходимо в этом отношении: достаточно к нему приблизиться, и я не могу заставить себя убедить в том, что никогда нельзя было бы попытаться сделать что-нибудь в этом роде, минуя мистический и ужасный закон, требующий человеческой крови». <sup>109</sup> В ответ на эти робкие аргументы и недодуманные утверждения Ж. де Местр и развертывает перед сенатором этот самый «мистический и ужасный закон» войны, которая существует в мире навеки, как первородный грех, и не может быть уничтожена волею человека, как «Промысел божий». В войне, рассуждает де Местр, видят то «героическую поэму», то «бич человечества», для которого нет имени, то историческое явление, которое когда-то имело оправдание, но не имеет его теперь. С точки зрения де Местра, война — ни то, ни другое, ни третье; «война божественна» как «мировой закон» — и по причинам, по которым она возникает, и по своим исходам, не зависящим от ее участников; поэтому пролитая кровь питает землю непрерывно, как роса, и на громадном жертвеннике, именуемом землей, нет и не будет конца заклятиям.

Современным читателям эти испуганные страницы фанатика в оправдание войны могут показаться бредом, тем более опасным, что в них проявляется порой отравленная, болезненная поэзия. Не так ли должен был посмотреть на эти страницы и Пушкин вместе со своими передовыми современниками, с его трезвыми мыслями о войне, сложившимися с лицейских лет с помощью «декабристских» учений о справедливых и несправедливых войнах, в виду нового разгоравшегося военного пожара? Не эта ли книга явилась лишним поводом для кишиневского спора о войне и мире? Не она ли усилила горячность и категоричность утверждений Пушкина в его замечательном отрывке о «вечном мире»? В этом нет ничего невозможного. Писаниями де Местра очень интересовались и, несомненно, испытали на себе их влияние и П. Я. Чаадаев и М. С. Лунин, с мнениями которых Пушкин всегда считался и с которыми рад был спорить. Особенные причины интересоваться «Петербургскими вечерами» были, однако, у М. Ф. Орлова. Он был лично знаком с де Местром и состоял с ним в переписке; одно из писем Орлова к Жозефу де Местру (от 24 декабря 1814 года) написано было по поводу книги «*Considération sur la France*», <sup>110</sup> также переизданной в 1821 году в первом томе посмертного парижского «Собрания сочинений» де Местра; примечательнее всего то, что в этом издании (1821) впервые опубликовано было это самое письмо М. Ф. Орлова, переданное вдовой де Местра издателю Антуану Барбье 7 июля 1821 года. <sup>111</sup> Знал ли об этом М. Ф. Орлов уже в Кишиневе? Это очень вероятно; многочисленные друзья его не могли не сообщить ему об этом, да и в самом Кишиневе свежие французские книги получались довольно быстро; все это усиливает наше предположение, что и «Петербургские вечера», появившиеся в июне 1821 г. в Париже, могли быть получены в Кишиневе к ноябрю того же года, когда состоялся интересующий нас спор.

Однако и в том случае, если бы высказанные догадки не подтвердились, сопоставление идей де Местра о войне с отрывком Пушкина о вечном мире представило бы несомненный исторический интерес: на част-

<sup>109</sup> J de Maistre, *Soirées de St. Pétersbourg*, t. II, p. 12—13.

<sup>110</sup> Эта книга Ж. де Местра в позднем издании (1834) также была в библиотеке Пушкина (см. по описи Б. Л. Модзалевского № 1122. Библиотека А. С. Пушкина, стр. 279).

<sup>111</sup> М. Степанов Жозеф де Местр в России «Литературное наследство», т. 29—30, 1937, стр. 625.

ном, но типичном примере выяснилось бы лишний раз, какая пропасть разделяла Пушкина и этого старого дворянского реакционера, «наглого, бессовестного фанатика» и «ярого поборника крайнего деспотизма», как де Местра назвал, одно время бывший его приверженцем, младший современник Пушкина В. С. Печерин.<sup>112</sup> Нет, война не божественна, — утверждает Пушкин. Ее вызывают и ею управляют люди, те самые, для которых уготована будет гильотина. Нет, война не вечный закон. Она будет устранена волей народов.

Будем надеяться, что Пушкин и на этот раз был прав.



<sup>112</sup> В. С. Печерин. Замогильные записки, М., 1932, стр. 114.

## У ИСТОКОВ ВЕЛИКОЙ СЛАВЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Начало литературы Киевской Руси, судя по дошедшим до нас памятникам, относится к первой половине XI века и связано с приобщением восточных славян к христианству. Не подлежит сомнению, что частичная христианизация Руси началась еще до массового ее крещения в конце X века при Владимире Святославиче, но от поры довлдимирового княжения и от времени Владимира до нас не дошло ни переводных, ни оригинальных литературных памятников, хотя нет оснований полагать, что они вообще не существовали. Древнейшие русские памятники, дошедшие до нас, датируются временем Ярослава Мудрого. В эту пору, без сомнения, началось русское летописание; тогда же получила особенно широкое распространение переводная литература, в частности обязанная трудам русских переводчиков. Литературный язык древней Руси создан в результате взаимодействия древнеболгарского (церковнославянского) языка и живого русского языка, проникавшего в памятники русской письменности в большей или меньшей степени в зависимости от самого характера этих памятников, их практического назначения и идейного содержания, а также жанровой их природы.

Как бы то ни было, не только литературный, но и живой, разговорный язык, по крайней мере наиболее культурных слоев Киевской Руси, был очень близок к болгарскому языку, и это явилось одним из факторов, обусловивших культурное воздействие на Русь Болгарии, значительно опередившей Русь в массовом приобщении к христианству и в развитии у себя письменности. Болгарии принадлежала большая роль в христианизации Руси еще до Владимира, в снабжении ее богослужебными книгами, в удовлетворении ее потребностей в церковной иерархии.<sup>1</sup>

Позднее, уже при Владимире, завязались близкие политические и династические отношения Киевской Руси с Чехией; еще позднее, не ранее XI века, можно говорить о связях чехо-моравской литературы в ее церковнославянской традиции с Киевской Русью.<sup>2</sup> Однако связи эти осуществлялись, видимо, все же преимущественно через посредство южнославянского, точнее — болгарского. Общеизвестно, что и болгарская, и чехо-моравская письменность и литература возникли под сильным византийским влиянием.

Не приходится говорить о литературных связях Киевской Руси ни с Сербо-Хорватией, ни с Польшей; церковнославянская письменность

<sup>1</sup> Подробнее об этом см.: А. А. Шахматов. Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни. «Научный исторический журнал», 1914, № 4, стр. 49—52; А. А. Шахматов. Введение в курс истории русского языка, ч. 1 Пгр., 1916, стр. 81—82; В. Николаев. Славяно-болгарский фактор в христианизации на Киевская Русия. София, 1949.

<sup>2</sup> Подробнее об этом см.: А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений (X—XVIII вв.), т. 1. Прага, 1935, стр. 9—151.



в Сербо-Хорватии возникла значительно позднее, чем в Болгарии, при том под ее влиянием, и позднее, чем на Руси; что же касается Польши, то у нас нет достаточно надежных данных, свидетельствующих о существовании в ней церковнославянской письменности.<sup>3</sup>

Для того чтобы уяснить связь литературы Киевской Руси с древнейшей церковнославянской традицией Болгарии и Чехо-Моравии, остановимся на характеристике той и другой традиции и на их отношениях с литературным творчеством Киевского государства.

## 1

Обычно развитие литературы киевского периода связывалось с византийско-болгарским влиянием. С настойчивыми возражениями против этого укоренившегося в науке положения выступил Н. К. Никольский, утверждавший факт значительного западнославянского влияния, сказавшегося прежде всего на древнейшей русской летописи.<sup>4</sup>

Выяснение культурно-литературных связей западного славянства с древней Русью на заре ее исторического существования Н. К. Никольский считает тем более настоятельной задачей, что в IX—XI веках не Византия и Болгария, а Мораво-Паннония, Чехия и Польша были ближайшими соседями русских племен, а Моравия была самым ранним очагом кирилло-мефодиевской письменности, способствовавшим развитию всех славянских литератур.

Однако если не считать гипотетической теории о мораво-чешском источнике начальной части древнерусской летописи, Никольский не привел сколько-нибудь убедительных фактов, свидетельствующих о влиянии западнославянской книжности на литературу древней Руси. Указанные им факты взаимообщения Киевской Руси со славянским Западом связаны не с литературным, а преимущественно общекультурным материалом. Самое представление Никольского о мощном развитии у западных славян церковнославянской письменности в X—XI веках не подкреплено надлежащими доказательствами.

Общеизвестны политические, экономические и династические связи древней Руси, еще со времени княжения Владимира Святославича, с Чехией. Одним из существенных показателей этих связей был культ на Руси чешского князя Вячеслава (Вацлава), убитого в 927 году его братом Болеславом. Это убийство в сознании политических и религиозных кругов Руси ассоциировалось с убийством — также из-за политического соперничества — Бориса и Глеба их братом Святополком. Чествование на Руси памяти Вячеслава подкрепляло в первую очередь политическую апологию двух сыновей Владимира, павших от руки их брата — убийцы. Очень вероятно, что инициатором культа чешского князя мог быть Ярослав Мудрый, в политических интересах которого было прославление памяти Бориса и Глеба и дискредитация Святополка. Уже в древнейшей русской служебной Минее 1095—1096 годов находится канон Вячеславу, встречающийся и в позднейших служебных минеях. Вячеслав был признан святым русской церковью в отличие от церкви византийской и болгарской, которые не числили его в своих святцах. Уже с первой поло-

<sup>3</sup> См.: А. Л. Пог о д и н. Лекции по истории польской литературы, часть 1. Харьков, 1913, стр. 24; I. О г и е н к о. Костянтин і Мефодій, їх життя та діяльність, ч II, Варшава, 1928, стр. 185—187.

<sup>4</sup> См.: Н. К. Никольский. «„Повесть временных лет“ как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании», вып. 1. Л., 1930, а также его доклад «К вопросу о следах мораво-чешского влияния на литературные памятники домонгольской эпохи». «Вестник Академии наук СССР», 1933, № 8—9, стр. 6—18.

вины XI века имя Вячеслав носили многие русские князья. В древнейшую пору на Руси известно было не только переводное житие Вячеслава, восходящее как к основному источнику к латинской легенде Гумбольда, но и житие его, написанное на церковнославянском языке и возникшее в Чехии, очевидно, вскоре же после трагической его кончины. Текст этого жития впервые был обнаружен Востоковым в рукописи XV — начала XVI века и опубликован им в 1827 году. Впоследствии найдены были хорватские глаголические тексты жития и текст его в составе Великих Четых Мисей митрополита Макария (XVI век), известный также в большом количестве минейных списков. Минейный текст, как и восточковский, возникший в Чехии на церковнославянском языке, по сравнению с восточковским отличается рядом подробностей, отсутствующих в последнем. Существенной особенностью минейного текста является внесенное уже на русской почве сравнение Болеслава, убийцы Вячеслава, со Святополком: «В то же время всея диавол, иже из начала ненавидя рода человека, Болеславу лукавая в сердце его и наusti его на брата своего, якоже и окаянаго Святополка, иже совеща злое на братию свою в сердце своем, озби братию свою и приим власть един в Рустей земли». Нужно думать, что перенесение жития Вячеслава на русскую почву предшествовало появлению канона ему на Руси.

На Русь жития Вячеслава могли проникнуть через южнославянское посредство или непосредственно из Чехии в результате весьма вероятного сношения с Печерским монастырем монастыря Сазавского, куда, между прочим, в конце XI века были переданы частицы мощей Бориса и Глеба.

Кроме обычных житий Вячеслава, в древней Руси были известны проложные его жития, а также проложное житие его бабки Людмилы. Все они дошли до нас только в русских списках, причем проложные жития Вячеслава и возникли, возможно, на Руси, на основе восточковского жития;<sup>5</sup> что же касается проложного жития Людмилы, то в основу его, видимо, положено было не дошедшее до нас церковнославянское ее житие, возникшее в Чехии.<sup>6</sup>

Киевская Русь, очевидно, знакома была и с обоими так называемыми паннонскими житиями — Кирилла и Мефодия. Во всяком случае, житие Мефодия, вообще сохранившееся лишь в русских списках, известно было на Руси уже в XII веке в составе сборника Московского Успенского собора. Но вопрос о месте написания этих житий, как и об их авторе или авторах, до сих пор еще не может считаться решенным. Как бы то ни было, мы не имеем данных для того, чтобы говорить о влиянии «паннонских» житий на памятники русской литературы. Житие Мефодия и в значительной части житие Кирилла использовано было частично в дополненном и измененном виде в качестве одного из источников «Повести временных лет», в рассказе о происхождении славянской грамоты. Рассказ этот помещен в летописи под 898 годом и восходит, в качестве вставки, как предполагал Шахматов, к утраченному западнославянскому источнику, условно названному Шахматовым «Сказание о предложении книг на словенский язык» и возникшему в Моравии или в Чехии в среде последователей славянского обряда.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> См.: В. А. Францев. Апология св. Вячеслава. «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук» (в дальнейшем ИОРЯС), т. VII, 1902, кн. 2, стр. 390

<sup>6</sup> Подробнее о житийных произведениях, посвященных Вячеславу и Людмиле, см.: А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне, т. 1, стр. 120—142, 470—471; М. Weingart. Československý typ církevní slovančiny, jeho pamiatku a vyznam. Brat'ava, 1949, стр. 47—60.

<sup>7</sup> См.: А. А. Шахматов. Сказание о предложении книг на словенский язык. «Zbornik v slavu Vartoslava Jagiča», Berlin, 1908, стр. 171—188; А. А. Шахматов в «По-

Независимо от того, согласимся мы или не согласимся с гипотезой Шахматова, мы имели бы дело лишь с одним из случаев использования источника, обычных в любом историческом труде старого и нового времени.

Единственный случай, когда возникает вопрос о влиянии западнославянского (чешского) памятника церковнославянской литературы на литературный памятник Киевской Руси, — это когда заходит речь о связи анонимного «Сказания» о Борисе и Глебе с легендой о Вячеславе Чешском. Известно, что в анонимном «Сказании» говорится о том, что Борис в предвидении расправы с ним Святополка вспоминает «мучение и страсть» мученика Никиты, Вячеслава Чешского и Варвары.<sup>8</sup> Это дало повод некоторым исследователям, помимо утверждения, что автор «Сказания» был знаком с этими житиями, искать влияния их на «Сказание». Влияние житий Никиты и Варвары при этом обнаружено не было, но кое-кто усматривал наличие такого влияния со стороны жития Вячеслава, ограничиваясь, впрочем, лишь самыми общими приблизительными сопоставлениями отдельных подробностей в текстах житий обоих святых. В самое последнее время о зависимости «Сказания» от житийных произведений о Вячеславе Чешском настойчиво заговорил Н. Н. Ильин в своей книге «Летописная статья 6523 года и ее источник» (М., 1957). Статья эта, как известно, повествует об убийстве Бориса и Глеба.

Общеизвестно, что в русской агиографии, как и в любой другой средневековой, в том числе южнославянской и западнославянской агиографии, мы обнаруживаем отдельные тематические, стилистические и композиционные заимствования из предшествовавшей житийной литературы, больше всего из византийской. Ничего невероятного не было бы и в предположении о наличии известных заимствований из легенды о Вячеславе (разумеется, в ее церковнославянском варианте) и в «Сказании» о Борисе и Глебе. Но дело в том, что примеры, приведенные Н. Н. Ильиным для подтверждения факта этих заимствований, большей частью являются общими агиографическими штампами или лишней раз свидетельствуют о том, что те или иные сходные ситуации и тематические подробности в отдельных памятниках являются результатом исторических и фактических обстоятельств, вызвавших появление этих памятников на свет. К тому же сам Н. Н. Ильин, говоря о связи «Сказания» о Борисе и Глебе с житием Вячеслава, пишет: «Вернее сказать, что мы имеем дело не с простым заимствованием, а с мастерской литературной переработкой жития Вячеслава. Созданное русским автором литературное произведение в художественном отношении выше оригинала, которому он подражал».<sup>9</sup>

Мы не касаемся некоторых других соображений, преимущественно зарубежных славистов, по вопросу о влиянии чешских церковнославянских памятников на литературу Киевской Руси, поскольку они большею

весть временных лет» и ее источники. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. IV. Изд. АН СССР, М.—Л., 1940, стр. 80—92.

<sup>8</sup> По странному недоразумению Шахматов указывает, что в «Чтении» о Борисе и Глебе Нестора имеется упоминание о житии Вячеслава («Повесть временных лет» и ее источники. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. IV, стр. 84). О том же говорит и Н. К. Никольский («„Повесть временных лет“ как источник для истории начального периода русской письменности и культуры», стр. 22), ссылаясь на указанное исследование Шахматова, известное ему по рукописи. Ошибка эта повторена и А. С. Орловым (История русской литературы, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 57). Между тем упоминания о житии Вячеслава нет в «Чтении» Нестора, и оно присутствует только в анонимном «Сказании» о Борисе и Глебе.

<sup>9</sup> Н. Н. Ильин. Летописная статья 6523 года и ее источник. Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 53—54.

частью отличаются гипотетичностью и высказаны без сколько-нибудь достаточной аргументации.<sup>10</sup>

Таким образом, говорить о значительном западнославянском влиянии на древнейшую русскую литературу не приходится.

## 2

Неизмеримо шире, чем в Моравии и в Чехии, церковнославянская письменность развилась в Болгарии, откуда она затем распространилась и на Руси, и в Сербии. Не может быть сомнения в том, что переводческие труды братьев Кирилла и Мефодия и их учеников, совершенные в Моравии и Паннонии, вскоре же стали известны в Болгарии. После смерти Мефодия в 885 году ученики и сотрудники братьев-первоучителей, в результате обрушившихся на них гонений со стороны латинонемецкого духовенства, нашли себе приют в Болгарии, где им оказано было гостеприимство князем Борисом и его сыном Симеоном, впоследствии знаменитым болгарским царем. Особенно успешно протекало на первых порах развитие церковнославянской письменности в Западной Болгарии, преимущественно в Македонии с ее центром — Охридой, куда Борисом был направлен самый плодовитый и едва ли не самый энергичный из учеников Кирилла и Мефодия — Климент Словенский и куда затем на помощь к нему был послан друг его, быть может, брат — ученик Мефодия Наум.

В IX — начале X века в Болгарии было переведено огромное количество произведений византийской литературы, почти исключительно церковного характера. Особенный расцвет переводческой деятельности там падает на «золотой век» царя Симеона. Продолжались переводы книг «священного писания», частично с толкованиями, разнообразной богослужебной и канонической литературы, начатые еще Кириллом и Мефодием и их ближайшими учениками, переводились в большом количестве произведения отцов церкви, частично в составе обширных сборников, вроде дошедших до нас в русских списках «Изборника Святослава» 1073 года, «Учительного Евангелия» Константина Болгарского, «Златоструя», переведенных по инициативе царя Симеона, жития святых и подвижников в отдельных списках и в составе четких-миней и патериков, апокрифы, Хроника Иоанна Малалы с вошедшим в нее Сказанием о Троянской войне, быть может, Хроника Георгия Амартола (позднее, возможно в конце XI или в начале XII века, в Болгарии сделан был перевод Хроники Иоанна Зонары), «Откровение» Мефодия Патарского, вероятно, «Физиолог». Среди переводчиков мы находим имена крупнейших болгарских писателей поры князя Бориса и века царя Симеона.

Оригинальная болгарская литература представлена была сочинениями Климента Словенского, Константина Болгарского, Иоанна, экзарха Болгарского, Черноризца Храбра, Петра Черноризца, Козмы пресвитера.

С именем Климента связывается большое количество церковно-ораторских произведений — «слов» и «поучений», часть которых, предназначенная для рядовых слушателей и содержащая в себе элементарные религиозно-нравственные наставления, написана простым, доступным для широкой паствы языком.

<sup>10</sup> Так, например, Д. Чижевский, отрицая влияние жития Вячеслава Чешского на анонимное «Сказание» о Борисе и Глебе, бездоказательно усматривает такое влияние в «Чтении» о Борисе и Глебе Нестора (особенно со стороны гумбольдовой легенды) и в его же житии Феодосия Печерского (См.: Д. Чижевский. Исторія української літератури від початків до доби реалізму. Нью-Йорк, 1956, стр. 84, 91, 93—94, 97).

Крупнейшей фигурой, стоявшей во главе литературного движения при царе Симеоне, был Иоанн, экзарх Болгарский. Важнейшими его трудами являются переводы третьей части обширного богословского трактата Иоанна Дамаскина «Слова о правой вере», а также составление «Шестоднева», на основе главным образом одноименных сочинений Василия Великого и Севериана Гевальского. Главной задачей Иоанна экзарха было обоснование и утверждение христианской догматики в споре, с одной стороны, с античными философами, с другой — с еретическими течениями в самом христианстве. В ряде случаев Иоанн экзарх обнаруживает тут и самостоятельный творческий почин, сказывающийся в тех экскурсах «Шестоднева», в которых рассказывается о быте болгар и хозар, и особенно там, где описывается великолепие преславского царского дворца и преславских церквей и изображается величественная фигура Симеона (которому посвящен «Шестоднев») в окружении его вельмож.

Несколько дошедших до нас «Слов» Иоанна экзарха отличаются большим искусством построения, высоким ораторским мастерством, хотя в большинстве случаев они не самостоятельны и подражают лучшим ораторским образцам отцов церкви.

В связи с широким распространением в Болгарии середины X века ереси богомилов пресвитер Козма написал полемический трактат «Слова на еретики», направленный против богомильского учения и в то же время обличающий отрицательные стороны церковного и общественного быта в современной Козме Болгарии. Время жизни и писательской деятельности Козмы точно до сих пор не определено. Оно колеблется между X и XI веками.<sup>11</sup>

Литературная деятельность других названных писателей также представлена в основном произведениями церковно-богословского характера.

Болгарская литература древнейшего периода крайне бедна оригинальными житийными произведениями. Нам неизвестны жития большинства канонизованных церковных болгарских деятелей, а также царя Петра. В лучшем случае до нас дошли только краткие биографические справки о некоторых из них. Если не считать житий Кирилла и Мефодия, похвальные слов в их честь и служб им, мы можем назвать лишь краткое житие ученика первоучителей Наума Охридского<sup>12</sup> и, предположительно, не дошедшее до нас житие Климента Словенского — труды неизвестных авторов, их учеников. Житие Наума наиболее ценно теми сведениями, которые в нем сообщаются о судьбе изгнанных из Моравии учеников первоучителей после смерти в 885 году Мефодия, а также о судьбе самой Моравии, завоеванной венграми.

На основании дошедших до нас памятников болгарской литературы в древнейшую пору ее развития мы не можем судить с полной достоверностью о ее объеме и характере: очень вероятно, что многое из того, что было создано болгарской литературой в эту пору, погибло в обстановке исторических событий, мало способствовавших сохранности рукописного материала. О крайне неблагоприятных условиях для сохранности старинных памятников болгарской литературы говорит тот факт, что дошли они до нас не в болгарских, а в русских и частично в сербских списках.

<sup>11</sup> См.: Д. Ангелов. Богомильство в Болгарии. М., 1954, стр. 33; В. Сл. Киселков. Проуки и очерти по старобългарска литература. София, 1956, стр. 135—137.

<sup>12</sup> Издано П. А. Лавровым в статье «Жития св. Наума Охридского и служба ему». ИОРЯС, т. XII (1907), кн. 4, СПб., 1908, стр. 37 и стр. 50—51 (фототипически) и одновременно Йорданом Ивановым («Български старини из Македония»). Во втором издании (София, 1931) стр. 306—307. Перепечатано П. А. Лавровым в «Трудах славянской комиссии», т. 1. Л., 1930, стр. 181—182.

И тем не менее обращает на себя внимание то, что древнейшая болгарская литература, насколько мы ее знаем, представлена преимущественно переводными с греческого произведениями, а также и то, что и переводные и оригинальные древнейшие болгарские литературные памятники почти исключительно характеризуются церковно-религиозным содержанием.

Болгарский ученый А. Теодоров-Балан указывает на то, что болгарская литература, в противоположность всем другим европейским литературам, в IX столетии, на заре своего возникновения, являясь по своему языку литературой национальной, не является, однако, таковой по своей идее: «Национальная идея в каждой литературе проявляется ярче всего в произведениях родной истории и родной поэзии. Древняя болгарская литература, ставящая себе только религиозно-учительные задания, питающаяся византийскими идеями и твердо стоящая на том, на чем воспиталась, не делала попыток к созданию ни исторических, ни каких-либо художественных произведений».<sup>13</sup>

Чем объяснить исключительно церковно-религиозное направление древнейшей болгарской литературы? Очевидно, прежде всего тем, что укоренению в Болгарии христианства противился простой народ, видевший в смене язычества христианством усиление феодального гнета. Это выразилось, в частности, в развитии богомильской и в распространении павлинианской и мессалианской ересей, во многом сходных с ересью богомилов.<sup>14</sup>

Распространение в Болгарии христианства, начавшееся еще до официального его принятия при князе Борисе, главным образом среди славянской части ее населения и в придворной среде, вызывало усиленное сопротивление также со стороны влиятельных аристократических слоев болгарского боярства, опасавшегося утраты своих сословных привилегий в борьбе с княжеской властью, опиравшейся на послушную ей церковную иерархию.

Блестящее развитие церковно-религиозной переводной и оригинальной литературы в Болгарии в пору царя Симеона явилось в значительной мере завершением борьбы с рецидивами язычества, за торжество христианства.

### 3

Какова же была роль Болгарии в возникновении и развитии литературы Киевской Руси — литературы древнейшего восточного славянства, из которого впоследствии выделились народы — русский, украинский и белорусский? Нет оснований сомневаться в том, что в связи с распространением христианства в Киеве и южном Поднепровье, еще задолго до официального его утверждения при Владимире, на Руси вместе с болгарским духовенством появились и богослужебные книги на болгарском языке, необходимые для отправления церковной службы. Территориальные, экономические, этнические и языковые факторы обусловили непосредственную книжно-церковную связь Киевской Руси, в особенности на первых порах, именно с Болгарией, а не с Византией. Византийское влияние на Русь с самого начала осуществлялось через посредство Болгарии, ранее

<sup>13</sup> А. Теодоров-Балан. Очерк истории болгарской литературы сравнительно с историческим развитием других славянских литератур. «Центральная Европа», 1930. № 10, стр. 597.

<sup>14</sup> См.: Д. Ангелов, ук. соч., стр. 49—54.

приобщившейся к византийской церковно-религиозной культуре.<sup>15</sup> Как с достаточным основанием утверждал еще М. Н. Сперанский, памятники древней болгарской письменности переходили на Русь до ее официального крещения из западной Болгарии.<sup>16</sup> Нужно думать, что в снабжении Руси болгарскими книгами деятельное участие принимал Константинополь, являвшийся огромным рынком, торговавшим различными товарами, в том числе и церковнославянскими книгами.<sup>17</sup> Поступали на Русь книги, очевидно, и с Афона, где существовал русский монастырь св. Пантелеймона, населенный русскими монахами.<sup>18</sup>

Киевская Русь располагала огромным количеством переводной византийской литературы, преимущественно церковно-религиозного характера, полученной ею главным образом через болгарское посредство. Уже само по себе энергичное собирание Киевской Русью памятников переводной книжности свидетельствует о том стремлении к просвещению, какое отличало ее с первых же шагов приобщения к христианской культуре.

В пору Киевской Руси широко распространены были не только памятники византийской переводной литературы, пришедшие через Болгарию, но и произведения оригинальной болгарской литературы, в том числе, видимо, и некоторые апокрифы, возникшие в богомильской среде.

Известно, что в эпоху Ярослава и позднее в Киевской Руси делались переводы с греческого при совместном участии русских и болгарских переводчиков или самостоятельно силами одних лишь русских переводчиков. Показательно, что в эпоху Киевской Руси, помимо произведений церковно-религиозного характера, были переведены непосредственно на русский язык произведения повествовательного жанра (псевдокаллисфенова «Александрия», «Девгениево Деяние», повести о Варламе и Иосафе, об Акире Премудром, о царе Адариане), а также исторические произведения («История Иудейской войны» Иосифа Флавия, Хроника Георгия Синкелла, «Летописец вскоре» патриарха Никифора), сочинение космографического и географического содержания — «Христианская топография» Козмы Индикоплова, «Физиолог» второй редакции, сборник морально-назидательных изречений, заимствованных из церковной литературы и из античных писателей, — «Пчела».<sup>19</sup> Сам по себе характер такого рода памятников свидетельствует о том, что Киевская Русь не удовлетворялась одной лишь строго церковно-религиозной книжностью, которую она получила в болгарских и в очень немногочисленных западнославянских переводах.

Весьма существенно, что древнерусские переводы не всегда были чисто механическими, буквально воспроизводящими текст оригиналов, а в отдельных случаях обнаруживали самостоятельный почин перевод-

<sup>15</sup> См.: А. А. Шахматов. Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни. «Научный исторический журнал», 1914, № 4, стр. 49—52; Б. Ст. Ангелов. К вопросу о начале русско-болгарских литературных связей. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. XIV, 1958, стр. 132—138.

<sup>16</sup> См.: М. Н. Сперанский. Откуда идут старейшие памятники русской письменности и литературы. «Slavia», Ročník VII, sešit 3, 1928, стр. 516—535.

<sup>17</sup> См.: А. И. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. «Сборник Отделения русского языка и словесности», т. LXXXVIII, № 3, стр. 136.

<sup>18</sup> См.: Г. А. Ильинский. Значение Афона в истории славянской письменности. «Журнал министерства народного просвещения», 1908, № 11, стр. 10—21; В. Мошин. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI—XII вв. «Byzantinoslavica», IX/I (1947), стр. 55—85.

<sup>19</sup> См.: А. И. Соболевский. Материалы и исследования..., стр. 162—177; В. М. Истрин. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906, стр. 2—34 (о переводе Хроники Георгия Синкелла); Н. Н. Дурново. Введение в историю русского языка, ч. I. Вгпо, 1947, стр. 76—84.

чика, его индивидуальную манеру и свободу обращения с оригиналом.<sup>20</sup> Наиболее показательным образцом такого перевода является работа русского переводчика «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия. Свою самостоятельность он проявил не только в свободном подходе к тексту оригинала, в одних случаях сокращая его, в других дополняя, заменяя прямую речь косвенной, но и в приспособлении перевода к норме русской художественной и бытовой речи, близкой к стилю русских оригинальных памятников, в основном летописных, и к поэтическим образам, к тому времени уже обрабатывавшимся в русском литературном обиходе.<sup>21</sup>

Незаурядное качество древнерусского перевода крупнейшего произведения Иосифа Флавия дает наглядное представление о том, какой высоты могло достигать переводческое дело в Киевской Руси, отражавшее, впрочем, общую высоту ее культуры.

Естественно, что обращенная в христианство Киевская Русь должна была стремиться к усвоению христианской книжности, в основной своей массе возникшей на почве старейшей по своей христианской культуре стране — Византии, чья роль в приобщении славянства к христианству была исключительно велика. Получив преимущественно через посредство болгарских переводов очень большое количество текстов христианской книжности, древняя Русь избавлена была от необходимости брать на себя тяжелое и подчас непосильное бремя обширной переводческой работы, до нее уже выполненной теми болгарскими деятелями, которые по местным условиям, по своему образованию, иногда греческому происхождению были гораздо ближе к греческой языковой культуре, чем русские люди. Русским, как сказано было выше, пришлось лишь пополнить своими переводами то, чего они не нашли в Болгарии, при этом в ряде случаев, вероятно, работая в сотрудничестве с более опытными в греческом языке пришлыми болгарскими, а частично, может быть, и западнославянскими книжниками. Это сотрудничество могло осуществляться не только на Руси, но и в Константинополе, и на Афоне.

Таким образом, литература Киевской Руси, получив от Болгарии в свое распоряжение большое количество памятников византийской литературы, сама увеличила доставшийся ей обширный переводный фонд собственными переводами с греческого языка. Переводы эти в ряде случаев выходили за рамки строго церковно-религиозной тематики, хотя древняя Русь точно так же, как и Болгария, не знала произведений с чисто светским содержанием, к которым принадлежали распространенные в Византии любовные романы или исторические сочинения, чуждые религиозной окраски. Последнее объясняется, во-первых, тем, что поставщиками книжного материала и в Болгарию, и на Русь были преимущественно церковные круги, естественно заинтересованные в пропаганде среди новообращенных в христианство учения новой религии, во-вторых, тем, что в обеих славянских странах книжными людьми были преимущественно церковные люди и отчасти покровительствовавшие церкви князья.

Как бы то ни было, при посредстве переводной литературы Киевская Русь приобщалась к византийской литературной культуре.

Однако древняя русская литература по сравнению с другими славянскими литературами древнейшего периода с самого своего возникновения характеризовалась ярко выраженным своеобразием.

<sup>20</sup> См.: В. М. Истрин. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе, т. II. Пг., 1922, стр. 152 и сл.; Д. С. Лихачев. Возникновение русской литературы. Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 134—137.

<sup>21</sup> См.: Н. К. Гудзий. История древней русской литературы, изд. 6-е. М., 1956, стр. 142—148; Н. А. Мещерский. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 47—153.



## 4

Каковы же отличительные особенности оригинальной литературы Киевского периода по сравнению с усвоенным ею болгарско-византийским переводным фондом и с древнейшей болгарской литературой? Эти особенности явственно сказываются прежде всего в том, что русская литература с самого своего возникновения, будучи публицистически насыщенной, была гораздо теснее связана с запросами и потребностями своей национальной истории, чем литература болгарская, сосредоточившаяся преимущественно на религиозно-церковной тематике. Выше отмеченное преобладание такой тематики у болгарских писателей объяснялось потребностью защиты христианства от языческой оппозиции, тем более угрожавшей христианству, что она была представлена влиятельными социальными слоями болгарского общества. Немалое значение имело тут и развитие в Болгарии еретических движений, приведших в конце концов к богомилству.

Что же касается Киевской Руси, то сколько-нибудь серьезного сопротивления со стороны язычества введению христианства не было. Отдельные факты такого сопротивления в народной массе не находили себе поддержки в феодальных верхах, так как в эпоху Киевской Руси вообще не имела места оппозиция княжеской власти со стороны этих верхов, как это было в Болгарии в IX веке. Сколько-нибудь значительные с точки зрения своей организованности еретические выступления в Киевской Руси также отсутствовали. По всем этим причинам она не нуждалась в развитии специально церковной литературы в такой мере, в какой в ней нуждалась Болгария в пору своей христианизации.

Известно, какую роль играло богословское направление мысли в духовной жизни европейского средневековья. «Это верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности,— писал Энгельс,— было в то... время необходимым следствием того, что церковь являлась наивысшим обобщением и санкцией существующего феодального строя».<sup>22</sup> Но при всем том, как указывал еще Добролюбов, русская литература в самую начальную пору своего существования, будучи церковной по содержанию, «не ограничивается уже, однако, исключительно религиозными интересами: она служит также орудием власти светской, хотя все еще не выходит из круга духовных предметов».<sup>23</sup>

В самую раннюю пору развития литературы в Киевской Руси возникает летописание, которому суждено было в дальнейшем на протяжении нескольких веков стать одним из главнейших и влиятельнейших жанров русской литературы. Возникновение на Руси летописания и последующее его широкое развитие свидетельствует об усиленном интересе русского человека к своему историческому прошлому, о его стремлении осмыслить настоящее путем сопоставления его с минувшим — черта, характерная для русской культуры не только старого времени. Никакая другая средневековая литература не создала ничего равноценного «Повести временных лет». Не найдем мы ничего равного ей и в древних инославянских литературах. Мы ничего не знаем о существовании летописи в древней Болгарии, но если она там и существовала, то должна была значительно уступать русской летописи. Такой эрудированный знаток древнерусского летописания, каким был немецкий историк Шлецер, оценивая древние иностранные летописи, в том числе немецкие, в сравнении их с «Повестью

<sup>22</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII, стр. 128.

<sup>23</sup> Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах, ГИХЛ, т. 1, 1934, стр. 222.

временных лет», единоличным автором которой он считал Нестора, писал: «Теперь пусть сравнят беспристрастно русское богатство с бедностью всей остальной верхнесеверной истории; Несторову древность с молодостью скандинавов, прочих славян и венгров; полноту и связь в русской истории с отрывками других; ее правдивость и важность с легкомысленными выдумками первых скандинавских, славенских и венгерских современников и всеми их продолжениями до XVI столетия!».<sup>24</sup>

Однако со времени того же Шлецера на долгое время утвердилось представление о сильной зависимости начальной русской летописи от византийской хронографии. В дальнейшем в числе хронографических сочинений, якобы оказавших значительное влияние на древнее русское летописание, была выдвинута Хроника Георгия Амартола. Рядом с нею были указаны затем и другие сочинения византийской литературы, использованные в «Повести временных лет».<sup>25</sup> Но следует полностью согласиться с тем определением отношения «Повести» к этим сочинениям, какое дано Д. С. Лихачевым, перечислившим некоторые из них: «... Повесть временных лет», — пишет он, — использовала переводную греческую литературу исключительно как исторический источник. В этом использовании было не больше „подражания“ византийским хроникам, чем в любом историческом труде нового времени, цитирующем свои источники».<sup>26</sup>

В частности о литературном влиянии Хроники Георгия Амартола на «Повесть временных лет» не может быть и речи прежде всего потому, что сочинение Амартола неизмеримо ниже нашей начальной летописи и по своим литературным качествам и по своему идейному уровню.

В литературе, посвященной «Повести временных лет», неоднократно отмечалось, что ни по форме, ни по содержанию «Повесть» не имеет сходства с Хроникой Амартола.<sup>27</sup> Высокий патристический строй «Повести временных лет», теснейшая связь ее с злободневными политическими событиями древней Руси, присущая ей широта общеисторического кругозора и сознание славянского единства, ее образные средства, обусловленные высотой русской языковой культуры, связь «Повести» с русским устным поэтическим творчеством — всё это никак не могло быть внушено ей никакими использованными ею источниками, в том числе и Хроникой Георгия Амартола. Связь «Повести временных лет» с русской народно-поэтической стихией очень хорошо отмечена Буслаевым.<sup>28</sup> Шахматов допускал широкое проникновение народно-поэтического материала уже в Древнейший Киевский свод 1039 года.

Летописание на раннем этапе своего развития велось не только в Киеве, но и в Новгороде, где в 1050 году возникает свой древнейший

<sup>24</sup> А. Шлецер. Нестор. Перевод с немецкого Д. Языкова. СПб., 1809. стр. МД — МЕ.

<sup>25</sup> Наиболее полное их перечисление у А. А. Шахматова: «Повесть временных лет» и ее источники. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. IV, 1940, стр. 36—150.

<sup>26</sup> Д. С. Лихачев. «Повесть временных лет» (Историко-литературный очерк) — в изд.: «Повесть временных лет», часть вторая (серия АН СССР «Литературные памятники»), М.—Л., 1950, стр. 144. В наше время значительную якобы зависимость «Повести временных лет» от византийских хроник Малалы и Амартола усматривает проф. А. Стендер-Петерсен, вообще склонный преувеличивать иноземные влияния на древнюю русскую литературу, в том числе и византийское влияние (ср. его статью «Die Problematik der russischen Literatur. Vom Bysantinismus zum Europäismus. «Vorträge auf der Berliner Slavistentagung» (11—13 November, 1954), Academie—Verlag. Berlin, 1956, стр. 134).

<sup>27</sup> Об отличиях «Повести временных лет» от Хроники Амартола см.: М. И. Сухомлинов. О древней русской летописи как о памятнике литературном, «Исследования по древней русской литературе». СПб., 1908, стр. 182 и сл.

<sup>28</sup> Ф. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. т. II. СПб., 1861. стр. 83.

свод, в основу которого положен был Древнейший Киевский свод 1039 года в соединении с ранними местными летописными записями. Что касается «Повести временных лет», то она использована была в той или иной степени областным летописанием XII — начала XIII века. Под ее влиянием возникли летописи Переяславля Южного, Черниговская, Киевская, Владимирская, Новгородская XII века, Ростовская, Переяславля Суздальского. На основе «Повести временных лет» создано и Галицко-Волынское летописание, начавшееся, впрочем, еще в XI веке, судя по отдельным рассказам, вошедшим, несомненно, из Галицкой летописи в «Повесть временных лет» и в Киевскую летопись.

Широкое развитие летописного творчества в Киевской Руси, особенно ярко сказавшееся в таких замечательных памятниках, как «Повесть временных лет», Киевская и Галицко-Волынская летописи, наиболее убедительно характеризует древнейшую русскую литературу как такую, которая выросла и развивалась прежде всего на национальной почве и питалась теми соками, какие она находила в отечественной действительности своего времени.

Созвучным с «Повестью временных лет» в идейном отношении явилось и знаменитое «Слово о законе и благодати» первого митрополита из русских Илариона, созданное между 1037 и 1050 годами. По высоте своего публицистического содержания и по совершенству литературного мастерства это произведение древнерусского проповеднического жанра не имеет себе соперников ни в предшествующих, ни в современных ему церковно-ораторских произведениях других славянских литератур.

Насколько «Слово о законе и благодати» было популярно в древней Руси, можно судить по большому количеству заимствований из него в последующей старинной русской и украинской литературе.<sup>29</sup> Как известно, в XIII веке сербский монах Доментиан использовал «Слово» Илариона для двух составленных им житий сербских святых — Симеона и Саввы.<sup>30</sup>

Иларион, по его собственному признанию, в своем «Слове» обращался не к «неведущим», неискушенным в словесной мудрости слушателям и читателям, а к «преизлиха насыщшемся сладости книжных». На такую же аудиторию рассчитаны были «Послание к пресвитеру Фоме» второго митрополита из русских Климента Смолятича, написанное в XII веке, лет через сто после «Слова» Илариона, а также «слова» епископа Кирилла Туровского, современника автора «Слова о полку Игореве». Судя по дошедшим до нас их сочинениям, оба они чужды были того высокого публицистического пафоса, каким проникнуто было произведение Илариона, и от него или от его литературной традиции они унаследовали преимущественно любовь к «сладости книжной».

Сочинения Кирилла Туровского пользовались на Руси большой популярностью. Они дошли до нас в многочисленных списках вплоть до XVII века. Одно из «слов» Кирилла Туровского и несколько его молитв известны в сербских списках.<sup>31</sup>

Упомянем еще хотя бы такие незаурядные публицистические произведения, как черниговское «Слово о князех», осуждающее княжеские междоусобицы, как с большим словесным мастерством написанные

<sup>29</sup> См.: А. Б. Никольская. Слово митрополита Киевского Илариона в позднейшей литературной традиции. «Slavia», Ročník VII, sešit 3, 1928, стр. 549—563; sešit 4, 1929, стр. 853—870.

<sup>30</sup> См.: М. П. Петровскій. Иларион, митрополит киевский, и Доментиан, иеромонах Хиландарский. ИОРЯС, т. XIII (1909), кн. 4, стр. 96—126.

<sup>31</sup> См.: М. И. Соколов. Некоторые произведения Кирилла Туровского в сербских списках. «Древности. Труды Славянской комиссии Московского археологического общества», т. III, М., 1902, стр. 222—238.

«Похвалу» Феодосию Печерскому или «Слово о Лазаревом воскресении», с достаточной вероятностью приурочиваемое к XII—XIII векам. Впрочем, мы не можем быть уверены в том, что знаем доподлинно весь объем древнерусской учительной литературы. Не говоря уже о том, что не все, что было создано на Руси в этом жанре, как и в других, дошло до нас, ряд «слов» и поучений, написанных русскими авторами, обозначался, для придания им большей авторитетности, именами прославленных византийских писателей. Так, с известной долей вероятности можно утверждать, что «Изборник» Святослава 1076 года, составленный русским книжником, включал в себя не только значительно переработанные переводные греческие тексты, но и сочинения неизвестных нам русских авторов (например, «Слово некоего калугера о четьи книг», «Столовец» патриарха Геннадия, «Слово некоего отца к сыну своему» и др.).<sup>32</sup>

Произведения поучительного характера в древней русской литературе, как и в средневековой литературе вообще, были, естественно, привилегией духовенства, но в Киевской Руси создано было поучение особого рода, принадлежащее светскому лицу. Это знаменитое «Почтение» Владимира Мономаха, соединенное с его письмом к черниговскому князю Олегу Святославичу и заключающееся несколькими молитвами. Оно вошло под 1096 годом в «Повесть временных лет» по Лаврентьевскому списку. Будучи формально обращено к сыновьям князя, а по существу рассчитанное на более широкий круг читателей, оно по своему жанровому своеобразие не имеет себе аналогий ни в одной литературе средневековья. Свообразие это состоит в сочетании в нем собственно поучения с автобиографией. Если в наставительной своей части сочинение Мономаха использовало давнюю традицию, идущую еще от библейских книг и продолженную в старинной византийской и средневековой европейской литературе, то в части автобиографической оно является совершенно оригинальным и самобытным.

Пред нами встает образ идеального правителя и гуманного человека, пекущегося не только о государственных делах, но и о судьбе бедного смерда и убогой вдовицы, которых он не дает в обиду сильным, закаленного в боях воина и доброго человека, с трогательным участием относящегося к своей невестке, вдове своего убитого сына. Одним словом, Владимира Мономаха, «братолобец, и нищелюбец, и добрый страдалец за Рускую землю», как его характеризует летописец, встает перед нами в его «Почтении» не как условный, по литературным штампам созданный портрет, а как живой, соответствующий исторической действительности образ одного из замечательных людей древней Руси.

Очень рано в Киевской Руси возникает оригинальная житийная литература. И тут обращает на себя внимание тесная связь наиболее значительных житий русских святых с исторической и политической обстановкой русской жизни. Это сказывается прежде всего в том, что самыми ранними произведениями древнерусской агиографии были жития не представителей церкви, а русских князей, изображаемых в условиях их политической деятельности. Киевская литература создала особый жанр княжеских житий, значительно уйдя вперед по сравнению с чешскими житиями Вячеслава и его бабки Людмилы и сильно опередив южнославянскую агиографию.

На первое место среди русских княжеских житий должны быть поставлены житийные памятники, посвященные сыновьям Владимира Свя-

<sup>32</sup> См.: Н. П. Попов. Les auteurs de l'Изборник de Svjatoslav de 1076. «Revue des études slaves», 1934, vol. XV, ff. 3—4, p. 210—223; И. У. Будовниц. «Изборник Святослава 1076 года» и «Почтение» Владимира Мономаха и их место в истории русской общественной мысли. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. X, 1954, стр. 49—61.

тославича Борису и Глебу. Под 1015 годом в «Повесть временных лет» вошел летописный рассказ, озаглавленный «О убьеньи Борисове». По основным моментам своего содержания и отчасти по стилю к этому рассказу примыкает анонимное «Сказание и страсть и похвала святыа мученику Бориса и Глеба», значительно распространенное и литературно обогащенное по сравнению с летописным рассказом. О Борисе и Глебе написано также сочинение Нестора, автора жития Феодосия Печерского, озаглавленное «Чтение о житии и о погублении блаженную страсотерпицу Бориса и Глеба».<sup>33</sup> Все эти три произведения теснейшим образом связаны с современной им политической ситуацией, сложившейся в Киевской Руси после смерти Владимира, и проникнуты определенной публицистической тенденцией — осуждением княжеских междоусобиц и защитой принципа родового старшинства в системе княжеского наследования. Но если «Чтение» Нестора написано по тем нормам, какие присущи были канонической форме византийского жития, с последовательным описанием всех этапов жизни прославляемых святых, в общем так же, как написано было житие Вячеслава Чешского, то анонимное «Сказание» по своей жанровой природе является вполне оригинальным литературным произведением, не имеющим себе аналогий ни в византийской, ни в прочих славянских литературах. «Сказание» — не столько житие в обычном его понимании, сколько своеобразное сочетание исторической и воинской повести. В нем мы не найдем обычных для житий биографических подробностей из жизни святых от их рождения до смерти. В «Сказании» идет речь лишь об убийстве Святополком его братьев. В нем точно обозначены события и факты, сопутствовавшие убийству, приводятся названия мест и реальные имена участников преступления.

С литературной точки зрения анонимное «Сказание» является незаурядным произведением. Оно свидетельствует о немалой талантливости его автора, стремящегося к психологической обрисовке характеров обреченных на смерть братьев.<sup>34</sup> Недаром анонимное «Сказание» пользовалось большой популярностью в древней Руси, доказательством чего служит огромное количество дошедших до нас его списков, во много раз превышающее количество известных нам списков Несторова «Чтения».

Крупнейшему религиозному центру Киевской Руси Киево-Печерскому монастырю принадлежала, естественно, самая большая роль в развитии на первых порах русской агиографической литературы. С середины XI века здесь велась летопись, заключавшая в себе ряд житийных сказаний, на основе которых, с привлечением других источников, в первой четверти XIII века положено было начало формированию Киево-Печерского патерика, одной из любимейших книг русского и украинского читателя на протяжении многих веков. Продолживший и во многом освоивший традицию переводных византийских памятников, вобравший в себя устные легендарные рассказы, плодившиеся монастырской братией, Киево-Печерский патерик вместе с тем отразил факты бытовой монастырской действительности и одновременно отзывался на политическую злобу дня, как она сказывалась во взаимоотношениях монастыря и княжеской власти. Во многих отношениях патерик представляет художественную ценность. Особенно это следует сказать о рассказах одного из двух его авторов —

<sup>33</sup> Взаимоотношение и хронологическое приурочение этих трех памятников до сих пор является спорным. В трудах, им посвященных, — А. А. Шахматова, С. А. Богуславского, Н. И. Серебрянского, Д. И. Абрамовича, Н. Н. Воронина, Н. Н. Ильина и немецкого ученого Л. Мисслера эта проблема разрешается по-разному.

<sup>34</sup> Художественные качества «Сказания» удачно охарактеризованы в книге И. П. Хрушова «О древнерусских исторических повестях и сказаниях» (Киев, 1878, стр. 46—58).

инока Поликарпа. Недаром Пушкин (в письме к П. А. Плетневу, в 1831 году) восхищался «прелестью простоты и вымысла», которую он находил в патерике.

Мы не знаем ни в предшествующих, ни в современных литературе Киевской Руси славянских литературах произведения такого жанра, к которому относится Киево-Печерский патерик. Сам по себе факт его возникновения лишней раз свидетельствует о том, что литературные деятели Киевской Руси не удовлетворялись теми видами книжности, какие они получали через посредство южного и западного славянства, и стремились к обогащению своей литературы.

Независимо от инославянских литератур в Киевской Руси возник и жанр паломнической литературы. Старейшим образцом ее является «Хождение» южнорусского игумена Даниила в Палестину, совершенное им в 1106—1108 годах.

Помимо религиозного повествования, основанного преимущественно на легендарно-апокрифическом материале, «Хождение» Даниила содержит в себе большое количество сведений, относящихся к топографии, к географии Палестины, к ее хозяйственной жизни, ее промыслам. Таким образом, религиозные интересы паломника совмещаются с интересами любознательного путешественника, с пристальным вниманием к окружающей реальной действительности. Эти-то качества документальности «Хождения» и обусловили высокую его оценку со стороны историков Палестины и археологов.

Сознавая себя представителем всей Русской земли, Даниил выступает в своем сочинении как патриот, как радетель о своей родной земле. На пасху он ставит «кандило на гробе святемь от всея Русьския земля», молится о русских князьях, княгинях и детях их, епископах, игуменах и боярах, о своих духовных детях и всех «христианех Русьския земля».

Почти через сто лет после Даниила новгородец Добрыня Ядрейкович, впоследствии — под именем Антония — ставший новгородским архиепископом, совершил паломничество в Царьград и описал его церковные достопримечательности. Антоний в своих обращениях к «братии» встает на защиту мирного существования народов, призывая их жить «во единой любви, не имуще рати между собою».

До настоящего времени не может считаться окончательно решенным вопрос о времени возникновения такого своеобразнейшего по своему жанру и по содержанию памятника, как «Моление Даниила Заточника». С давних пор идет научный спор о том, к Киевской или к северо-восточной Руси следует относить древнейшую редакцию этого публицистически заостренного памфлета. Но как бы ни решался этот спор, совершенно очевидно, что «Моление», как и ряд других литературных памятников, хронологически близких к памятникам Киевской Руси, например, «слова» Серапиона Владимирского, Галицко-Волынская летопись, «Слово о гибели Русской земли», могли возникнуть лишь на почве, подготовленной киевской литературной традицией.

Самым большим достижением литературы Киевской Руси явилось гениальное «Слово о полку Игореве», величайшее создание русского народа последних годов XII века, равного которому не знала ни одна из прочих славянских литератур, памятник, стоящий в ряду самых выдающихся созданий средневекового героического эпоса. Появление «Слова» было подготовлено всем ходом развития литературы Киевского периода; оно явилось как бы синтезом и наиболее полным воплощением того высокого идейного и художественного богатства, которое заложено было в литературном творчестве древней Руси. В нем гармонически сочеталось то, что добыто было предшествовавшим развитием русской книжности, с тем,

что представляло собой современное «Слову» устно-поэтическое народное творчество. Горячее патриотическое чувство автора «Слова» соединялось у него с реализмом политического мышления, и это побудило автора объяснять события русской жизни в прошлом и в настоящем не вмешательством в судьбы людей небесных или адских сил, а всеми горестными перипетиями исторического пути, по которому шла Русь в течение столетия с лишним до своего поражения в столкновении с давним врагом на исходе XII века. И при этом высокая гражданская мысль автора нашла для своего выражения адекватную ей по силе художественную форму, поражающую своим несравненным великолепием.

Данная здесь беглая характеристика литературы Киевской Руси свидетельствует о необычайно высоком уровне ее развития, о тесной связи ее с русской действительностью и о несомненном превосходстве ее над другими славянскими литературами, возникшими ранее ее зарождения и современными ей. Рядом с высотой ее идейного и художественного строя в ней должно быть отмечено и ее жанровое разнообразие — результат писательской инициативы русских авторов.

Еще в конце 30-х годов прошлого столетия, когда скептическое отношение к культуре и литературе Киевской Руси находило немало сторонников, один из первых историков древнерусской литературы М. А. Максимович писал: «При всем влиянии греческом на нашу письменную словесность, она не была исключительно подражательною, но имела много и своеобразного,— что становится видным даже из сличения писанного нашими митрополитами греками и природными русскими писателями. . . И если сравнить древнюю русскую словесность с современным ей состоянием словесности у западных народов, то, конечно, ни один из них не возьмет преимущества перед нами; по крайней мере нам неизвестно ничего в XI и XII веке на западноевропейских языках, что превосходило бы летописание Нестора, Слова Кирилла Туровского и Песнь о полку Игореве».<sup>35</sup>

И тем не менее некоторые авторы, вопреки совершенно очевидным фактам, долгое время недооценивали древнюю русскую литературу и, в частности, достигшую в короткий сравнительно срок такого блестящего расцвета литературу Киевской Руси. Эта недооценка являлась следствием общего скептического отношения к древней русской культуре и к древнерусскому просвещению в особенности,— отношения, которое сродни позициям наших скептиков первых десятилетий XIX века.

Особенно упорно отрицал ценность древнерусского просвещения и древнерусской литературы, начиная с 80-х годов прошлого века, известный историк русской церкви Голубинский.

В нашем досоветском литературоведении мы большею частью не находили надлежащей высокой оценки древнерусского литературного наследства, в частности наследства, завещанного нам Киевской Русью. Следует сказать, что и в советскую пору не сразу было оценено по достоинству значение древнерусской духовной культуры и ее проявления — древнерусской литературы, начиная с киевского периода. Так, в вышедшем в 1922 году «Очерке истории древнерусской литературы домосковского периода (11—13 вв.)» В. М. Истрина литература Киевской Руси трактуется довольно сбивчиво и, по существу, обедненно. В значительной мере развивая свои старые взгляды, высказанные задолго до появления «Очерка», Истрин утверждает здесь, что русская литература в первые столетия своего существования, именуемая им «домосковской», в отличие от литературы «московской» не заключала в себе идейного содержания,

<sup>35</sup> М. А. Максимович, Собрание сочинений, т. III, Киев, 1880, стр. 397—398

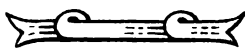
была лишена каких-либо значительных идей и направлений, хотя в ряде случаев была публицистической, откликавшейся на политические и общественные события своего времени. Во взгляде на степень самостоятельности древнейшей русской литературы по сравнению с литературами южнославянскими у Истрина находим не только ошибочные, но и противоречивые суждения. Немногочисленные русские оригинальные произведения Киевской Руси, по словам Истрина, основывались на готовом чужом материале, за исключением разве лишь «Слова о полку Игореве».

Глава «Очерка», в которой Истрин высказывает эти общие суждения о «домосковской», т. е. киевской литературе, носит название «Византийское влияние на древнерусскую литературу и ее самостоятельность», но речь тут идет лишь о подражательности древней русской литературы, и напрасно было бы искать здесь ответа на вопрос, в чем же проявилась ее самостоятельность. Впрочем, в дальнейшем, переходя к анализу отдельных памятников литературы Киевской Руси, Истрин, кроме «Слова о полку Игореве», отмечает ту или иную долю самостоятельности в «Слове» Илариона, в летописи, в «Хождении» игумена Даниила, в «Почуении» Владимира Мономаха.

В дальнейшем, в результате трудов советских ученых по истории древней русской культуры, выяснилась очевидная ее высота и неоспоримая ее ценность в перспективе общего развития мировой культуры.<sup>36</sup> Советская историко-литературная наука по достоинству оценила и древнерусскую литературу, в частности литературу киевского периода, с ее высокой идейностью и незаурядным художественным мастерством. В последние годы литература Киевской Руси находит высокую оценку также и у ряда зарубежных ученых.

До нас дошло далеко не все, что создано было древними славянскими литературами, в особенности литературой болгарской. Многие погибли в тяжчайшие эпохи народных бедствий, нашествий и завоеваний.

Монгольское иго нанесло тяжкий удар культуре и литературе Киевской Руси. Оно приостановило дальнейший их рост в пору ярчайшего цветения. «Именно в это злосчастное время, длившееся около двух столетий, Россия и дала обогнать себя Европе», — писал Герцен.<sup>37</sup> И все же литературное, как и общекультурное наследие Киевской Руси, — наиболее значительная ценность в сокровищнице древней славянской культуры — было воспринято и умножено в дальнейшей жизни древнерусской народности. Киевская литература — общее достояние русского, украинского и белорусского народов — стала залогом дальнейшего роста и процветания их литератур.



<sup>36</sup> Итоги этих работ подведены в издании: «История культуры древней Руси. Домонгольский период», тт. I—II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1948, 1951.

<sup>37</sup> А. И. Герцен. О развитии революционных идей в России (перевод с французского). — Собрание сочинений в тридцати томах, том седьмой. Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 159.



## О НАЦИОНАЛЬНОМ СВОЕОБРАЗИИ И МИРОВОМ ЗНАЧЕНИИ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ)

### 1

Несомненно, Гоголь и Лермонтов уступают Пушкину по широте охвата действительности; тем не менее художественная характеристика русской жизни в их произведениях была движением вперед по сравнению с пушкинской. В творчестве Гоголя и Лермонтова углубились специфические черты русской литературы, благодаря их достижениям был сделан еще один шаг по пути утверждения ее выдающейся роли в мировом литературном процессе. К мировому, всечеловеческому признанию русская литература шла не через преодоление своей национальной специфики, а, напротив, через все более глубокое ее раскрытие. И это понятно. Русский народ первым в мире осуществил лучшие идеалы человечества, но он осуществил их как свои собственные, веками истории выстраданные, а значит, в известном смысле, национальные идеалы.

Вопрос о будущем России перед Гоголем и Лермонтовым встал еще острее и требовательнее, чем он стоял перед Пушкиным. После разгрома декабристов, рассчитывавших главным образом на личный героизм участников восстания, Пушкину важно было утвердить мысль о том, что сам естественный ход истории ведет к торжеству разумных ее начал, а вместе с тем к удовлетворению чаяний и надежд народной массы — не только абсолютного большинства нации, но и единственно реального оплота и животворной силы ее, при этом Пушкин понимал всё значение героизма и передовых борцов, и уже самих масс. Завоевания пушкинского реализма были исходными для Гоголя и Лермонтова. Но так как им приходилось своей творческой деятельностью отвечать на запросы следующего момента русской исторической жизни, то они сильнее, чем Пушкин, акцентировали на субъективной стороне ее, на человеческой воле, на способности людей перестраивать и изменять условия своего существования. Понятно, почему в произведениях Гоголя и Лермонтова так остро ощущима авторская позиция, в такой степени развит, говоря словами Белинского, субъективный элемент.

Гоголь и Лермонтов шли от Пушкина, но каждый из них развивал лишь определенные стороны всеобъемлющих пушкинских традиций. Главной темой Гоголя сделалась тема России в ее обыденности и одновременно в возвышенной мечте о будущем; Лермонтов же сосредоточился по преимуществу на образе передового русского человека, принадлежавшего к прогрессивным людям своего времени вообще.

Поскольку центральной проблемой творчества Гоголя сделалась проблема исторической судьбы России и поскольку, с другой стороны, Гоголь сознательно принял на себя, как он сам об этом заявляет, роль

«разрешителя современных вопросов», его можно отнести к эпическим писателям нового времени в самом истинном значении этого слова. По мысли Гоголя, писатель исполняет свое назначение только в том случае, когда своими произведениями приносит прямую практическую пользу отечеству. Для этого мало обладать одним талантом. Писателю необходимо приобрести «полное познание земли своей и своего народа в корне и в ветвях», он должен воспитать себя, «как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества».<sup>1</sup> Гоголь предъявлял весьма строгие требования и к таланту писателя. Талант, по его словам, должен включать в себя способность создавать картины при помощи слова, орлиную силу взгляда, возносящую силу лиризма и поражающую силу сарказма.

Надо полагать, что все эти требования Гоголь относил к самому себе. Следовательно, он характеризовал свой собственный реалистический метод как эпический и одновременно аналитический. Эпический исходной установкой обусловлена особая природа анализа. В «Авторской исповеди», из которой приводились слова о назначении писателя, Гоголь писал: «Я думал, что теперь более, чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят»<sup>2</sup>. Бесстрашный гоголевский анализ Герцен остроумно сравнивает с диагнозом врача, который потрясен состоянием больного, но тем не менее твердо верит в его выздоровление. Гоголя интересует вопрос о жизнеспособности русской нации в целом и русского человека как носителя национальных качеств. В анализе человека Гоголь преследует цель определить, насколько он действительно является *человеком*. Это вообще одно из отличительных свойств русского реализма, в произведениях Гоголя оно заняло особенно важное место.

Требовательность русского реализма к человеку вытекала из его веры в человека, в народ, в человечество. Крупнейшие реалисты Западной Европы, не потеряв еще веры в возможность совершенного общественного устройства, полагали, что этого можно достигнуть путем практического воплощения тех или иных философских систем и политических доктрин. Несколько иначе представляли себе это русские писатели. Будучи противниками угнетения человека человеком, они, при всех различиях убеждений, были уверены, что достижение идеала зависит раньше всего от самих людей, от их внутренних качеств. В XIX веке ни одна литература в мире не относилась к человеку так взыскательно, как русская, но зато и не обладала такой верой в человека. В этом, однако, нельзя видеть только одни беспорные плюсы ее. Здесь заключены и известные слабости, причины, обусловившие крупные идейные срывы в деятельности некоторых великих русских писателей, как например Гоголя, Достоевского и Толстого. При условии, если человек ответственен за все то, что было и есть в истории, легко было или, как это случилось с поздним Гоголем, наделять его, независимо от его внутренних качеств, способностью без каких-либо особых затруднений стать идеальным лицом, или, как это вышло у Достоевского, запретить ему изъяслять свои субъективные желания, дабы не погубить ими человечество, или же, наконец, как это произошло у Толстого во второй период деятельности, провозгласить абсолютное отрешение его от всяких общественных дел, признать

<sup>1</sup> Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, 1952, стр. 456.

<sup>2</sup> Там же, стр. 448.

единственной обязанностью его заботу о своей душе, через которую будто бы и пролегает путь, ведущий все человечество к лучшему будущему. Ни в одной из западноевропейских литератур ничего подобного не было и не могло быть.

Гоголь крайне изумился и огорчился, узнав, что герои «Мертвых душ» были восприняты как безнадежные и конченные люди. Он их считал уж не такими плохими, скорее обыкновенными людьми. Исходя из своих взглядов на человека, он надеялся, что Собакевич и Манилов, Плюшкин и Коробочка, не говоря уже о Чичикове, способны возродиться и обновиться. Мы поймем это, если учтем, что, лишь безгранично веря в человека, Гоголь мог верить и в человечество. Здесь мы касаемся основного, центрального нерва гоголевской сатиры. Гоголю представлялось, что чем рельефнее представит он пошлость людскую, тем скорее люди освободятся от нее. Вот где источник бесстрашия гоголевского реализма. Понятно, почему Гоголь не думал нанести обиды своим друзьям, заявив, что портреты героев «Мертвых душ» он с них большей частью списал. Пошлость, в его представлении, есть нечто наносное в человеческом существе, и при желании человек может легко и быстро освободиться от нее.

В отношении Гоголя к человеку налицо момент идеализации. Отсюда линия романтизма в его творчестве, особенно раннего периода. Некоторые исследователи думают, что контраст *высокой* и *низкой* действительности, дающий о себе знать в произведениях Гоголя, есть свидетельство недостаточной зрелости его реализма. С этим нельзя согласиться, ибо гоголевский реализм является продолжением и развитием пушкинского. Гоголь верил в человека без чинов и рангов, даже если он и не приобщился к культуре,— просто как в истинного представителя нации и как в единицу бесчисленной человеческой массы, исполняющей свои простые человеческие обязанности. Это и было той почвой, которая питала романтическую стихию в творчестве Гоголя. Но совершенно очевидно, что такой романтизм в своей сущности не есть отклонение от реализма. Вера в доброе начало в человеке, в нации и в человечестве в целом — показатель демократизма, гуманизма и социальной активности гоголевского творчества, в основе и сущности своем реалистического. Но поскольку эта вера отчасти была безотчетной, не во всем опиралась на прочные идейные убеждения, постольку она в известной мере ограничивала гоголевский реализм и впоследствии явилась одной из причин его кризиса. Гоголевскому реализму принадлежит значительная роль в формировании революционно-демократической идеологии. На примере творчества Гоголя революционная демократия поставила вопрос о расширении и углублении идейных основ русской литературы.

Идеализация человеческой природы связана и с величайшими творческими победами Гоголя и одновременно с неслыханными поражениями гениального художника. Она предопределила своеобразие гоголевского психологического анализа. У нас мало говорят на эту тему. Между тем Гоголь, конечно, был глубочайшим и оригинальнейшим художником-психологом. Да и как могло быть иначе, если он, по словам Пушкина, в двух-трех жестах способен был уловить сущность того или иного человека и двумя-тремя штрихами очертить ее. Психологизм Гоголя, как и всякого другого великого русского писателя, укладывается в общее русло психологизма русской литературы, что не мешает ему резко выделяться своими индивидуальными особенностями. В произведениях Гоголя почти нет психологических конфликтов, в них почти отсутствуют картины сложных духовных и душевных кризисов у изображаемых лиц. Конфликт, например, между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем нельзя

назвать собственно психологическим, ибо в нем выражено бессмыслие того образа жизни, который ведут оба героя. Гоголя интересует не столько динамика человеческих переживаний, сколько то, чтобы по ним, по этим переживаниям, определить степень и уровень человечности в человеке. В этом смысле, именно в смысле их человеческих достоинств, гоголевских героев можно расположить в виде пирамиды, у основания которой будут Коробочка и Плюшкин, а на вершине — Тарас Бульба, памятуя, что они принадлежат к различным социальным сферам.

Внутренний мир человека Гоголь раскрывает главным образом путем сопоставления его с миром внешним, вернее — вещным. Гоголь настойчиво подчеркивает: внутренние качества человека точно такие же, каковы те вещи, что его окружают; но, с другой стороны, каков человек, таков и созданный им вещный мир; человек сам делает его и таким образом выражает в нем свою сущность. В способе изображения человека в тесной связи с окружающим его миром — громадная разница между Гоголем и Пушкиным. Рисуя обстановку и условия жизни героя, Пушкин преследовал цель показать, как они определили характер его, взгляды на жизнь и отношение к жизни. Поэтому Пушкину совершенно незачем применять метод аналогий между вещами и человеком, которому они принадлежат. Гоголь широко пользуется этим методом. В общем его мало интересует вопрос о процессе формирования человеческой личности. Большею частью он изображает человека, как сложившуюся данность, и достигает этого, в частности, тем, что как бы уравнивает его с вещами, им созданными. Так во всяком случае поступает он в самом совершенном своем творении — в «Мертвых душах».

Таковы причины небывалого внимания Гоголя к обрисовке вещного мира. Тут ему нет соперников ни в русской, ни в западноевропейской литературе. Не случайно поэтому, что ни один из русских писателей не дал такой убийственной картины дворянской усадьбы, какую находим мы у Гоголя. Убожество помещичьей жизни, силою гениального художника воплощенное в вещном мире и в нераздельно слитых с ним портретах самих помещиков, потрясло всю думающую Россию.

Гоголь вполне сознательно изображал уродства современной ему русской жизни. Ведь он считал себя «разрешителем современных вопросов». Он полагал, однако, что необходимого социального переустройства общества можно достигнуть лишь путем морального совершенствования людей. В этом смысле прогрессивная русская критика коренным образом разошлась с Гоголем, из его произведений она сделала совсем иные выводы. Так же поступили и передовые русские писатели 40-х годов. Среди них не было таланта, равного Гоголю, но их преимущество состояло в том, что, взяв его тему — тему несовершенства русской жизни, — они подошли к ней с более правильных идейных позиций.

Теоретически основой человеческой личности Гоголь считал не социальные, а национальные качества. Однако поскольку человек изображался Гоголем в неотделимости его от окружающей обстановки, в известном смысле как составная часть ее, он одновременно и даже прежде всего предстал как яркий социальный тип.

Всюду мы видим Гоголя как защитника человека и человечности. В «Старосветских помещиках» он скорбит об угасании в человеке человека, в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» возмущается посрамлением человечности, в «Шинели» он рисует беззащитность человека перед страшным миром. Реалистичность образа Акакия Акакиевича поднимается на такой уровень, когда он вместе с тем становится символом обездоленного и беззащитного человека. Не приходится говорить о концентрированности реалистического

изображения в «Ревизоре» и в «Мертвых душах». Этот принцип соблюдался Гоголем и по отношению к положительным героям. Например, Тарас Бульба наделяется положительными качествами в возможном максимуме.

Моралистические тенденции, заключенные в реализме Гоголя, предъявляли к человеку требования быть совершенным в максимальной степени, т. е. идеальным. Гоголевский реализм *учителен* и притом в такой степени, какой, пожалуй, не достигал реализм ни одного великого русского писателя, не исключая даже Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Поэтому изображение всякого явления Гоголь доводил до крайней грани, делая его таким путем как бы максимально наглядным образцом. Однако Гоголь учил именно самим изображением жизни, а не привнесением извне в художественные образы моралистических положений. По силе непосредственного изображения с Гоголем едва ли кто может сравниться из великих русских и западноевропейских писателей XIX века. Достоевский больше всего ценил это в Гоголе. Возражая Авсеенко, утверждавшему, что «Мертвые души» страдают бедностью содержания, он писал, что, напротив, это произведение наполнено величайшим «внутренним содержанием», которое заключено в самих изображениях жизни, и что эти «изображения, так сказать, почти дают ум глубочайшими, непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли».<sup>3</sup>

Своеобразие Гоголя как художника полнее всего определилось в «Мертвых душах», в которых сконцентрирована вся совокупность проблем гоголевского творчества. Здесь вполне и до конца выявилась позиция Гоголя как писателя, мыслителя и человека. Судьба русской нации стала как бы его собственной, личной судьбой, и он говорит от ее имени, как имеющий на это все полномочия. Это вызывает в нем чувство гордости своей миссией, как писателя и гражданина.

Пушкин был убежден, что будущее России зависит от слияния разума самой истории с осознанными или неосознанными устремлениями народной массы. Он настойчиво воплощал этот принцип в своем художественном творчестве, в частности, в образах представителей передовой интеллигенции. Таков один из элементов многогранного пафоса пушкинского творчества. У Гоголя были иные творческие установки. Среди великих русских и западноевропейских писателей XIX столетия он является едва ли не единственным, не создавшим в своих зрелых произведениях образа интеллектуального героя. Такой герой был не нужен ему, ибо надежды свои он возлагал не на силу интеллекта, каковому придавали чрезвычайно большое значение великие писатели прошлого века, а на победу человеческих начал над всем, что искажает облик человека.

Глубоко оригинальна поэтому и гоголевская эпичность. У Пушкина она связана, в частности, с тем, что его лучшие герои, среди них и Евгений Онегин, в своем духовном развитии тяготеют к постановке вопросов общего порядка. Гоголь не изображал таких героев. Единственно подлинно эпическое лицо во всем его творчестве Тарас Бульба. Но это лицо взято из далекой истории, а не из современности. Эпичность Гоголя есть следствие его беспредельной веры в силу народа и человечества. В современности он не видел характеров, подобных Тарасу Бульбе, вообще людей, достойно представляющих народ. Он находил их в прошлом и надеялся, что они появятся в недалеком будущем. Не случайно в ряду его произведений появилась такая эпопея, как «Тарас Бульба» — историческая эпопея. Однако и в произведениях на материале современной действительности Гоголь во многом оставался на позициях эпического пи-

<sup>3</sup> Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений, т. XI, Госиздат, М.—Л., 1929, стр. 250.

сателя, поскольку он стремился изобразить нацию как *целое*, а в человеке увидеть раньше всего его человеческую основу.

Несомненно, что по конечному творческому заданию и исходным идейно-эстетическим позициям Гоголь — утверждающий, героико-эпический писатель, его главная цель — утверждение, поэтизация национально-героического образа жизни и человека как достойного представителя нации и человечества. По достигнутым художественным результатам Гоголь по преимуществу писатель-сатирик, понимавший сатирическое изображение окружающей действительности как выполнение предварительной задачи, как самую первую ступень в своей собственной творческой деятельности. Решение второй, с его точки зрения главной задачи, — утверждение и поэтизация жизни, той, которая должна прийти на смену осуждаемой и отрицаемой, — он, однако, не откладывал целиком на будущее, а частично тут же пытался осуществить. Так появляются знаменитые лирические отступления, в которых намечаются своего рода контуры будущей, идеальной действительности. В Гоголе великий сатирик сочетался с великим лириком. В лиризме Гоголя Белинский и Чернышевский видели могучую художественную силу русского писателя, для Некрасова это был один из решающих признаков русской природы гоголевского творчества. Тема человека, человеческого страдания, человеческой жажды никакими оковами не стесненной жизни звучит здесь на самой высокой ноте. А ведь это ведущая тема русской литературы. Лиризм Гоголя наполнен истинно эпическим содержанием.

Гоголь ярко оригинален в художественной структуре своих произведений. Особенно это касается «Мертвых душ». С полным основанием мы ставим их в один ряд с самыми выдающимися русскими романами, ибо анализ коренных проблем русской действительности составляет основу их содержания. Действительно, они выполняли функцию, которую принял на себя русский роман. Но ведь они не являются собственно романом. Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой, подчеркнув тем самым их эпичность, поэтическую возвышенность их конечного задания. Как факт истории русской литературы XIX века, этот случай достоин всяческого внимания. В самом деле, Пушкин создал *роман в стихах*, Гоголь написал *поэму в прозе*. «Евгений Онегин» и «Мертвые души» — лучшее подтверждение того, что в русской литературе XIX века, как ни в какой другой, соединились поэтические и аналитические начала. «Мертвые души» имеют непосредственно эпическое задание. За Чичиковым с его сомнительным предприятием все время встает тема России во всем ее грандиозном объеме, и Гоголь постоянно обращается к ней, кстати говоря, не только в лирических отступлениях, но и просто по ходу повествования. Образ автора находится в центре произведения. Реальная действительность не могла подсказать ему такого героя, который был бы способен в своих чувствах, мыслях и поступках воплотить глубоко противоречивый авторский идеал. Образ автора властвует над всеми остальными, управляет всем ходом повествования. Это не соответствует законам строения романа, структура которого, даже при наличии образа автора-рассказчика, подчиняется логике развития характеров.

Гоголь — один из наиболее субъективных писателей XIX столетия в том смысле, что реализм его выделяется своей аналитичностью, оценочностью, целенаправленностью, наконец, прямой учительностью. Вместе с тем редко кто может с ним сравниться в отношении выдвижения субстанциональных тем и постановки общезначимых проблем. Прямым соперником его здесь может оказаться, пожалуй, один только Толстой.

Как известно, вопрос о жанровой природе «Мертвых душ» занял большое место в полемике Белинского со славянофилами. В брошюре

«Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души» К. Аксаков проводит мысль о возрождении Гоголем древнегреческого эпоса, утверждает, что Гоголь, как и Гомер, лишь поэтизирует действительность, не имея намерения осуждать или отрицать ее, почему и создал поэму, а не роман. К. Аксаков против романа, ибо, с его точки зрения, вся история романа в Западной Европе связана с искажением и осквернением природы эпоса. Белинский возражает К. Аксакову по всем пунктам. Он исходит из признания исторической обусловленности характера искусства. Противник же его стоит на позициях, чуждых всякого историзма. Отличительную черту литературы нового времени Белинский видит в анализе повседневного бытия человека, прозы жизни, как он выражается. Отсюда вполне обоснованное утверждение, что в новое время роман взял на себя функции эпоса, явившись его законным наследником. Белинский признает заслуги в развитии эпоса нового времени, сочетающего синтез и анализ, за такими западноевропейскими романистами, как Сервантес, Свифт, Вольтер, Руссо, Вальтер Скотт, а творчество Гоголя объявляет исторически зависимым от результатов их деятельности как художников. Тем самым он высказывает убеждение, что Гоголь как автор «Мертвых душ» является продолжателем традиций великих западноевропейских романистов, находит, что «Мертвые души» по своей идейной и художественной функции примыкают к роману, как жанру, ставшему ведущим в западноевропейской литературе уже в XVIII веке. У Белинского проскальзывает даже такая мысль: не в шутку ли, не с юмористической ли целью Гоголь назвал свое любимое произведение поэмой. Белинский указывает на аналитическую силу, социальный пафос и критическую направленность «Мертвых душ», т. е. на качества, характеризующие в первую очередь реалистический роман. Белинский выдвигает еще такое соображение против того, чтобы называть «Мертвые души» поэмой: замысел «Мертвых душ», как эпического произведения в трех томах, содержал в себе явно неверные представления о русской действительности того времени, находился в решительном противоречии с задачами, стоявшими перед передовой литературой, он был неисполнимым для писателя-реалиста, ибо «субстанция народа может быть предметом поэмы только в своем разумном определении, когда она есть нечто положительное и действительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже прошедшее и настоящее, а не будущее только...»<sup>4</sup>

Возражения Белинского Аксакову и даже самому Гоголю по поводу именованья «Мертвых душ» поэмою убедительны и неопровержимы. И тем не менее мы неправильно поняли бы Белинского, если бы решили, что он настаивает на именовании «Мертвых душ» романом. Всё-таки он называет их поэмою, разумеется, вкладывая в это слово совсем не тот смысл, который вкладывал в него не только К. Аксаков, но и сам Гоголь. К сожалению, Белинский не дал своего объяснения жанровых особенностей «Мертвых душ», это не входило в задачу его статей о великом произведении Гоголя.

Несомненно, как целое, замысел «Мертвых душ» был ошибочен и неосуществим. Однако часть его осуществлена и при этом гениально осуществлена. Значит, в замысле «Мертвых душ» как эпического произведения была и своя сильная сторона. Суть дела, думается, в следующем. И характеры, и сюжет «Мертвых душ» были задуманы так, чтобы в частных лицах и в частной их деятельности можно было открыть смысл

<sup>4</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VI, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 420.

целого, существенные особенности России и русского народа с его великими достоинствами и исторически сложившимися недостатками. Гоголь дал теоретическое обоснование своеобразия жанра и сюжета «Мертвых душ». Несомненно, в «Учебной книге словесности для русского юношества» Гоголь исходит из своего творческого опыта, когда устанавливает различие между *эпопеей, меньшими родами эпопеи и романом*. По своим жанровым признакам «Мертвые души» вполне примыкают к меньшим родам эпопеи. Эпопея, по характеристике Гоголя, «объемлет не некоторые черты, но всю эпоху времени, среди которого действовал герой с образом мыслей, верований и даже познаний, какие сделало в то время человечество».<sup>5</sup> Эпопея, с этой точки зрения, есть высший род искусства, ибо она восстанавливает самую полную и самую глубокую картину жизни целого народа или даже многих народов. Поэтому создателем ее может быть лишь художник, соединяющий в себе, сверх высочайшего гения, все совершенные качества. Условием создания эпопеи, помимо этого, является соответствующий дух времени, наличие героя, единого с народом и представляющего собою народ. Гоголь лишь в Гомере видит совершенного эпического поэта. Писатели более позднего времени, ставившие перед собою эпические задачи, по его мнению, нередко уклонялись от общего к частностям.

В новое время, или, как выражается Гоголь, в «новые веки», сложился тип произведений, занимающий место где-то посередине «между романом и эпопеей».<sup>6</sup> Это и есть меньший род эпопеи. Он не ставит перед собой столь всеобъемлющих задач, какие решает эпопея. Вместе с тем он стремится раздвинуть жанровые рамки романа, который берет не всю жизнь, а лишь одно чем-нибудь примечательное происшествие, долженствующее обнаружить подлинные глубины жизни. В силу этого роман несколько скован избранным для изображения кругом лиц, движением сюжета от завязки к развязке, даже самым условленным пространством. Меньший род эпопеи не знает этих ограничений. Героем его бывает лицо частное и малозаметное, но «значительное во многих отношениях для наблюдателя души человеческой».<sup>7</sup> Своеобразно построение меньшего рода эпопеи. Герой ставится здесь в прямое подчинение автору. «Автор ведет его жизнь сквозь цепь приключений и перемен, дабы представить с тем вместе вживе верную картину всего значительного в чертах и нравах взятого им времени, ту земную, почти статистически схваченную картину недостатков, злоупотреблений, пороков и всего, что заметил он во взятой эпохе и времени достойного привлечь взгляд всякого наблюдательного современника, ищущего в былом, прошедшем живых уроков для настоящего».<sup>8</sup>

К меньшего рода эпопеям Гоголь причисляет, в частности, роман Сервантеса «Дон Кихот». Вопрос о некотором сходстве сюжетосложения в «Дон Кихоте» и «Мертвых душах» неоднократно поднимался в литературоведении. То и другое произведение строится как цепь приключений героя. Но приключения эти глубоко различны по своему характеру и содержанию. Дон Кихот — личность героическая и гуманистическая, смысл своей жизни он видит в подвигах, цель которых — уничтожение всякого рода несправедливостей. Насколько Дон Кихот является сыном своего времени, эпохи, когда высокие идеалы Возрождения столкнулись с практикой внедряющихся во все поры общества капиталистических отношений, настолько Чичиков принадлежит своему веку — веку полного рас-

<sup>5</sup> Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 478.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же, стр. 479.

<sup>8</sup> Там же.



цвета приобретательства. «Мертвые души», как и «Дон Кихот», преследуют цель — дать картину нравов эпохи. Герой Сервантеса противопоставляет современному ему нраву, герой Гоголя, напротив, олицетворяет нравы своего времени. Как в «Дон Кихоте», так и в «Мертвых душах» автор неизменно сопутствует герою, направляет его поступки и мысли, комментирует их. Без этого история похождения Дон Кихота могла бы стать самой заурядной историей жизни потерявшего рассудок человека, а история Чичикова — обыкновенной историей дельца и пройдохи. Наличие образа автора в «Дон Кихоте» и в «Мертвых душах» делает и ту и другую книгу эпической по размаху и трагической по характеру содержания. Эпическая и трагическая сила в «Дон Кихоте» возникает как результат столкновения личности с эпохой, когда личность еще сохранила в себе героические свойства, пускаяй и в изломанном виде, а эпоха уже полностью растеряла их. В «Мертвых душах» эпический размах и трагическая глубина, напротив, проистекают из слияния героя с духом времени. Поэтому роль образа автора в произведении Гоголя более сложна, чем в произведении Сервантеса. Переживания героя-автора в «Дон Кихоте» в общем движутся в том же направлении, что и переживания главного героя, дополняя и углубляя, а главное, придавая философскую значимость этим последним. Сама беспощадная ирония автора по поводу нелепых поступков героя трагична по своему смыслу. В «Мертвых душах» переживания героя-автора, напротив, идут вразрез с переживаниями главного героя, со всем тем, что он совершает, и потому трагическая коллизия здесь не плод столкновения героя с эпохой, а следствие разрыва высоких представлений автора о жизни с той жизнью, которая разворачивается вокруг него.

«Дон Кихота» можно назвать прологом к мировому реалистическому роману, «Мертвые души», если не считать «Евгения Онегина», романа в стихах, — первой гениальной русской поправкой к нему. «Дон Кихот» появляется в тот исторический период, когда человеческим существованием завладевала проза буржуазного бытия, Сервантес с глубокой иронией поэтизирует ставшую бесполезной энергию, которая не приемлет эту форму жизни. В последующее время западноевропейская литература всё более погружалась в нее, но не в смысле растворения в ней, а в смысле, с одной стороны, постижения ее как неизбежности, от которой уклониться нельзя, а с другой — отыскания в ней самой возможностей, позволяющих человеку проявить заложенные в нем способности, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства. Это вело к тому, что литература изображала человека, всё более уходящего в частности жизни и в самого себя. Отсюда тенденция — брать в основу изображения сосредоточенное действие, не выходить за пределы заранее намеченного круга действующих лиц, придерживаться строго очерченных рамок сюжета, приурочивать события к условленному месту. Так складывается на Западе реалистический роман, который в сравнении с эпопеей выглядит, помимо всего прочего, произведением гораздо более регламентированным и нормативным. Русская литература, начиная с Пушкина и Гоголя, развивалась в направлении преодоления этой регламентированности и нормативности. Ранее приведенные слова из статьи Толстого по поводу «Войны и мира» о соотношении между русским и западноевропейским романом прямо указывают на это. Близкие к словам Толстого высказывания можно найти у ряда других русских писателей.

Итак, роман — продукт исторического развития. Зрелое буржуазное общество нельзя было представить как объединенное некими общими интересами и идеалами. Оно объединяется борьбой разъединенных интересов, всё в нем случайно и непостоянно. Бальзак дал такую характери-

стику буржуазному обществу как объекту художественного воспроизведения: «Словом, вы будете знакомиться с серединой жизни персонажа до ее начала, с началом — после конца, с историей смерти — до истории рождения».

«Впрочем, ведь так бывает и в жизни нашего общества. Вы встречаете в чьей-либо гостиной человека, которого потеряли из виду лет десять назад: он премьер-министр или капиталист; вы видали его без сюртука, вы не подозревали в нем ни способности к общественной деятельности, ни житейского ума, вы любуетесь им в расцвете его славы, вас удивляет его богатство или таланты; затем вы направляетесь в уголок гостиной, и там какой-нибудь очаровательный рассказчик светских новостей посвящает вас за полчаса в живописную историю десяти или двадцати лет жизни вашего знакомого, о которых вам ничего не было известно. Нередко вы узнаете эту историю — скандальную или внушающую уважение, возвышенную или отвратительную — лишь на следующее утро, а то и месяц спустя, иногда по частям. *Нет ничего цельного в нашем мире, все в нем мозаично*» (курсив мой, — Б. Б.).<sup>9</sup>

Бальзак, тем не менее, один из величайших эпических писателей нового времени. Эпичен самый метод его, перед которым сознательно были поставлены задачи путем исследования частных случаев раскрыть механику движения общего. Но Бальзак эпичен и в том смысле, что совокупностью своих лучших произведений рисует картину целого — жизни Франции за большой и важный для нее исторический отрезок времени. «Человеческая комедия» Бальзака это, конечно, грандиозная эпопея, однако эта эпопея не монолитна, а мозаична. Она состоит из множества отдельных самостоятельных романов, каждый из которых сам по себе не является эпическим произведением в смысле охвата жизненных явлений.

Иной характер эпичности в «Мертвых душах». Здесь перед нами, несомненно, картина *целого*, тенденция к изображению, под определенным углом, *всей* России. Картина эта не составлена из отдельных самостоятельных элементов, как это имело место у Бальзака, она представляет собою развитие единой темы, т. е. она монолитна.

При всей своей аналитичности и углубленности в частности «Мертвые души» от начала до конца проникнуты идеей *целого*, мыслью о России, в произведении все время ощущается образ России и отчасти даже всего человечества. О «Мертвых душах» можно, пожалуй, сказать, что это роман, максимально приблизившийся к эпопее, или что это эпопея, ставшая романом. Ни в каком другом великом литературном произведении XIX века, не исключая и «Войны и мира» Толстого, не ощущается так остро историческая преемственность между романом и эпопеей. В «Мертвых душах» она приняла в некотором смысле даже болезненную форму.

Условия русской жизни были благоприятны для усвоения и критической переработки высших достижений мирового искусства, хотя, с другой стороны, в ряде случаев сказывались пагубным образом на творческой деятельности даже великих писателей. Основным содержанием русского исторического процесса длительное время являлся всё углубляющийся конфликт между крестьянством, составляющим абсолютное большинство нации, и помещичьим классом. Сочувствие передовой литературы всегда было на стороне крестьянства. Это сочувствие и послужило той почвой, на которой в передовой русской литературе вырастал, при

<sup>9</sup> Оноре Бальзак, Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 15, Гослитиздат, М., 1955, стр. 502—503.

наличии самых различных, иногда взаимоисключающих взглядов, общий для нее идеал справедливого и гуманистического общественного строя,— пускай крайне противоречивый и во многом утопический. Естественно, что этот идеал мыслился не иначе как общенациональный, а нередко и как общечеловеческий. Отстаивание подобного идеала было неотделимо от тенденции отметить в изображаемой действительности ее общенациональные или даже общечеловеческие черты. Творчество Гоголя представляет убедительный пример в этом отношении.

Словом, своеобразии русской литературы обусловлено своеобразием русского исторического процесса, тем в особенности, что в России буржуазная революция была возможна лишь как революция крестьянская.<sup>10</sup>

Пафос защиты общенациональных и общечеловеческих интересов, характерный для русской литературы XIX века, нисколько не ослаблял ее социально-критического пафоса, напротив, способствовал углублению этого последнего. Сочувствуя крестьянству, русская литература, естественно, стремилась вскрыть тягостное положение, в котором оно находилось; с другой стороны, осуществление идеала справедливого и гуманистического общественного строя понималось ею, как устранение пропасти между угнетенным большинством и угнетающим меньшинством.

И действительно, характеристика положительного и отрицательного в русском национальном характере оборачивалась у Гоголя характеристикой противоположности социального бытия и социальных устремлений порабощенного большинства и господствующего меньшинства. В известных границах морализм Гоголя не только не снижал социально-критического пафоса его реализма, но поднимал этот пафос на уровень, которого он прежде никогда не достигал. Белинский считал, что в сравнении с Пушкиным Гоголь более социальный писатель.

Из сказанного ясно, что эпичность замысла «Мертвых душ» сначала привела Гоголя к великой творческой победе, а лишь потом вылилась в форму глубочайшего творческого кризиса, который так и не удалось преодолеть писателю. История создания «Мертвых душ» имеет значение не только для понимания творчества Гоголя. Она многое может пояснить в природе реализма XIX века. Из нее видно, что эпические основы этого реализма были неотделимы от пафоса социального анализа, они теряли под собой почву, отделившись от него.

«Мертвые души» — эпическое произведение не только по жанру, но и по стилю. Непосредственным предметом повествования в них является судьба нации и даже человечества. На этой почве возникает эпическая мощь стиля, придающего всякому эпизоду глубину и масштабность, ибо он трактуется как момент великого рассказа о бесконечной по своему содержанию жизни человеческой. И, скажем, образ Плюшкина потому так страшен, что перед нами не только и даже не столько феноменальный скупец, сколько «прореха на человечестве». Плюшкин — то, что с каждым может случиться, что каждого подстерегает на его жизненном пути. В этом, в частности, смысл образа Прошки, мальчика, на которого прямо направлено губительное влияние Плюшкина. Новеллы о Плюшкине, Коробочке, Собакевиче и Манилове представляют собою звенья, мрачные страницы из книги повествования о человеческой истории, о превратностях человеческой судьбы.

При всей страстной преданности русской нации, прежде всего лучшей, трудящейся части ее, Гоголь считал себя и гражданином всего человечества. Мысль о национальной исключительности была совершенно чужда ему. В русской человеке он хотел найти в первую очередь чело-

<sup>10</sup> Подробно об этом см. в первой статье цикла «Русская литература», 1958, № 1.

века, и если гордился им как *русским*, то именно потому, что находил в нем то, что искал. Гоголь оставался верным принципу понимания и изображения русского как составной части общечеловеческого даже и тогда, когда дело касалось отрицательных свойств в условиях жизни русской нации и в ней самой.

Общая идейно-эстетическая позиция Гоголя была такова, что он оставался на почве реальной действительности лишь до тех пор, пока изображал всё то, что оскверняло и затемняло идеал, и большей частью покидал ее и оказывался в сфере чистой фантазии, как только приступал, так сказать, к материализации своего идеала. Фальшивые ноты Белинский уловил уже в первом томе «Мертвых душ» и с тревогой писал об этом. Они взяли верх, когда писатель продолжил работу над своим любимым произведением.

Короленко в статье «Трагедия великого юмориста (несколько мыслей о Гоголе)» так сформулировал движение творческого замысла в «Мертвых душах»:

«Идея же состояла в том, чтобы в крепостнической России найти рычаг, который мог бы вывести ее из тогдашнего ее положения. А так как все зло предполагалось не в порядке, а только в *душах*, то, очевидно, нужен такой рычаг, который, не трогая форм жизни, мог бы чудесным образом сдвинуть с места все русские души, передвинуть в них моральный центр тяжести от зла к добру.

«Изобразить в идеальной картине этот переворот и показать в образах его возможность, такова именно была задача второго и третьего тома „Мертвых душ“. Гоголь мечтал, что он, художник, даст в идее тот опыт, по которому затем пойдет вся Россия. Добродетельные герои вроде Скудронжогло должны служить материалом, указывающим, что в русском народе есть силы, готовые для великого движения. . .»<sup>11</sup>

При таком творческом задании поражение писателя было неизбежно.

В конечном итоге и великая победа Гоголя-художника, и его трагическое поражение коренятся в социальных истоках его творческой деятельности. Беспредельная вера в человека говорит о глубоком демократизме Гоголя. Однако то, что он распространял эту веру на всех людей — не только на угнетенных, но также и на угнетателей, — свидетельствует о некоторой односторонности его демократизма. Это давало возможность представителям реакционной идеологии оказывать на него влияние. И чем далее, тем большую власть брали они над гениальным художником.

Как мыслитель, Гоголь встал на сторону реакции, но продолжать работу как художник он мог, лишь оставаясь на позициях демократизма. Об этом с достаточной ясностью говорят оставшиеся страницы второго тома «Мертвых душ». Гоголевский реализм стал знаменем передовой русской литературы, развивавшейся под знаком углубления демократизма, ему принадлежит выдающаяся роль в формировании и развитии революционно-демократической идеологии.

В отличие от Гоголя, который внес существенные изменения в самую структуру реализма, разработанную Пушкиным, другой великий наследник и продолжатель Пушкина, Лермонтов, в значительной степени остался в ее пределах. Гоголя Белинский отказывался признать учеником Пушкина в узком смысле этого слова, Лермонтов же, вне всякого сомнения, был им. Пушкинскую традицию он воспринял и продолжил в первую очередь по линии образа интеллектуального героя. Насколько здесь Лер-

<sup>11</sup> В. Г. Короленко, Собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, М., 1955, стр. 205.

монтов связан с Пушкиным и насколько он пошел дальше Пушкина особенно ясно из сопоставления центральных произведений обоих поэтов — «Героя нашего времени» с «Евгением Онегиным».

Лермонтов, как и Пушкин, совмещал в себе поэта, прозаика и драматурга; свою литературную деятельность он также начал со стихов. Восприняв пушкинскую проблематику и культуру стиха, он, однако, далеко не сразу становится на позиции реализма. В области поэзии он, собственно, всегда был больше романтиком, чем реалистом. Наиболее выдающиеся его поэмы, как «Демон» и «Мцыри», относятся, конечно, к романтизму, все ранние стихи — тем более. Реализм одерживает несомненную победу в основной части зрелой лермонтовской лирики.<sup>12</sup> В драматургии Лермонтов целиком романтик. Центральное произведение Лермонтова, роман «Герой нашего времени», — одно из высших достижений русского реализма.

Вопрос об отношении человека к миру главный для Лермонтова. С этим связан его острый интерес к герою, в котором заключены достаточные основания для разлада с миром. Романтизм имел громадный опыт в обрисовке такого героя, его столкновений не только с обществом, но даже, как например в «Демоне», и со вселенной. Лермонтов вступил на путь романтизма, будучи продолжателем реалистических традиций пушкинской поэзии.

Поэтому романтический способ разрешения конфликта не мог удовлетворить его. Лермонтов ищет своего особого пути, он обращается к романтизму, чтобы с его помощью углубить реалистический метод. Лермонтов хотел найти в человеке достаточные основания как для разлада его с миром, так и для того, чтобы он через борьбу и преодоление противоречий пришел к гармонии с ним и с самим собою.

Поэмы и драмы Лермонтова сосредоточены на изображении героя, враждебного миру. Понятно, что в них Лермонтов остается романтиком, знающим силу реалистического искусства. В лирике и прозе дело обстоит иначе. Лермонтовская зрелая лирика — это по преимуществу размышления поэта над судьбой своего отечества и народа, над всем тем, что являлось перед взором реалистически мыслящего поэта. Естественно, что здесь Лермонтов предстает большей частью в качестве реалиста, шагнувшего вперед по сравнению с пушкинской реалистической лирикой и давшего превосходные картины русской природы, зарисовки простых русских людей, подлинных представителей России. С другой стороны, в его «железном стихе» пригвождены к позорному столбу гонители русского народа, люди, позорящие Россию.

В прозе путь Лермонтова от романтизма к реализму был несколько иным, чем в лирике. Зрелая лермонтовская проза, расширяя свои тематические горизонты, оставляла в центре внимания конфликт человека с миром, но открыла пути реалистического его освещения. В поэзии Лермонтов не достиг этого, хотя его поэзия и более аналитична, чем пушкинская. При всех прочих равных условиях, разумеется, проза располагает большими возможностями углубленного анализа. Очевидно, Пушкин это и имел в виду, признаваясь, что «лета к суровой прозе клонят». «Герой нашего времени», безусловно, самое аналитическое произведение первой половины XIX века в смысле постижения психологии сложной человеческой личности. В этом отношении лермонтовский роман не был превзойден и лучшими произведениями 40-х годов. Чернышевский имел

<sup>12</sup> Интересная характеристика поэзии Лермонтова дана Д. Е. Максимовым в статье «Поэзия Лермонтова»: Лермонтов. Избранные произведения, т. I. «Библиотека поэта», малая серия, Л., 1957.

все основания для характеристики Лермонтова как прямого предшественника Толстого по мастерству психологического анализа. В центре романа Лермонтова все та же «демоническая личность», которая определяет собою дух и структуру его лучших поэм и драм. По своей психологической природе Печорин является в значительной степени романтическим героем, но метод изображения его — реалистический. Отсюда острота и напряженность ситуаций. Как характер сильный и романтически яркий, Печорин прав в том презрении, с которым относится он к ничтожеству окружающей его жизни. Кипение его страстей в этом смысле вполне оправдано. Вместе с тем, реалистически истолковывая характер Печорина, Лермонтов не мог не заставить его понять бесцельность своего существования. Гнев, с которым он обрушивается на самого себя, по степени беспощадности не уступает тому гневу, что обращен против нравственного холопства и рабства. Противоречивость внутреннего мира героя достигает огромной силы драматизма.

Лермонтов мастерски показывает вечные колебания и неустойчивость в нравственном мире героя. Он более, чем кто-либо другой, подготовил почву для толстовского метода изображения диалектики души. Роман Лермонтова рисует кризис нравственного мира передового человека своего времени. Печорин — явление безвременья, того периода, когда лучшие русские люди, потрясенные поражением декабристов, не нашли еще новых путей для своей деятельности. Вспомним хотя бы о сложных процессах духовной жизни Белинского в конце 30-х годов. Идейная биография Герцена не знает таких зигзагов, однако и Герцен в те годы далеко еще не обрел более или менее целостного революционного образа мыслей. Но Герцен и Белинский — идеологи, вожди поколений. Печорин гораздо более распространенное явление, в его переживаниях отражены мысли и чувства широкого круга образованных, честных и знающих цену человеческому достоинству людей. Печорин несколько старше Белинского и Герцена, он более тяжело пережил крах декабризма. Если Печорин и не сломлен окончательно, то во всяком случае он сильно надломленный человек. Он не поднимается до постановки проблем большого идейного значения, так как захвачен теми глубокими процессами, которые совершаются в его собственном нравственном мире. Естественно, что здесь требовалась та гибкость анализа, которая возможна только в прозе.

Стержнем внутренней жизни Печорина является самоанализ, он сам хочет понять, почему, при всей своей незаурядности, оказался бесполезным для общества, для истории. Герой не меняется, а только уясняет себе различные свойства самого себя. Внутренний мир его, строго говоря, статичен. Поэтому для романа необязательна строгая последовательность событий во времени, как необязательно и сквозное действие. Самое важное заключалось в том, чтобы установить зависимость и соотношенность между различными сторонами и свойствами героя. Печорин, по его собственным словам, уже давно живет «не сердцем, а умом». Он говорит: «Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека; один живет в полном смысле слова, другой мыслит и судит его...» В романе Лермонтова больше «поэзии мысли», чем «поэзии сердца», если употребить известное выражение Чернышевского. В Печорине анализ жизни преобладает над самой жизнью. Он находится в переходном состоянии своей духовной и душевной жизни — старое отвергнуто, а новое еще не найдено. Роман Лермонтова был назван Белинским *думой о нашем времени*. Этим объясняется намеренно подчеркнутое отступление от принципа изображения событий в их временной последовательности, построение романа, как цикла новелл. Такая структура произведения наиболее соответствовала

задаче исследования героем важных сторон своей внутренней сущности в их раздельном существовании.

В «Евгении Онегине» в качестве основной силы, сдерживающей движение и развитие героя, выступает тот общественный круг, к которому герой принадлежит. Непосредственный, внешне выраженный конфликт между героем и средой — один из основных, хотя и не единственный в пушкинском романе. В «Герое нашего времени» отношения героя со средой, его воспитавшей, в значительнейшей степени перемещены во внутренний, точнее, нравственный мир героя. Лермонтов мало внимания уделяет анализу среды, из которой вышел Печорин, однако, анализ самого Печорина строится так, что вина за его бесполезную жизнь целиком перелagается на среду. Продолжив дело Пушкина, Лермонтов показал изнутри, как сильный и благородный человеческий характер оказывается буквально разъяденным и раздробленным пагубным влиянием среды. На этом нельзя было остановиться. В дальнейшем предстояло, не снимая ответственности со среды, более строго и требовательно подойти к самому герою, установить зависимость его общественного поведения от его идейных убеждений, от тех источников, из которых они почерпнуты, вообще от природы его мировоззрения и мироотношения. Это станет возможным лишь в итоге идейных движений 40-х годов. Духовная работа Лермонтова своей исходной позицией связана с идеологией и революционным опытом декабристов, а своими результатами явилась предвещанием революционно-демократической идеологии уровня 40-х годов.

В творчестве Гоголя и Лермонтова, двух великих продолжателей Пушкина, русская литература, таким образом, поднялась на новую ступень в постижении русского социально-исторического процесса и русского национального характера. Это была новая ступень не в том смысле, что Гоголь и Лермонтов превзошли Пушкина во всех отношениях, а в том, что из их творчества с еще большей очевидностью и остротой вытекала необходимость коренного переустройства основ русской жизни. Всё дальнейшее русское литературное развитие совершалось в этом направлении. Наряду с определяющими пушкинскими и гоголевскими традициями большую роль для русских писателей последующих поколений играли традиции Лермонтова. Лермонтов обогатил русскую литературу методом глубокого психологического анализа, он создал образ сильной личности, способной горы перевернуть, но из-за отсутствия высокой цели вообще ничего не делающей. Герой Лермонтова — человек гордый, и эта гордость чисто русская, бескомпромиссная: <sup>13</sup> ему надо либо всё, либо ничего не надо. Западноевропейская литература XIX века не знала характера, в такой мере требовательного к себе.

Существенным моментом постижения русского национального характера явилось творчество Кольцова. Гоголь апеллировал к русскому человеку как носителю лучших национальных свойств; Лермонтов продолжал дело Пушкина в художественной разработке сложной психологической структуры передового человека; Кольцов избрал единственным объектом своего художественного изображения представителя трудящейся массы, массу как таковую.

Кольцов целиком посвятил свое творчество жизни трудового народа. Он проник в самую сердцевину его бытия, овладел сущностью и способом его мышления, в том числе и художественного, писал о нем от его имени. Белинский называл Кольцова поэтом гениального таланта, утверждая, что он гениален в смысле глубины и оригинальности его поэзии

<sup>13</sup> Вопрос об исторической обусловленности этой черты русского человека освещен в первой статье цикла. См.: «Русская литература», 1958, № 1.

и талантлив в смысле ограниченности ее сферы. Белинский указал на прямую связь между Кольцовым и Крыловым как художниками, непосредственно опирающимися на народное сознание, на отношение народа к жизни. Продолжая эти мысли Белинского, можно сказать, что Крылов исходил из практической, житейской народной мудрости, всегда уверенной в себе и потому не знающей крайностей, в частности, таких, как тоска и отчаяние; Кольцов же ориентировался на народную поэзию, прежде всего на народные песни, более отражающие настроение момента. В своих баснях Крылов отразил преимущественно склад русского ума (недаром Гоголь называл Крылова «крепкой головой»), в песнях Кольцова вперед выступает душа и сердце русского человека. Кольцов более субъективный художник в том смысле, что он основательно проникает не только в общий строй ума и души русского крестьянина, как это было у Крылова, но и рисует изменчивость настроений его, протекающую из его тяжкой, но по-своему красивой трудовой жизни. Кольцов — поэт конца 30-х — начала 40-х годов, периода, когда в крестьянском сознании наметились известные сдвиги в сторону активизации его.

Поэзия Кольцова — это своеобразный прорыв в большую литературу источника народного творчества, непосредственно крестьянского художественного мышления, пускай и несколько узко, но зато совершенно достоверно и определенно сформулировавшего ближайшие идеалы трудового народа, с необычайной яркостью передавшего извечную тоску его и переменчивые радости. После Кольцова надо было ожидать Некрасова. Русская поэзия шла к новым великим завоеваниям через овладение формами сознания народа и характером отношения его к миру.

## 2

С выходом в свет «Героя нашего времени» Лермонтова и «Мертвых душ» Гоголя обозначился как бы некий рубеж в истории русской литературы. Для таких пронизательных умов, как Белинский и Герцен, было очевидно, что подобно тому, как вслед за Пушкиным появились Гоголь и Лермонтов, так и за Гоголем и Лермонтовым должны были прийти их преемники и продолжатели; тем более, что деятельность того и другого — по разным причинам — была фактически насильственно прервана. В действительности так оно и случилось. За очень короткий промежуток времени, примерно с середины 40-х и до начала 50-х годов, на литературное поприще вступили все гениальные русские писатели, действовавшие во второй половине XIX века, за исключением одного Чехова. Но всё-таки это было скорее предвестие, чем начало нового блистательного расцвета русской литературы. В 40-е и большей частью даже в 50-е годы происходила глубокая перестройка художественного метода, литература захватывала новые идейные и тематические плацдармы, напрягала усилия для дальнейшего, еще более основательного проникновения в русскую действительность и погружения в национальный характер, для сближения с творческими силами, созидающими жизнь, т. е. с народом. Чтобы отчетливее и яснее представить себе значение 40-х и 50-х годов для русской литературы, нужно вспомнить, что именно в течение этих двух десятилетий произошли главные битвы по вопросам литературной теории и практики между Белинским, Герценом, Чернышевским и Добролюбовым, с одной стороны, и славянофильской и либеральной критикой — с другой. Русская общественная мысль, в том числе эстетическая и литературно-критическая, в период 40-х — начала 60-х годов достигла наиболее высокого уровня в домарксистский период ее развития, именно с 40-х годов она начинает двигаться в сторону марксизма. Все это было



обусловлено характером самого исторического отрезка времени, когда назревала революционная ситуация, после которой Россия вступила в эпоху подготовки первой русской революции, затем впервые в истории человечества показавшей всему миру силу пролетарского революционного движения.

В 40-е и 50-е годы эстетическая и литературно-критическая мысль стояла вполне на уровне самой литературы, даже порою опережала последнюю и, вне всякого сомнения, играла по отношению к ней направляющую роль. В этот период формируется и кристаллизуется теория реализма в работах передовых русских критиков, выходящая далеко за рамки национального значения. Дело в том, что в связи с особым положением, которое заняла литература в русской общественной жизни, теория реализма в России была исполнена громадного общественного пафоса. В странах Западной Европы в это время не было критиков, равных Белинскому или Чернышевскому. Статьи Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова замечательны не только тем, что в них давалась глубокая оценка русского литературного процесса в его прошлом и настоящем, — они являются также обоснованием будущих успехов русских писателей. Уже одним этим определялось мировое значение русской эстетической и литературно-критической мысли. Помимо того, она способна была и непосредственно вмешаться в литературный процесс в других странах. Если исключить высказывания Маркса и Энгельса по вопросам литературы и искусства, западноевропейская критика XIX века, при всех ее достоинствах, не смогла дать такого проницательного и всестороннего объяснения творчества своих великих писателей, какое мы находим в статьях Белинского по отношению к Пушкину, Гоголю, Лермонтову, а в статьях Чернышевского и Добролюбова по отношению к Тургеневу, Толстому, Гончарову, Островскому, Салтыкову-Щедрину.

О достоинствах русской критики, выгодно отличающих ее от критики западноевропейской, писал в свое время Плеханов. В Белинском он видел критика, творчески воспринявшего лучшие свойства немецкой философской и французской исторической критики, а значит и преодолевшего ограниченность одной и другой. Плеханов, например, ставит его намного выше его современника, виднейшего французского критика Сент-Бёва, который в своих оценках литературных явлений придавал чрезмерное значение биографическому фактору. Русская критика и эстетическая мысль и в дальнейшем сохраняли и развивали свои преимущества. Методология такого популярного на Западе, отчасти и у нас в России, искусствоведа и историка литературы, как Ипполит Тэн, не выдерживает сравнения с методологией Чернышевского. Чернышевский сделал еще один шаг, приближающий передовую русскую мысль к марксизму; Ипполит Тэн с его теорией трех факторов — *расы, климата и момента* — был бесконечно далек от марксизма. Интересно, что один из наиболее видных последователей Тэна, Георг Брандес, в конце концов, раскритиковал метод своего учителя, как не дающий возможности учитывать роль личности писателя в художественном творчестве. Но Брандес пошел не вперед, а назад — от Тэна к Сент-Бёву.

Слабость, в частности, французской критики обнаружилась в ее отношении к Бальзаку. После смерти Бальзака во Франции появилось множество книг и статей, имевших своей целью оклеветать великого писателя. И во всей Франции нашелся лишь один человек, который взял на себя смелость защитить его имя. Это была сестра Бальзака, напечатывавшая о нем свои воспоминания. Чернышевский тут же перевел их на русский язык и напечатал в журнале «Современник» (1856, № 9), предпослав им небольшую вступительную заметку. Здесь важно отметить не

только то, что русская критика вступилась за французского писателя, но и то, как она вступилась. Чернышевский остается верным своему методу и в маленькой вступительной заметке к воспоминаниям сестры Бальзака. Он пишет: «Нам чрезвычайно приятно было в воспоминаниях сестры Бальзака найти новое подтверждение той истины, которая известна по опыту каждому, кого случай ставил в близкие отношения с истинно талантливыми писателями: обыкновенно, сердце этих людей таково, что заставляет или любить или уважать их как людей: поэзия едва ли может жить в дурном сердце».<sup>14</sup>

На этом рассуждении лежит печать русской мысли, для которой поэзия — это прежде всего человечность, а человечность — лучшая надежда на прекрасное будущее. Тут было бы вполне уместно вспомнить пушкинского «Моцарта и Сальери». Не вспоминал ли Чернышевский этой пьесы, когда писал замечательные слова о поэзии и человеческом сердце?!

Можно ведь говорить о национальном своеобразии и мировом значении и русской критики, с невиданной дотоле нигде силой сочетавшей общественный и эстетический анализ, особенно резко подчеркнувшей значение гуманистического элемента в литературе. Подходя с такой меркой к явлениям литературы, Белинский создал грандиозную концепцию русского историко-литературного процесса, охватив единым взглядом литературное развитие, начиная от петровских времен и кончая 40-ми годами XIX столетия. Центральное место в этой концепции заняли Пушкин, Гоголь и проблемы литературного движения 40-х годов. В представлении критика, главная заслуга Пушкина в том, что, подняв русскую литературу на уровень лучших достижений западноевропейских писателей, он выразил в своем творчестве духовную мощь и красоту русской нации, ее возможности осуществить великие идеалы человечества. Гоголя Белинский со всей страстью приветствовал как писателя, который, восприняв пушкинские завоевания, еще основательнее раскрыл противоречия русской социальной действительности. Белинский горячо поддержал творческие устремления Лермонтова, силу его негодования против разделения нации на рабов и господ, страстные поиски достойных человека форм жизни, восхищение духовным величием, истинным мужеством и мудростью простых людей, народа в целом. В литературе 40-х годов Белинскому особенно дорого и близко ее сочувствие и сострадание к народным низам, а с другой стороны, сознательное обличение тунеядства, моральной низости, жестокости господствующей верхушки по отношению к людям.

Может быть, самая решающая черта русской передовой критики, представленной прежде всего именами Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова и Писарева, состоит в том, что она требовала от писателей в своем творчестве сочетать глубокое проникновение в сущность социальных противоречий с уяснением общенациональных задач, с освещением заключенных в русской нации возможностей. Это со всей очевидностью доказывают суждения Белинского и Герцена о Пушкине, Гоголе и Лермонтове, суждения Чернышевского о Тургеневе, Толстом и Щедрина, суждения Добролюбова об Островском, Тургеневе и ряде других писателей. Русская передовая критика ориентировала писателей на создание произведений с постановкой общезначимых проблем, затрагивающих судьбы народной массы и одновременно всей страны, т. е. эпических по своему размаху.

<sup>14</sup> Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, М., 1947, стр. 369.

Это положение в равной мере распространяла она как на положительные, так и на отрицательные образы. Насколько всё это принципиально важно, показывает творчество Гоголя, о чем речь шла выше.

Русская литература прошлого века в высокой мере насыщена психологическим анализом; он играл важную роль не только в создании типических характеров в типических обстоятельствах, но и в соотношении их с идеей целого, с идеей народа и даже человечества. И передовая русская критика, начиная с Белинского, отстаивала именно такой принцип психологического анализа. Интересно было бы проследить за диалектикой применения этого принципа в литературе, а также за движением истолкования его в критике. В статьях о Пушкине Белинский настойчиво подчеркивает мысль, что поэт поступил правильно, сделав центром изображения в «Евгении Онегине» передовое дворянство.<sup>15</sup>

Весь анализ психологии главных действующих лиц «Евгения Онегина» Белинский строит так, чтобы уловить и отметить в их переживаниях типическое и в смысле социальной обусловленности, и в смысле выражения определенной стороны и определенного момента в развитии национального самосознания.

Белинский всегда оставался на позициях историзма. К «Евгению Онегину» он подходил как к произведению, запечатлевшему русское общество известной эпохи. Перед литературой 40-х годов, другого исторического периода, критик ставит иные задачи. Он уверен, что наступило время, когда на материале крестьянской жизни можно создавать образы общенационального значения. Такой смысл имеют, в частности, его высказывания об образах Хоря и Калиныча в тургеневских «Записках охотника».

Мысль Белинского подхватывает Герцен, который десятилетие спустя широко поставит вопрос о появлении в русской литературе романа нового типа — романа из народной жизни. Проблема народности литературы в те же годы решительно выдвигается Чернышевским и Добролюбовым. Добролюбов прямо говорит о том, что писателю необходимо усвоить взгляд народа на жизнь, если он хочет писать достойные своего таланта произведения. Возможно, мы встречаемся здесь с некоторой прямолинейностью в формулировании и отстаивании верной самой по себе мысли. Чернышевский был более гибок в этом отношении. Так, например, в разборе «Утра помещика» он пишет о способности Толстого переселяться в душу помещика, т. е. о том, что, и не переходя на точку зрения крестьян, писатель сумел проникнуться их интересами, полным пониманием их положения и настроения. Критик полагает, что здесь сказалась не только сила толстовского таланта, но и особая, глубоко русская природа его. Толстой в 50-е годы понял крестьянина, не порывая еще с условиями жизни и идеологией помещичьего класса, т. е. он понял его прежде всего с человеческой точки зрения. Чернышевский и развивает в своей знаменитой статье о Толстом тезис о человечности и психологичности таланта писателя, уже своими первыми произведениями совершившего художественные открытия мирового значения. При этом Чернышевский нигде и ни в чем не поступается принципами социально-исторического анализа литературы. В своих высказываниях о Толстом он устанавливает, что произведения Толстого находятся в русле передового литературно-общественного движения эпохи, цель которого — «омыться и очиститься от наследных грехов».<sup>16</sup> Социальный пафос тол-

<sup>15</sup> См.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, 1953, стр. 435.

<sup>16</sup> Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 427.

стовского таланта в характеристике Чернышевского, таким образом, совершенно очевиден.

Выяснение социальной направленности толстовского таланта у Чернышевского выступает и как раскрытие его общенационального значения. Это всё в традициях передовой русской критики. Но Чернышевский сказал и свое новое, принципиально важное слово. В статье о Толстом он едва ли не впервые в истории русской эстетики и литературной критики отметил заслуги русского писателя перед мировой литературой. Как известно, Чернышевский сопоставляет Толстого как психолога с Шекспиром, Гёте, Шиллером и другими великими художниками мира. Он характеризует при этом тот вклад, который внес русский писатель в мировую литературу. Делал он это путем эстетического анализа, который, правда, нельзя себе представить независимым от общественного. Сила психологизма у Толстого необычайна, однако, она есть следствие необычайного, невиданного в истории мировой литературы интереса русского писателя к человеку, в каком бы положении он ни находился. Передовая русская критика, может быть, не вполне отдавая себе отчет в этом, фактически признавала, что преданность русских писателей высшим национальным интересам есть в то же время преданность их лучшим всечеловеческим идеалам.

Такие важные процессы происходили в русской эстетике и критике в 40-е и 50-е годы.

Крестьянская тема, утверждавшаяся в числе основных, важна была не только сама по себе. Она меняла общее положение, требовала иных аспектов, например, в освещении передового человека. В «Герое нашего времени» Лермонтов переложил большую часть вины за погубленные силы Печорина на среду. В основном Печорин жертва обстоятельств, условий, в которых он рос и воспитывался. Тем не менее по ряду причин среда не заняла у Лермонтова большого места. Герцен с других позиций подошел к Бельтову. Печорин страдает от того, что он не способен к деятельности, у Бельтова нет объективных возможностей заняться полезной деятельностью. Не случайно в романе Герцена среде уделено едва ли не больше внимания, чем герою. Если Пушкин в «Евгений Онегине» изображал среду с целью показать, как она приковывает к себе героя, то у Герцена другие намерения — показать, как она не дает развернуться, по его мнению, созревшим силам героя.

Одним словом, в романах Пушкина и Лермонтова преобладают проблемы воспитания героя, в романе Герцена первое место занимает вопрос о его деятельности. Причина того, что Бельтов не нашел места для применения своих сил, по мнению Герцена, лежит в самом устройстве русской жизни. Герой освобождался от всякой вины за свое бездействие. Как раз за это Белинский и упрекал Герцена. Таков, по-моему, смысл сопоставления Бельтова с Печориным в статье Белинского. Когда Печорин с его глубоким, но неперебродившим и неустановившимся мышлением, с его романтической сущностью предстает перед нами как человек, неспособный даже подумать о каком-либо деле, не то что взяться за него, — это понятно: задача романа именно в изображении конфликта между человеком и миром. Совершенно иное задание у романа Герцена: поиски путей и средств разрешения конфликта. Бельтов мыслит реалистически, и если он уклоняется от деятельности, то это означает, что его понимание мира оказывается несостоятельным. Поэтому Белинский и иронизирует над Бельтовым «последней части романа», где он «вдруг является перед нами какой-то высшею, гениальною натурою, для деятельности которого действительность не представляет достойного поприща».

Высказывания о Бельтове дают, думается мне, основания сделать вывод, что Белинский выдвигал вопрос о сущности убеждений передового человека, о том, что наступило время, когда ответственность за характер его отношения к действительности должна быть возложена по преимуществу на него самого. Так русская критика подошла к проблеме мировоззрения героя. На Западе глубокая философская разработка этой проблемы была дана Гегелем, в частности в его суждениях о рыцаре нового времени. При всем чувстве конкретно-исторического, которое было свойственно Гегелю, при всех его мощных порывах к реальному историческому процессу, интересующую здесь нас проблему он всё же ставит более в общеполитическом плане, видит в конфликте мыслящего индивидуума с социальным миром, его окружающим, преимущественно результат, вернее ступень в развитии мирового духа. И поскольку, по Гегелю, движение мирового духа совершается не только в формах человеческого сознания, но и в смене общественных и государственных форм, он провозглашает неизбежность снятия конфликта, настаивает на необходимости примирения человека с существующей действительностью.

Белинский трактует идеал, наличие его у наиболее развитой в духовном отношении личности как реальное, в первую очередь, практическое постижение общественных отношений; поэтому он с такой непримиримостью восстает против капитуляции личности, даже против всякой гордой позы. Тем самым Белинский придает мировоззрению роль могущественной силы, преобразующей мир. Он вводит в литературу новое понимание мировоззрения героя, принципиально отличное от того, например, которое было у Руссо или у Гёте, ибо идеал героя Руссо являлся утопическим, а идеал героя Гёте сводился в своей сущности к проблеме самовоспитания себя как совершенного человека.

В то время, когда русская литература двигалась ко все более широким обобщениям, к постановке коренных проблем общественного переустройства, над западноевропейской литературой, в связи с ходом и последствиями революции 1848 года, стала нависать угроза снижения идейного и общественного пафоса. Русские писатели, в особенности в лице Тургенева и Толстого, возвели образ крестьянина до степени общенационального и даже всечеловеческого значения. Идейное и художественное новаторство русской литературы уже в первой половине XIX столетия обнаружилось также в образе интеллектуального героя. При глубоком внимании к этому герою нельзя было не заметить зарождения в нем свойств, благодаря развитию которых он проявит себя со временем как мыслитель или даже как деятель, поглощенный вопросами судьбы нации и человечества. Не только в России, но и на Западе становилось очевидным, что русская литература выходила на более плодотворный путь развития в сравнении с тем, по которому шла западноевропейская литература. Интерес к творчеству русских писателей в западноевропейских странах всё более ширился и возрастал. Лучшие западноевропейские писатели чаще и чаще стали высказываться о русской литературе, о большой ее идейной и художественной силе, о тех предпосылках ее развития, которых не находили они у себя на родине. Для них, следовательно, русская литература превращается в своего рода образец. Для широкого же читателя Запада русские книги открывали душу человека, который хотя и находится в несравненно более тягостных, чем он, условиях, но зато обладает куда более прочной верой в светлое будущее своей родины и всего человечества.

Франция оказалась наиболее чуткой к русской литературе, вступавшей в единое русло европейского литературного развития. Уже в 20-е годы XIX века во французских журналах стали появляться статьи, посвя-

ценные русским писателям, были изданы антологии русской поэзии. В 1821 году в Париже цикл лекций о русской литературе прочел поэт-декабрист В. Кюхельбекер. Два десятилетия спустя, в начале 40-х годов, в Париже с большим курсом лекций о славянских литературах выступил А. Мицкевич.

Много сделал для пропаганды русской литературы во Франции выдающийся французский писатель Проспер Мериме. Деятельность Мериме как переводчика произведений русских писателей, в особенности Пушкина, Гоголя и Тургенева, продолжалась свыше двух десятилетий, начиная с 40-х годов. Перу Мериме принадлежит ряд статей о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, он написал также несколько работ по русской истории.

Интерес Мериме к России и русской культуре не случаен, он обусловлен особенностями его идейных и эстетических позиций и творческих установок. Он проявлял глубокий интерес к участию народных масс в историческом процессе. Это, в частности, подтверждается темами его работ из русской истории: «Кзаки Украины и их последние атаманы» (1855), «Восстание Разина» (1861), «Кзаки былых времен». Нельзя пройти мимо того факта, что Мериме привлек внимание Пушкина и Гоголя.

Гоголь даже видел прямую творческую связь Мериме с русской литературой.

Свободный от патриотического увлечения по отношению к русской литературе, а с другой стороны, в силу характера своих творческих установок глубоко сочувствовавший ей, Мериме оказался как раз тем писателем, который способен был по достоинству оценить ее достижения, отметить в ней хотя бы некоторые особенности, уже в то время выгодно отличавшие ее от литератур передовых западноевропейских стран. Немало интересных соображений Мериме высказал в статье о Гоголе (1851), который, по его мнению, не получил достаточного мирового признания лишь из-за нераспространенности в Западной Европе русского языка. Отзыв Мериме о «Старосветских помещиках» поразительно близок той оценке, которую дал этой повести Белинский. Взять хотя бы такие слова: «Читая эту прелестную повесть, где искусство рассказчика прячется под простотой рассказа, смеешься и плачешь в одно и то же время».<sup>17</sup>

Мериме неоднократно высказывался о Тургеневе, о котором он написал две больших статьи: «Литература и рабство» (1854) и «Иван Тургенев» (1868). В таланте Тургенева Мериме также старательно отыскивает его русские признаки, а в образах тургеневских героев — их национальные черты. Талант Тургенева симпатичен Мериме своим спокойствием и мужеством говорить правду; стремлением во что бы то ни стало к истине; умением отбирать самые решающие детали, а значит и рисовать пластические образы; влечением к положительному в жизни и особенно в людях; наконец, таким качеством, как способность чувствовать и передавать поэзию жизни других народов. Говоря же о тургеневских героях из крестьянской среды, Мериме особо останавливается на том, что вся история русского крестьянства свидетельствует о таком его качестве, как терпение, а с другой стороны, о таком, как непримиримость по отношению к своим угнетателям. В конце концов Мериме приходит к выводу, что русский крестьянин это пока еще «покорный, но уже сознающий свою силу гигант».<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Проспер М е р и м е. Избранные произведения. Госиздат, М.—Л., 1930, стр. 510.

<sup>18</sup> Там же, стр. 541.

Из всех суждений Мериме о русских писателях наиболее весомы его высказывания о Пушкине. В частности, его статья «Александр Пушкин» (1868) и поныне сохраняет свое значение. Если Тургенев и Гоголь интересуют Мериме прежде всего как русские писатели, то в Пушкине он отмечает преимущественно такие его свойства, благодаря которым он занимает выдающееся место в мировой литературе. Прежде всего это — предельный лаконизм и значимость каждой детали, т. е. свойства, свидетельствующие, по Мериме, о претворении в произведениях Пушкина закона высшей художественной целесообразности. В мировой литературе XIX века Мериме не находит писателя, который в этом отношении мог бы быть поставлен рядом с Пушкиным. Признавая бесспорным факт влияния Байрона на Пушкина, он твердо убежден, что как художник Байрон значительно уступает Пушкину. Пушкин и русская литература — не кратковременное увлечение, а постоянная тема Мериме в течение длительного периода его жизни. В речи о Пушкине Тургенев привел ценнейшие высказывания его на эту тему: «Ваша поэзия, — сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго, — ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу»... «У Пушкина, — прибавлял он, — поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы».<sup>19</sup> Тургенев далее сообщал, что Мериме находил много общего между Пушкиным и древними греками, что в пушкинской поэзии он отмечал слияние идеального и реального, восхищался тем, что общеизвестное Пушкин выражал самым оригинальным образом.

Если свести воедино мысли Мериме о Пушкине, то получится, что для него Пушкин был лучшим наследником и продолжателем многовекового опыта всей мировой литературы. Кроме него, ни в каком другом из великих, современных ему художников Мериме не видел такого соединения искусства и жизни, правды и красоты, поэзии и обыденности, общедоступности и оригинальности, — словом сочетания идейной глубины и высшей художественной целесообразности.

Важнейшие высказывания Мериме о русской литературе относятся к тому времени, когда отчетливо обозначились ее новые идейно-художественные признаки, список ее замечательных деятелей пополнился новыми крупными именами.

К середине 50-х годов вышли в свет главные теоретические и историко-литературные сочинения Чернышевского, первая книга стихов Некрасова, пьеса Островского «Доходное место», знаменовавшая полное преодоление драматургом отрицательного влияния со стороны славянофилов и почвенников, ряд произведений Толстого, выдвинувших его как первоклассного писателя; «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина; наконец, первый роман Тургенева — «Рудин».

Тургеневский роман наиболее показателен как свидетельство происшедших значительных сдвигов в русском литературном процессе, а с другой стороны, как доказательство плодотворного развития традиций Пушкина, Гоголя и Лермонтова. В идейно-психологическом облике Рудина отчетливо отражены проблемы назревших и уже ставших неотложными перемен в общественном строе России. Рудин — человек большого при-

<sup>19</sup> И С Тургенев, Собрание сочинений, т. XI, Гослитиздат, М., 1956, стр. 216.

звания, которое хотя и сознает, но осуществить, однако, не способен. Герцен оправдывал бездействие Бельтова тем сопротивлением, которое оказывала ему среда. Рудин у Тургенева сам несет вину за свою неспособность к деятельности. Надо полагать, что в этом смысле Белинский был бы доволен романом Тургенева.

Главная заслуга Тургенева-романиста состоит именно в том, что он первым в русской литературе создал образ передового деятеля, в духовную жизнь которого вошли интересы общего, как определяющие ее.

Тургенев написал шесть романов, но основным его завоеванием в этой области являются первые четыре. Они определяют собою сущность того, что принято называть тургеневским романом. В последних двух романах, в «Дыме» и в «Нови», Тургенев лишь видоизменял ранее выработанную структуру, но не создавал новой. Отличительные признаки тургеневского романа целиком обусловлены духовной и нравственной природой главного героя, который хотя и менялся, но всё же сохранял некие устойчивые признаки, прежде всего, трагическое мироощущение. Не говоря уже о Рудине и Лаврецком, Тургенев и на Базарова смотрел, как на трагически обреченную фигуру. Инсаров также наделен трагической судьбой. Трагизм тургеневских героев, при всем различии между ними,— в представлении о несовместимости личного счастья с исполнением общественного долга. Революция, по убеждению Тургенева, и великая, преобразующая общество сила, и одновременно отрицание в человеке личного. С этой точки зрения, человек, так или иначе вступивший в конфликт с ожившими общественными установлениями, несомненно, благороден и возвышен, но жизнь его не может не быть трагичной.

Тургеневский герой сознает свой долг перед родиной. В этом смысле он является лицом эпическим, характером русским. Однако на деле у него нет возможности служить родине. Так определяется коллизия внутренней его сущности. Казалось бы, все усилия его должны быть направлены если не на преодоление, то во всяком случае на осмысление коллизии. Но этого не случается. Осмысление есть вместе с тем движение, развитие во времени или в пространстве. Тургеневу же был вполне ясен его герой, как выражение авторской философско-исторической концепции. Осмысление героем самого себя возможно и как его суд над самим собой. Тургенев отказывает ему и в этом, ибо таким путем герой мог прийти к самооправданию, к отстаиванию права на исправление. Это не соответствовало задаче Тургенева, тому, как понимал он движение общественно-исторического процесса. Поэтому Тургенев отдает своего героя на суд истории, которая и возвеличивает его и тут же выносит ему свой окончательный, беспощадный приговор.

Тургеневский роман в силу всего этого предельно лаконичен. Как правило, в нем всего лишь несколько эпизодов драматически-напряженных, промежутки между которыми заполнены авторскими отступлениями, нередко касающимися прошлой жизни героя. Большею частью резко выделяются два эпизода, в одном из которых показан взлет героя, а в другом — его развенчание (в «Рудине» — это соответственно эпизод в доме Ласунской, где герой покорил всех своим красноречием и яркостью мысли, и сцена у Авдюхина пруда; в «Отцах и детях» — столкновение Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым в доме Кирсанова и встреча его с Одинцовой).

Тургеневский роман не только сжат, но и драматичен, ибо он заканчивается катастрофой для героя. На этом основании тургеневский роман нередко отрывали от русской романической традиции, сближая по форме с западноевропейским романом. В действительности же он глубоко национален как в отношении содержания, так и формы. Самый драматизм



тургеневского героя чисто русский. Герой приходит к катастрофе в результате неспособности исполнить высокое призвание, добровольно возложенное им на себя. Тем самым он как бы уступает место своему, более достойному преемнику. В отличие от романа пушкинского и лермонтовского в тургеневском романе резко подчеркнуто окончание, которое, однако, указывает на исчерпанность лишь судьбы и возможностей героя, а не темы произведения. Тема оказывается неизмеримо шире героя, который выражает только одну из многих сторон ее, только один момент в ее развитии. Тема эта — историческая судьба России. Россия, говорит один из тургеневских героев, может обойтись без каждого из нас, но никто из нас не может обойтись без России. Такова одна из глубоких особенностей русского романа, в целом русской литературы. У Бальзака, Стендаля, Диккенса, вообще у крупнейших западноевропейских романистов, напротив, герой оказывался выше темы, т. е. тех идеалов, которые увлекают его и осуществлению которых отдает он свою жизнь.

Тургенева принято считать у нас основоположником социально-психологического романа. Это не вызывает возражений. Но что же, однако, представляет собою социально-психологический роман в его русском варианте? Думается, его можно было бы приблизительно так определить: это роман, основанный на раскрытии психологии, в которой так или иначе нашли преломление главные социальные проблемы эпохи. Он складывался у нас, начиная с «Евгения Онегина»; элементы его есть в «Герое нашего времени», в «Мертвых душах», в «Кто виноват?», в «Обыкновенной истории». Из этих первых русских реалистических романов ближе всего к типу социально-психологического романа, конечно, «Евгений Онегин». Но, во-первых, «Евгений Онегин» роман в стихах; во-вторых, образ главного героя этого романа строится преимущественно в плане выяснения его отношения к общенациональным задачам. Проблематика «Мертвых душ» более социально острая, но в них нет интеллектуального героя, личности со сложной психологической структурой. В «Герое нашего времени» главенствующее место занимают еще психологические проблемы. Герцен в «Кто виноват?» изображает героя, по его мнению, подготовленного к общественно полезной деятельности, которая, однако, понимается очень широко, т. е. недостаточно конкретно, — как служение на благо всей нации в рамках существующих установлений. Кроме того, «Кто виноват?» — цикл биографий, художественно выполненных и скрепленных единой авторской идеей, как «Герой нашего времени» — цикл новелл, образующих одно целое, благодаря тому, что в них с различных сторон изображается один и тот же герой. Психологический облик главного героя первого гончаровского романа чрезвычайно важен для понимания идейного движения 40-х годов, но он всё-таки лишь косвенно связан с решающими проблемами эпохи.

Герой тургеневского романа воспитался в идейной атмосфере 40-х годов, прошел через все искусства ее; в самом его глубоком внутреннем, психологическом разладе преломлены и отражены важные вопросы той эпохи, вопросы о необходимости крупных перемен в общественно-экономическом устройстве страны. Именно так воспринимались лучшие тургеневские романы и герои их, начиная с «Рудина».

От тургеневского романа лежал прямой путь к роману Толстого и Достоевского — к вершинам русского романа; во всяком случае, это явления одного и того же процесса, звенья одной и той же цепи. К оригинальным чертам русского романа, русской литературы вообще принадлежит жажда исканий, способность ставить коренные вопросы исторического развития и получать на них ответы, — такие, например, вопросы, как кто виноват? и что делать? В литературах западноевропейских стран этот

пафос исканий ослабеваает еще на рубеже XVIII—XIX века, более высокого напряжения достиг он в творчестве Руссо и Гёте. Но их искания, с которыми соприкасаются русские писатели (например, интерес Толстого к Руссо), в сущности лишь стороной задевают вопрос о разделении общества на угнетателей и угнетенных. Для русских писателей этот вопрос оказался в центре внимания.

Расцвет литературной деятельности Тургенева приходится на тот исторический момент, который можно назвать стыком между дворянским и разночинно-демократическим периодами в русском освободительном движении. Подпочвой его является назревание массового движения в стране. Правда, русская народная масса не была организована, протест ее против своего физического и духовного порабощения большей частью еще таился в недрах ее, он выражался пока что стихийно и разрозненно, однако, с другой стороны, ни у кого не оставалось сомнения, что он существует и сила его непрерывно возрастает. Гроза крестьянского восстания в России тех лет все время висела в воздухе. И начиная с 40-х годов русская действительность формирует особый тип людей, — людей, которые соединяют в себе свойства бойцов и мыслителей, знающих истинные нужды своего отечества и готовых вступить в бой за их осуществление. Первыми в этой плеяде защитников народа были Белинский и Герцен.

Тургенев, по словам Добролюбова, отличался замечательным тактом действительности, он остро улавливал движение времени и его требования. Общавшийся с самыми передовыми людьми эпохи, он, конечно, отдавал себе отчет в их историческом призвании. Если взять героя тургеневского романа как собирательное имя, как нечто целокупное, то мы должны будем признать, что он содержит в себе некоторые важные качества передового мыслителя и бойца за осуществление прогрессивных идеалов, хотя и не является типическим воплощением ни того, ни другого характера. Он — лишь момент становления их обоих, он — на перепутьи. И в этом его специфическая, ему одному свойственная трагедия.

Сквозь эту особенную форму трагедии тургеневского героя просвечивает общая природа драматизма русского интеллектуального героя. Русский интеллектуальный герой в целом не порочит своей жизненной практикой гуманистических идеалов, как это случалось с интеллектуальными героями крупнейших западноевропейских романов. Он может только допускать те или иные отклонения от гуманистической линии своего жизненного поведения, делать те или иные ошибки, иногда даже совершать преступления, как это случается с Раскольниковым, за которые сам же определит и меру наказания. Здесь он тоже не терпит половинчатости. Русский интеллектуальный герой скорее вовсе отступится от деятельности, нежели встанет на путь компромисса, сделки со своей совестью. Конечно, были и исключения из этого ряда, как например Калинин в романе Писемского «Тысяча душ», но тогда и само произведение спускалось на уровень посредственности. Характерно, что именно Достоевский, показавший в «Преступлении и наказании», к чему может привести компромисс, так резко осудил роман Писемского «Тысяча душ» за оправдание компромисса.

Русский интеллектуальный герой, начиная особенно с тургеневского героя, остро чувствовал подземные ключи народной жизни, нарастающие требования со стороны народной массы к ходу истории, к устройству общества. В этом источник его гуманизма, и этот гуманизм по своему содержанию существенно отличается от гуманистических идеалов героя западноевропейского романа, думавшего только о своем личном человеческом достоинстве и о раскрытии своих незаурядных способностей.

В гуманизме западноевропейского героя большая доля индивидуализма, гуманизм же русского героя основан на его духовном родстве с массой, осознанном или неосознанном, и потому драматизм его заключается в том, что он не находит путей и средств к утверждению в жизни этих идеалов.

В романах Тургенева, который как писатель сформировался в исторический момент перехода от дворянского этапа освободительного движения к разночинно-демократическому, впервые вполне определилась природа драматизма русского интеллектуального героя, а в романах Толстого и Достоевского этот драматизм достиг наибольшей высоты. Творчество Тургенева — одно из важных звеньев русского историко-литературного процесса. Слава Тургенева началась с «Записок охотника», проникнутых глубоким уважением к простому русскому человеку, к крестьянину, его поэтизацией. Тургенев предстал здесь как наследник и продолжатель традиций Гоголя, безгранично веривший в могущество национального начала в русском человеке. Тургенев только свободен от крайностей, свойственных Гоголю. Следуя за Гоголем, он изображает крестьян как истинных представителей нации, в которых заключено будущее России. Существенными моментами поэтизации национального начала являются у Тургенева пейзаж и колорит языка. Тургенев закономерно стал выдающимся певцом русской природы и ценителем русского языка, несравненным мастером которого был он сам.

Новая фаза в творческой деятельности Тургенева началась, когда он выступил в качестве романиста. Тип тургеневского романа в основном и решающем определился требованиями русской действительности и русской литературы, характером героя, который был дан ему русской историей. Но тургеневский роман и тургеневский герой принадлежат также истории мировой литературы. Характер своего героя как представителя русской нации, взятой в известный момент ее исторической жизни, Тургенев рассматривает и в аспекте преломления в его душевном складе законов всей человеческой истории, как он их понимает. Он соотносит своего героя с такими выдающимися образами мировой литературы, как Гамлет, Дон Кихот и Фауст. Тут нельзя дело сводить к философским склонностям и увлечениям Тургенева. Конечную причину следует искать в самой русской действительности. Начиная с середины XIX столетия передовой русский человек мог думать и о себе и о своем деле лишь в соотношении себя, своих мыслей и своих действий с законами истории, с начинавшимся движением масс за свое освобождение. На него, в связи с этим, ложилась задача исполнения долга перед историей и ее поступательным ходом, а это ставило перед ним проблему сочетания в своем жизненном поведении элементов общественного и личного, порождало в нем стремление к подвигу и одновременно склонность к рефлексии. В истолковании и изображении Тургенева он не выдерживает выпавшего на его долю испытания, и любимая им женщина первая узнает об этом, первая судит его. От этого трагизм героя принимал особенно обидную форму для него. Образы необыкновенно тонко чувствующих, а вместе с тем сильных женских характеров — тургеневских девушек — занимают исключительно важное место в тургеневских произведениях.

Вследствие всего сказанного специфические противоречия русской действительности, в свое время помешавшие тому, чтобы Пушкин был признан мировым поэтом, теперь, напротив, обусловили мировое признание Тургенева. Преломление в национальной проблематике тургеневского творчества проблем всемирной истории вело к насыщению тургеневских произведений философскими мотивами, к своеобразному философскому лиризму и трагизму.

Тургенев завоевал себе место в мировой литературе как писатель неповторимого русского колорита, к тому же в своем творчестве поставивший проблемы всемирной истории.

В творчестве Тургенева впервые окончательно слились два коренных вопроса: вопрос исторического развития России с вопросом о человеческих характерах, непосредственно и реально участвующих в движении исторического процесса. Тургенев исполнен колебаний в решении как того, так и другого вопроса. Он чувствует неизбежность революционного способа преодоления общественно-исторического конфликта, но он против революции. Он видит силу и историческую будущность Базарова, а вместе с тем его сочувствие на стороне Лаврецкого, в конце склоняющегося к либерализму, и Соломина, уже откровенного либерала-постепеновца. Можно говорить о борьбе демократизма и либерализма в общей позиции Тургенева как писателя и общественного деятеля; можно говорить о своеобразном отражении борьбы демократов и либералов в тургеневском творчестве; но можно, думается, избрать и такой аспект рассмотрения: воплощение Тургеневым противоречивых черт русского национального характера. В последнем случае мы должны будем признать, что от тургеневского героя, взятого в целом, тянутся нити и к Обломову, и к Рахметову как к национальным типам. Нет сомнения, что наиболее выдающиеся герои русской литературы являются одновременно и социальными и национальными типами. Если Базарова многое роднит с Рахметовым, то в Лаврецком уже явно намечаются обломовские черты, не случайно Михалевич, университетский товарищ Лаврецкого, называет его байбаком.

Так скрещиваются творческие устремления таких различных писателей, как Тургенев, Гончаров и Чернышевский. Так мы улавливаем единство русского национального историко-литературного процесса и в его противоположностях, во все большем проникновении литературы в сущность нашей национальной истории со всеми ее социальными противоречиями и национального характера во всей его социально-исторической обусловленности, в выявлении их глубинных свойств и всемирного содержания.

Гончаров задумал своего «Обломова» независимо от тургеневских романов. Характер главного героя этого романа был предугадан Белинским в отзыве на роман Гончарова «Обыкновенная история». В «Обломове» Гончаров достиг зенита в своей литературной деятельности. Этот роман одно из наиболее характерных произведений русской литературы, в нем с большой художественной силой поставлены социальные проблемы общенационального значения. В этом отношении «Обломов» отчасти близок «Мертвым душам».

Наше восприятие главного героя романа во многом предопределено знаменитой статьей Добролюбова «Что такое обломовщина?». Добролюбов заострил существенные черты образа, обогатил его политическим содержанием, но вместе с тем опустил некоторые стороны как не отвечающие поставленной перед статьей задаче. Образ Обломова представляет соединение нескольких идейных пластов, в некотором смысле даже противоположных между собою. Добролюбов выделяет и возводит в политический принцип лишь один пласт — воплощение в образе Обломова крепостнических отношений. Такой анализ романа наиболее соответствовал исторической обстановке и программе революционных демократов. Добролюбовский Обломов, совпадая в своей сущности с образом героя гончаровского романа, и значительнее, и в то же время до некоторой степени уже этого последнего.

Отречение Обломова от всякой деятельности обусловлено не только тем, что у него есть крепостной Захар, но отчасти и тем, что он не желает удовлетвориться малым, на большее же неспособен. У Обломова были свои гуманистические идеалы, которые он со временем растерял. Перед ним стояла дилемма: либо идеал и беспокойство, либо покой и отсутствие идеала. Он выбрал последнее. В этом сказалась его помещичья природа. Но то, что он имел гуманистический идеал, говорит о наличии у него в молодые годы тенденции к преодолению помещичьей идеологии. И дело не только в этом. В самом начале своего сознательного отношения к жизни Обломов столкнулся и еще с одной дилеммой: или заняться практической деятельностью и достигнуть того, чего достигали в лучшем случае преуспевающие чиновники, или вовсе ничего не делать и постепенно угасать. Обломов считает, что лучше погасить в себе всякий огонь жизни, чем вступить на путь постоянных компромиссов со своими человеческими требованиями. В Обломове человек погибает из-за того, что у него нет жизненной необходимости взяться за какую-либо практическую деятельность, отчасти же и из-за отсутствия высокой цели. Перспектива стать чиновником или дельцом безмерно пугает его. Для этого, по его мнению, слишком мало нужно человека, он же хочет остаться человеком.

Образ Обломова — один из величайших в русской литературе. Раскрыв тяжелые последствия крепостнических отношений, как они сказались на человеческой личности, роман Гончарова раскрыл тем самым некоторые отрицательные, исторически обусловленные свойства в русском национальном характере. Вспомним, что Ленин уже в годы советской власти неоднократно отмечал наличие обломовских черт даже у некоторых коммунистов. Революционные демократы воспользовались романом Гончарова, как благодарным материалом для постановки важных вопросов, связанных с воспитанием поколения новых людей.

Насколько романы Тургенева драматически напряжены по сюжету, настолько «Обломов» эпически спокоен. Эпичность его надо видеть не только в медленном развороте событий, но и в тенденции к полноте изображения жизни. Ярче всего это сказывается в «Сне Обломова». Это поистине эпический рассказ о поместной усадьбе, как она воспринимается самим питомцем ее, еще не погрузившимся в прозу бытия и не замечающим за внешней безмятежностью развертывающейся перед ним картины большой жизненной драмы. Обломова прельщает покой и безмятежность. Он отстаивает это не только как условие личного благополучия, но и как определенный строй жизни, дающий независимость человеческой личности. Отсюда поэтизация Обломовки, эпическая значимость рассказа о ней. Не сливаясь с героем, автор все же явно сочувствует ему в этом отношении. Однако в сознании самого Обломова, в его восприятии Обломовки есть и другая сторона — понимание, что покой и безмятежность ее таят в себе опасность остановки жизни, полного застоя. Гончаров здесь идет значительно дальше своего героя. Эпос оборачивается сатирой. И мы опять вспоминаем «Мертвые души», где также, хотя и по другим причинам, сливается эпос и сатира.

Обломов угасает и потому, что он как помещик может ничего не делать, и потому, что как человек он не желает ничем заниматься в ущерб своему человеческому достоинству. В разговоре со Штольцем он следующим образом излагает ему свою жизнь:

«Начал гаснуть я над писаньем бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и

холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии; гаснул и губил силы с Миной: платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее; гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту, среди еотовых шуб и бобровых воротников,— на вечерах, в приемные дни, где оказывали мне радушие как сносному жениху; гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи в Гороховую, определяя весну привозом устриц и омаров, осень и зиму — положенными днями, лето — гуляньями и всю жизнь — ленивой и покойной дремотой, как другие... Даже самолюбие — на что оно тратилось? Чтоб заказывать платье у известного портного? Чтоб попасть в известный дом? Чтоб князь П.\* пожал мне руку? А ведь самолюбие — соль жизни! Куда оно ушло? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его».<sup>20</sup>

Природа русской литературы в «Обломове» дает о себе знать буквально в каждой сцене. Человек сознательно идет на то, чтобы совсем угаснуть, нежели стать чиновником или дельцом, вступить в сделку со своей совестью. Это проблема не только русского, но и всего мирового исторического процесса.

Позиция Гончарова в отношении Обломова двойственна: в Обломове он видит уходящее прошлое, но в этом прошлом для него многое симпатично. Обломову Гончаров не находит места в быстро меняющейся жизни, но в качестве новой силы выдвигает не русского деятеля, а немца Штольца, лишённого русской широты. Таким образом, в обрисовке Гончарова Обломов предстает как человек, хотя и безнадежно отставший от требований времени, но при этом не идущий на сделки с совестью, на компромиссы. Однако, если подойти к Обломову с иной точки зрения, с точки зрения запросов, предъявляемых историей к передовому человеку, то окажется, что бескомпромиссность Обломова является мнимой. Добролюбов так и поступил. И тут мы видим, насколько бескомпромиссной была передовая русская критика.

Антиподом Обломова является Рахметов как русский национальный тип. Это, действительно, бескомпромиссный характер. Обломов, в своей сущности, принадлежит прошлому, Рахметов — будущему. С такой остротой был поставлен вопрос о русском национальном характере в переломный момент истории России, в 60-е годы, когда Россия вступала в эпоху подготовки революции. Появилось поколение новых людей. Насколько важное место заняли они в жизни и в литературе, можно судить хотя бы уже по одному тому, какое внимание уделил им Тургенев в своем лучшем романе — «Отцы и дети». Вокруг новых людей развернулась ожесточенная литературно-политическая борьба. Писатели революционно-демократического лагеря изображали их с самым горячим сочувствием. Напротив, литераторы, разделявшие либеральные и тем более реакционные убеждения, большей частью писали на них пасквили. Позиция Тургенева оказалась весьма противоречивой. Самым значительным произведением о новых людях явился роман Чернышевского «Что делать?» с Рахметовым в качестве центральной фигуры. По всей видимости, Чернышевский умышленно делает родословную своего героя традиционной для русской литературы. Рахметов — дворянин, он вырос в помещичьей усадьбе, где с детства наталкивался на случаи, которые не могли укреплять в нем симпатии к людям его круга, но при этом у него всё-

<sup>20</sup> И. А. Гончаров, Собрание сочинений в восьми томах, т. IV, Гослитиздат 1953, стр. 190.

таки не было особых предпосылок отделяться от него. Нужны были более весомые факторы для перерождения Рахметова в необыкновенного человека. Главную роль тут сыграли встречи с умными людьми, особенно же чтение книг. Приехав в Петербург обычным дворянским юношей в возрасте шестнадцати лет, ровно через полгода Рахметов стал «особенным человеком». Перерождение произошло так быстро потому, что оно совершалось на идейной основе, как следствие усвоения лучших достижений человеческого ума. А затем Рахметов начинает перестраивать себя и физически, результат достигается очень быстро, за Рахметовым закрепляется имя русского богатыря Никитушки Ломова.

В Рахметове Чернышевский сплавляет в одно целое свойства человека передового мировоззрения со свойствами представителя народной массы, наделенной богатырскими силами и неограниченными возможностями. В этой тенденции к соединению просвещенного, революционного ума со здоровой во всех отношениях народной натурой Чернышевский вообще видел отличительную черту русского освободительного движения. Не случайно он, великий русский революционер и писатель, создал роман «Что делать?», книгу, посвященную «новым людям», на которой воспитались многие революционные поколения не одной только России. Эту книгу горячо любил Ленин, неоднократно читал ее, утверждая, что Чернышевский перепаял его всего.

Процесс перерождения Рахметова в особенного человека и в русского богатыря по своему смыслу противоположен процессу угасания Обломова, хотя в то же время между обоими процессами существует прямая связь. Общий вывод из сравнения двух процессов напрашивается такой: если человек выработал себе цель в жизни, он может подняться до Рахметова, если же он живет без цели, то ему угрожает опасность опуститься до Обломова.

Образ Рахметова — олицетворение господства убеждений, воли и знаний над обстоятельствами. Напротив, образ Обломова символизирует владычество обстоятельств над человеком, не имеющим ни убеждений, ни воли, ни знаний. Противоположность двух образов по всем линиям очевидна. Очевиден также и смысл, вытекающий из сопоставления Рахметова и Обломова: 60-е годы решительно поставили вопрос о перестройке действительности людьми и, с другой стороны, о перестройке людей посредством такого орудия, как передовое мировоззрение. В двух замечательных русских книгах — в романе Гончарова «Обломов» и в романе Чернышевского «Что делать?» — перед нами два доведенных до логического конца решения одной и той же проблемы, проходящей сквозь почти все выдающиеся произведения, в ряду которых первым стоит пушкинский «Евгений Онегин»: проблемы поисков передовыми людьми достойной деятельности. Мы сталкиваемся в этих произведениях с обстоятельством известной незавершенности поставленной темы, общей для них: герой или тяготеет от сознания, что у него нет высокой цели; или он останавливается где-то на полпути движения к ней; или же, по тем или иным причинам, он не может осуществить ее, даже так или иначе взявшись за ее осуществление. Обломова и Рахметова следует признать наследниками этих героев, причем в Обломове сконцентрированы, даже гиперболизированы слабые их стороны, а в Рахметове — сильные.

Из факта почти одновременного появления романов Гончарова и Чернышевского напрашивается вывод, что свойства Обломова к тому времени не отошли еще в прошлое, а свойства Рахметова не сделались пока бесспорно очевидными. Преодоление обломовщины во всех ее разновидностях и утверждение революционных качеств в русском народе — это

единый процесс, особенно интенсивно развивавшийся в эпоху между 1861 и 1905 годами, которую Ленин назвал эпохой подготовки первой русской революции. Русская нация именно в эту эпоху превратилась в самую революционную нацию в мире, а русская литература, показавшая сложные процессы русской жизни, тем самым совершила шаг вперед в художественном развитии всего человечества. Русская литература указанного исторического периода отражала глубочайшие сдвиги, происходившие в условиях жизни и в сознании русской нации, взятой в целом, становившейся наиболее революционной нацией мира. К этой эпохе относятся величайшие достижения русской литературы, раскрывшей во всем величии свои национальные особенности и завоевавшей себе признание передовой литературы всего человечества.

*(Продолжение следует)*





## ПУШКИН И ТЕОРИЯ РЕАЛИЗМА

### 1

Когда мы говорим: «Пушкин и теория реализма», мы указываем на две задачи исследования. Речь может идти, во-первых, о том, что дает современной теории реализма *творчество* Пушкина, его *искусство*, и во-вторых, речь может идти о том, что дают теории реализма теоретические *взгляды* Пушкина на искусство: его статьи о литературе, его рецензии, заметки, письма.

В настоящей статье речь идет именно о Пушкине как о теоретике реализма, точнее — о тех суждениях Пушкина об искусстве, которые и сегодня помогают нам осмыслить явление и, следовательно, понятие реализма.

Эстетика Пушкина не изложена ни в каком специальном сочинении поэта. Она не рядится в одежду «технических» философских и эстетических терминов. Она не выступает от лица какой-либо известной философской системы. Развиваясь в литературной и критической среде, захваченной влиянием шеллингянства и романтизма, Пушкин был далек от распространенной в 20-е и 30-е годы моды на метафизический лексикон, на щеголяние философскими терминами, за которыми не стояло действительно продуманное философское содержание.

Однако, избегая философского оформления своих эстетических понятий, Пушкин поступал так вовсе не потому, что пренебрегал теоретическими основами эстетики. Пушкин сторонился легкомысленных и необоснованных притязаний на философичность. Именно в этом смысле он оправдывал перед А. А. Дельвигом свое отношение к московским шеллингянцам из редакции «Московского Вестника». — «Ты пеняешь мне, — писал Пушкин, — за Московский Вестник — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы. . .»<sup>1</sup>

Пушкин отрицает не глубокомыслие, но подмену глубокомыслия поверхностной и модной схоластикой. Пушкин высмеял Полевого за невежество и за имитацию философской образованности. Пушкин представил его в образе ветреного мальчика Алеши, которому логика казалась «наукою прошлого века, недостойною наших просвещенных времен», и который на упреки учителя, бранившего его «за *вокабулы*», отвечал ему именами Шеллинга, Фихте, Кузенья, Геерена, Нибура, Шлагеля и проч.» (VII, 112).

<sup>1</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, том X, Изд. АН СССР, М—Л., 1949, стр. 226 В дальнейшем ссылки на это издание в тексте.

Посмеиваясь над Полевым, Пушкин благожелательно смотрел на деятельность московской философской молодежи. Он не только с полным сочувствием отозвался об «Обозрении» Ивана Киреевского, напечатанном в альманахе «Денница» в 1830 году, но прямо связал свое одобрение с указанием на философскую школу, к которой принадлежал молодой критик. «Автор,— писал Пушкин,— принадлежит к молодой школе московских литераторов, школе, которая основалась под влиянием новейшей немецкой философии и которая уже произвела Шевырева, заслужившего одобрительное внимание великого Гёте, и Д. Веневитинова, так рано оплаканного друзьями всего прекрасного» (VII, 114).

Спустя шесть лет, оглядываясь в споре с М. Е. Лобановым на путь, пройденный русским шеллингианством, Пушкин дает этому течению оценку сочувственную и положительную. В успехах философии в России Пушкин видит причину совершенствования специальных наук, в том числе литературоведения и эстетической критики. Пушкин связывает успехи философии с преодолением беспринципного эмпиризма. «Умствования великих европейских мыслителей,— возражал он Лобанову,— не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и, хотя говорили они языком, мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно» (VII, 408).

Положительное значение немецкой философии Пушкин противопоставляет значению философии французской. При этом, однако, Пушкин руководится отнюдь не пристрастием к идеализму немецкой теории. Французскую философию он ставит ниже немецкой, потому что видит в ней — так ему кажется — учение скептицизма. Именно в ограждении от скептицизма Пушкин усматривал неоспоримое превосходство немецкого умозрения: «Философия немецкая,— разъяснял Пушкин в статье «Путешествие из Москвы в Петербург»,—... кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии...» (VII, 276).

В современной ему русской литературе и критике Пушкин осуждал отсутствие твердо выработанных теоретических основ, недостаток и несовершенство ее эстетических понятий и принципов, теоретическую беззаботность и беспечный эмпиризм. Он бранит журналы за то, что о литературе они судят «наобум, понаслышке, безо всяких основательных правил и сведений...» (VII, 222). От критики, по Пушкину, «требуется не одного здравого смысла, но и любви и науки» (VII, 398). «Между тем,— писал Пушкин,— как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, мы всё еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда...» (VII, 211).

Определение истинной критики сливается у Пушкина с определением эстетики: критику он определяет как науку «открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы». По Пушкину, критика эта основывается: 1) «на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях»; 2) «на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений» (VII, 159).

Успехи развития мировой и русской литературы Пушкин ставил в зависимость не только от литературных талантов, но также и от наличия правильной эстетической теории, которой могло бы руководиться искусство. Несчастье эпохи, когда создавались средневековые мистерии, Пуш-

кин видел в том, что тогда «не было Аристотеля для установления непреложных законов мистической драматургии» (VII, 35). «Критики греческой,— жаловался Пушкин А. А. Бестужеву,— мы не имеем» (X, 144). Жалоба эта повторяется Пушкиным неоднократно. «Литература у нас существует,— разъясняет он в заметке о полемике,— но критики еще нет. У нас журналисты бранятся именем *романтик*, как старушки бранят повес франмасонами и волтерьянцами— не имея понятия ни о Вольтере, ни о франмасонстве» (VII, 519).

От критики Пушкин требовал точности в определении понятий, которая делает критический приговор не только высказыванием личного вкуса, но эстетическим и философским суждением.

В то же время Пушкин сознавал, что в современной ему русской критике требование это остается только пожеланием. По наблюдению Пушкина, в критике русской не был еще выработан даже «технический» язык, который мог бы сообщить эстетическим понятиям требуемую точность. «Метафизического языка,— писал Пушкин еще в 1824 году,— у нас совсем не существует». Хотя «просвещение века,— разъяснял он,— требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись...» (VII, 18).

Вопрос о «метафизическом языке» был для Пушкина не вопросом одной лишь формы: в отсутствии специального философского языка Пушкин видел признак незрелости и молодости современной ему эстетической мысли. «Проза наша,— писал Пушкин в статье о предисловии Лемонте к переводу басен Крылова,— так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных...» (VII, 31). Поэтому Пушкин советовал Ивану Киреевскому избегать ученых терминов и стараться их переводить, т. е. перефразировать: «это будет,— пояснял он,— и приятно неучам и полезно нашему младенчеству языку» (X, 404). В замечаниях этих нет ничего парадоксального: именно в силу отсутствия в тогдешней литературе выработанного эстетического и философского языка Пушкин отвергал несамостоятельное применение иностранной терминологии, усматривал в нем «леность», которая «охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны» (VII, 31). Поэтому всякий действительный успех в развитии русского философского, или «метафизического», языка Пушкин радостно приветствовал. В заметке «„Бал“ Баратынского» Пушкин восторгается «удивительным искусством», с каким этот поэт «создал совершенно своеобразный язык и выразил на нем все оттенки своей метафизики» (VII, 84). В этом же смысле Пушкин отмечает легко узнаваемую характеристичность «станцов метафизических» Вяземского (VII, 125).

Зато с тем большим огорчением Пушкин отмечает незрелость современной ему критики, отсутствие в ней твердо установленных и усвоенных эстетических понятий, неспособность руководить эстетическими мнениями публики. В разрез с мнением А. А. Бестужева Пушкин доказывает, что в современной ему России есть «кой-какая» литература, но нет критики. «Что же ты называешь критикою? — спрашивает Пушкин Бестужева.— Вестник Европы и Благонамеренный? библиографические известия Греца и Булгарина? свои статьи? Но признайся, что это все не может установить какого-нибудь мнения в публике, не может почестся уложением вкуса». «Именно критики у нас и недостает» (X, 145). Ту же мысль Пушкин повторяет спустя четыре года — в заметках о критике и полемике. «Литература у нас,— пишет здесь Пушкин,— существует, но кри-

тики еще нет»<sup>2</sup> (VII, 519). «У нас критика,— разъясняя Пушкин Погодину,— конечно, ниже даже и публики, не только самой литературы. Сердиться на нее можно, но доверять ей в чем бы то ни было — непростительная слабость» (X, 414). Никто сильнее Пушкина не чувствовал потребности в критике, способной руководить эстетическими вкусами читателя. Пушкин не только утверждал, что «голос истинной критики необходим у нас», он вместе с тем пояснял, что критика эта должна иметь влияние на судьбу произведения, должна быть в силах «забрать в руки,— как говорил он Катенину,— общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление» (X, 200).

## 2

Искусству Пушкин указал, как его высший предмет, изображение крупных исторических явлений жизни народной, изображение больших людей и деятелей, представляющих исторические силы и движения эпохи, изображение и сцены жизни народной.

Задачей, поставленной Пушкиным перед искусством, определяются и средства ее выполнения. Художественным методом пушкинской поэтики — поэтики исторической трагедии, исторической повести, поэмы, романа — стал реализм. Пушкин сам признал себя писателем-реалистом, или, как он выразился, «поэтом действительности» (VII, 116). Такой характеристикой он заменил более пространную и менее точную характеристику его творчества, развитую Ив. Киреевским в «Обзрении русской словесности 1829 года». К реализму Пушкин пришел не только как художник, но и как мыслитель. Работе над «Борисом Годуновым» предшествовала большая работа эстетической мысли: создавая «Бориса», Пушкин продумал вопросы об эстетических основах исторической трагедии, об отношении ее образов к исторической действительности, о допустимом в искусстве правдоподобии и т. д.

От творца исторической трагедии Пушкин требует в первую очередь верного исторической действительности изображения. Отказавшись добровольно от выгод, представляемых *классической* системой трагедии, оправданной опытом и утвержденной привычкой, Пушкин, по собственному признанию, старался заменить этот недостаток «*верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий...*» (VII, 73; курсив мой.— В. А.). Свои труды над трагедией он называет «ревностными и добросовестными» (VII, 165).

Работая над «Борисом», Пушкин подражал — как он сам признавался — не только Шекспиру и не только историку Карамзину, но также русским древним летописям (VII, 74, 164). Так, он говорил, что характер Пимена не есть его поэтический вымысел. «В нем собрал я,— пояснял Пушкин,— черты, пленившие меня в наших старых летописях...» (VII, 74). Критикуя изображение Мазепы в одной романтической повести, Пушкин находил, что автор лучше бы поступил, если бы сумел развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, *не искажая своевольно исторического лица*. Вынужденный защищать «Бориса» перед Бенкендорфом, который выступал в качестве передатчика цензурных решений и критических замечаний императора, Пушкин пытался растолковать шефу жандармов, что драматический писатель обязан заставить выведенные им исторические личности «говорить в соответствии с установленным их характером» («parler selon leur caractère connu») (русский перевод; X, 807).

<sup>2</sup> «...Ни критики, ни публика,— писал Пушкин П. В. Нащокину,— не достойны дельных возражений» (X, 367).

Правдивое изображение исторической были, не искажающее истины, не нарушающее действительного хода событий, действительного характера участвующих лиц — таково, по Пушкину, требование исторической трагедии. Пушкин одобрял «Марфу Посадницу» Погодина за то, что находил в этой драме исполненным свое требование. «Драматический поэт — беспристрастный, как судьба, — писал Пушкин в разборе драмы Погодина, — должен был изобразить — столь же искренно. . . *отпор погибающей вольности*, как глубоко обдуманый удар, утвердивший Россию на ее огромном основании. Он не должен был хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, — *но люди минувших дней*, их умы, их предрассудки. Не его дело *оправдывать и обвинять, подсказывать речи*. Его дело *воскресить минувший век во всей его истине*» (VII, 218; курсив мой. — В. А.).

Не следует ошибочно понимать пушкинское отрицание тенденциозности. Пушкин никогда не призывал художника к отказу от понимания и оценки исторического значения изображаемых явлений и деятелей прошлого. Он отвергает не тенденцию, а только внесение современной тенденции в исторические образы и их искажение. Требование Пушкина — оценивать прошлое как прошлое, но не вносить настоящее в изображение этого прошлого и не оценивать под видом суждения о прошлом то настоящее, черты которого примешаны художником к историческим персонажам и явлениям. Так, в 1827 году, давно уже закончив «Бориса», Пушкин признавался, что от напечатания трагедии его удерживает только опасение за те ее места, которые могут быть истолкованы как тенденция, как намек на современность. «Хотите ли знать, — писал он, — что еще удерживает меня от напечатания моей трагедии? Те места, кои в ней могут подать повод применениям, намекам, *allusions*» (VII, 75).

Свое понимание исторического реализма Пушкин противопоставлял тенденциозности современной ему французской исторической трагедии. «Благодаря французам, — утверждал он, — мы не понимаем, как драматический автор может совершенно отказатья от своего образа мыслей, дабы совершенно переселиться в век, им изображаемый». Француз, — продолжает он далее, — пишет свою трагедию с *Constitutionnel* или с *Quotidienne* перед глазами, дабы шестистопными стихами заставить Цицеллу, Тиберия, Леонида высказать его мнение о Виллеле или о Кеннинге. От сего затейливого способа на нынешней французской сцене слышно много *красноречивых журнальных выходов*, но *трагедии истинной не существует*» (VII, 75; курсив мой. — В. А.). Напротив, подобных «применений» Пушкин не усматривал в драмах великих французских писателей XVII века: «Заметьте, что в Корнеле вы применений не встречаете, что, кроме Эсфири и Вереники, нет их и у Расина».

Пушкин был недоволен теми слушателями своей трагедии, которые «обратили внимание на политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми» (VII, 74). Он потешался над «нелепостями романтических анахронизмов», над неискусными и неловкими подражателями Вальтеру Скотту — за то, что «в век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений». «Под *берегом*, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером; сквозь кружевную фрезу *à la Henri IV* проглядывает накрахмаленный галстух нынешнего *dandy*. Готические героини воспитаны у *Madame Campan*, а государственные люди XVI-го столетия читают *Times* и *Journal des débats*» (VII, 102).

Не менее ошибочным считал Пушкин и такое отношение к произведению, когда читатель или критик не делают никакого различия между взглядами и мнениями автора и взглядами и мнениями выведенных им лиц. Широкое и верное исторической истине изображение действующих в трагедии лиц исключает, по Пушкину, ответственность автора за направление мыслей и за способ изъяснения его героев. Автор отвечает не за слова и мысли героев, а за историческую верность и точность своего изображения. Не без горечи отмечает Пушкин ребячество рецензентов «Полтавы», которые, сопоставив слова Мазепы с тем, что о нем говорит сам Пушкин, нашли в поэме противоречие. «У меня сказано где-то, — разъяснял Пушкин, — что Мазепа ни к кому не был привязан: критики ссылались на собственные слова гетмана, уверяющего Марию, что он любит ее больше славы, больше власти. Как отвечает, — восклицает Пушкин, — на таковые критики?» (VII, 192). «Драматический писатель, — разъясняет Пушкин в одном из писем, — не может нести ответственности за слова, которые он влагает в уста исторических личностей» (русский перевод; X, 807).

Но, отклоняя решительно ответственность автора за те или иные высказывания действующих лиц, Пушкин ни в малейшей мере не слагал с него ответственности за действие его произведения в целом, за общее направление, в нем выраженное. Именно в этом смысле он разъяснял, что читателям и критикам — надлежит обращать внимание «лишь на дух, в каком задумано все сочинение, на то впечатление, которое оно должно произвести» (русский перевод, X, 807).

Вопросы исторического реализма составляли лишь грань более широкой проблемы реалистического изображения. Вплотную Пушкин подошел к ним, когда работал над «Борисом». Обдумывая проблемы исторической трагедии, Пушкин поднялся до общих положений реалистической эстетики. Он отдавал себе ясный отчет в широком, выходящем из рамок одной лишь исторической драмы значении своих воззрений. В конце июля 1825 года он набрасывал черновик письма Н. Н. Раевскому, в котором сообщал, что, сочиняя свою трагедию, он «стал размышлять над трагедией вообще» («J'ai réfléchi sur la tragédie en général») (русский перевод; X, 774). Еще в 1831 году он сообщает барону Е. Ф. Розену о своем намерении написать «письмо» для второго издания «Бориса» «и в нем изложить свои мысли и правила, коими руководствовался, сочиняя мою трагедию» (X, 389).

Одним из важных вопросов этих размышлений стал для Пушкина вопрос об эстетической норме правдоподобия. В правдоподобии, в подражании природе современная Пушкину эстетика классицизма видела главную задачу поэтического изображения. «Правдоподобие, — разъяснял Пушкин, — все еще полагается главным условием и основанием драматического искусства». «...Мы всё еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе...» (VII, 212, 211). В правдоподобии видели задачу искусства и француз Буало и «тяжелый педант» немецкого классицизма Готшед, и некоторые эстетики романтизма. Однако, по мнению Пушкина, правдоподобие, предписанное ими искусству, было лишь формальным и условным понятием. «Правдоподобие» это сводилось не столько к способности искусства изображать действительную жизнь, сколько к его способности представлять то, что выдавалось за природу и что на деле было лишь условным и искусственным ее заместителем. Эстетика правдоподобия склонялась либо — как это было у классицистов — к условным иероглифам реальности, либо — там, где она исповедывалась романтиками — к смешению реализма с натурализмом, навая-

званию искусству задачи изображения предмета точно таким, каков он есть в действительности.

Обдумывая драматургические основы своего «Бориса», Пушкин отверг и классическое и романтическое понятие правдоподобия.

Он объявляет несостоятельными все ходячие эстетические понятия о трагедии. Трагедия — утверждает он — «может быть, наименее правильно понимаемый род поэзии» («le genre le plus méconnu»). «...А между тем, — говорит Пушкин, касаясь вопроса о правдоподобии, — именно оно-то и исключается самой природой драматического произведения. Не говоря уже о времени и проч., какое, к черту, может быть правдоподобие (*quel diable de vraisemblance*) в зале, разделенной на две половины, в одной из коих помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на подмостках» (русский перевод; X, 774, 775). «Читая поэму, роман, мы часто, — по словам Пушкина, — можем забыть и полагать, что описываемое происшествие не есть вымысел, но истина. В оде, в элегии можем думать, что поэт изображал свои настоящие чувствования, в настоящих обстоятельствах. Но где правдоподобие, — спрашивает Пушкин, — в здании, разделенном на две части, на коих одна наполнена зрителями...» (VII, 212).

Соображения Пушкина метят непосредственно в театральную эстетику современного Пушкину классицизма и — отчасти — романтизма. Однако действие этих аргументов не ограничивается областью только театра и только современной Пушкину эстетики. Правдоподобие — так думает Пушкин — не может быть критерием достоинства произведения не только в драме, но и в искусствах образительных и в поэзии. Если бы правдоподобие было мерилom этих искусств, то «почему же статуи раскрашенные, — спрашивает Пушкин, — нравятся нам менее чисто мраморных и медных. Почему поэт предпочитает выражать мысли свои стихами?» (VII, 211—212).

С другой стороны, правдоподобие как эстетическую норму Пушкин отвергает и в отношении античного театра. «Вспомните древних, — говорит Пушкин, — их трагические маски, их двойные роли (*leur double personnage*), — все это не есть ли условное неправдоподобие?» (русский перевод; X, 775).

Некоторые эстетики пытались свести правдоподобие к натуралистическому истолкованию, полагая правдоподобие в «строгом соблюдении костюма, красок, времени и места». Но Пушкин отвергает и этот — натуралистический — вариант сценического правдоподобия. «Если мы будем полагать правдоподобие, — рассуждает он, — в строгом соблюдении костюма, красок, времени и места, то и тут мы увидим, что *величайшие драматические писатели не повиновались сему правилу*. У Шекспира римские ликторы сохраняют обычаи лондонских алдерманов. У Кальдерона храбрый Кориолан вызывает консула *на дуэль* и бросает ему перчатку. У Расина полускиф Ипполит говорит языком молодого благовоспитанного маркиза. Римляне Корнеля суть или испанские рыцари, или гасконские бароны, а Корнелеву Клитемнестру сопровождает швейцарская гвардия. Со всем тем, — заключает Пушкин, — Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на высоте недосыгаемой, и их произведения составляют вечный предмет наших изучений и восторгов» (VII, 212; курсив мой. — В. А.).

По Пушкину, с классической и романтической мерой правдоподобия несовместимы ни язык, ни время, ни место сценического представления. «Посмотрите, — говорит Пушкин, — как Корнель ловко управился с Сидом. „А, вам угодно соблюдение правила о 24 часах? Извольте“ — и нагромоздил событий на 4 месяца» (русский перевод; X, 775).

«Условное неправдоподобие» драматического искусства Пушкин выводит из народных источников драмы. «Народ,— писал Пушкин,—... требует занимательности, действия. Драма представляет ему необыкновенное, странное происшествие. Народ требует сильных ощущений... Трагедия преимущественно выводила тяжкие злодеяния, страдания сверхъестественные, даже физические (напр., Филоклет, Эдип, Лир)» (VII, 213).

Не в правдоподобию видит Пушкин «первый закон драматического искусства». «Изю всех родов сочинений,— писал он в статье о трагедии,— самые неправдоподобные (*invraisemblables*) сочинения *драматические*, а из сочинений драматических — *трагедии*, ибо зритель должен забыть, по большей части, *время, место, язык*, должен усилием воображения согласиться в известном наречии, *к стихам, к вымыслам*» (VII, 37—38; курсив мой.— В. А.).

Признав неизбежным законом драматического искусства то, что он назвал «условным неправдоподобием», Пушкин критически относился ко всяким попыткам частичного, неполного, компромиссного ослабления этого свойства драмы. Он полагал, что всякая частичная реформа, частичное уменьшение условности известных элементов драмы не только не может устранить исконное присущее ей «условное неправдоподобие», но что, поскольку это уменьшение всё же может быть достигнуто, оно достигается за счет увеличения какой-то другой условности. «На мой взгляд,— писал он,— ничего не может быть бесполезнее мелких поправок к установленным правилам: Альфиери крайне изумлен нелепостью речей *в сторону*, он упраздняет их, но зато удлиняет монологи, полагая, что произвел целый переворот в системе трагедии; какое ребячество!» (русский перевод; X, 775).

Напротив, «истинные гении трагедии,— утверждает Пушкин,— никогда не заботились о правдоподобию» (*ne se sont jamais souciés de la vraisemblance*) (русский перевод; X, 775). Единственный вид правдоподобия, к которому они стремились, есть, по Пушкину, правдоподобие положений и правдивость диалога: «Правдоподобие положений и правдивость диалога,— писал Пушкин,— вот истинное правило трагедии» (*voilà la véritable règle de la tragédie*) (русский перевод; X, 775).

Норма классического правдоподобия не была единственной, которую Пушкин отверг в качестве обязательной нормы театрального произведения. Однако отрицание эстетических норм классицизма никогда не превращается у Пушкина в безусловное и безоговорочное отрицание всяческих норм искусства вообще. Пушкин не просто отвергает правдоподобие. Отвергнув ложное правдоподобие, не отвечающее сущности искусства, но тут же задается вопросом о правдоподобию истинном. «Какого же правдоподобия,— спрашивает Пушкин,— требовать должны мы от драматического писателя?» (VII, 212—213; курсив мой.— В. А.). И на поставленный вопрос отвечает: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя» (VII, 213). Отвергая натуралистическое и археологическое правдоподобие в условиях сценического действия, Пушкин сохраняет как обязательное и существенное для драмы реалистическое правдоподобие: правдоподобие положений, характеров и диалога. Отказавшись вовсе от классических единств места и времени и едва-едва соблюдая единство действия, Пушкин выразительно подчеркивает, что он «старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий...» (VII, 72—73).



С редкой пронизательностью Пушкин подметил, что правдоподобие, необходимое для истинно реалистического художника, и особенно для драматурга, должно быть прежде всего правдоподобием обстоятельств. Именно «обстоятельства,— пояснял он,— развивают перед зрителем их разнообразие и многосторонние характеры» (VII, 516).

Пример формирующего действия обстоятельств Пушкин видит в шекспировском Фальстафе. «Разбирая характер Фальстафа,— пишет Пушкин,— мы видим, что главная черта его есть сластолюбие; смолоду, вероятно, грубое, дешевое волокитство было первою для него заботою, но ему уже за пятьдесят, он растолстел, одрях; обжорство и вино взяли верх над Венерою. Во-вторых, он трус, но проведя свою жизнь с молодыми повесами, поминутно подверженный их насмешкам и проказам, он прикрывает свою трусость дерзостью уклончивой и насмешливой» и т. д. (VII, 516—517).

В этих своих суждениях об условиях и признаках реалистического правдоподобия Пушкин приблизился ко взгляду на реализм как на творческий метод, изображающий типические характеры в типических обстоятельствах.

При этом заслуживает внимания развитое Пушкиным понимание типа. По разъяснению Пушкина в изображении, отвечающем требованиям истинного правдоподобия, характер не есть тип какой-то одной страсти или одного порока: именно потому, что тип развивается в сложных обстоятельствах, он развивается в сложный характер. В уменье следовать этому закону создания типа Пушкин видел огромное преимущество реалиста Шекспира над классицистом Мольером. «У Мольера,— поясняет Пушкин,— скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемера; принимает имение под сохранение, лицемера; спрашивает стакан воды, лицемера. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостью, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анжело лицемер — потому что его гласные действия противуречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!» (VII, 516).

И обобщая это наблюдение, Пушкин находил, что «лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков».

### 3

Такой же — одновременно и разрушающий, критический, освобождающий и созидательный, нормативный, ограждающий подлинные приобретения реалистического искусства — характер имеют суждения Пушкина о законах формального построения драмы, а также о родах и жанрах искусства. Эстетика Пушкина не отрицает необходимости известного нормирования форм искусства, но зато безусловно отбрасывает всякое нормативное доктринерство. Пушкин сам называл «важным» свое признание, в котором он заявлял, что он «в литературе скептик (чтоб не сказать хуже) и что все ее секты» для него «равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону» (VII, 71—72). Он преклоняется перед мощью, широтой и свободой Шекспира, но отдает должное и искусству Расина, Корнеля. Он пишет не только «Бориса», — трагедию, в которой, согласно его собственному признанию, действие расположено «по системе Отца нашего Шекспира» (VII, 72), но также и маленькие

драмы, поэтика которых ближе к поэтике классического театра, чем к поэтике шекспировой. Возражая доктринам нормативной эстетики, он говорил, что «обряды и формы» не должны «суеверно поработать литературную совесть» (VII, 72). Противникам же правил, представителям романтизма, замечал, что писатель должен «повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка». Писатель должен, пояснял Пушкин, «владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы» (VII, 72).

Чуждый малейшего формализма, он высоко ценил форму как доведенное до совершенства выражение мысли и чувства. Поэтому же он — как это ни странно может показаться поверхностному читателю — предлагал отличать произведения романтической поэзии от произведений других литературных школ не по общему духу, но по формам. Он протестовал против сбивчивости французских теоретиков, которые обыкновенно относили «к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных», и утверждал, что подобное определение — «самое неточное» (VII, 32—33). Он разъяснял, что «стихотворение может являть все сии признаки, а между тем принадлежать к роду классическому» (VII, 33). Не «дух», в котором написано стихотворение, но его форма должна быть основанием — так утверждает Пушкин — для отнесения стихотворения к классическому или романтическому роду. Так, к классическому «должны отнести, — по Пушкину, — те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили; следственно, — поясняет Пушкин, — сюда принадлежат. эпопея, поэма дидактическая, трагедия, комедия, ода, сатира, послание, ирония, эклога, элегия, эпиграмма и баснь». «Если, — говорит Пушкин, — вместо формы стихотворения будем брать за основание только дух, в котором оно писано, — то никогда не выпутаемся из определений» (VII, 33).

Утверждения эти вовсе не доказывают, будто Пушкин не придавал значения различиям между «духом» литературных школ и направлений. Но именно потому, что в подлинном произведении искусства «дух» должен найти отвечающее ему и достойное его воплощение, Пушкин предпочитал судить о направлениях не по намерениям, из «духа» возникающим, но по их подлинным результатам, то есть по уже созданным вещам, в которых единство «духа» и формы уже достигнуто.

И наоборот, там, где это единство не было достигнуто, где форма выступала не как естественное выражение мысли и чувства, но как исключительный предмет не руководимых мыслью усилий и забот художника, — Пушкин отказывал такой «форме» в праве быть критерием при определении поэтических родов и направлений. Так, Пушкин не одобрял работы французского теоретика-стиховода Сент-Бева за то, что тот, как казалось Пушкину, «слишком много придает важности нововведениям так называемой романтической школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Все это хорошо; — писал Пушкин, — но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества» (VII, 242—243).

Чуждый доктринерства в вопросе об эстетических нормах, Пушкин смело и свободно ставит вопрос о законах драмы. «Драматического писателя, — утверждает он, — должно судить по законам, им самим над собою признанным» (X, 121). Законы эти вовсе не произвольны, но и не могут быть рассматриваемы как непреложное, для всех случаев неиз-

менное и обязательное предписание. Законы драматического произведения определяются, по Пушкину, задачей или целью, которую автор ставил перед собою в этом произведении. Различные задачи требуют и различных драматургических средств для своего разрешения. Поэтика драмы не может поэтому быть кодексом априорных и единообразных правил. Чтобы судить о достоинстве или недостатках произведения, необходимо рассматривать законы, по которым оно построено, не отвлекаясь от основной задачи автора. Следует помнить, что задачей этой диктуется в каждом особом случае и особая система правил и законов, этой задаче отвечающих. Нормы не предписываются как абсолютные веления богов искусства. Нормы выбираются и даже создаются художником в зависимости от поставленной им перед собой задачи целого произведения.

Взгляд этот Пушкин развил всего подробнее и яснее в своем разборе «Горя от ума». Уже при первом чтении комедии от острого взгляда Пушкина не укрылось, что Грибоедов мог повести драматургическое развитие пьесы и по другой драматургической системе, чем та, которая оказалась принятой в его пьесе. Пушкин даже думал, предваряя идею известной статьи Гончарова, что Грибоедову следовало бы сделать драматургической осью комедии колебания и сомнения Чацкого, его неспособность поверить в любовь Софьи к Молчалину. В комедии Грибоедова Пушкин ясно усматривал зародыш этой линии драматургического построения. «Между мастерскими чертами этой прелестной комедии,— писал он А. А. Бестужеву,— недоверчивость Чацкого в любви Софии к Молчалину прелестна! — и как натурально! Вот на чем должна была вертеться вся комедия...» (X, 122).

Но Пушкин ясно видел, что эта — возможная и, согласно его личному взгляду, наиболее естественная и даже предпочтительная — линия развития не была осуществлена автором. Разъясняя, на чем, по его мнению, должна была бы вертеться вся комедия, Пушкин прибавляет: «но Грибоедов, видно, не захотел». И Пушкин безоговорочно признает право Грибоедова выбрать иную драматургическую систему, вытекающую из особой задачи, которую он перед собой поставил: «Его воля», — писал Пушкин о выборе Грибоедова. Разъясняя, что драматического писателя «должно судить по законам, им самим над собою признанным», Пушкин прибавлял: «следственно не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов» (X, 121). Недостатки «Горя от ума», о которых Пушкин почти в те же дни — в конце января 1825 — писал П. А. Вяземскому и которые, по его отзыву, состоят в том, что во всей комедии «ни плана, ни мысли главной, ни истины» (X, 120), были в его глазах недостатками не безотносительными, но только с точки зрения той драматургии, которую он хотел бы видеть в «Горе от ума», которая не была осуществлена в комедии, но которую он вовсе не считал обязательной для самого Грибоедова.

Закостенелости эстетических норм искусства Пушкин противопоставлял их подвижность и гибкость, способность служить различным задачам содержания и изображения. Так, он решительно раздвигает рамки сатиры и эпиграммы, вводит в них острейший материал политического обличения, политической характеристики. Он возражает против консервативного взгляда Вяземского, который находил, будто уголовное обвинение «выходит из пределов поэзии». «Я не согласен», — отвечал ему Пушкин. «Куда недосягает меч законов, туда достает бич сатиры. Горацианская сатира, тонкая, легкая и веселая, не устоит против угрюмой злости тяжелого пасквиля. Сам Вольтер это чувствовал» (X, 41).

Сторонник высокого назначения поэзии, почитавший трагедию, исторический роман, эпопею высшими родами поэтического творчества, Пуш-

кин в то же время горячо защищает право поэта на легкое и веселое искусство, на шутку и сатиру. Он возражает Бестужеву, критиковавшему «Онегина» как слишком легкое произведение, и просит Рылеева передать Бестужеву, что тот неправ. «...Скажи ему, что он неправ: ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии? куда же денутся сатиры и комедии? следственно должно будет уничтожить и Orlando furioso, и Гудибраса, и Pucelle, и Вер-Вера, и Ренике-фукс, и лучшую часть Душеньки, и сказки Лафонтена, и басни Крылова etc. etc. etc. etc. . . . Это немного строго» (X, 118).

Не признавая абсолютных границ между родами поэзии, он сам писал поэмы, которые, как он понимал, не могли быть строго приурочены к известным установленным формам. В письме Н. И. Гнедичу он предлагает называть своего «Кавказского пленника», «сказкой, повестью, поэмой или вовсе никак...» (X, 35).

Но в то же время свобода, с какой Пушкин расширял и порою стирал традиционные границы между родами и жанрами, никогда не переходила у него в эстетический нигилизм, в беспринципное и по сути неосуществимое отрицание всех вообще норм, определяющих различие между родами и жанрами.

Далекий от мысли приписывать этим различиям абсолютное значение, Пушкин своим тактом гениального художника был постоянно побуждаем к размышлениям о границах между родами и жанрами, о своеобразии каждого из них и о наиболее целесообразном использовании этого своеобразия.

Работая над «Онегиным», он обращает внимание своих друзей на жанровые особенности своего романа. «...Я теперь пишу,— сообщал он Вяземскому,— не роман, а роман в стихах — дьявольская разница» (X, 70). Он рекомендовал А. Бестужеву перестать писать «быстрые повести с романтическими переходами» и объяснял, что «роман требует болтовни; высказывай все начисто» (X, 147). Он находил, что характер главного героя в «Кавказском пленнике» «приличен более роману, нежели поэме...» (X, 647).

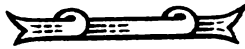
Он не допускал, чтобы произведения, в которых жанровое своеобразие сильно и резко выражено, могли быть переносимы — без ущерба для их художественной ценности — в формы других жанров. Так, он находил, что «Каин» Байрона «...имеет одну токмо форму драмы, но его бессвязные сцены и отвлеченные рассуждения в самом деле относятся к роду скептической поэзии „Чайльд-Гарольда“» (VII, 52). Поэтому же он находил нелепой затею некоего Олина, который вздумал превратить байроновского «Корсара» в романтическую трагедию, но достиг только того, что заменил «очаровательную глубокую поэзию Байрона прозой надутой и уродливой, достойной наших несчастных подражателей покойного Коцебу» (VII, 70).

Он высказывал некоторые сомнения по вопросу о том, может ли у Баратынского получиться комедия, и мотивировал эти сомнения, ссылаясь на жанровое своеобразие комедии сравнительно с жанрами, в которых обычно писал Баратынский и в которых он сумел добиться большого успеха. «Его элегии и поэмы,— писал Пушкин Ивану Киреевскому,— точно ряд прелестных миниатюр; но эта прелесть отделки, отчетливость в мелочах, тонкость и верность оттенков, все это может ли быть порукой за будущие успехи его в комедии, требующей, как и сценическая живопись, кисти резкой и широкой?» (X, 404).

Еще решительнее отзывался Пушкин о пьесах Байрона, которому он вообще отказывал в драматическом даровании. «Байрон,— говорил Пушкин,— бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, по-

том отвратился от них и погрузился в самого себя» (VII, 52). Сосредоточенность поэта на удивительно богатом мире собственных мыслей нашла великолепное выражение в его поэмах, где обычно выводится на сцену лицо, которое является «во всех его созданиях и которое наконец принял он сам на себя в „Чайльд-Гарольде“» (VII, 69). Ошибка Байрона состояла, по Пушкину, в том, что однажды найдя поэтику, соответствовавшую глубоко личному содержанию своего творчества, Байрон пользовался ею и в своих пьесах, где природа сценического искусства требовала уже иного: требовала «кисти резкой и широкой», а также выработанного плана, построения. Но Байрон — так говорит Пушкин — «мало заботился о планах своих произведений, или даже вовсе не думал о них: несколько сцен, слабо между собою связанных, были ему достаточны для сей бездны мыслей, чувств и картин». «Вот почему,— заключает Пушкин,— несмотря на великие красоты поэтические, его трагедии вообще ниже его гения, и драматическая часть в его поэмах (кроме разве одной «Паризины») не имеет никакого достоинства» (VII, 70).

Так связывает Пушкин свое понимание реалистических задач поэзии и драмы с вопросом о своеобразии их формальных средств. Пушкин понимал, что для решения современных задач реалистическое искусство не только создает новые формы. Создавая их, оно также вынуждено прибегать к формам, которые не впервые им созданы, которые имеют длительную традицию и долгое развитие в литературной истории. Он понимал, что, приспособляя традиционные формы для выражения нового — реалистического — содержания и соответственно изменяя их и перерабатывая, новое искусство должно в своей переработке блюсти меру — с тем, чтобы применение традиционных форм не потеряло всего своего смысла. Пушкин был великим диалектиком в творчестве и в теории искусства. С безошибочным тактом он умел синтезировать никем не предвиденную новизну реалистического содержания и формы с той верностью уже давно сложившимся формам, которая одинаково далека и от эстетического нигилизма, расплавляющего все формы в смутности новых замыслов, и от косного педантизма, не понимающего, каким образом новое вино следует наливать в новые меха.



## ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОДДЕЛКИ

Подделки обычно принято относить к числу «литературных мистификаций». Однако само содержание этого термина не может считаться вполне определенным.<sup>1</sup> «По самому факту своего возникновения и развития,— писал Ю. Масанов,— литературная мистификация есть средство литературной полемики, общественно-политической сатиры и противоцензурной маскировки».<sup>2</sup> Но под эту характеристику не подойдет, например, подделка окончания пушкинской «Русалки» Д. Зуевым. Кроме того, подделки могут быть продуктом или проявлением литературной моды, господствующих литературных увлечений (см., например, подделки стихотворений Пушкина в современную ему эпоху), а иногда даже индивидуальных замыслов, склонностей и вкусов. Существенным признаком литературной мистификации признается наличие элемента стилизации. «Без этого элемента мистификация не может существовать. В самом деле, вряд ли с первого же раза мистификация не будет отвергнута, если не содержит особенных моментов, характерных именно для стиля мистифицируемого писателя. Мистификатор обязан подчинить свой стиль стилю мистифицируемого автора».<sup>3</sup> Это правильно, но этого мало. Прежде всего, не всякая стилизация может быть названа мистификацией или подделкой. В качестве примера можно сослаться на «Шестую повесть Белкина», написанную М. Зощенко, на лесковские или ремизовские стилизации жанров древнерусской литературы, на продолжение «Мертвых душ» Ващенко-Захарченко и т. д. Кроме того, функции, признаки и характер стилизации при подделках могут быть очень разнообразными. Во всяком случае, здесь возникает ряд важных и до сих пор совершенно не исследованных проблем истории литературы и истории языка художественной литературы. В «Записках сумасшедшего» Гоголь с тонкой иронией отметил широко распространенную в разных общественных слоях (или кругах) склонность приписывать полюбившиеся или ходовые сочинения известным писателям.<sup>4</sup> Трудно отрицать, что параллельным путем идут те наши литературоведы, которые стремятся так или иначе приписать большое количество анонимных сочинений, помещенных в журналах прогрессивного направления, перу революционных демократов — Белинского, Салтыкова-Щедрина и др. Во всех этих случаях неизвестное дотоле сочинение включается в список произведений того или иного писателя на основе совпадений существеннейших или принимаемых за такие — черт стиля и идеологии.

<sup>1</sup> См. статью Ю. Масанова «Литературные мистификации». Советская библиография, сб. 1 (18), М., 1940, стр. 126—145.

<sup>2</sup> Там же, стр. 126.

<sup>3</sup> Там же, стр. 127.

<sup>4</sup> См. Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. III, Изд. АН СССР, 1938, стр. 197.

## 1

Изучение литературных переделок и подделок, с одной стороны, является предметом текстологии, литературной эвристики или критики текста, а с другой, входит в круг истории литературы и истории языка художественной литературы.

Какие сложные и интересные вопросы стилистические, историко-литературные, идеологические или историко-общественные возникают при исследовании разных видов переделок и подделок, может показать история с так называемыми «новыми отрывками и вариантами» первых трех глав II тома «Мертвых душ» Гоголя, опубликованными в январском номере журнала «Русская старина» за 1872 год.

По сообщению редакции «Русской старины», публикуемые отрывки сохранились в рукописи, «принадлежащей другу и товарищу Гоголя — Н. Я. Прокоповичу (ум. в 1857 году)». Рукопись эту Н. Я. Прокопович подарил своему сослуживцу по преподаванию в Петербургском кадетском корпусе, полковнику Н. Ф. Я-му, который, с своей стороны, позволил снять с нее точную копию своему приятелю, директору училищ Могилевской губернии, а позднее директору С.-Петербургского коммерческого училища, М. М. Богоявленскому. Эту-то копию М. М. Богоявленский «весьма обаятельно» предоставил редакции «Русской старины» для напечатания драгоценных материалов на страницах своего журнала. Редакция не сомневалась в подлинности гоголевского текста и не допускала ни малейшей мысли о возможности подделки. По словам редакции, в новых отрывках и вариантах «Мертвых душ» «искрится неподражаемый, умерший с Гоголем юмор, поразительная меткость выражения и художественное воспроизведение лиц, местностей, всего того, до чего только касалась кисть гениального мастера».<sup>5</sup>

Кроме того, «новые варьянты» текста «Мертвых душ» казались «интересными уже потому, что они знакомили... с процессом творчества бессмертного художника».<sup>6</sup> Выражалось глубокое сожаление, что новые отрывки, никогда не бывшие в печати, «незначительны по объему».

Сличив существующие издания второго тома «Мертвых душ» (Н. П. Трушковского и П. А. Кулиша) с копией М. М. Богоявленского, редакция «Русской старины» нашла в последней целый ряд новых эпизодов (рассказ дяди Тентетникова о графе Сидоре Андреевиче, речь Тентетникова к крестьянам, обед Чичикова у Бетрищева и др.). Некоторые из этих «дополнений» совпали с тем, что сообщалось о содержании недошедших до нас частей второго тома «Мертвых душ» близкими друзьями Гоголя после его смерти.<sup>7</sup>

Не все журналы и не все читатели пришли в слепой и безудержный восторг от вновь напечатанных отрывков и вариантов второго тома «Мертвых душ» Гоголя. Так, «Русский вестник», издаваемый М. Катковым, поместил по поводу этих «Новых отрывков из „Мертвых душ“» в отделе «Смесь» заметку, в которой отдельные эпизоды, содержащиеся в них, считаются малоудачными, бледными: «Лучшие места... это сватовство Чичикова и рассказ о нем Тентетникову. В них виден прежний Гоголь, Гоголь первой части „Мертвых душ“... Те же эпизоды, которые входят в биографию Тентетникова: ссоры его с начальником, проезд в деревню и проч.— очень слабы и бледны. Придуманно, может быть, и не

<sup>5</sup> «Русская старина», 1872, т. V, № 1, стр. 89

<sup>6</sup> Там же

<sup>7</sup> Там же, стр. 87. Ср. также: Лев Арнольд и Мое знакомство с Гоголем. «Русский вестник», 1862, т. 37. № 1, стр. 74—78.

дурно, но ничего не вышло».<sup>8</sup> Но само собой разумеется, и в этом критическом суждении не выразалось и не содержалось никакого сомнения в подлинности напечатанных «новых отрывков», в принадлежности их Гоголю.

Вообще, несмотря на расхождения в оценке художественных качеств разных частей «новых отрывков и вариантов» «Мертвых душ», сначала никто не заметил и не заподозрил в них подделки. Позднее, когда остро встал вопрос о фальсификации гоголевского текста, критик «Вестника Европы» Д. в заметке «Подделка Гоголя» писал: «Прошло почти *полтора года* со времени напечатания нового варианта в „Старине“, и в литературе, в которой до сих пор действуют многие из давних почитателей Гоголя и даже из его личных друзей,— не было возбуждено никакого сомнения в том, чтобы этот третий вариант почему-либо не мог принадлежать Гоголю».<sup>9</sup>

Таким образом, появление новых вариантов второго тома «Мертвых душ» было сначала воспринято как интересное и естественное пополнение ценных фактических данных, относящихся к последней «смутной» поре гоголевского творчества.

## 2

«Новые отрывки и варианты» второго тома «Мертвых душ» Гоголя возбудили широкий общественный интерес. По словам газеты «Голос» (1873, № 185, 6 июля), «все почти органы нашей печати заговорили об этих „вариантах“ и чрезвычайно заинтересовались ими». Естественно возникло стремление определить, что нового вносят эти отрывки и варианты в понимание последнего этапа гоголевского творчества, в понимание колебаний и изменений его общественно-политических и литературно-эстетических взглядов после издания «Переписки с друзьями». В «Вестнике Европы» (1872, № 7) была напечатана литературная заметка В. П. Чижова «Последние годы Гоголя. (По поводу «Новых отрывков и вариантов ко 2-му тому „Мертвых душ“» в «Русской старине», 1872, январь)». Она и пыталась раскрыть значение обнародованных новых текстов для изучения последней стадии творческого пути Гоголя. Автор начинает свою статью указанием на то, что последний период деятельности Гоголя, некогда возбуждавший столько противоречивых толков, «продолжает оставаться загадочным и мало разъясненным».

«Тем отраднее для нас,— продолжает В. Чижов,— всякое неожиданное открытие, бросающее хотя какой-нибудь свет на внутреннюю жизнь и творчество Гоголя в этот период его существования. Таким открытием являются неизвестные отрывки и варианты ко 2-му тому „Мертвых душ“, обнародованные в первой книжке „Русской старины“ за нынешний год. Они ярко обнаруживают перед нами своеобразную силу таланта Гоголя в те годы, когда он был занят окончательною отделкою своего любимого произведения; они проливают ясный свет на самые важные стороны его авторской деятельности. Вместе с тем они раскрывают перед нами его отношения к современникам, в особенности к Белинскому».<sup>10</sup> В. Чижов придает такое большое значение этим вариантам, что готов на основании извлеченных из них свидетельств предложить новое решение вопроса об окончательном тексте и идейном существе всего второго тома «Мертвых душ».

<sup>8</sup> «Русский вестник», 1872, т. 97, № 1, стр. 410.

<sup>9</sup> «Вестник Европы», 1873, т. IV, № 8, стр. 823—824.

<sup>10</sup> «Вестник Европы», 1872, т. IV, № 7, стр. 432.



По его мнению, первые редакции второго тома «Мертвых душ», изданные П. Кулишом, свидетельствуют, что новый труд созидался в духе тех консервативных понятий, совокупность которых намечена автором в его «Переписке с друзьями».

Чижев утверждает, что первый очерк второй части поэмы был доведен до конца уже одновременно с изданием в свет «Переписки с друзьями», т. е. к началу 1847 года (ср. статью Л. Арнольди «Мое знакомство с Гоголем». «Русский вестник», 1862, т. 37, № 1). Но «Переписка» Гоголя вызвала возмущение и недоумение передовых слоев русского общества. Знаменитое письмо Белинского к Гоголю, по мнению В. Чижева, оказало громадное влияние на Гоголя и «было в высшей степени благотворным для его художественной деятельности».<sup>11</sup>

Сначала «Гоголь,— пишет Чижев,— в порыве неостывшей досады не мог воздержаться, чтобы не кольнуть ненавистного критика или, в лучшем случае, чтобы не внести в свою поэму намека на образ, долженствовавший запечатлеть собою характер господствовавшего и, по мнению автора, уклонившегося с должного пути, духа времени».<sup>12</sup> В. Чижев истолковывает в этом смысле образ «резкого направления недоучившегося студента, набравшегося мудрости из современных брошюр и газет». Чижев видит в этом сатирический намек на Белинского. Но этого мало. «„Начитавшийся всяких брошюр, недокончивший учебного курса эстетик“ поименовывается ниже в числе членов противузаконного общества. . . Узвlenное самолюбие писателя тешилось подобными нелепыми выходками,— и все-таки издавать написанное в том виде, как оно было набросано, оставалось немислимым». Годы текли. И Гоголю, внимательно следившему за ходом русской литературы и за ее важнейшими событиями, ее идейно-художественными течениями, становилось ясно, что «для успеха его поэмы необходимо было выбросить из нее тенденциозную подкладку». «Волею или неволею приходилось следовать совету и указаниям Белинского».<sup>13</sup> Любопытно, что вслед за откликом на письмо Белинского к Гоголю в «Бесах» Ф. М. Достоевского (в речах Степана Трофимовича Верховенского и Шатова) статья В. П. Чижева «Последние годы Гоголя» в либеральном «Вестнике Европы» открывала собою историю широкого общественного, литературного и научного обсуждения письма Белинского в нашей легальной печати. Здесь напечатано было несколько наименее криминальных страниц этого письма.<sup>14</sup> И все же В. Чижев старается причесать Гоголя в стиле и духе либерала 40-х годов. По мнению В. Чижева, этот последний этап работы Гоголя над вторым томом «Мертвых душ» и нашел свое выражение в «новых вариантах», изданных «Русскою стариной» и составляющих как бы третью редакцию текста этой части «Мертвых душ».

В описании возвращения Тентетникова в деревню и в ряде других сцен, по мнению В. Чижева, «видна полная решимость Гоголя разорвать с прошедшим». Так въезд в деревню возбуждает в Тентетникове лишь «дорогие сердцу воспоминания детства». «Тентетников этот, очевидно симпатичный автору герой, предназначаемый им для „дивного, прелестного“ создания, Улиньки, проникнут уже не началами гоголевской морали, не сентенциями „Переписки с друзьями“, а воззрениями и убеждениями Белинского. Он поистине является сыном своего времени, носи-

<sup>11</sup> Там же, стр. 443.

<sup>12</sup> Там же, стр. 448.

<sup>13</sup> Там же, стр. 444, 445.

<sup>14</sup> См. статью Ю. Г. Оксмана «Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ». «Ученые записки Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского», т. XXXI, 1952, стр. 169.

телем его дум и говорит его языком. Письмо Белинского пошло в дело!».<sup>15</sup> Например, Тентетников пользуется выражением — чувство человеческого достоинства, трижды повторенным в письме Белинского. Согласно оценке В. Чижова, «с неподдельным комизмом рисует Гоголь встречу Тентетникова с крестьянами». В деревне Тентетников не занимается деятельностью в духе «Переписки» Гоголя, а быстро успокаивается и облачается в халат. В. Чижов стремится и тут подчеркнуть художественный объективизм Гоголя. «Недаром радовался Гоголь своей работе и говорил своим друзьям, что с первой главы туман сошел. На место однообразных вариаций на ту же тему, какими являлись прежние лица поэмы, более или менее верно выхваченные из действительности, но все окрашенные в цвет воззрений и убеждений автора, получались живые лица, с типическими различительными признаками». «Всюду,— пишет В. Чижов,— обнаруживается стремление к простоте и естественности, даже в обрисовке характера Улиньки устранены лишние восклицания и напускные восторги. . .» Особенно симптоматичными и характерными кажутся В. Чижову новые штрихи, внесенные в образ Петуха. «В известное описание приезда Чичикова к помещику Петуху введены новые эпизоды о закуске Петуха и сне Чичикова, превосходно дорисовывающие этот мастерской этюд». И хотя эта фигура не предназначалась играть никакой роли в дальнейшей интриге «Мертвых душ», тем не менее, особенно после этих дополнительных «мастерских штрихов», она остается «эскизом, достойным кисти великого художника, которым поневоле залюбуется всякий любитель». В заключение В. Чижов, на основании изучения новых вариантов и отрывков, относящихся к первым трем главам второго тома «Мертвых душ», предлагает на суд читателей возникшие у него соображения и общие выводы о процессе творчества Гоголя в последний период его литературной деятельности.

Ошибочно думать, будто творческие силы Гоголя в это время истощились и что он, работая над вторым томом «Мертвых душ», «вытягивал из себя клещами фразу за фразой». Гоголь страдал «плодовитостью резонерства, увлекавшего его за пределы художественного труда». «Метаясь из стороны в сторону, он делал свои урезы, добавления и очищения под влиянием самых разнородных мотивов». Великий писатель, по мнению В. Чижова, «вышел торжествующим из этой борьбы и снова является перед нами в полном цвете таланта, художником, вполне владеющим своими средствами и носящим в душе твердо намеченный идеал своего создания. . . По свидетельству людей, близко знавших Гоголя, им был уже вполне закончен весь 2-й том, состоявший из одиннадцати глав» (как и первый том). «Получался памятник, резанный на меди и предназначенный переходить в своей законченной красе из века в век, на удивление и поучение будущих художников. . ., внезапная болезнь изменила его намерения и будила к сожжению с такой любовью взлеенного произведения».<sup>16</sup>

«Если мы спросим себя,— заканчивает свою статью В. Чижов,— была ли минута сожжения минутой *просветления* художника, сознавшего неизмеримую пропасть между своей истинною задачей и призыванием к давлению ее сильным исполнением, или же то была минута возврата к давно забытым колебаниям и сомнениям совести, почуявшей разлад между греховностью земных интересов и житейских тревог и между безмятежностью души, ищущей вечного успокоения, то выбор между этими ответами едва ли может показаться сомнительным.

<sup>15</sup> «Вестник Европы», 1872, т. IV, № 7, стр. 445—446

<sup>16</sup> Там же, стр. 433, 447, 448.

«Счастливым случай не ранее, как через двадцать лет по смерти великого писателя, дал нам возможность заглянуть в его душу и прозреть луч света среди окутавших ее сумерок... Будем надеяться, что дружная подобная случайность, раньше или позже, еще светлее озарит мглу, окружающую его могилу, и еще выше поднимет его звезду на небосклоне отечественной поэзии».<sup>17</sup>

Так складывается и начинает распространяться мнение о возврате Гоголя в последние годы его жизни к художественной манере «Ревизора» и первого тома «Мертвых душ» и связанным с этой манерой эстетическим воззрениям. Этот отход от «диких идей» «Переписки с друзьями» ставился в связь прежде всего с влиянием на Гоголя знаменитого письма Белинского к нему.

### 3

Умеренно либеральный «Вестник Европы» проявил очень большую доверчивость к новой публикации исправленных текстов второго тома «Мертвых душ». На страницах этого журнала, не без влияния идей В. Чижова, о «новых отрывках и вариантах» сделал несколько любопытных замечаний и А. Н. Пыпин в своих исторических очерках: «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов».

В главе, посвященной Гоголю, А. Пыпин стремится определить значение творчества писателя в истории русской литературы и общее «направление» его литературной деятельности. «При жизни Гоголя его направление, прежде почти бесспорно определяемое его известными произведениями, стало предметом споров с появлением „Переписки“; решение вопроса было невозможно при жизни писателя, которому еще предстояла деятельность,— примирение двух сторон было немислимо. Но деятельность кончилась и стала делом истории». Далее говорится о посмертных изданиях сочинений и писем Гоголя, о ведущейся работе над его биографией, о появившихся в печати воспоминаниях о Гоголе и исследованиях его творчества. «...Многие стороны в характере и деятельности Гоголя стали определяться яснее, и решение исторического вопроса делалось возможным. В последнее время собралось вообще много мелкого, но довольно важного материала». Среди этого материала в подстрочной библиографической справке на первом месте указаны «Новые отрывки и варианты ко второму тому „Мертвых душ“», сообщенные М. Богоявленским, и статья В. П. Чижова по поводу них — «Последние годы Гоголя»,<sup>18</sup> А. Н. Пыпин присоединяется к тому мнению, что в творчестве Гоголя не было «перелома» или «измены» «Направление его последних годов имело основание в его давнишних понятиях, кроме которых он никогда и не имел других». Но независимо от этого его произведения лучшей поры творчества стали могущественной общественной силой. «С произведениями Гоголя совершался акт сознания, один из самых важных, какие были в новейшей истории общества». И сам Гоголь в последний период своей жизни отступился от своих произведений, потому что действие их на общество «превышало степень теоретического понимания, вынесенную им из его школы и из его отношений...»<sup>19</sup>

Характеризуя эволюцию творчества Гоголя, столкновение в нем двух стремлений, двух течений общественной мысли — «истинных задатков общественного сознания» и «немудреного запаса социальной философии» — консервативного мировоззрения, А. Н. Пыпин стремится раз-

<sup>17</sup> Там же, стр 448—449.

<sup>18</sup> «Вестник Европы», 1873, № 4, стр 473, 474

<sup>19</sup> Там же, стр 478, 479

яснить внутреннее движение Гоголя к идеям «Переписки с друзьями», затем он рассказывает о письме Белинского к Гоголю, которое «произвело на автора „Переписки“ самое сильное впечатление», и о некоторых колебаниях Гоголя. Во всяком случае, очевидно, что у Гоголя являлись новые мысли, но вовсе не в духе «перелома», как будто он втайне сознавал справедливость возражений, и в нем являлась потребность «примирения».

«Гоголь до самого конца остался в противоречии между своими теоретическими понятиями и внушениями его поэтической природы». Это сказывается и в его работе над вторым томом «Мертвых душ». «В нем остался след обеих сторон его внутренней жизни,— и свободные порывы таланта, и вялые попытки провести придуманную тенденцию». Рассказ явно направлен к цели «убедить читателя в той морали, которую излагала „Переписка“». <sup>20</sup> А. Н. Пыпин соглашается с В. П. Чижовым, что в образе «недоучившегося студента, набравшегося мудрости из современных брошюр и газет», заключен намек на Белинского. «Фальшивая тенденция, подложенная в эту работу, давала только жалкие результаты». А. Н. Пыпин (так же, как и В. Чижов) различает три редакции второго тома «Мертвых душ» Гоголя.

В «Новых отрывках и вариантах», сообщенных М. Богоявленским, он усматривает третью редакцию второго тома «Мертвых душ». Он пишет об этом так: «Наконец, изданные недавно варианты 2-го тома представляют третью редакцию, быть может, ту самую, о которой Гоголь в 1850 говорил М. А. Максимовичу, что с нее „туман сошел“ (с первой главы). В рассказе являются новые эпизоды, а из прежних исчезают те подробности, которые Гоголь рассчитывал для своих тенденциозных целей. Так, нет здесь удивительной школы, где преподавалась „наука жизни“; герой романа уже не предается мечтаниям о патриархальном значении и высоком смысле помещичьей власти, и в нем скорее можно видеть человека с новыми понятиями. Как прежде, в изображении „недоучившегося студента“ Гоголь хотел отомстить Белинскому за статью и за письмо, так здесь напротив заметно влияние письма Белинского: например, Белинский несколько раз повторяет мысль о необходимости пробуждать в народе чувство „человеческого достоинства“, и Гоголь сообщает теперь своему герою эту самую мысль, которой не было и признака в прежних редакциях. Сам „недоучившийся студент“ уже не находится в числе соседей Тентетникова. . . Таким образом, можно думать, что последние работы Гоголя над вторым томом уже отступали от направления „Переписки“ в другую, лучшую сторону, ему уяснились хоть некоторые стороны нового образа мыслей, к которому он, вместе с петербургскими друзьями, относился прежде с таким высокомерием и враждой».<sup>21</sup>

Следовательно, А. Н. Пыпин не только не сомневается в подлинности «Новых отрывков и вариантов» к первым трем главам второго тома «Мертвых душ», но и в значительной степени соглашается с тем истолкованием их смысла и историко-литературного значения, которое дано в статье В. П. Чижова «Последние годы Гоголя».

Таким образом, «Вестник Европы» в лице своих критиков удостоверил подлинность «Новых отрывков и вариантов» из «Мертвых душ» Гоголя и предложил более или менее одинаковое, подчеркивающее силу идеологического влияния письма Белинского на Гоголя объяснение их историко-литературного значения. Вот почему, когда было заявлено о подделке гоголевского текста, на «Вестник Европы» обрушились ирония и удары газетных фельетонистов.

<sup>20</sup> Там же, стр. 530, 542—543

<sup>21</sup> Там же, стр. 546—547.

В газете «Русский мир» (1873, № 169, 1 июля) появился язвительный фельетон, в котором, среди прочих новостей сообщалось и о происшествиях, связанных с появлением «новых отрывков и вариантов» Гоголя. Фельетонист иронически отозвался о «прогрессирующей критике», поторопившейся «воспользоваться подделкой для своих тенденциозных целей».

Газета «Голос» (1873, № 185, 6 июля) также выразила недоумение, почему редакция «Вестника Европы», напечатавшая статью В. Чиждова и мнение А. Н. Пыпина об огромном значении вновь появившихся «новых отрывков и вариантов» Гоголя, «хранит красноречивое молчание и ничего не говорит о ложных выводах своих критиков». Ведь критики «либерального органа» — «Вестника Европы» — не только не увидели «неловкости подделки», но, «основываясь на „вариантах“, вывели из них свои умозаключения о личности Гоголя».

## 4

Прошел почти год со времени опубликования новых вариантов ко второму тому «Мертвых душ» в «Русской старине». В октябре 1872 года Н. Ф. Ястржембский, отправляя в редакцию журнала «Русская старина» рукопись своих собственных «Воспоминаний», в конце сопроводительного письма выразил удивление, как мог М. М. Богоявленский, без его ведома и согласия, напечатать варианты и отрывки «Мертвых душ». «А что если эти отрывки подделка? А в этом я почти не сомневаюсь», — писал Н. Ф. Ястржембский. Встревоженный редактор попросил, правда, спустя больше чем три месяца (5 февраля 1873 года) объяснить смысл этих намеков.

Н. Ф. Ястржембский в ответ (письмо от 13 февраля 1873 года) заявил «откровенно»: «... варианты эти написаны мною тринадцать лет тому назад; никогда не предназначались к печати и написаны по особому случаю».<sup>22</sup> И далее рассказывается об этом случае. В Могилеве в 1859 году Н. Ф. Ястржембский сблизился с М. М. Богоявленским. Оба были страстными поклонниками Гоголя. Но М. М. Богоявленский восторгался Гоголем безусловно, независимо от изменений в его художественном методе и общественных взглядах. Ястржембский же, «признавая Гоголя великим писателем за первые его литературные произведения, и в особенности за 1-ю часть „Мертвых душ“, негодовал за его „Переписку с друзьями“ и за 2-ю часть „Мертвых душ“». И вот однажды, «в оживленном споре», Ястржембский заявил, что он находит вторую часть «Мертвых душ» крайне неудачным продолжением первой, но что у него «есть переделка трех первых глав 2-й части „Мертвых душ“, гораздо удачнее произведения Гоголя, и что М. М. не узнает, Гоголь ли это писал или кто другой».<sup>23</sup> Так, по первоначальному объяснению Н. Ф. Ястржембского, попали мнимые варианты второго тома «Мертвых душ» к М. М. Богоявленскому. Между тем, на самом деле это была подделка самого Ястржембского, который, недовольный вторым томом «Мертвых душ», его реакционной направленностью, переделал по своему убеждению первые главы его. Однако М. М. Богоявленский не заподозрил и не узнал подделки. Он просил Ястржембского подарить ему рукопись, как «драгоценность», упрекая своего приятеля в том, что тот, «имея у себя такую драгоценность, не предает ее печати». Напрасно

<sup>22</sup> «Русская старина», 1873, т. VIII, № 8, стр. 245. «Подделка под Гоголя (литературный курьез)».

<sup>23</sup> Там же.

Ястржембский уверял Богоявленского, что он «не осмелится никогда выдать за гоголевское то, что принадлежит чьему-то досужему перу».

Ястржембский предложил Богоявленскому снять копию с своей рукописи, которую он сочинил, опираясь на имевшийся у него список второй части «Мертвых душ». Копия была снята. Подлинник остался у Ястржембского и был затем представлен им редакции «Русской старины». Но в то время Ястржембский не считал нужным сообщить Богоявленскому о том, что он сам является автором подделки, что варианты «сделаны им собственноручно». Правда, он «положительно уверял» Богоявленского, что эти варианты и отрывки «писал не Гоголь». Но, очевидно, его уверения не подействовали. Когда через 13 лет варианты и отрывки были напечатаны в «Русской старине» по сделанной копии как подлинные тексты Гоголя, Ястржембский пришел в негодование. Однако он не объявил немедленно о своем авторстве, «рассчитывая, что читающая публика сама увидит неловкость подделки под Гоголя и оставит ее без внимания». И что же? появились статьи (например, В. Чицова), в которых варианты Ястржембского расценивались как свидетельство резкого перелома в мировоззрении Гоголя за последний период его жизни. Тут увидели «полное отречение Гоголя от диких идей, высказанных им в „Переписке с друзьями“»<sup>24</sup> под влиянием известного письма Белинского. И Ястржембский в силу этого считал своим долгом раскрыть свою мистификацию, заявить о своей неосторожной шутке публично. Редакция «Русской старины» оказалась в тяжелом положении. Присланный Ястржембским и написанный его рукою список на «пожелтевшей от времени бумаге» как будто бы подтверждал достоверность его признания в подделке. В своем следующем письме в редакцию «Русской старины» (от 22 февраля 1873 года) Н. Ф. Ястржембский добавлял, что он действительно получил от Н. Я. Прокоповича (в сороковых годах) «для списания 2-ю часть „Мертвых душ“, ходившую тогда по рукам, в рукописи». «В 1859 году, когда зашла речь о 2-й части „Мертвых душ“ и когда я сказал, что М. М. Богоявленский не узнает подделки под Гоголя, я переписал имевшуюся у меня рукопись, и наскоро сделал известные вам вставки. Я считал неудобным тогда же сознаться перед М. М. в мистификации, которую он мог бы найти обидною для себя. Я позволил ему снять копию с моей рукописи, взяв с него слово, что рукопись никогда не будет напечатана».<sup>25</sup> Однако редакцию «Русской старины» поразило то обстоятельство, что присланная Ястржембским рукопись подделки содержала очень немного помазок и поправок. «Таким образом,— писала редакция,— чтоб устроить свою шутку, г. Ястржембский, судя по внешнему виду доставленной им рукописи, должен был предварительно составить те изменения и дополнения, какие им признаны нужными, и потом своею рукою не только написать все 74 страницы тетради в лист, но и „разрешить“ таковую работу г. Богоявленскому. Как ни мало вероятную представлялась нам подобная шутка-monstre, тем не менее мы готовы уже были исполнить заявленное нами г. Ястржембскому желание», т. е. оповестить через журнал о «литературном курьезе» или подделке весь русский читающий мир. Но тут снова выступил на сцену М. М. Богоявленский. Он нашел в своем домашнем архиве письмо к нему Ястржембского (от 14 февраля 1861 года) с такими двусмысленными заявлениями: «Напечатание вариантов „Мертвых душ“ предоставляю вашему усмотрению, но прошу вас при издании не упоминать обо мне. Хотя я и получил этот список от покойного Прокоповича в сороковых

<sup>24</sup> Там же, стр. 246.

<sup>25</sup> Там же, стр. 246—247.

годах, но не вполне уверен, что это сочинение самого Гоголя, а вводить публику в заблуждение было бы грешно».<sup>26</sup> Вся история представлялась запутанной, противоречивой. М. М. Богоявленский иронически писал редактору «Русской старины» (от 27 июня 1873 года), что ему больше нечего сказать: «Разве похвастать одним, что я открыл больше, чем думал,— я открыл Гоголя 2-го. Жаль только, что этот прекрасный талант обнаружился несколько поздно».<sup>27</sup>

Редакция «Русской старины», попав в тяжелое положение и не зная, как из него выйти, пустилась в иронические, но двусмысленные рассуждения: «Во всем этом есть действительно какая-то „прискорбная мистификация“ со стороны г. Ястржембского, но что именно должно отнести к ней,— мы решительно недоумеваем: то ли, что он, по его уверению, творил в 1859 г., дополняя и исправляя Гоголя? то ли, что он писал г. Богоявленскому в 1861 г., уверяя, что именно этот список получен от г. Прокоповича и что г. Богоявленский может его напечатать по своему усмотрению, или же, наконец, к области мистификации принадлежит ныне напечатанное покаяние г. Ястржембского „в неосторожной шутке?“».<sup>28</sup> Н. Ф. Ястржембский, мучимый авторским раскаянием, стал писать покаянные извинительные письма в газеты. В этих письмах также были некоторые противоречия и вариации в изложении мотивов и обстоятельств подделки. Однако признание своего авторства или сочинительства Ястржембским было сделано в самой решительной и категорической форме: «...когда... появилось мнение литераторов, с серьезным заключением, что эти варианты доказывают, будто Гоголь, под влиянием Белинского, отрекся от идей, высказанных им в „Переписке с друзьями“; когда я подумал, что это мнение может укорениться в публике и, пожалуй, перейдет в учебники,— тогда я счел молчание преступлением...».<sup>29</sup>

## 5

Обсуждение «подделки под Гоголя» в газетах и журналах продолжалось в течение всего 1873 года. Это обсуждение направилось в основном по двум руслам. С одной стороны, высказывались недоумения и сомнения по вопросу о мотивах подделки, о процессе подделки, об объеме и качестве дополнений или «прибавок», о смысле и причинах «исключений» или изъятий, о противоречиях в объяснениях Н. Ф. Ястржембского, о том, была ли в его распоряжении какая-нибудь иная, более полная рукопись второго тома «Мертвых душ», кроме изданных Трушковским и Кулишом. Все это имеет, конечно, больше общественно-исторический и социально-психологический, чем историко-литературный интерес. Однако самый факт горячего стремления у части русского общества 60—70-х годов исправить и сделать более «прогрессивным» творческий путь Гоголя на последнем его этапе был в высшей степени симптоматичен. Он, естественно, не мог не вызвать отклика и со стороны тех более реакционных групп русского общества, которые в «Переписке с друзьями» Гоголя и в последующем его творчестве не видели ни отхода Гоголя от целесообразной просветительной деятельности на благо народа, ни «измены» Гоголя основным морально-общественным и религиозным устоям русской культуры (как они ее понимали). Это было второе и прямо противоположное направление в общественной реакции на стилистический и идеологический подлог Н. Ф. Ястржембского.

<sup>26</sup> Там же, стр. 247

<sup>27</sup> Там же, стр. 248.

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> Там же, стр. 249

Вместе с тем подделка Ястржембского в некоторых газетно-журнальных статьях подверглась более широкому историко-литературному, идейно-художественному, эстетическому и стилистическому анализу в связи с указаниями на характерные черты гоголевского стиля вообще, второго тома «Мертвых душ» в частности. Здесь разоблачение подделки производилось как с идеологических, так и с эстетических и стилистических позиций. Любопытно, что статьи этого рода в большей их части исходили от лиц, враждебно относящихся к литературно-общественной деятельности Белинского и к идейным, социально-политическим воззрениям его современных поклонников и почитателей.

Среднее, половинчатое положение среди этих двух лагерей занял критик Д., выступивший в «Вестнике Европы» (1873, №№ 8 и 9) с двумя заметками: «Подделка Гоголя». Почему-то принято в этом Д. видеть Г. П. Данилевского.<sup>30</sup> Однако во второй из этих двух заметок появившееся ранее письмо Г. П. Данилевского в редакцию газеты «С.-Петербургские ведомости» (1873, № 210, 2 августа) цитируется как письмо другого, постороннего лица. Да и в письме этом, при близости общих точек зрения и оценок с заметками Д., сообщаются новые подробности о неизвестных страницах второй части «Мертвых душ», не привлекавшие к делу в первой заметке Д. Помимо того, в самом отношении к фальсификации Ястржембского критик Д. был весьма далек от Г. П. Данилевского. Последний, написавший «Письмо в редакцию» «С.-Петербургских ведомостей» (1873, № 210, 2 августа) по поводу новых отрывков из второго тома «Мертвых душ» Гоголя, заявлял здесь: «Через несколько дней после того, как эти отрывки явились в „Русской старине“, мне, одному из первых, пришлось напечатать о них в периодических петербургских изданиях без моей подписи две статьи. Как тогда, так и теперь, несмотря на категорическое заявление г. Ястржембского, я позволяю себе быть того мнения, что отрывки, о которых идет речь, принадлежат не кому иному, как Гоголю». Таким образом, Г. П. Данилевский чрезвычайно высоко оценивал литературно-стилистические качества этих отрывков, ссылаясь на художественную обработку в них каждой фразы.

Заметка «Вестника Европы» сразу же вызвала оживленное обсуждение в журнально-газетной прессе. Газета «Голос» (1873, № 218, 9 августа) обвиняла «Вестник Европы» в том, что он своевременно не откликнулся на саморазоблачения Ястржембского, долго «умалчивал» о скандальном эпизоде с подделкой второй части «Мертвых душ» и не проявил должной самокритичности, не отказался откровенно и прямо от своих ошибочных обобщений и заключений (в статьях В. П. Чижова и А. Н. Пыпина), сделанных на основе подделки.

Во второй заметке Д. «Подделка Гоголя», помещенной в № 9 «Вестника Европы» за 1873 год, отвергается обвинение «Голоса», что желание найти в подделке Ястржембского элементы плагиата из какой-то неизвестной гоголевской рукописи «Мертвых душ» лишь «запутало» дело. Критик Д. продолжает настаивать, что показания Ястржембского о происхождении самых крупных дополнений к тексту второй части «Мертвых душ» (о примирении Тентетникова с Бетрищевым с помощью Чичикова, о визите к Бетрищеву, о сценах сватовства и сближении с Улинькой) недостоверны: «...с вероятностью можно было думать, что прибавка принадлежала самому Гоголю и взята (так или иначе)

<sup>30</sup> Ср.: С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей, т. 1 (Гоголь, 1873 год). СПб., 1900, стр. 801; Ю. Масанов. Литературные мистификации. «Советская библиография». Сб. 1 (18). М., 1940, стр. 135—137



из его собственной черновой тетради». <sup>31</sup> Сам Ястржембский в статье, напечатанной в газете «С.-Петербургские ведомости» (1873, № 220), не приводит новых неопровержимых фактов и вполне достоверных соображений в защиту своего полного авторства по отношению ко всему известному тексту, ко всем «дополнениям» второй части «Мертвых душ». «Деяние г. Я-го во всяком случае имело очень непривлекательный вид. . . , если речь идет о действительном варианте Гоголя, который, в том или другом виде, присваивается себе плагиатором, по каким-нибудь личным соображениям, то дело перестает быть шуткой. Оно становится непозволительным шутковством против одного из величайших писателей русской литературы». <sup>32</sup>

Другая газета, «Биржевые ведомости» (1873, № 208, 5 августа) писала: «„Вестник Европы“ приходит к той, не лишенной некоторого вероятия догадке, что г. Ястржембский не подделал вариантов, а старается присвоить себе написанное Гоголем». Газета не соглашается с пониманием новых отрывков из Гоголя, как третьей, т. е. последней редакции второй части «Мертвых душ» и высказывает свои собственные соображения о раннем времени их возникновения.

Вторая заметка в «Вестнике Европы» стремится истолковать в пользу гипотезы о принадлежности всего текста или, по крайней мере, значительной части вариантов самому Гоголю — противоречия в объяснениях Н. Ф. Ястржембского: почему он решился мистифицировать М. М. Богоявленского, и несоответствие этим объяснениям признаний и воспоминаний самого М. М. Богоявленского. Кроме того, в «С.-Петербургских ведомостях» (1873, № 210, 2 августа) появилось, как уже говорилось выше, письмо Г. П. Данилевского — известного писателя-романиста. В этом письме Данилевский заявляет, что доставши по смерти Гоголя список второй части «Мертвых душ» и находя в нем много пробелов, он не раз говорил о них с друзьями Гоголя (С. Т. Аксаковым, М. С. Щепкиным, С. П. Шевыревым) и от них слышал, что во второй части, как читал ее сам Гоголь, находились именно некоторые подробности, которые теперь Ястржембский выдает за написанные им. «Помню, что в числе мест, пропущенных в доставшемся мне тогда списке второй части „Мертвых душ“, — писал Данилевский, — мне указывали и на анекдот о милостивых поборках графа Сидора Андреевича и на разговор Бетрищева с Чичиковым о Михайловском-Данилевском, военном историке двенадцатого года. Оба эти места, как известно, явились ныне в оспариваемых (т. е. приписываемых себе) г. Ястржембским отрывках». <sup>33</sup>

Поэтому Данилевский не сомневается, что новые варианты писаны самим Гоголем. По его мнению, трудно допустить, чтобы кто-нибудь, кроме Гоголя, мог написать то, для чего требуется «знать и любить Россию так, как ее знал и любил Гоголь; быть истинно русским человеком. . . , иметь огромную писательскую практику, . . . хотя частицу таланта Гоголя».

На проблему «подделки», по идеологическим соображениям, из похвального или либерального желания вернуть Гоголю титул до конца прогрессивного писателя, наслоилося много разнородных фактов, общественных вопросов, историко-литературных обобщений и журналистских побуждений. Пришли в движение и историко-литературные концепции, и принципы текстологии и критики текста, и представления о нормах морали общественного поведения в кругу педагогов и писателей, и проб-

<sup>31</sup> «Вестник Европы», 1873, № 9, стр. 450.

<sup>32</sup> Там же.

<sup>33</sup> Там же, стр. 452

лемы эстетической оценки литературных произведений, и разногласия в сфере общественно-политических мировоззрений и идеалов.

В своем заключительном «Изложении дела о вариантах „Мертвых душ“, напечатанных в январской книжке „Русской старины“ за 1872 год» («Голос», 1873, № 278, 8 октября), Н. Ф. Ястржембский еще раз подробно передает с своей точки зрения всю историю с новыми отрывками и вариантами «Мертвых душ». Тут много повторений прежнего, но есть некоторые новые детали, отчасти связанные с критикой противоречий и несоответствий в его прежних объяснениях. Так, Н. Ястржембский утверждал, что, располагая копией, сделанной еще в 40-х годах с рукописи второго тома «Мертвых душ», принадлежавшей Н. Я. Прокоповичу, он «часто обдумывал, как бы следовало переделать вторую часть „Мертвых душ“, чтоб она могла сделаться достойным продолжением первой». «Обдумывая, я пытался,— пишет Н. Ястржембский,— переделать имевшую у меня рукопись, исключая из нее те места, которые отзывались „Перепискою с друзьями“, и делая вставки и дополнения к недосказанному Гоголем. Таким образом, составлялась у меня тетрадь набросков, которые я делал *для себя*, не имея и мысли сделать их когда-нибудь известными печати. Когда случилась надобность в испытании г. Богоявленского, я воспользовался этими набросками, переписал имевшуюся у меня рукопись, изменил ее, сделал вставки и дополнения и исключил некоторые места. В этом измененном виде я дал мою рукопись г. Богоявленскому». Так, Н. Ф. Ястржембский пытался устранить все сомнения по поводу происхождения и дальнейшей судьбы текста новых отрывков и вариантов «Мертвых душ», выраженные «Русской стариной», «Вестником Европы» и другими печатными органами в связи с заявлениями о подделке.

Н. Ф. Ястржембский объяснял задержку в своих саморазоблачениях подделки тяжелыми событиями в своей личной жизни, своим семейным горем, а также нежеланием причинять неприятность М. М. Богоявленскому и редакции «Русской старины». Но затем саморазоблачающие письма Н. Ф. Ястржембского появлялись регулярно.<sup>34</sup>

Н. Ф. Ястржембский старается также устранить противоречия в вопросе о рукописи Н. Я. Прокоповича. «С чего взял г. Богоявленский, что Прокопович *подарил* мне свою рукопись, и еще на память — это уж я решительно не понимаю. Он знал очень хорошо, что рукопись, которую я давал ему, была вся исписана моею рукой и вовсе не была подарком Прокоповича». Копия с рукописи Прокоповича у Н. Ф. Ястржембского, оказывается, не сохранилась. Ведь она стала ненужной после опубликования текстов второго тома «Мертвых душ» Трушковским и Кулишом.

Наконец, здесь же Н. Ф. Ястржембский пытается объяснить совпадение одного из своих вариантов с тем, что сохранилось в воспоминаниях Арнольди. Автор «Заметки» в «Вестнике Европы» видел в этом

<sup>34</sup> В сентябре 1872 года (в редакцию «Русской старины», которая медлила с ответом 4 месяца), от 12 февраля 1873 года (на это письмо также не было ответа в течение 4 месяцев), 13 июня 1873 года в редакцию «С.-Петербургских ведомостей» («С.-Петербургские ведомости», 1873, № 167) ответ «Русской старины» в «С.-Петербургских ведомостях», 1873, № 175, 2 июля 1873 года («С.-Петербургские ведомости», 1873, № 185), ответы от 19 августа и 8 сентября на письмо Г. П. Данилевского, на выпады «Русской старины» и на заметки в «Вестнике Европы» («Голос», 1873, №№ 233 и 257), письмо от 7 августа снова с ответом на вторую заметку в «Вестнике Европы» («С.-Петербургские ведомости», 1873, № 212), заключительное письмо в «Голосе» (1873, № 278) — свод предшествующих признаний и изложение всего хода дела о подделке, «последнее слово». Письма Ястржембского см. также в газетах: «Биржевые ведомости» (1873, №№ 163 и 167), «С.-Петербургские ведомости» (1873, №№ 167, 184, 220), «Голос» (1873, №№ 185, 191, 219, 237).

совпадении неопровержимое доказательство того, что варианты писаны Гоголем. «В рукописи, по которой я писал варианты,— объясняет Н. Ф. Ястржембский,— было несколько пробелов, недописанных мест Гоголем, и на некоторых из них была набросана как бы программа недосказанного. За давностью времени (через тринадцать слишком лет!), я не припомню теперь, была ли подобная программа приведенному «Заметкою» варианту; но если была, немудрено, что, при выполнении ее, могли попасть в вариант некоторые слова программы. Не менее того, *весь этот вариант и все остальные принадлежат мне, и приписывать их Гоголю против всякой очевидности и бездоказательно может только тот, кто пропихнут слишком сильным желанием убедить публику, что варианты писаны Гоголем, и кому слишком неловко сознаться в ошибке*».

В конце своего последнего слова Н. Ястржембский еще раз категорически заявляет о своем авторстве в отношении вариантов второго тома «Мертвых душ». Когда «нашлись люди, не усумнившиеся в их подлинности, я счел долгом заявить, что они не принадлежат Гоголю. Я сделал это с самопожертвованием, зная наперед, как будет принято мое заявление. Я исполнил мой долг — долг совести и не заслуживаю, чтоб меня обвиняли в тяжком преступлении — в намерении присвоить себе чужую литературную собственность. Меня не интересует то, признают ли за мною варианты, *но я никогда не соглашусь с тем, что эти варианты писаны Гоголем*».<sup>35</sup>

## 6

Среди шума, поднявшегося в русском обществе и журнально-газетной прессе в связи с саморазоблачением полковника и профессора Ястржембского и в связи с проблемой подлинности или подложности новых текстов, приписанных Гоголю, наряду с возмущенными голосами тех, кто был убежден или уверился в подделке, звучали смущенные и раздраженные голоса тех, кому еще не хотелось терять надежду на «исправление» Гоголя и на значительность новых открытий. Само собой разумеется, много было и фельетонного злорадства и острословного подшучивания.

Естественно, что эта дискуссия должна была затронуть, обеспокоить и тех людей из ближайшего окружения Гоголя в последнюю пору его творчества, которые еще оставались в живых.

В «Русской старине» (1873, № 12) появилась статья кн. Д. Оболенского «О первом издании посмертных сочинений Гоголя». (Воспоминания), которая начиналась такими словами: «Автор вариантов „Мертвых душ“ отыскан. Г. Ястржембский многократно печатно заявил, что не ожидал от своей литературной шалости таких серьезных последствий; что читающая публика введена в заблуждение помимо его воли и желания и что, наконец, опубликованные варианты всецело принадлежат перу его — г. Ястржембского. Некоторые, однако, продолжают относиться к этому заявлению с недоверием и, по-видимому, остаются в убеждении, что варианты эти писаны Гоголем». Д. Оболенский выражает твердую убежденность в том, что эти варианты и слог их несут явные признаки неудачной подделки под манеру Гоголя. Д. Оболенский категорически заявляет: «... м а т е р и а л ь н о невозможно, чтобы в чьих-либо руках могла находиться рукопись II-й части „Мертвых душ“, несогласная с теми вариантами, которые изданы в 1855 году Трушковским, а впоследствии г. Кулишом».<sup>36</sup> Это утверждение Д. Оболенский

<sup>35</sup> «Голос», 1873, № 278, 8 октября.

<sup>36</sup> «Русская старина», 1873, т. VIII, № 12, стр. 940.

старается подкрепить личными воспоминаниями и авторитетными свидетельскими показаниями. Кроме того, Д. Оболенский делает целый ряд критических замечаний по поводу стиля вариантов Ястржембского:

«Неужели мог Гоголь, вместо великолепного описания въезда Тентетникова в деревню, написать такую безграмотную, сентиментальную ерунду, как например:

„И вдруг забилось у него сердце. И ему живо представились все подробности его счастливого детства, и он увидел себя малюткой, которого вел за руку отец, гуляя по полям; и он увидел мать, выходящую навстречу отцу, возвращающемуся с усталым малюткой, и он почувствовал себя на руках матери, которая прижимала его к сердцу и спрашивала с нежностью, не слишком ли он устал и т. д.“<sup>37</sup>

Д. Оболенский уверял также, что в тексте второго тома «Мертвых душ» ничего подобного глупым анекдотам «о директорской шинели и галошах и о Сидоре Андреевиче, вставленных в варианты, изданные в 1872 г., не было и быть не могло; ибо причина выхода в отставку Тентетникова имела весьма глубокое нравственное основание».<sup>38</sup>

Представляют большой общественно-идейный и историко-литературный интерес последние строки статьи кн. Д. Оболенского, направленные против истолкования литературной деятельности Гоголя Белинским и находившимися под его влиянием передовыми демократическими кругами 50—70-х годов. Д. Оболенский противопоставляет установившейся в этих социальных слоях общественно-политической оценке прогрессивных сторон гоголевского творчества то понимание личности Гоголя, а в связи с этим и его сочинений, которое сложилось в кружке, близком к Гоголю в последнюю полосу его жизни.

«Слишком 20 лет прошло со дня кончины Гоголя — и мы еще не имеем беспристрастной и верной оценки творений и личности этого великого моралиста. А между тем, время идет, и кружок людей, испытавших на себе силу нравственного влияния Гоголя и оценивших уже после его смерти все непонятные стороны характера и духовной жизни этого необыкновенного человека, — все редет и редет. Некоторые из новейших исследований о значении Гоголя должны служить укором тем почитателям его, которые могли бы разъяснить всю ошибочность исходной точки воззрения современных мыслителей на значение писателя, подобных Гоголю. Неужели суждено Гоголю, в глазах грядущих поколений, занять то незавидное место, которое отводят ему ныншние ценители заслуг писателя, всецело преданного одной высоко-нравственной мысли, без всякого отношения к изменчивым политическим и социальным стремлениям современного общества?»<sup>39</sup>

Следовательно, образ Гоголя-моралиста и религиозного мыслителя-подвижника должен с этой точки зрения поглотить и растворить в себе лик великого обличителя общественных язв и неурядиц русского самодержавно-крепостнического режима.

## 7

Литературная полемика начала 70-х годов, развернувшаяся по вопросу о последних годах творчества Гоголя в связи с обсуждением подложности новых отрывков и вариантов второго тома «Мертвых

<sup>37</sup> Там же, стр. 945

<sup>38</sup> Там же.

<sup>39</sup> Там же, стр. 953.

душ», не могла не привлечь внимания Ф. М. Достоевского и не увлечь его к участию в этих спорах. Известно, что значило для Достоевского письмо Белинского к Гоголю; известно также, как сложно и изменчиво было отношение Достоевского к гоголевскому творчеству. Да и то направление, которое приняла дискуссия о «третьем варианте» второй части «Мертвых душ», и самый образ Н. Ф. Ястржембского, как он вырисовывался в потоке его покаянно-полюемических писем,— всё это было прямой находкой для Достоевского-публициста.

Есть сведения о том, что интерес Достоевского к Гоголю был велик и в начале 70-х годов. Именно в это время сам Достоевский в одной из черновых записей указал на прямую связь позднего Гоголя с психологией „подполья“, столь характерной для Опискина < из романа «Село Степанчиково и его обитатели» >. Претендуя на роль проповедника, учителя жизни, Гоголь публично огрекался от „Ревизора“ и „Мертвых душ“ и в „Завещании“, которым открывались „Выбранные места из переписки с друзьями“, объявлял, что его последнее лучшее произведение „Прощальная повесть“ будет опубликована после его смерти. Однако повесть эта так и не была написана. Достоевский видел в этом яркое свидетельство духовного родства Гоголя с „людьми из подполья“. „Это то самое подполье, которое заставило Гоголя в торжественном завещании говорить о последней повести, которая выпелась из души его и которой совсем не оказалось в действительности. Ведь, может быть, начиная свое завещание, он и не знал, что напишет про последнюю повесть“.<sup>40</sup>

Интересны опубликованные А. С. Долининым рукописные фрагменты Ф. М. Достоевского из «Дневника писателя» (1877 г.), характеризующие отношение его к Гоголю.

«В главе четвертой двойного номера „Дневника писателя“ за июнь—июль 1877 г.» Достоевский говорит, между прочим, о «непременной потребности» у русского человека «пооригинальничать», как о следствии самолюбия, в особенности «самолюбия от необыкновенного величия». «Русский „великий человек“ всего чаще не выносит своего величия. Право, если б можно было надеть золотой фрак, из парчи, например, чтоб уж не походить на всех прочих и низших, то он бы откровенно надел его и не постыдился». Тема эта, о «золотом фраке», кажется Достоевскому «милой», и он хотел бы «собо поговорить о ней», привести «наглядные примеры». А. С. Долинин и публикует отрывок, где в качестве наглядного примера стремления «великого человека» надеть, в отличие от всех прочих, «золотой фрак», приводится Гоголь с его «Перепиской с друзьями».

«Про золотой фрак мне пришла мысль наверно еще лет тридцать тому назад, во время „Исповеди“, „Переписки с друзьями“, „Завещания“ и последней повести Гоголя. Мне всю жизнь потом представлялся этот не вынесший своего величия человек, что случается со всеми русскими, но с ним случилось это как-то особенно с треском.

Вероятнее всего, что Гоголь сшил себе золотой фрак еще чуть ли не до „Ревизора“» (к 2-й главке IV главы «Дневника писателя», июль — август 1877 г.).<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. Ф. М. Достоевского, оп. 1, № 11, л. 68; см. Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений в десяти томах, т. 2, Гослитиздат, М., 1956, стр. 658—659. Примечания.

<sup>41</sup> А. С. Долинин. Новое о Ф. М. Достоевском. «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. М. Н. Покровского Факультета языка и литературы», т. IV, вып. 2, 1940, стр. 314 и 319.

Однако едва ли можно отсюда сделать вывод, что «Гоголя воспринял Достоевский на всю жизнь именно так, как понимал его Берлинский».

В этой связи особый интерес приобретают отклики на подделку Ястржембского и его саморазоблачения в «Гражданине» за 1873 год. Для «Гражданина» это было время редакторства Ф. М. Достоевского. Обе статьи «Гражданина», в которых иронически излагается и сатирически комментируется история с новыми отрывками и вариантами второго тома гоголевских «Мертвых душ», писались, несомненно, при ближайшем участии Ф. М. Достоевского. Одна статья в № 34 «Гражданина» начинает цепь очерков — «Из текущей жизни»,<sup>42</sup> помещенных в этом номере газеты-журнала. С этими очерками непосредственно связана напечатанная в том же номере «Заметка от редакции», которая, естественно, не могла миновать пера и активного вмешательства редактора — Достоевского.

Кроме того, в самом стиле очерков «Из текущей жизни» есть явные признаки творчества Ф. М. Достоевского и отражения его стиля и личности. Сюда, прежде всего, относятся приемы стилистического анализа лже-гоголевских вариантов.<sup>43</sup>

В пользу авторства Достоевского применительно ко всей серии очерков «Из текущей жизни» в № 34 «Гражданина» за 1873 год говорит специфический интерес их автора к семантическому выделению и характеристике экспрессии слов.<sup>44</sup>

На мысль об авторстве Достоевского в отношении очерков «Из текущей жизни» наводит и острый разговорно-иронический стиль изложения с типичными для манеры Достоевского приемами внутренней драматизации и язвительными ораторскими обращениями к читателю, и своеобразная строфическая композиция частей с изображением нарастающих чудес, и фактические ссылки на собственный литературный и общественный жизненный опыт.

Например: «Кто жил в Петербурге в сороковых годах, тот момент припомнит, на кого похожи этот граф и его подчиненный действительный статский советник».

Впрочем, едва ли можно отнести к изображению непосредственных впечатлений самого Ф. М. Достоевского, бывшего в начале 50-х годов

<sup>42</sup> «Гражданин», 1873, № 34, стр. 934—936.

<sup>43</sup> Пример: «Наконец — перемены в отдельных словах и выражениях... их много. Но все они не в пользу вариантов; — они слабее и как-то площе в сравнении с тем, как было в печатном издании; так, например, по-прежнему, в числе департаментских товарищей Тентетникова двое „были то, что называется огорченные люди“; в вариантах разбавлено: „были то, что называется *разочарованные*, огорченные люди“. Одно словечко лишнее, и уже ослаблен „неподражаемый юмор“. Или еще — описание Улиньки начинается в вариантах так: „Наружностью Улинька была удивительное изящное существо. Душевными качествами она пленяла всякого“. В печатном издании этого не было, да кажется не могло и быть, и если Гоголь когда-нибудь написал эти два предложения, то при дальнейшей обработке своего произведения непременно должен был их вычеркнуть: так они пошловаты!» («Гражданин», 1873, № 34, стр. 935).

<sup>44</sup> Пример: «Есть слова, которые бывают и приличны, и неприличны, смотря по тому, в каком смысле они употреблены. И есть люди, которые осторожность в выборе приличных слов доводят до крайности. Мы знаем, например, таких, которые боятся употреблять выражение: отхожие промыслы, потому что входящий в него эпитет, поставленный пред другим существительным, означает предмет, избегаемый в разговоре, для которого всячески придумывают наиболее приличные термины, прибегая преимущественно к французскому языку. Другие не любят употреблять прилагательное потребный, потому что оно, по созвучию, напоминает другое прилагательное: непотребный... Говорим о том, до чего может простираться условность приличия в речи устной и письменной. Но приличие деяний и поступков уже совсем не так условно, по крайней мере по отношению к известному веку и известной гражданственности» (там же, стр. 935).

в Омском остроге, следующие строки: «Многие, конечно, помнят, как еще задолго до издания, вскоре после смерти Гоголя, пошли по рукам списки первых глав этого II тома; как усердно и благоговейно их тогда переписывали; как бились над вкравшимися явными описками, исправляя их по собственным догадкам. И у меня, пишущего эти строки, до сих пор цела написанная второпях и разными почерками тетрадь, заключающая три первых главы, в том самом виде и с теми же пропусками, с какими они появились потом в печати». Но и в этих фразах нет ничего такого, что бы исключало возможность связывать эти очерки с Достоевским как их автором и редактором. Ведь здесь не говорится, что в годы, непосредственно следующие за смертью Гоголя, сам автор усердно и благоговейно переписывал рукопись второго тома «Мертвых душ», находясь в Москве или в Петербурге. Ведь и рукопись второй части «Мертвых душ», переписанная разными чужими почерками, могла быть приобретена автором позднее, уже после освобождения из тюрьмы. Во всяком случае, это изложение широко известных в то время литературно-общественных фактов.

Статья «Гражданина» о новых вариантах «Мертвых душ» начиналась такими ироническими фразами: «С недавнего времени в нашей текущей литературе стали появляться чудеса, бросающие читающий люд от изумления к изумлению. Началось с легкой руки г. Ястржембского». Далее излагалась история появления новых отрывков «Мертвых душ». «Казалось, нет тут ничего удивительного; дело очень естественное... Что же мудреного, казалось, что, кроме напечатанных лоскутков, сохранились и другие, содержащие другую редакцию, более раннюю или позднейшую: ведь известно, что Гоголь подвергал эту часть своей поэмы бесчисленным исправлениям и переделкам...» Но «вдруг... совершается чудо: варианты превращаются в подделку, а Гоголь — г. Ястржембского!» Сначала все «безмолствовали немотствуя как Захария во храме. Потом мало-помалу начались объяснения, но и в объяснениях этих слышалось нечто странное: как будто объясняющим хотелось уверить г. Ястржембского, что он совсем не подделывал Гоголя, что это ему только так показалось или во сне пригрезилось... Впрочем, желание это отчасти и понятно: сама „Русская старина“ печатая отрывки и варианты, тогда же сказала, что „в них искрится неподражаемый, умерший с Гоголем юмор, поразительная меткость выражения и художественное воспроизведение лиц, местностей, всего, до чего только касалась кисть гениального мастера“. Читатели, по прочтении отрывков и вариантов, вряд ли, то же подумали...» Далее ирония, характерная для стиля Достоевского, сгущается с еще большей силой: «Но г. Ястржембский непоколебим и крепко стоит на своем: хоть пришлось бы, говорит, пострадать за правду — не отступлюсь: я подделал Гоголя! Тут, кажется, следовало бы всем обрадоваться и сказать г. Ястржембскому: так пишете же, скорее и больше, больше! пусть еще ярче заискрится умерший с Гоголем, а в вас воскреснувший юмор и поразительная меткость, и художественное воспроизведение — все это будет манной небесной для нашей словесной пустыни, в услужение нам, алчущим и жаждущим! Никто, однако, не сказал этого, потому что случилось новое чудо...»<sup>45</sup>

Иронически вводятся затем метафоры из судебной практики.

«Может быть, когда-нибудь формальное литературное следствие разрешит этот мудреный вопрос, а если, в ожидании такого следствия, сделать теперь же легкое „предварительное дознание“, то выйдет, как

<sup>45</sup> «Гражданин», 1873, № 34, стр. 934.

нам кажется, одно из двух: или надо признать *отрывки и варианты* „Русской старины“ в самом деле работою г. Ястржембского, или, если уже непременно нужно, во что бы то ни стало, отнять у него авторское право на эту работу,— считать их первоначальным и весьма необработанным наброском Гоголя». Однако далее высказывается целый ряд очень веских соображений словесно-эстетического, композиционного и стилистического характера, которые очень убедительно доказывают несомненное наличие подделок гоголевского текста.

Эти соображения, прежде всего, касаются «вставок», которых не было в печатных изданиях текста второго тома «Мертвых душ». «Анекдот о графе Сидоре Андреевиче, занимающий всего шесть строк, не содержит в себе ничего, особенно *искрящегося*, а эффектен потому только, что списан с натуры». Далее указывается на то, что жителям Петербурга 40-х годов этот анекдот хорошо известен. «Несколько фраз о Михайловском-Данилевском, вставленных в разговор Бетрищева с Чичиковым, тоже не придают особенной художественности этому разговору, и без того художественному. Передобеденная закуска у Петуха и сон Чичикова, правда, очень живописны, но ведь это — вариация на тему, данную в печатном издании; вариация распространила тему, но не придала никакой новой черты ни Петуху, ни Чичикову. Таковы и все вставки» (стр. 935). Следующий прием изменений гоголевского текста в «вариантах и отрывках» — это пропуски, исключения. Здесь «выпущены те именно места, которые как бы вызваны были лирическим настроением Гоголя. Например — идеального воспитателя Александра Петровича совсем нет; выпущена небольшая тирада о наслаждениях, живущих „и в Петербурге, несмотря на сумрачную его наружность“ (стр. 17 в издании Трушковского 1856 г.); выпущено чрезвычайно поэтическое место о том, куда глядели и что видели вдали глаза Тентетникова, когда „вблизи ладилось сельское дело“ (там же, стр. 26—27)». Не улучшают качеств гоголевского стиля, а лишь ослабляют его силу «перемены в отдельных словах и выражениях».

Из всего этого делаются автором статьи следующие выводы:

«1) все, что „искрится“ в отрывках и вариантах, искрилось и в прежнем печатном издании; 2) „поразительная меткость выражения“ вся принадлежит прежнему изданию, а в вариантах она только ослаблена; 3) ни одного „лица“ ни одной „местности“, *вновь художественно воспроизведенных*, — в вариантах не имеется и, наконец, 4) с выпуском нескольких мест, проникнутых лирическим настроением, текст по вариантам стал суше и холоднее, нежели в прежнем печатном издании». Ироническая концовка замыкает этот анализ: «А чудо все-таки остается чудом!»<sup>46</sup>

## 8

Журнал-газета «Гражданин» под редакцией Ф. М. Достоевского не ограничился и не мог ограничиться одним, хотя и очень острым и внушительным, откликом на споры о подлинности и подложности новых отрывков и вариантов второго тома «Мертвых душ». В «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского (а этот «Дневник» в структуре журнала играл центральную композиционную роль, роль идеологического центра, или тематического стержня) уже в самом начале 1873 года были подняты вопросы о Белинском, о социализме и атеизме, о русском революционно-материалистическом движении, о судьбах и роли его в истории русской культуры, об образах русских революционных демократов. Личность Н. Ф. Ястржембского, поклонника Белинского, почита-

<sup>46</sup> Там же, стр. 935



теля его письма к Гоголю, упорством своих разоблачений — при всей их противоречивости — не могла не стать объектом художественно-публицистической интерпретации Ф. М. Достоевского. И действительно, в № 45 «Гражданина» за 1873 год появляется новая статья, посвященная той же истории с новыми вариантами «Мертвых душ» Гоголя, с подделкой их текста, под заглавием «Неоцененное побуждение». Однако вопрос об авторе этой статьи труднее решить, чем в отношении очерков «Из текущей жизни» в № 34, и приписать ее безоговорочно одному Достоевскому было бы поспешно вследствие целого ряда осложняющих обстоятельств.

Статья носит ярко индивидуальный характер, в ней постоянно мелькает местоимение «я». Стиль статьи очень близок к стилю «Дневника писателя» Достоевского. Однако в напечатанном «Подробном обозначении содержания 52 №№ „Гражданина“ за 1872 год», которым начинается печатный полный комплект этого журнала-газеты, в моем экземпляре эта статья подписана буквой П (Неоцененное побуждение. По поводу подделки под Гоголя П.). Никакая другая статья в «Гражданине» за этот год не приписана автору с таким инициалом. Статьи Вл. Пуцыковича, ставшего секретарем редакции, и К. П. Победоносцева (а также А. Порецкого) подписывались иначе, другими инициалами, другими сокращениями имен и фамилий (В-ра П-ча, В. П-ча и др. под.). Кроме того, нельзя не отметить, что вопреки обыкновению, перед буквой П нет ожидаемой точки. (Напечатано: «По поводу подделки Гоголя П», а не так, как следовало бы: «По поводу подделки Гоголя. П.»). Тем не менее сразу же признать это обозначение опечаткой было бы произвольно. Следовательно, можно думать, что схема статьи заготовлена каким-то П., например, Вл. Пуцыковичем. Но доля личной редакторской «правки» Ф. М. Достоевского в ней очень сильна. Ее стиль очень близок к стилю Достоевского.<sup>47</sup>

На статье «Неоцененное побуждение» лежит несомненная печать и авторства, и редакционного вмешательства Ф. М. Достоевского. Конец ее мог быть написан только самим Достоевским. Начинается статья с оправдания самого заглавия — «Неоцененное побуждение». Оно продиктовано желанием не «отпугнуть» читателя, ибо сюжет касается «той истории о вариантах, которая уже грозит превратиться в сказку про белого бычка». Автор хочет говорить о «неоцененном побуждении» Ястржембского, о побуждении, которое тот неизменно объясняет во всех своих многократных покаяниях и за которое, по собственным его словам, ему «можно простить дерзкое намерение подделаться под Гоголя». «Уж не знаю, право, простят ли его „Русская старина“ и „Вестник Европы“, которые особенно сердито к нему относятся, но во всяком случае следовало бы по крайней мере оценить побуждение... Да что же это за побуждение такое? спросите вы». Это — забота об испорченной репутации Гоголя, написавшего «Переписку с друзьями» и в довершение беды несколько неполных глав II тома «Мертвых душ» в духе той же «Переписки». Ястржембскому, находившемуся под сильным влиянием известного письма Белинского к Гоголю, «пала... на душу великая скорбь об утраченной репутации Гоголя и, вслед затем, желание — чтоб II том очистился и не отзывался больше духом „Переписки“». В чем же состояла произведенная Ястржембским чистка? Особенно три места «Мертвых душ» («похвальный гимн» образцовому

<sup>47</sup> Доказательства принадлежности Достоевскому статей о подделке второго тома «Мертвых душ» Гоголя развиваются мною в особой монографии «Неизвестные фельетоны и повести Ф. М. Достоевского».

наставнику Тентетникова, изображение недоучившегося студента с зловредным либеральным направлением — злобный намек на Белинского и «рабские поклоны крестьян» при приезде Тентетникова в деревню) «поразили г. Ястржембского запахом „Переписки” и были поэтому признаны подлежащими очищению».<sup>48</sup>

Автор статьи «Неоцененное побуждение» доказывает, что г. Ястржембский неправильно понимает все три места «Мертвых душ», им так или иначе исправленные, и обнаруживает плохое знание гоголевских текстов. Так, он не удосужился воспользоваться изданием Кулиша 1857 года. «Чтобы оценить всю важность произведенной им операции,— читаем в „Гражданине”, — нужно рассмотреть, что представляют эти места в зараженном состоянии и чем стали после их очищения». Автор статьи в своем критическом анализе опирается на тексты, напечатанные в двух изданиях II тома «Мертвых душ»: Трушковского 1856 года и Кулиша 1857 года. «Во-первых, „образцовый наставник”... Над этим образом Гоголь, кажется, *особенно долго возился* (курсив мой.— В. В.), должно быть, он не легко ему давался, по крайней мере у Кулиша в этом месте *исправленного* текста приведено, в виде подстрочных выносок, множество изменений и вставок». Далее, сопоставив разные варианты гоголевского текста, критик из редакции «Гражданина» не находит в этом месте того смысла, который вкладывал в него Ястржембский. Ведь тот считал, что образцовый наставник Тентетникова унижал и оскорблял своих питомцев с «гносною целью» приучить их терпеливо и покорно переносить все унижения и оскорбления, какие могут их встретить в жизни. В исправленном тексте Кулиша «есть две фразы, которые могли поразить педагогическое чутье г. Ястржембского, именно те, что в заведении Александра Петровича (образцового наставника) „презренью товарищей подвергался тот, кто *не стремился быть лучше*” и „обиднейшие прозвища должны были переносить взрослые ослы и дураки от самых малолетних и не смели их тронуть пальцем”. Хороша или дурна такая воспитательная система,— об этом могут спорить педагоги, но едва ли можно усмотреть в ней ту *гносную цель*, которую усмотрел г. Ястржембский. Стало быть не это его смущало. Не то ли разве место, что было в первоначальном тексте и где говорится, что наставник требовал от воспитанников высшего курса „ума высшего, умеющего вынести всякое оскорбление”? Но от этих слов очистил свой текст сам Гоголь, и исправленный текст, уже без этих слов, издан в свет в 1857 году, а г. Ястржембский производил свою чистку в 1859 году.— Должно быть в продолжении двух лет до него не доходило издание Кулиша; иначе — он, может быть, и пощадил бы Александра Петровича. Жаль! Впрочем, это не единственная черта, которую обрисован „образцовый наставник”. Он „знал детей” и „*умел двигать их*”; „шалун уходил от него, не повесивши нос, но подняв его”; потому что „в самом упреке Александра Петровича было *что-то ободряющее*, что-то говорившее: *подымайся выше*, несмотря на то, что ты упал”; „он обыкновенно говорил: *я требую ума*, а не чего-либо другого”; „многих резвостей он не удерживал, видя в них начало развития свойств душевных”; он употреблял „все, что способно *образовать из человека твердого мужа*”; „юноша с самого начала искал только трудностей, алча действовать там, где больше препятствий, где нужно было показать *большую силу души*”. Наконец „*как любили его все мальчишки*”! Вот видите ли, читатель; ведь мы с вами и не знали, что все это значило — „унижать и оскорблять питомцев *с гносною целью*”; что все

<sup>48</sup> «Гражданин», 1873, № 45, стр. 1208.

это отзывалось „дикими идеями Переписки”». В статье «Гражданина», таким образом, в глубоко иронической отповеди отрицается наличие здесь так называемых «диких идей Переписки»: «В самом деле! Что если бы понабралось у нас больше таких наставников, стремящихся *образовать твердых мужей*, да еще возбуждающих в детях горячую любовь к себе,— теперь, может быть, и застрелиться было бы некому. Что было бы толку-то!» Как известно, борьба с эпидемией самоубийств и анализ общественных причин этого явления составляли одну из важных тем художественного и публицистического творчества Достоевского в этот период.

Второй образ, возмущивший и оскорбивший Ястржембского, это — образ недоучившегося студента «с зловердным либеральным направлением». И здесь автор статьи «Неоцененное побуждение», пользуясь вариантами текста «Мертвых душ» в изданиях Трушковского и Кулиша, прежде всего подчеркивает, что у Гоголя дана иная стилистико-фразеологическая характеристика этого персонажа: «резкого направления недоучившийся студент, набравшийся мудрости из современных брошюр и газет». «Но кроме того, в обоих текстах, изданных Кулишом, есть в другом месте вставка, которой не было в издании Трушковского. В ней говорится, что Тентетников в молодости замешался было в какое-то „филантропическое общество”, устроенное „с необыкновенно обширною целью доставить счастье всему человечеству”, и что в числе лиц, затеявших это общество, был — по первоначальному тексту — „недоучившийся студент”, а по исправленному — „недокончивший учебного курса эстетик”».<sup>49</sup>

Автор разъясняет: «Которое из этих двух лиц — деревенский ли сосед, или участник в филантропическом обществе был „с зловердным либеральным направлением”, я не знаю,— таких слов у Гоголя, как видите, не было; которое из этих двух лиц намекает на Белинского, я тоже не знаю. Не оба ли? А может быть ни то, ни другое? . . .» И хотя «Вестник Европы» одобряет г. Ястржембского за попытку уничтожить намек на Белинского, автор статьи в «Гражданине» сомневается в целесообразности этих помыслов поклонников Белинского: «А все-таки мне кажется, что г. Ястржембский, думая о намеке и находясь под влиянием Белинского, не помнил многого из Гоголя,— иначе его пристыдили бы следующие слова I-го тома Гоголевой поэмы: „достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность: вдруг выскочит господин почтенной наружности и заключит: ведь я тоже человек, стало быть я тоже глуп, словом, вмиг смекнет в чем дело”. Ну, вот должно быть и г. Ястржембский смекнул в чем дело. . . А я, с своей стороны, смекаю, что Гоголь, исправляя II-й том в 1851 году, когда Белинский уже давно лежал в могиле, вряд ли решился бы оставить намек на него, мертвого, если б это был действительно намек. Если г. Ястржембский знает зальцбургское письмо, то ему следовало бы знать также,— а если знал да забыл, то припомнить хорошенько — и ответ Гоголя на это письмо, посланный из Остенде. Похоже ли там что-нибудь на „озлобление”? Там говорил только потрясенный организм, разбитое сердце, да христианская кротость (все образы — Достоевского! — В. В.). Там, помнится, говорилось (и говорилось ведь не для печати): „поверьте мне, что и вы и я виновны равномерно перед ним (веком); и вы и я перешли в излишество. Я по крайней мере сознаюсь в этом; не сознаетесь ли и вы? . . .” „А покамест помыслите прежде всего о вашем здоровье” и пр. И говоря так с живым

<sup>49</sup> Там же, стр. 1208, 1209

Белинским, стал бы Гоголь делать на него мертвого ядовитый намек! Нет! говоря не шутя, мне стыдно за тех, кто верит в действительность этого намека. Кто в этих словах о недоучившемся студенте, невольно рисуемых перед нами какого-то безбородого юношу с длинными, откиннутыми назад волосами, провидел... кого же? Белинского!.. — тот „сметнул, в чем дело“!»

Переходя к третьему пункту переделок г. Ястржембского, автор статьи «Неоцененное побуждение» прежде всего характеризует гоголевские тексты (в общем сходные), относящиеся к описанию встречи Тентетникова с крестьянами при приезде в деревню и цитирует это место по изданию Трушковского. Затем он выделяет следующее дополнение Ястржембского к изображению этой сцены: «*И все подходили к нему и кланялись в ноги.* Тентетникову не понравилось это унижение человеческого достоинства. Он остановил низкие поклоны и стал говорить мужикам речь о том, что „человек должен уважать себя, а не унижаться перед равным себе существом, что он такой же человек как и они,— что он приехал с тем, чтобы их просветить и осчастливить“ И многое говорил им Тентетников в духе равенства и свободы, о котором начитался в книгах. Мужики слушали и ничего не понимали. Но на вопросы, которые по временам делал Тентетников, приговаривая беспрестанно: „не правда ли, мои друзья?“ бормотали: „вестимо, родимый“».

Автор комментирует: «Не знаю, как вам, читатель, а мне кажется, что достаточно одного этого места, даже одних слов: „все подходили к нему и кланялись в ноги“, чтобы снять с г. Ястржембского обвинение в плагиате, с которым так горячо накинулся было на него „Вестник Европы“, и отдать этот „вариант“ в его вечную и исключительную литературную собственность. Гоголь был настолько чуток к жизни русского народа, что не мог допустить такой неправдоподобности из нравов и обычаев бывших помещичьих крестьян. Придет, бывало, мужик один или целой своей семьей к барину с какой-нибудь просьбой, например просить невесту для сына, ну, пожалуй, и упадет в ноги, но чтобы крестьяне, без всякого особенного повода и вызова, *миром* творили земные поклоны барину, да еще молодому, „жиденькому“, в первый раз к ним приехавшему,— этого не бывало и не могло быть, это было *не принято*. Но г. Ястржембскому были необходимо нужны „рабские поклоны“, чтоб было над чем совершить операцию. И он отлично это устроил; только не знаю я, бывают ли в хирургической практике такие случаи, чтобы врач умышленно произвел болезнь для того только, чтобы сделать операцию. Может быть, и бывают!»<sup>50</sup>

Нельзя отрицать близости всех этих мыслей и стиля их изложения к творчеству и мировоззрению Ф. М. Достоевского. Но особенно яркий колорит стиля Достоевского носят заключительные строки статьи «Гражданина». «И так — вся история вышла, весь сыр-бор загорелся оттого только, что назад тому лет четырнадцать г. Ястржембский находился под влиянием письма Белинского. И чудный психический факт при этом замечается: кажется, будто г. Ястржембский как попал под влияние Белинского, так под ним и застыл...»

И многие годы над ним протекли  
По воле Владыки небес и земли!

Мне кажется, что он, во все эти годы, ни разу не прикоснулся к Гоголю, прежде им столь любимому, а „Переписку с друзьями“ не только

<sup>50</sup> Там же, стр. 1209.

изгнал из своей библиотеки, но, по изгнании, даже окурил библиотеку, если не ладаном, то хоть уксусом пополам с одеколоном. . .

И многие годы над ним протекли. . .

А в эти многие годы можно было бы из числа „диких идей” *Переписки* выделить несколько идей, не только не диких, но и ныне вполне достойных благосклонного внимания современных литературных деятелей. Там говорится, например, что, „если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиною неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства”. . . „Потомству нет дела до того, кто был виною, что писатель сказал глупость или нелепость”. И потому „обращаться с словом нужно честно”. Там говорится еще, что о наших поэтах „в журналах говорили много, разбирали их даже весьма многословно, но *высказывали больше самих себя, нежели разбираемых поэтов.* (Истина сбывшаяся над самим Гоголем!)”. Там же говорится, что „Одиссея” (в переводе Жуковского) „вновь даст почувствовать всем нашим писателям ту старую истину, которую *век мы должны помнить* и которую всегда позабываем, а именно: *по тех пор не приниматься за перо, пока все в голове не установится в такой ясности и порядке,* что даже ребенок в силах будет понять и удержать все в памяти. (Пророчество — увы! — не сбывшееся!)”. Все это, как видите, идеи совсем не дикие и даже такие, которые „век мы должны помнить”, но. . .

По воле Владыки небес и земли

застыли люди под разными влияниями, не слышат течения жизни и, о ком бы ни заговорили, все по-прежнему только „высказывают самих себя”».

## 9

В связи с обсуждением и анализом поддельных «Новых отрывков и вариантов» к первым трем главам второго тома «Мертвых душ» Гоголя в 70-х годах XIX века был выдвинут ряд важных вопросов, связанных с изучением творческого пути Гоголя, изменений в его мировоззрении, в его стиле, в его художественной системе. В итоге дискуссии поддельный характер напечатанных «Русской стариной» отрывков и вариантов «Мертвых душ» был раскрыт с полной убедительностью, особенно в статьях Ф. М. Достоевского (точнее: в статьях «Гражданина»). Наиболее глубокими и продуктивными оказались для развития самой науки о литературе и о стилистике художественной литературы те соображения, которые относились к проблеме связи и соотношения стиля и идеологии. Сразу же — еще до разоблачения литературной мистификации или фальсификации — бросились в глаза идеологические мотивы стилистических изменений, характерных для нового текста второй части «Мертвых душ». В статье В. П. Чижова и в посвященной творчеству Гоголя главе пыпинских «Характеристик литературных мнений» было обращено внимание именно на эту сторону. Изменения в тексте первых глав второй части «Мертвых душ», опубликованном в «Русской старине», объяснялись некоторым отходом Гоголя от идеологической позиции «Переписки с друзьями», возвратом — под влиянием страстного письма Белинского — к прогрессивно-обличительным тенденциям «Ревизи-

зора» и первой части «Мертвых душ». С этой точки зрения интерпретировались как «прибавки» к тексту первой главы, так и «исключения» из нее, сокращения целого ряда эпизодов.

К такому объяснению примкнул затем и сам автор подделки — Н. Ф. Ястржембский, выступивший через год со своими саморазоблачениями. Объясняя свои внутренние побуждения — «подделаться под Гоголя» и очистить первые главы второй части «Мертвых душ» от «диких идей Переписки», Н. Ф. Ястржембский придавал особенное значение трем своим «просветительским» операциям: «Я исключил из 2-й части „Мертвых душ“ похвальный гимн образцовому наставнику Тентетникова, унижавшему и оскорблявшему своих питомцев, с гнусной целью приучить их терпеливо и позорно переносить все унижения и оскорбления, какие могут их встретить в жизни. У меня нет недоучившегося студента с зловредным либеральным направлением, которого Гоголь вывел на сцену, делая намек на Белинского, озлобившего его известным зальцбруннским письмом. Я заставил Тентетникова остановить крестьян, пришедших к нему с рабскими поклонами, и произнести речь (конечно, для них непонятную) о человеческом достоинстве; о том, что он такой же человек, как и они; что человек обязан уважать себя и не унижаться пред равным себе существом» («Голос», 1873, № 278, 8 октября).

Всего этого нет в «Переписке с друзьями».

До некоторой степени с той же задачей — «либерализации» стиля второго тома «Мертвых душ» можно связать и отдельные изменения, хотя и гораздо менее значительные, во второй главе, например, размышления Бетрищева о службе и «подлецах», которые ее продолжают. Однако было совершенно очевидно (и на это сразу же обратили внимание и газетные фельетонисты, и критик «Вестника Европы» Д. и Г. П. Данилевский, и Ф. М. Достоевский, — точнее: авторы статей в «Гражданине»), что большая часть стилистических поправок и «прибавок» во второй и третьей главах второй части «Мертвых душ» вызвана вовсе не идеологическими побуждениями и даже не стремлением как-то сблизить общий тон, экспрессивные краски второго тома «Мертвых душ» с первым, а является плодом вольных упражнений в гоголевском стиле, продуктом увлечения юмористическими приемами Гоголя. Это обстоятельство в глазах некоторых критиков 70-х годов бросало тень и на первую главную идеологическую задачу подделки. С одной стороны, возникало подозрение, нет ли тут мистификации и даже плагиата со стороны Н. Ф. Ястржембского, и не содержал ли список Прокоповича новый, неизвестный вариант гоголевской работы над текстом «Мертвых душ». Однако эта мысль подтверждалась лишь указаниями (Г. П. Данилевского и Д. в «Вестнике Европы») на сюжетные совпадения с гоголевским замыслом (на основании свидетельств друзей Гоголя, слышавших его чтения отрывков из «Мертвых душ»). Но никто не занялся подробным стилистическим анализом поправок и прибавок в тексте Н. Ф. Ястржембского. Мысль о «плагиате», отвергнутая и опровергнутая в статье «Гражданина» «Неоцененное побуждение», не была затем никем поддёржана.

С другой стороны, после заявки о подделке прежняя восторженная оценка стиля «новых отрывков и вариантов» второго тома «Мертвых душ» сменилась суждениями диаметрально противоположного характера. В них критики уже не находили следов «искрящегося», «неподражаемого юмора» Гоголя, а видели лишь посредственные, малоудачные имитации. Кроме статей «Гражданина», ни в одной из других статей о подделке, помещенных в журналах и газетах 70-х годов, не было приведено никаких веских данных в пользу этого мнения.

В высшей степени целесообразно — в исторической перспективе — отметить и выделить некоторые общие принципы стилистических изменений в тексте «Мертвых душ», порожденных стремлением выпрямить идеологическую линию творческого пути Гоголя, устранить искривления и отступления в развитии его мировоззрения и словесно-художественного искусства.

Прежде всего необходимо отметить в подделке Н. Ф. Ястржембского сильную примесь стандартной либеральной публицистической журнальной речи, особенно в первой главе:

«Вся эта галиматья слушалась всеми воспитанниками заведения» (стр. 90).<sup>51</sup>

«Тентетников заразился сильным негодованием против общества вообще, и против начальников, стесняющих свободу человека, в особенности» (стр. 91).

«Тентетникову не понравилось это унижение человеческого достоинства... И многое говорил им Тентетников в духе равенства и свободы, о которых читался в книгах» (стр. 94—95).

«Барин доброе существо, но ленив и без энергии» (стр. 95).

Само собой разумеется, что этот принцип насыщения повествовательного стиля фразеологическими шаблонами публицистической речи — без всякой художественной ее индивидуализации — чужд Гоголю. Между тем, в «новых отрывках и вариантах» Ястржембского наблюдается широкое проникновение книжно-публицистических элементов той или иной идеологической окраски, независимо от индивидуально-характеристических особенностей стиля персонажей, даже в диалогическую речь действующих лиц.

«Тентетников не выдержал: „Я уважаю тех, которые заслуживают уважение и которые уважают сами себя. Служу не начальству, а государю и отечеству, и презираю тех, которые исполняют лакейские должности у своих начальников”» (стр. 92). Ср. в речи того же Тентетникова: «Нет, дядюшка, я понимаю всю великость, всю святость моих обязанностей. Я буду жить в деревне, улучшу быт моих крестьян, образую их нравственно и религиозно и сделаю из них людей, тогда как они теперь скоты» (стр. 93).

В речи генерала Бетрищева: «Ведь, если он ограничится одним печатным сведением, каким-нибудь Михайловским-Данилевским, то пропустит не одного истинно отличившегося на поле чести в это достославное время» (стр. 102; ср. также стр. 103 и 105).

Подвергается такому же стандартно-книжному, риторическому преобразованию, лишенному всякой комической окраски, даже речь Чичикова. Например: «... вы занимаетесь историею человечества вообще. Но посудите, генерал, русский генерал, поймет ли он важность, пользу ваших исследований. Иное дело история о генералах. Это ему понятно, он сам генерал» (стр. 105).

Необходимо указать также на своеобразные, но также шаблонные, приемы сатирического словоупотребления, связанные с определенными формами публицистического стиля. Например: «Конечно, Леницын был из подленьких. Но какое дело подчиненному до того, подлец ли или нет его начальник, и какое начальник имеет право на полное душевное уважение своих подчиненных» (стр. 91).

«По природному своему телячьему свойству, Тентетников поддался их влиянию» (стр. 90).

<sup>51</sup> Здесь и далее цитируется: «Русская старина», 1872, т. V, № 1.

«В сущности ему все равно было что ни писать, потому что до сих пор он занимался только обдумыванием сочинения» (стр. 106).

Широкое использование книжно-публицистического стиля в отдельных случаях смыкается с такой же книжной риторико-дидактической манерой повествования. Например, вот сентиментально-декламационный стиль изображения детских воспоминаний: «И вдруг забилося в него сердце. И ему живо представились все подробности его счастливого детства; и он увидел себя малюткою, которого вел за руку отец, гуляя по полям; и он увидел мать, выходящую навстречу отцу, возвращающемуся с усталым малюткой, и он почувствовал себя на руках матери, которая прижимала его к сердцу и спрашивала с нежностью, не слишком ли он устал; и невольные слезы брызнули из глаз Андрея Ивановича, и он упрекнул себя в том, что в первый раз только вспомнил о родителях, что до сих пор не поклонился даже их праху» (стр. 94). При сохранении некоторых гоголевских внешних, прежде всего — синтаксических приемов организации повествования (например, цепи присоединительных сочетаний предложений с союзами и анафорическими началами), весь этот отрывок поражает однообразием лексики и ее банально чувствительным подбором. Характерны также идейно направленные, с дидактико-иронической экспрессией, но маловыразительные и лишённые живых типических красок бытового многообразия разговоры крестьян — в «прибавках» Н. Ф. Ястржембского:

«Барин приказал угостить мужиков водкою и закускою. Пошла попойка и разговоры.

— А что, дядя Пахом, барин-то говорит красно?

— Ну, известно, что красно, ведь их только тому и учат.

— А что, бишь, он говорил, я стоял подальше и не расслышал?

— Ну, а бог его ведаёт, что он баял. Что-то похоже на то, как отец Афанасий в церкви бает. Вестимо, книжки: это не по нам» (стр. 95).

Таким образом, все разговоры мужиков за угощением являются лишь однотонной иллюстрацией той мысли, что «мужики слушали речь барина и ничего не понимали».

Что же касается разговоров баб, то и их направленность прямолинейна:

«Бабы тоже рассуждали: „Ишь какой он добренький, и в ноги-то кланяться не даёт. А уж молодец какой. И все говорит: «Полюбите меня, полюбите», да и посматривает на девок. Ишь ты какой, весь в покойника отца”». Ср. в повествовательном тексте Н. Ф. Ястржембского. «Деревенские красавицы, к которым Андрей Иванович обращался в речи своей с словами: полюбите меня, полюбили и страшно надоели» (стр. 95).

Сюда же относится ещё одно место в самом начале первой главы «Новых отрывков и вариантов» с ярко выраженным полонизмом в синтаксической конструкции:

«Что же делалось потом до самого ужина, право, уже и сказать трудно. Кажется, просто, ничего не делалось. Разве что подержалось на коленях смазливую Палашку или Авдотку, приходивших в спальню для уборки комнаты» (стр. 89).

Таким образом, идеологическая трансформация гоголевского текста производилась Н. Ф. Ястржембским, кроме исключения неподходящих образов и речевых отрезков, посредством насыщения как повествования, так и речей действующих лиц, главным образом, книжными, публицистически закреплёнными за необходимым кругом либеральных идей, стилистически однотипными фразами и выражениями. Лишь разговоры крестьян, совершенно единичные в тексте новых отрывков,



строятся путем имитации деревенски-народного слова, но с однотонной экспрессией. Экспрессивно-стилистическое многообразие гоголевского стиля всеми этими переделками и доделками заметно уменьшалось, а газетно-журнальная публицистическая струя усиливалась.

Однако Н. Ф. Ястржембский не ограничился одной примесью публицистических, отвлеченно-обличительных элементов. Он пытался в отдельных местах вплести в ткань гоголевского повествования комические сцены, юмористические образы и экспрессивно-разговорные выражения и тем самым усилить правдоподобие своих публицистических и дидактических вставок. Вот одна из вставок подобного рода:

«Заснул наш Чичиков уже на каком-то индюке. И грезился ему во сне Петр Петрович Петух, откормленным, огромным индюком, без перьев. И видел он, как повар поймал индюка, посадил живого на вертел и стал припекать, обливая горячим маслом. И странное дело, показалось еще, что Петр Петрович, в виде индюка, сидя на вертеле, приговаривал беспрестанно: „Поджарь, поджарь, припеки хорошенько!..“ Всю ночь грезились эти бредни Павлу Ивановичу» (стр. 116—117). Таким образом, в подделке Н. Ф. Ястржембского повествовательно-юмористическая струя должна была умерять и нейтрализовать отвлеченно-публицистическую.

Может быть, история с подделкой «новых отрывков и вариантов» второго тома «Мертвых душ» и не очень значительна, но она дает в высшей степени интересный историко-литературный и стилистический материал для обсуждения и освещения важных вопросов науки о языке художественной литературы.



## ГОГОЛЬ О БРЮЛЛОВЕ

Статья Гоголя «Последний день Помпеи» (Картина Брюллова), написанная им в августе 1834 года и опубликованная в начале следующего года во второй части сборника «Арабески», принадлежит к числу наиболее известных произведений русской художественной критики. Статья постоянно воспроизводится в собраниях сочинений писателя, нередко цитируется в работах по истории русской живописи.<sup>1</sup>

Однако поскольку картина Брюллова утратила в глазах потомства значительную долю того обаяния, которым она обладала для современников, восторженный отзыв о ней Гоголя вызывает недоумение многих его почитателей. Так при всем восхищении литературным творчеством Гоголя В. В. Стасов решительно расходился с ним в оценке Брюллова и обосновывал свои расхождения с Гоголем следующим образом: «Гоголь вообще мало разумел в искусстве, невзирая на всю свою гениальность, и в 40-х годах понимал Иванова едва ли еще не менее того, чем в 30-х годах — Брюллова...»<sup>2</sup>

Правда, в наши дни С. Н. Дурылин в статье «Н. В. Гоголь об искусстве» пытался оправдать позицию писателя в этом вопросе. «Все писавшие об этой статье Гоголя, — говорит он, — укоряли его за восторги перед Брюлловым и укоряли совершенно неверно, подходя к делу анти-исторически. Картина Брюллова имела огромный успех в России... Восторг Гоголя перед Брюлловым не единичное, а общее явление эпохи».<sup>3</sup> Действительно, восторг Гоголя разделяли многие его современники. Но с такой замечательной статьей никто, кроме Гоголя, не выступил. Сейчас нет необходимости оправдывать увлечение Гоголя Брюлловым. Важнее разобраться в том, что в его статье может быть отнесено за счет недолговечного увлечения, что сохранило ценность до наших дней.

Но прежде чем обратиться к выдающимся достоинствам этой статьи, нужно признать, что первый критический опыт молодого автора далек от совершенства. Статья этой не хватает прежде всего ясности построения, последовательности в развитии мыслей. Автор не избежал некоторых противоречий. Общее впечатление от нее портит привкус риторики. Действительно, такие напыщенные выражения, как «женщина дышит всем, что есть лучшего в мире», или «ее глаза светлые как звезды, ее

<sup>1</sup> Нельзя не отметить, однако, произвольных истолкований статьи Гоголя. Так, в «Истории русского искусства» (М. 1957, т. 1, стр. 407) утверждается, будто Гоголь считал «главным принципом композиции» этой картины «разделение действующих лиц на группы, объединенные общим содержанием». Между тем, в статье Гоголя речь идет совсем о другом, «о группе, остановившейся в минуту удара и выразившей тысячу разных чувств». Утверждение о «разделении действующих лиц на группы, объединенные общим содержанием» принадлежит не Гоголю, а авторам «Истории русского искусства» и мало подходит к картине (см. стр. 406 «каждая группа имеет свое содержание, вытекающее из общего содержания картины»).

<sup>2</sup> В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. II, СПб., 1894, отд. 4, стлб. 98.

<sup>3</sup> «Вопросы философии», 1952, № 3, стр. 71.

дышащая негою и «силою грудь обещают роскошь блаженства» или, наконец, «он силится схватить природу исполинскими объятиями и сжимает ее с страстью любовника» способны теперь охладить интерес ко всей статье в целом, хотя в действительности это не больше, чем особенности слога, которыми далеко не определяется все ее содержание.

Между тем, более существенно то, что статья Гоголя заключает в себе целую систему эстетических представлений и критических принципов. В ней сказался и скромный опыт его живописных упражнений в качестве вольнослушателя Академии художеств, и некоторые впечатления от классического и современного изобразительного искусства, приобретенные еще до поездки в Италию. Но, самое главное, в ней дают о себе знать те понятия об искусстве и о творчестве, которые складывались у писателя, по мере того как росло его собственное дарование. Всем этим небольшая статья Гоголя выгодно отличается от образцов чисто описательной критики живописи, которые начиная с 20-х годов начали появляться в русских журналах, вроде «Вестника Изящных Искусств», а также в литературных альманахах и газетах.<sup>4</sup>

Гоголь утверждал, что Брюллов своей картиной вывел русскую живопись из «долгого полулетаргического состояния». Не будет преувеличением сказать, что и сам он был воодушевлен задачей вывести своей статьей из оцепенения русскую художественную критику.

В статье Гоголя выпукло охарактеризованы основные мотивы картины Брюллова, хотя он не ставил себе задачей воссоздать ее сюжет и драматическое действие. Он стремился прежде всего разобрать ее художественную ткань, и для этого она подвергается обстоятельному и всестороннему рассмотрению.

Начинается статья с выяснения исторического места Брюллова путем противопоставления его как мастера большой картины современным ему «художникам частностей», их этюдного подхода к природе — композиционному дарованию. В заключительной части статьи Гоголь снова возвращается к вопросу о своеобразии Брюллова, на этот раз выясняя его путем противопоставления русского мастера великим мастерам Возрождения Рафаэлю и Микеланджело. В статье подробно говорится о первом, непосредственном впечатлении от картины и подчеркивается его определяющее значение для конечного суждения о ней. Вместе с тем это первое впечатление восполняется вдумчивым и внимательным рассмотрением и изучением картины. Гоголь анализирует как основной пафос замысла мастера, его идею, так и живописные средства выражения. Особо останавливается Гоголь на неповторимо индивидуальном стиле, на манере мастера, подкрепляя свою характеристику рассказом о том, как, впервые увидав холст, он тотчас же угадал в нем кисть Брюллова.

Небольшая заметка Гоголя в сущности охватывает совокупность всех тех вопросов, которые должны возникать перед художественным критиком, когда ему предстоит сказать свое слово об искусстве. При всей незрелости этого критического очерка Гоголя он обладает одним поистине драгоценным качеством: Гоголь анализирует произведение, рассматривает порознь отдельные его стороны, но при этом ни на мгновение не упускает из вида общего впечатления, как наглядного выражения художественной цельности искусства.

Молодой Гоголь неоднократно подчеркивал (и впоследствии Белинский следовал в этом за ним), что критику недостаточно одного понима-

<sup>4</sup> Такой описательный характер носит статья о картине Брюллова В В В, появившаяся в № 184 «Северной пчелы» от 17 августа 1834 года. «... Какое разнообразие, богатство лиц, положений, страстей», — вот, в сущности, всё, что замечено было критиком в картине Брюллова.

ния искусства. Он должен глубоко почувствовать свой предмет, проникнуться к нему восхищением.<sup>5</sup> Гоголь жаловался на то, что в современной журнальной критике «нигде не видит читатель, чтобы это было признаком чувства, признаком истины из глубины признательной, растроганной души». Его отталкивало, что слог современной критики, «несмотря на наружное, чисто вычурное и блестящее убранство, дышит мертвящею холодностью». Сам Гоголь в своей статье о картине Брюллова дает яркий пример страстной заинтересованности, убежденности. Статья кажется возникшей не столько под действием зрелых размышлений, сколько под действием мгновенно охватившего критика волнения, и потому она захватывает даже в том случае, если не убеждают все ее доводы.

Картина Брюллова очаровала Гоголя. Ему показалось, что в ней открылся огромный мир дотоле неведомых возможностей живописи, отвечавших его собственным эстетическим влечениям. П. Анненков первым обратил внимание на эту общность идеалов Гоголя и Брюллова. «Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. „Последний день Помпеи“ Брюллова привел его, как и следовало ожидать, в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца».<sup>6</sup> К этому нужно прибавить, что еще современники замечали в произведениях Гоголя, в частности в его повести «Рим», черты, которые роднят их с живописью Брюллова.<sup>7</sup> Впрочем, эти сближения не дают оснований объяснить восторг Гоголя перед картиной Брюллова только чисто субъективными причинами, т. е. готовностью видеть в Брюллове своего собственного двойника.

Для обращения Гоголя к картине Брюллова имелись более глубокие основания. Критика Гоголя не ограничивается рассмотрением существующих явлений искусства, но вместе с тем ставит своей задачей защиту и утверждение определенных художественных ценностей, сливаясь с самим художественным творчеством. В своей статье Гоголь описывал и разбирал картину, неизменно соотнося свои наблюдения с тем, чего он ожидал и желал как «светлого воскресения» искусства. Речь идет в ней не только о том, что он постигал умом и переживал чувством, но и о том, чего он жаждал всей душой. Недаром ряд утверждений статьи Гоголя о Брюллове совпадает с другими его высказываниями, сделанными по другим поводам. Эти совпадения приобретают особо многозначительный смысл, так как касаются самого дорогого для Гоголя — представления о художнике. Гоголь пришел к убеждению, что своей картиной «Последний день Помпеи» Брюллов совершил в русской живописи то, что в русской поэзии совершил Пушкин, — эта прямо не выказанная мысль является лейтмотивом его статьи.

Гоголь несколько раз возвращался к мысли о Пушкине, как о всеобъемлющем гении. «Что было предметом его поэзии? Все стало его предметом. . .» или в другом месте: «Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов», «все предмет его». Эти высказывания относятся к более позднему времени, но, видимо, это представление о Пушкине сложилось

<sup>5</sup> В. П. Шенрок (Гоголь и пенсионеры Санкт-Петербургской Академии, «Артист» 1894, № 43, стр. 63) утверждал, что Гоголь «чувствовал потребность в передаче не столько каких-нибудь оригинальных, выработанных им взглядов, сколько собственного настроения, собственных пылких восторгов, которые и стремился излить на бумагу при помощи сильно приподнятого слога». С таким утверждением нельзя согласиться.

<sup>6</sup> В. В. Гиппиус. Гоголь в письмах и воспоминаниях. Изд. «Федерация», М. 1931, стр. 77—78.

<sup>7</sup> Там же, стр. 224.

у Гоголя еще раньше. В своей характеристике картины Брюллова Гоголь пользуется почти теми же определениями. Картина «захватила в область свою столько разнородного, сколько до него никто не захватывал».<sup>8</sup> Брюллов «силится обхватить все предметы, на всех разлить могучую печать своего таланта». По мнению Гоголя, эта всеобъемлемость отличает Брюллова от большинства мастеров конца XVIII — начала XIX веков, которые сосредоточили внимание на «атомах и частях», на «отрывах», на «мелочах, которыми пренебрегали великие художники».

Второй не менее важный момент — сила пластического выражения. Пушкин избежал той отвлеченной идеальности, к которой тяготел Жуковский. Сходным образом и у Брюллова нет «перевеса идеальности отвлеченной». Пушкин, по определению Гоголя, создает «ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки». С другой стороны, у Брюллова Гоголь находит ту скульптуру, «которая была постигнута в таком пластическом совершенстве древними». У Пушкина «все округлено, окончено и замкнуто». «Брюллов первый из живописцев, у которого пластика достигла верховного совершенства». Характерно, что в своем описании пластического дара Пушкина, Гоголь словно намекает на живописные образы Брюллова: «ослепительные плечи или белые руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные грозди винограда» (совсем как в незадолго до того появившейся в Петербурге картине Брюллова «Полдень»). «Яркость и ослепительная смелость», — говорит Гоголь о мелких стихотворениях Пушкина. «... На всем у него разлита необыкновенная яркость, — говорит он о Брюллове, — ... он схватил молнию и бросил ее целым потоком на свою картину».

Но главное, что сближает, по характеристикам Гоголя, поэта и художника — это высокий артистизм их мировосприятия. Пушкин, по словам Гоголя, «заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: „Смотрите, как прекрасно творение Бога!“» «... У Брюллова, — по определению Гоголя, — является человек для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы». Самая тема картины Брюллова — «сильный кризис», «ужас всеобщего поражения» не подавляет человека. Наоборот, «страсти, чувства, верные, огненные выражаются на таком прекрасном облике, в таком прекрасном человеке, что наслаждаешься до упоения». Гоголь прямо цитирует пушкинских строк, но в сущности он близок к лейтмотиву «Пира во время чумы»:

«Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю,  
...  
Всё, всё, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья...»<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Эту мысль впоследствии повторяет художник М. Железнов (Значение К. П. Брюллова в искусстве. «Отечественные записки», 1856, № 7, стр. 109—120).

<sup>9</sup> В последнее время делались попытки связать сюжет «Последнего дня Помпеи» с восстанием декабристов. В «Истории русского искусства» (стр. 405) утверждается более осторожно, что «замысел картины возник как своеобразное выражение тех передовых гуманистических идей и чувств, которые воплотились в восстании декабристов и в последующих событиях». За отсутствием реальных доводов в пользу такого толкования приходится ограничиться фактом, что в 1824 году Брюллов отказался писать «патронов» царствующего дома.

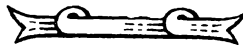
В этой связи следует вспомнить о том, что в литературоведении одно время была распространена теория, согласно которой и «Медный всадник» Пушкина является зашифрованным изображением декабрьского восстания. Как в первом, так и во втором

Уверенность в том, что Пушкин и Брюллов явления одного порядка, не исключала того, что Гоголь замечал между ними существенные расхождения. В Пушкине он с самого начала угадал художника, глубоко национального не только по характеру предметов его поэзии, но и по его взгляду на мир. Поэзия Пушкина дала повод Гоголю определить свое понимание народности в искусстве. В картине Брюллова Гоголь не находил черт народности, выраженных настолько ясно, чтобы на них следовало останавливаться.

Вместе с тем Гоголь уделяет много внимания чисто живописным особенностям искусства Брюллова, которые не находят себе, да и не могут найти параллели в поэзии Пушкина. Он говорит о том, что художник старался заметить и подметил в природе, т. е. подходит к вопросу о сущности живописного видения. Говорит он и о взаимоотношении в картине человеческой фигуры и воздушной среды, об эффектах освещения. Наконец касается одной особенности живописного произведения, без которой самое верное изображение лишается поэтического очарования: он говорит о «тайной музыке в предметах обыкновенных, бесчувственных». Всего этого он касается лишь бегло, мимоходом. Но этого достаточно, чтобы утверждать, что Гоголь избежал той «литературщины», которой грешат многие писатели в своих суждениях об изобразительном искусстве.

Белинский называл «Арабески» Гоголя детскими мечтаниями.<sup>10</sup> Но тот же Белинский признавал Гоголя «мыслителем-эстетиком, глубоко постигающим законы искусства».<sup>11</sup> Его критическое дарование сказало уже в статье о «Последнем дне Помпеи». Для нас не подлежит сомнению, что в картине Брюллова Гоголь заметил только то, что роднило ее с чистой поэзией Пушкина, но прошел мимо черт родства с фальшивой риторикой Бенедиктова.

Впоследствии Гоголь не возвращался к картине Брюллова. Он высоко ценил его мастерство портретиста,<sup>12</sup> но о самом художнике, об его образе жизни отзывался иронически.<sup>13</sup> Нельзя не признать, что пророчество Гоголя насчет всемирного значения «Помпеи» не сбылось. И все же его статья должна быть признана образцом художественной критики и поставлена в один ряд с лучшими описаниями произведений изобразительного искусства у Дидро, Винкельмана и Гёте.



случае ошибочна попытка «подгонять» художественное произведение со всем богатством и сложностью его содержания под мерку прямого или зашифрованного отображения современного события.

<sup>10</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 307.

<sup>11</sup> Там же, т. VI, 1955, стр. 663.

<sup>12</sup> К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. Изд. Академии художеств СССР, М., 1952, стр. 211—212.

<sup>13</sup> Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. XI, Изд. АН СССР, 1953, стр. 148.

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Г. МАКОГОНЕНКО

## НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О Д. И. ФОНВИЗИНЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ ЕГО СОЧИНЕНИЯ

Современники узнали Д. И. Фонвизина прежде всего как плодovitого переводчика. В 1761 году в Москве вышла книга избранных басен Гольберга. На титульном листе было указано — «Перевел Денис Фонвизин». В последующем — в 1765 и 1787 годах — вышли второе и третье дополненное и исправленное издание басен. В 1762 году в университетском журнале «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствий» молодой писатель опубликовал еще четыре перевода небольших статей.

С 1762 года начал выходить роман «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского»; в 1766 году публика познакомилась с новым переводом Фонвизина — «Торгующее дворянство».

В 1769 году вышло два перевода Фонвизина, но уже без упоминания имени переводчика — «Сидней и Силли, или Благоеяние и благодарность» и «„Иосиф“ в 9-ти песнях», сочинения г. Битобе. В 1762 году Фонвизин перевел, но не издал трагедию Вольтера «Альзира», которая широко распространилась в Петербурге в списках. В 1764 году на сцене придворного театра с успехом шла фонвизинская комедия «Корион» (переделка комедии Грессе «Сидней»). Комедия не была издана. Как свидетельствует Новиков, читатели знали, что переводчиком и этих произведений был Фонвизин («перевел в стихи Волтерову трагедию Алзиру; переложил по свойству наших нравов, Грессетово сочинение *Сидней* стихами ж... *Поему Иосиф* перевел прозою... перевел... Сиднея и Силли»)<sup>1</sup>

В 1777 году, без указания имени Фонвизина, вышел его перевод «Похвального слова Марку Аврелию».

Первые оригинальные произведения Фонвизина долго не попадали в печать или публиковались анонимно. К началу 60-х годов относятся два сатирических стихотворения — «Лисица-казнодей» и «Послание слугам моим». «Послание» напечатано впервые только в 1770 году в журнале «Пустомеля». Издатель сопроводил сатиру следующим извещением: «Кажется, что нет нужды читателя моего уведомлять о имени автора сего послания, перо, писавшее сие, российскому ученому свету и всем любящим словесные науки, довольно известно. Многие письменные сего автора сочинения носятся по многим рукам, читаются с превеликим удовольствием... если обстоятельство автору сему позволят упражняться во словесных науках, то небезосновательно и справедливо многие ожидают увидеть в нем российского Боало. Его комедия\*\*\* столько по справедливости разумными и знающими людьми была похваляема, что лучшего и Молиер во Франции своим комедиям не видал принятия и не желал...»<sup>2</sup>

Комедия, помеченная тремя звездочками — это «Бригадир». Игралась она с успехом в течение нескольких десятилетий, но издана она была только в 80-е годы, да и к тому же без указания имени автора. Это обстоятельство привело к тому, что не сохранилось даже документальных известий о времени написания «Бригадира». Только недавно П. Н. Берков выдвинул убедительные аргументы, позволившие датировать комедию 1769 годом.<sup>3</sup>

Так складывалась несколько необычная репутация писателя — широкой публике он был известен как автор многих переводов, узкому кругу читателей — как автор «Бригадира» и острых, сатирических «письменных» (то есть рукописных) сочинений.

В 80-е годы Фонвизин работал много и плодотворно в самых различных жанрах. В журнале «Собеседник любителей русского слова» (1783) он печатает семь

<sup>1</sup> Н. Новиков. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772, стр. 230—231.

<sup>2</sup> «Пустомеля», ежемесячное сочинение 1770 года, месяц июль.

<sup>3</sup> П. Н. Берков. К хронологии произведений Фонвизина. II. «Бригадир». «Научный бюллетень ЛГУ», 1946, № 13, стр. 33—36.

сатирических прозаических произведений — и все анонимно. В 1784 году на французском языке появилось «Жизнеописание Н. И. Панина». Русский текст «Сокращенного описания жития графа Никиты Ивановича Панина» напечатан в 1786 году в журнале Ф. Туманского «Зеркало света» (№ 4). В последующие годы вышло несколько изданий «Жизни графа Никиты Ивановича Панина». Во всех случаях имя автора было скрыто. В публике в это десятилетие начали появляться новые «письменные» сочинения Фонвизина (разумеется, анонимные). Среди них наибольшую известность получит «Всеобщая придворная грамматика». В 1787 году в журнале «Распускающийся цветок», издававшемся в университетской типографии у Н. Новикова, напечатано одно из «письменных» и широко известных публике произведений Фонвизина басня «Лисица-казнодей». Басня, напечатанная анонимно, сопровождалась следующим примечанием: «Издатели „Распускающегося цветка“ изъявляют сим признательность свою к славному стихотворцу, известному свету многими своими громкими сочинениями, который доставил им сию басню для поощрения их к дальнейшему получению вкуса в свободных науках».<sup>4</sup>

«Громкими сочинениями, известными свету», конечно, были комедии Фонвизина «Бригадир» и, особенно, «Недоросль». Известность эта была такова, что когда в следующем году Фонвизин решил издавать собственный сатирический журнал, он назвал его именем центрального героя «Недоросля» Стародума («Друг честных людей, или Стародум»), а себя, издателя — «Сочинителем комедии „Недоросль“».

К середине 80-х годов сложилось, как видим, довольно определенное читательское представление о Фонвизине. Фонвизин — это *драматург*, «сочинитель» «Бригадира» и «Недоросля», *поэт* — автор сатирических стихотворений «Лисица-казнодей» и «Послание слугам моим» и, наконец, *переводчик* нескольких нравоучительных или сентиментальных произведений. Подобное представление далеко неполно характеризовало работу Фонвизина-писателя, его вклад в русскую литературу и его роль в развитии русской общественно-политической мысли. Происходило это потому, что одни очень важные произведения не попали к читателю по цензурным обстоятельствам, другие — еще только готовились к печати, третьи — широко известные читателю, вследствие их анонимности не связывались с именем Фонвизина. В итоге читатель XVIII века довольно смутно представлял себе Фонвизина как политического писателя, совершенно неясна была его работа в области прозы. Могло ли удовлетворить самого Фонвизина положение, созданное «попечением» правительства, при котором он не имел возможности сообщать читателю все, им написанное, и разговаривать с ним от своего имени? «Недоросль» принес писателю широкую известность и авторитет. Авторитет имел огромное практическое значение — он бесконечно увеличивал силу писательского воздействия на общественное мнение. Ведь именно потому Фонвизин и предупреждал публику, что «надзирать за изданием нового журнала „Друг честных людей, или Стародум“» будет сочинитель Недоросля, к мнениям которого публика относилась с доверием, уважением и вниманием. Как же было в этих условиях пробиться к читателю? Проведенные разыскания свидетельствуют, что Фонвизин в 1788 решил собрать все ранее написанное и разом издать в виде полного собрания сочинений под своим именем.

Сразу же после запрещения полицией журнала «Друг честных людей, или Стародум» Фонвизин и стал готовить Полное собрание своих сочинений. В «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось извещение: «В Суконой линии, в лавке № 16 раздается безденежно объявление о издании полного собрания сочинений и переводов Дениса Ивановича Фонвизина».<sup>5</sup> В №№ 44 и 45 это извещение повторилось. В № 47 сообщалось, что в той же лавке № 16 «принимается подписка на полное собрание сочинений и переводов Дениса Ивановича Фонвизина». В последний раз объявление о подписке было напечатано в № 49 от 20 июня. Но выпустить полное собрание Фонвизину не удалось. Видимо, перед тем как приступить к печатанию уже подготовленных томов, их пришлось представить в Управу благочиния, которая и запретила издание, как перед этим запретила журнал «Друг честных людей, или Стародум».

Несомненно, действия полиции направлялись свыше. Фонвизину разрешали переиздавать старые переводы нравоучительных и сентиментальных сочинений (в 1787 году вышло третье издание басен Гольберга, новое издание поэмы «Иосиф», в 1788 году — второе издание «Сиднея и Силли»), и уже известные публике комедии «Бригадир» и «Недоросль». Новые же произведения Фонвизина и прежде всего сатирические и политические, подвергались гонениям. Писатель после «Недоросля» работал много и активно. Именно в это время им была широко развернута борьба с Екатериной, ее политикой и двором. Оттого все новые произведения и запреща-

<sup>4</sup> «Распускающийся цветок или собрание разных сочинений и переводов, издаваемых питомцами учрежденного при Моск. ун-те Вольного благородного пансиона», М., 1787, стр. 67.

<sup>5</sup> «Санкт-Петербургские ведомости», 1788, № 42, 26 мая.



лись. Писатель не мог прорваться к читателю, в глазах которого он по-прежнему оставался автором «Бригадира» и «Недоросля». Екагерининское преследование русских просветителей началось с запрещения печататься Фонвизину.

Несмотря на гонения, на запрещение журнала и Полного собрания сочинений, Фонвизин не оставлял надежду опубликовать важные, по его мнению, произведения под своим именем. Он устанавливает связи с молодым писателем, издателем и переводчиком Петром Ивановичем Богдановичем. «Иждивением» Богдановича в 1787 и 1792 годах переиздана брошюра Фонвизина «Жизнь графа Н. И. Панина». Для понимания общественной позиции Богдановича характерна не только связь с опальным Фонвизиным, но и интерес его к Радищеву. Весной 1790 года Богданович, узнав о преследовании Радищева за «Путешествие из Петербурга в Москву», пытается достать «пагубную» книгу и в лавке купца Г. Зотова, где она продавалась, и в доме Радищева, где она печаталась. Книгу Радищева достать, очевидно, не удалось, а перепечатать ее и вовсе не представлялось возможным. Зато в следующем году он приступит к изданию Полного собрания сочинений Фонвизина. Дело, видимо, шло до самого последнего момента успешно. К такому выводу можно прийти на основании сообщения самого Богдановича. В брошюре «Жизнь графа Н. И. Панина», выпущенной в 1792 году, была приложена «Роспись книгам, продающимся, также печатанным и печатающимся в Санкт-Петербурге по Невской перспективе у Аничкова моста в доме графа Д. А. Зубова». В «Росписи» в числе других книг названо и «Полное собрание сочинений и переводов Д. И. Фонвизина в 5-ти частях». Даже указывалась цена — 6 рублей.<sup>6</sup> Просмотр газетных объявлений о поступивших в книжные лавки изданиях убеждает, что 5 томов фонвизинского собрания не вышли из типографин.

Вновь Полное собрание сочинений не поступило в продажу, не попало к читателю. Если в 1788 году непреодоленные трудности не позволили Фонвизину осуществить свой замысел, то в 1792 году, когда свирепствовала реакция, когда Екатерина не просто запрещала книги, но и арестовывала писателей (Радищев был уже в Сибири, Новиков — в Шлиссельбургской крепости), нечего было и думать о выпуске в свет Полного собрания сатирических и политических сочинений, направленных против императрицы. У русских просветителей была общая судьба. Вот почему более чем справедливы слова Пушкина о том, что и Фонвизина ждала участь Новикова и Радищева. «...Новиков, распространивший первые лучи его (просвещения.— Г. М.) перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее (Екатерины.— Г. М.) смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами, и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность».<sup>7</sup>

Понимая, что при жизни ему уже не издать своего собрания сочинений, смертельно больной Фонвизин передает все рукописи Петру Богдановичу, чтобы тот издал их при первой возможности. В ближайшие годы после смерти писателя напечатать его сочинения не удалось. В 1796 году подвергся преследованию и сам Богданович. Его высылают из Петербурга в Полтаву. Из письма Богдановича обер-прокурору сената А. Б. Куракину от 1 июня 1797 мы узнаем, что рукописи Фонвизина остались у него на руках («Денис Фонвизин, хранивший по смерти свою ко мне дружбу, оставил для издания мне все свои творения и переводы»)<sup>8</sup> Дальнейшая судьба подготовленного самим Фонвизиным собрания сочинений и всех переданных Богдановичу рукописей — неизвестна. Последующие издания выходили на основе использования печатных текстов и рукописей, полученных от родственников Фонвизина. Предпринятые поиски увезенных Богдановичем рукописей не увенчались успехом.

Но пока в наших руках нет этих рукописей, нельзя ли узнать хотя бы последнюю волю автора — что он хотел сам включить в свое полное собрание сочинений? Первый вывод уже можно сделать на основании газетных объявлений о подписке и объявления в «Росписи» 1792 года. Они свидетельствуют, что Фонвизин считал обязательным включение в Полное собрание не только оригинальных, но и переводных произведений. Таким образом, состав и титул издания были определены автором как «Полное собрание сочинений и переводов». Какие же произведения включил он сам в свое первое собрание сочинений?

В газетном извещении сообщалось, что всем желающим «безденежно» выдава-

<sup>6</sup> На извещение о полном собрании сочинений и переводов Фонвизина в «Росписи» и отношении П. Богдановича к этому изданию впервые обратил внимание Л. Б. Светлов. (См. его статью: А. Н. Радищев и политические процессы конца XVIII века в сб. «Из истории русской философии XVIII—XIX вв.». Изд. Московского университета, 1952).

<sup>7</sup> А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VIII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 125.

<sup>8</sup> ЦГАДА, Гос. архив, р. 7, д. 2894, л. 59.

лось объявление об издании Полного собрания сочинений и переводов, то есть проспект. Где же этот проспект? В комплектах «Санкт-Петербургских ведомостей», хранящихся в Ленинградской Государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, такого объявления не оказалось. Не было его и среди собраний летучих изданий XVIII века. К счастью, объявление сохранилось в одном комплекте «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1788 год, хранящемся в Библиотеке Академии наук в Ленинграде. Вот его содержание:

«Объявление о издании новых книг в течение сего 1788 года и о подписке на оные в Санкт-Петербурге, в Суконой линии, в лавке под № 16... Полное собрание сочинений и переводов Дениса Ивановича Фонвизина, состоящее в 5-ти томах и заключающее в себе следующие отделения: „Недоросль“, „Бригадир“, „Корион“, „Иосиф в 9-ти песнях“, „Сидней“, „Слово похвальное Марку Аврелию“, „О национальном любочестии“, „Та-Гио“, „Избранные Гольберговы басни“, „Глухой и немой“, „Слово на выздоровление его императорского высочества“, „Каллисфен“, „Лисица-казнодей“, „Послание к Шумилову“, „Записки первого путешествия“, „Поучение в Духов день“, „Примечание на критику“, „Челобитная Российской Минерве“, разные письма и проч., на любск. бумаге 5 рублей, на александрийской 8 р.»

Трудно переоценить значение этого печатного извещения. Прежде всего, оно свидетельство нового, ранее нам неизвестного, общественного выступления Фонвизина. Через печать писатель объявил о принадлежности ему многих политических (оригинальных и переводных) сочинений: «Слово на выздоровление Павла», «Слово похвальное Марку Аврелию», «О национальном любочестии», «Та-Гио», а также сатирических произведений, напечатанных без подписи в официальном журнале «Собеседник любителей российского слова» («Глухой и немой», «Поучение в Духов день», «Челобитная Российской Минерве» и др.), и повести «Каллисфен». Несмотря на то, что Полное собрание сочинений не вышло, это объявление сделало свое дело: читатели узнали Фонвизина с новой стороны — как политического писателя и сатирика-прозаика. Отсутствие в объявлении «Жизни графа Н. И. Панина» объясняется очевидно тем, что политические обстоятельства еще не позволяли признать авторство. Вот почему конец мая — начало июня 1788 года, когда писатель-сатирик пытался издать сатирический журнал «Друг честных людей, или Стародум» и Полное собрание своих сочинений — важная веха в биографии Фонвизина.

Проспект содержит множество важнейших событий. Прежде всего, мы узнаем, что Фонвизину принадлежит несколько очень важных и талантливых произведений. Что же это за произведения?

«Глухой и немой» — яркая сатирическая повесть, напечатанная под названием «Повествование мнимого глухого и немого» в «Собеседнике любителей российского слова» (1783, ч. IV и VII). На принадлежность ее Фонвизину указал первым С. Н. Глинка.<sup>9</sup> Н. С. Тихонравов обратил внимание на свидетельство С. Н. Глинки и включил отрывок «Повествования» в число приписываемых Фонвизину сочинений (правда, при этом был опубликован текст, появившийся в IV части «Собеседника» и по недосмотру пропущено продолжение повести, появившееся в VII части журнала).<sup>10</sup> В. Якушкин в рецензии на «Материалы» высказал мнение, что «Повествование мнимого глухого и немого» принадлежит Фонвизину.<sup>11</sup> Несмотря на это ни в одно собрание сочинений «Повествование» не входило, ни один исследователь не рассматривал его. В своей книге «А. Н. Радищев и его время» я, на основании анализа стиля «Повествования», высказал мнение о принадлежности его Фонвизину.<sup>12</sup> Ныне вопрос о принадлежности «Повествования мнимого глухого и немого» Фонвизину решен окончательно.

«О национальном любочестии». Подлинное название «Рассуждение о национальном любочестии из сочинений г. Циммермана». Книга без указания имени переводчика вышла в 1785 году в Петербурге. Как показало сравнение с оригиналом, Фонвизин перевел только последнюю главу сочинений Циммермана. Перевод довольно точный. И в то же время это произведение, отмеченное печатью фонвизинского дарования, должно занять важное место в его творческом наследии. Отношение Фонвизина к переводам политических сочинений было своеобразным, и это надо иметь в виду. Решающую роль играл выбор. Фонвизин выбирал то, что совпадало с его убеждениями, что он хотел сказать русским читателям от собственного имени. Оттого мысли А. Тома, выраженные им в «Похвальном слове Марку Аврелию», — в то же время и мысли Фонвизина, взгляды Циммермана — взгляды и его перевод-

<sup>9</sup> «Русский вестник в пользу семейственного воспитания», кн. 2, 1816, т. 33, стр. 64.

<sup>10</sup> Материалы для полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина, СПб., 1894.

<sup>11</sup> «Русские ведомости», 1894, 5 декабря, № 336.

<sup>12</sup> В той же книге я ошибочно приписал Фонвизину сочинение «Петр Великий», опубликованное в «Собеседнике любителей российского слова» (в VII части за 1783 год).

чика. Во-вторых, чисто фонвизинскими такие переводы делает их стиль. Политические сочинения Фонвизин переводил особым, им выработанным высоким стилем, имитирующим торжественную, патетическую, напряженно-взволнованную ораторскую речь. Важную роль в развитии национальной литературы, в успешном воспитании «истинных отечестволюбцев» и обогащении «российского слова», по мысли Фонвизина, играет красноречие. Условием расцвета красноречия являются «народные собрания». Писатель был уверен, что «российское витийство» «приобрело бы огромную силу», «если б имели мы где рассуждать о законах и податях и где судить поведение министров, государственным рулем управляющих». Вот почему, сохраняя мысль оригинала, Фонвизин воплощал ее в индивидуально-неповторимом стиле создаваемого им «российского витийства».

«Рассуждение о национальном любочестии» — произведение огромной эмоциональной силы. В книге дано изложение нравственного кодекса патриота и гражданина, просветительское понимание человека как деятеля, борца, бесстрашно выступающего против власти, с восторгом готового умереть за вольность своего отечества.

Свой идеал человека Фонвизин выразил в формуле — «честный человек». Таким честным человеком был Стародум, герой «Недоросля». После смерти Н. И. Панина Фонвизин написал биографию последнего, в которой, превознося гражданские добродетели всем известного исторического деятеля, назвал его — «честным человеком».

В «Рассуждении» Фонвизин подробно показывает, что нужно делать, для того чтобы воспитывать таких честных людей. Прежде всего, говорит он, необходимо внушать человеку с детства «почитание к самому себе», чувство собственного достоинства, веру в свои силы, в возможность противостоять злу и насилию. «Упование на свои способности есть всегда мысль, возвышающая сердце, без которой человек ничего знаменитого не предпримет, лишенный сего упования мужественный повергается в уныние и недействие». Нельзя мириться с проповедью слабости и ничтожности человека. «От сего весьма низкого о себе мнения становится человек рабом другого».

«Сильной опорой» человеку во всех испытаниях жизни является «одно справедливое почитание к самому себе». Вера в свои силы поможет понять, что угнетающие его люди ничтожны, что им можно сопротивляться: «Пусть человек спросит себя в несчастье, кто его повсюду утешает, кто его явно презирает, клеветает и безобразит. По большей части — неведьмы и ослы». Уверенность в своей правоте рождает «надежду на счастье» избавиться от утеснителей. Это чувство «спасает человека в опасности, возвышает его сердце и уменьшает ту робость, которую стесненная в самой себе душа ощущает, когда, наполняясь великим предприятием, взирает на опасность». «Благородное почитание самого себя дает действительно нам силу возвышаться над человеческими слабостями, устремлять способности наши к похвальным предприятиям, никогда духу рабства не давать места».

Нравственный кодекс «честного человека» складывается не только под влиянием воспитания, но успешнее и стремительнее в делах, в практической деятельности на благо отечества «Любовь к отечеству — сладчайшее народов чувствие». Но любовь к родине связана со свободой; только у свободного человека, и потому полнее всего в республике, патриотическая любовь сможет найги свое выражение в мужественных делах. «За отечество и свободу — любимые слова того народа, который не в оковах». Участие в сражениях за отечество и свободу поднимает человека к высокой нравственной жизни; жизнь таких патриотов заслуживает глубокого общественного уважения.

«Крепкие в страданиях, бесчувственные к собственным своим бедствиям, и тем усерднейшие ко всеобщему блаженству, ничего другого они не желали, кроме пользы отечества, честь его предпочитали чести своих предков, всеобщее же благо частному; они считали себя довольно благополучными и почтенными, когда республика была почтенна и благополучна. Всякие свои соперничества и вражды оставляли они в стороне, и буде выгоды отечества того требовали, способствовали они к славе своих противников. Оскорбленные отечеством, забывали они огорчающее неправосудие и пеклись о нем в страданиях от него претерпеваемых».

То обстоятельство, что «Рассуждение о национальном любочестии» вышло в 1785 году, существенно дополняет наше представление о политической деятельности Фонвизина после издания «Недоросля», о силе его влияния на общество.

«Та-Гю, или великая наука, заключающая в себе высокую китайскую философию». До сих пор у нас не было документальных свидетельств о принадлежности перевода Фонвизину, хотя в 1801 году он был опубликован в журнале «Правдолюбец», даже с указанием имени автора. Но свидетельство «Правдолюбца» не казалось авторитетным, и ни один исследователь творчества Фонвизина не рассматривал этого произведения. Теперь мы знаем точно, что перевод принадлежит Фонвизину. Более того, удалось установить, что «Та-Гю» Фонвизин опубликовал при жизни и, как обычно, анонимно. («Академические известия», 1779 год, вторая часть). Перевод делался с французского текста, подготовленного аббатом Жибо

и напечатанного в составе многотомного издания «Mémoires concernant l'histoire les sciences, les arts, les moeurs, les usages, etc. des Chinois. Par les Missionnaires de Pekin». Видимо, во время пребывания во Франции Фонвизин купил эту книгу и по возвращении в Россию перевел ее. Установление факта выхода «Та-Гио» в 1779 году для нас очень важно. Теперь ясно, что высказанное в научной литературе мнение, будто во второй половине 70-х годов, после подавления Пугачевского восстания, Фонвизин умолкает и отходит от общественно-политической деятельности несправедливо. В действительности, именно в эти годы Фонвизин был чрезвычайно активен. В 1777 году он издал перевод «Похвального слова Марку Аврелию», в 1777—1778 году писал письма из Франции, наполненные оценками политического положения империи, в 1779 году — перевел и издал «Та-Гио».

«Та-Гио» — яркое политическое сочинение. В нем Фонвизин высказал тот же круг идей, что и в «Рассуждении о непременных государственных законах», сочинении, которое вынужден был держать в тайне. В рассматриваемом произведении мы встречаем знакомые фонвизинские мысли: «Нет никакой разности между государем и последним подданным», «Любовь подданных дает скиптры и короны. Их ненависть исторгает оные и преломляет», «Добродетель есть непоколебимое основание престола», «Умножь число граждан полезных, коих попечительные промыслы созидали бы и произвели богатства, уменьши число жителей ленивых, коих опасное тунеядство усугубляет иждивение и расточение» и т. д.

Включение в состав Полного собрания своих сочинений и переводов таких политических трактатов, как «Рассуждение о национальном лобочестии» и «Та-Гио», стремление издать свои сочинения в 1792 году позволяет нам решительно отвергнуть настойчиво пропагандируемую некоторыми исследователями мысль, что под конец жизни Фонвизин отказался от борьбы с Екатериной, поправел, попал под влияние «покаянно-мистических настроений».<sup>13</sup>

Чрезвычайно важно указание Фонвизина о включении в собрание «Записок первого путешествия». Нам известны письма из первого путешествия, то есть из Франции, написанные П. И. Панину и сестре. Письма не носили частного характера — то были путевые очерки, тщательно отделанные картины французской жизни, характеристики политического режима французской империи и идейной жизни Парижа накануне революции. Давно уже высказывалось предположение, что подобные письма предназначены были не одному только адресату, что с ними знакомилась довольно широкий круг читателей, близких к Панину и сестре писателя. Теперь мы знаем о намерении Фонвизина напечатать свои письма из Франции. Несомненно, что в основу «Записок» были бы положены письма, и письма к П. И. Панину прежде всего. Приготовляя их к печати, превращая их в «Записки», Фонвизин, наверное, кое-что в них изменил бы — устранил личные обращения, снял некоторые подробности биографического характера и т. д. К письмам из Франции мы обязаны относиться как к художественному произведению, предназначавшемуся для печати. Тем самым наше представление о Фонвизине-прозаике становится куда более богатым, чем оно было до сих пор. Фонвизин-прозаик — это автор писем из Франции, «Повествования мнимого глухого и немого», повести «Каллисфен», «Чистосердечных признаний в делах моих и помышлениях», ряда сатирических произведений в журналах «Друг честных людей» и «Собеседник любителей российского слова».

Наконец, объявленный Фонвизиним проспект своего Полного собрания сочинений помогает решить еще одну спорную в науке проблему: кому принадлежат «Письма к Фалалею», впервые напечатанные в 1772 году в «Живописце» — Новикову или Фонвизину? Выдвинутая в свое время версия, что автором «Писем к Фалалею» является Фонвизин, получила в 30—40-е годы довольно широкое распространение.

Принадлежат ли «Письма к Фалалею» Фонвизину? Изучение проспекта Полного собрания сочинений Фонвизина позволяет дать отрицательный ответ. К 1788 году «Письма к Фалалею», уже трижды изданные, были популярны в публике. Если бы они принадлежали автору «Недоросля», он несомненно назвал бы их в проспекте своим сочинением, как назвал «Лисицу-казнодея», «Послание слугам моим», как счел нужным уведомить читателя, что однажды опубликованное «Повествование мнимого глухого и немого» и повесть «Каллисфен» принадлежат ему. Фонвизин этого не сделал только потому, что он не писал «Писем к Фалалею».

Итак, Полное собрание сочинений Фонвизину издать не удалось. Рукописи были увезены Богдановичем в Полтаву. Проспект издания оказался утраченным. Долгое время переиздавались лишь две комедии — «Бригадир» и «Недоросль». Некоторые сатирические произведения Фонвизина стали распространяться в списках. В различных архивах и рукописных отделах библиотек страны сохранились списки «Придворной грамматики», «Письма надворного советника Взяткина», «Рассуждения

<sup>13</sup> См., например, книгу К. В. Пигарева «Творчество Фонвизина». Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 248: «Но, как и Новиков, Фонвизин-сатирик не устоял до конца в борьбе с самодержавием и крепостничеством. Запрещение „Друга честных людей“ сломило его силы писателя-борца и побудило сложить оружие».

о непременных государственных законах», писем П. И. Панину из Парижа. В рукописном отделе Института русской литературы Академии наук в Ленинграде хранится отличная писарская копия «Писем к генерал-аншефу графу Петру Ивановичу Панину от канцелярии советника Фонвизина».<sup>14</sup> Копия сделана, видимо, в конце 800-х годов (бумага с водяными знаками 1804).

В 1798 году «Санкт-Петербургский журнал» познакомил читателя с началом «Чистосердечного признания в делах моих и помышлениях» (воспоминания оканчивались рассказом о том, как Фонвизин читал «Бригадира» Екатерине). Там же были напечатаны два письма П. И. Панину из Франции. В 1806 году в «Вестнике Европы» эти два письма перепечатаны с дополнением еще четырех писем Панину. В 1801 году в «Правдолюбце» появились за подписью Фонвизина «Каллисфен» и «Та-Гио». В дальнейшем в ряде журналов стали появляться новые произведения Фонвизина. В 1830 году вышло первое авторитетное собрание сочинений Д. И. Фонвизина в четырех частях, подготовленное П. П. Бекетовым и изданное книгопродавцем И. Г. Салаевым.<sup>15</sup> Часть произведений в собрании П. П. Бекетова воспроизводилась по печатным изданиям, другие — по рукописям, которые удалось редактору собрать у родственников писателя.

Собрание сочинений, подготовленное П. П. Бекетовым, познакомило читателей с большим числом новых произведений Фонвизина: статьи из журнала «Друг честных людей, или Стародум» — «Письмо Взяткина» (дополнен и исправлен текст), «Разговор у княгини Халдиной», «Наставление дяди племяннику»; комедия «Выбор гувернера», неоконченное стихотворение «К уму моему», письма к Я. И. Булгакову, П. И. Панину из Монпелье и Рима, Н. П. Елагину, двадцать пять писем сестре Ф. И. Аргамаковой, отрывок из журнала путешествия в Вену и «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» (с дополнением окончания второй книги и сохранившегося текста третьей книги) Перепечатано с рукописи «Жизнеописание Н. И. Панина». Из «Собеседника любителей российского слова» включены «Примечания на критику „Сословника“», «Письмо к сочинителю „Былей и небылиц“», «Челобитная российской Минерве». Напечатано также «Размышление о суетной жизни человеческой». «Недоросль» опубликован по рукописи, включавшей последние исправления и дополнения автора.

Издание 1830 года, подготовленное П. П. Бекетовым, представляющее огромную ценность, тоже делалось, как видим, не по плану Фонвизина. План и рукописи, подготовленные писателем, оказались неизвестными П. П. Бекетову. Оттого многие важные переводные и оригинальные произведения Фонвизина, которые автор считал обязательным включать в собрание своих сочинений, в издание П. П. Бекетова не попали. В процессе подготовки своего издания П. П. Бекетову удалось создать новый фонд рукописей Фонвизина. Весьма вероятно, что некоторые рукописи Бекетов не счел возможным по каким-либо причинам печатать. К величайшему сожалению, и этот фонд рукописей Фонвизина, вслед за рукописями, попавшими в руки П. Богдановича, утрачен. Тем самым многие публикации П. П. Бекетова служат для нас первоисточником.

В 1848 году вышла первая серьезная книга, посвященная жизни и творчеству Фонвизина, написанная П. А. Вяземским. Вначале Вяземский предполагал написать всего лишь вступительную статью к изданию П. П. Бекетова. Однако «Краткое введение к творчеству Фонвизина» разрослось до размеров книги. Подготавливая ее, Вяземский собрал довольно значительный материал, относящийся ко второй половине XVIII века, в котором главное место занимали автографы Фонвизина. Большую часть он опубликовал в приложениях к отдельным главам своей книги. Особую ценность имеют письма: 37 писем к П. И. Панину из Петербурга за 1771—1772 годы, 4 письма сестре из Петербурга за 1763—1769 годы. Остальные публикации — отрывки неоконченных оригинальных и переводных произведений писателя: комедия «Добрый наставник» (одно явление), отрывок из журнала путешествия в Ригу, Бальдон и Митаву, отрывок перевода из «Илиады» и поэмы Гесчера «Смерть Авеля» К сожалению, публикации Вяземского сделаны крайне небрежно. Почерк Фонвизина вследствие болезни сильно менялся в течение всей жизни. Сохранившиеся рукописи 70—80-х годов крайне трудны для чтения. Но беловые письма 60—70-х годов в общем читаются свободно. Вяземский же печатал тексты не только с пропусками и ошибками, но и делал произвольные вставки и исправлял стиль.

<sup>14</sup> Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, Р. II, опись 1, № 465.

<sup>15</sup> В 1829 и в 1830 году вышло еще два собрания сочинений Д. И. Фонвизина. Первое — «Собрание сочинений и переводов Д. И. Фонвизина», в двух частях, М., 1829. Второе — «Собрание оригинальных, драматических сочинений и переводов Д. И. Фонвизина», в трех частях, М., 1830. Оба издания носили коммерческий характер. Состав их определялся произвольно, тексты печатались возмутительно неярливо, с грубыми искажениями.

К счастью, большая часть собранного Вяземским рукописного фонда литературного наследия Фонвизина сохранилась и ныне находится в литературном архиве в Москве (ЦГАЛИ). До нас дошли рукописи всех опубликованных Вяземским писем Фонвизина к П. И. Панину, что дает возможность исправить все многочисленные ошибки и восстановить пропуски публикатора; отрывок комедии «Добрый наставник», фрагменты переводов «Илиады» и «Смерти Авеля». Там же хранятся рукописи некоторых известных Вяземскому сочинений Фонвизина, но не опубликованных им, — «Мнение об избрании пиес в „Московские сочинения“», дневники последнего заграничного путешествия. Представляет большой интерес список «Друга честных людей, или Стародума».

В 1866 году Глазунов издал под редакцией П. А. Ефремова «Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фонвизина». Подготовленное Ефремовым собрание сочинений — первое, наиболее полное, научно авторитетное издание, в известной мере приближавшееся к замыслу самого Фонвизина. Ефремов не только напечатал все уже известные к тому времени сочинения Фонвизина, проверив их или по рукописям или по печатным публикациям, но и дополнил свое издание новыми произведениями Главного вклада П. Ефремова — двадцать шесть писем Фонвизина к сестре и родным за 1763 — 1774 годы. Многие письма родным и П. И. Панину из всех трех заграничных путешествий не только проверены по рукописям, но исправлены и дополнены. Впервые были напечатаны письма Воинову и П. Б. Пассеку.

Собрание сочинений Фонвизина, вышедшее под редакцией П. А. Ефремова в 1866 году, до сих пор остается единственно авторитетным. Появившееся в 1888 году издание Шамова, превосходя ефремовское по полноте, было сделано на очень низком научном уровне. Но ни ефремовское, ни шамовское издания сегодня не могут нас удовлетворить: в них нет многих важных произведений, тексты некоторых напечатаны с неавторитетных списков, другие содержат ошибки, в третьих сделаны купюры. Наиболее полно у Ефремова представлено эпистолярное наследство писателя. Но и здесь имеются значительные пропуски. Так, мы знаем, что из Парижа Фонвизин послал П. И. Панину три письма, а опубликовано только два; из Монпелье послано четыре, а Ефремовым напечатаны только три, и т. д. Как показывает изучение некоторых архивов, П. А. Ефремов иногда, имея в своем распоряжении автографы, не публиковал их. Укажу на один пример: ознакомившись с собранием рукописей Публичной библиотеки Петербурга, он опубликовал из него письмо П. Б. Пассеку, а лежащие тут же рядом письма П. И. Панину из Петербурга и Я. И. Булгакову и П. И. Панину из Парижа — пропустил. Правда, может быть, сделано это потому, что читать эти автографы чрезвычайно трудно.

В конце века крупнейший историк русской литературы Н. С. Тихонравов принялся за подготовку полного собрания сочинений Фонвизина. По свидетельству В. Якушкина, исследователь собрал много новых, ранее неизвестных произведений писателя.

Н. С. Тихонравов предложил отделению русского языка и словесности Академии наук издать подготовленные им в трех томах «Материалы для Полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина». В первый том входили драматические произведения («Альзира», «Корион», «Бригадир», «Недоросль»). Во второй — сочинения и переводы, вовсе не бывшие в печати или не включавшиеся ни в одно собрание сочинений Фонвизина. В третий — произведения, приписываемые Фонвизину. Смерть Н. С. Тихонравова оборвала работу. В 1894 году вышел первый том «Материалов», содержащий драматические сочинения. По свидетельству В. Якушкина,<sup>16</sup> рукописи произведений Фонвизина, которые должны были войти во второй том, остались у наследников ученого. Через несколько лет наследники продали все бумаги и книги библиотеки Тихонравова Румянцевскому музею. Ныне огромное собрание Н. С. Тихонравова хранится во Всесоюзной публичной библиотеке имени В. И. Ленина. Рукописей неизвестных произведений Фонвизина в нем нет. Так, созданный новый фонд автографов Фонвизина опять исчез, и нет никаких следов, где бы можно было искать утраченные бумаги.

В советское время подготовкой Полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина занимался крупнейший знаток литературы XVIII века Я. Л. Барсков. К сожалению, смерть исследователя не позволила ему осуществить свой замысел. Архив Я. Л. Барскова хранится во Всесоюзной государственной публичной библиотеке имени В. И. Ленина. Изучение его показывает, что исследователем была проделана значительная работа. Заслуживают внимания предпринятые им розыски рукописей Фонвизина. В Центральном государственном архиве древних актов он обнаружил и сделал фотокопии с нескольких автографов, бывших, по всей вероятности, в свое время в собрании П. А. Вяземского. Это отрывок комедии «Добрый наставник», заметка «Мнение об избрании пиес в „Московские сочинения“», отрывки двух прозаических

<sup>16</sup> «Малоизвестные сочинения Д. И. Фонвизина», «Русские ведомости», 1894, № 336.

сочинений — «О древних римских обычаях», «Иппократ и Демокрит», а также отрывки переводов «Илиады» и «Смерти Авеля». Ныне эти рукописи находятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Была известна ему и рукопись «Рассуждения о непременных государственных законах», хранящаяся в архиве древних актов.

Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина так и не было подготовлено в советское время. Многократно выходили в Гослитиздате избранные сочинения, включавшие «Бригадира», «Недоросля», статьи из «Собеседника любителей российского слова» и «Друга честных людей». Печатались некоторые письма. Новым в этих одно-томных изданиях было «Рассуждение о непременных государственных законах» (так называемое «Завещание Панина»), но и оно уже было известно читателю по специальным публикациям середины XIX века. Почти ежегодно в различных изданиях страны выходили комедии Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль». Поскольку не был установлен канонический текст этих комедий, они печатались с различных и, к сожалению, чаще всего, неавторитетных изданий. Как показывает проверка, при этих переизданиях к старым ошибкам прибавлялись новые.

При подготовке Полного собрания сочинений Фонвизина<sup>17</sup> мною был учтен накопленный опыт и все достижения предшественников. Вот почему работа началась с обследования различных архивов и книгохранилищ Ленинграда и Москвы. Были просмотрены десятки журналов второй половины XVIII века, комплекты «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Московских ведомостей» за период с 1765 по 1792 годы. Разыскания дали результаты — установлен факт подготовки Фонвизиним Полного собрания сочинений в 1788 году, обнаружен проспект этого собрания, позволивший установить принадлежность Фонвизину новых, ранее нам неизвестных сочинений, найдены новые произведения писателя — оригинальные и переводные, письма к разным лицам.

Помимо новых произведений, указанных Фонвизиним в проспекте («Повествование мнимого глухого и немого», «Та-Гио» и «Рассуждение о национальном любочестии»), в Полное собрание сочинений включено еще несколько никогда ранее не печатавшихся под именем Фонвизина статей и писем. Особый интерес представляет «Начертание для составления толкового словаря славяно-русского языка». Расскажу вкратце историю его написания.

В день открытия Российской Академии (21 октября 1783 года) был объявлен список первых членов Академии. Среди других провозглашен членом и присутствовавший на заседании Д. И. Фонвизин. На втором собрании (28 октября) обсуждался проект устава Академии. И. П. Елагин предложил заняться подготовкой словаря. Президент Академии Е. Р. Дашкова рекомендовала «Из господ членов сделать отряд, в котором бы установить правила и порядок о сочинении Российского толкового словаря, который наипаче для русского языка нужен». Членами отряда Е. Р. Дашкова «изволила назначить господ Фонвизина, Леонтьева, Румовского и Лепехина».<sup>18</sup>

В следующем заседании (11 ноября 1783 года) Фонвизин уже представил «Начертание»: «Читано было Денисом Ивановичем Фонвизиним начертание для составления толкового словаря славяно-русского языка, сочиненное отрядом».<sup>19</sup> После обсуждения было решено «Начертание» размножить и разослать всем членам Академии. 18 ноября представленное «Начертание» после обсуждения было признано «за достаточное» и указано, «что Академия, держась оного, благоуспешнее может достигнуть в сочинении словаря намерения своего».<sup>20</sup>

Итак, «Начертание» поручено было сочинить «отряду», состоявшему из Фонвизина, Леонтьева, Румовского и Лепехина. Занятость Лепехина делами секретаря Академии не позволила ему принять участие в работе «отряда». Это мы узнаем из «Известий» Академии, напечатанных во втором томе «Словаря Академии Российской». В том же «Известии» Академии сказано: «Денис Иванович Фонвизин сообщил Академии слова с букв К и Л начинающихся и выбранные им из „Летописца архангелогородского“; участвовал в составлении правил, коих держаться надлежало в сочинении словаря».<sup>21</sup> Н. В. Леонтьев лишь «соучаствовал в составлении правил, в сочинении словаря нужных». С. Я. Румовский участвовал в составлении правил до составления словаря касающихся». Таково официальное уведомление о доле участия трех членов «отряда» в составлении окончательного варианта «Начертания» — Фонвизин и Румовский «участвовали», Леонтьев — «соучаствовал».

Н. В. Леонтьев — незначительный поэт 60-х годов, автор элегий и басен, в 80-е годы больше занимался служебной карьерой, чем литературой. «Соучастие» его

<sup>17</sup> Выйдет в Гослитиздате в 1959 году.

<sup>18</sup> Архив Академии наук СССР, ф. 8, оп. 1, д. № 1, стр. 12 и 12 об.

<sup>19</sup> Там же, стр. 17 об. и 18.

<sup>20</sup> Там же, л. 21-об.

<sup>21</sup> Словарь Академии Российской, СПб, 1792, ч. II, стр. IX.

в составлении «Начертания» заключалось в том, что он обсуждал и высказывал свое мнение о представленном тексте «Начертания». С. Я. Румовский — профессор астрономии Академии наук. На него возлагалась роль консультанта — какие слова точных наук следует включать в толковый словарь славяно-русского языка. Д. И. Фонвизин — крупнейший, популярнейший и авторитетный писатель, автор «Бригадира» и «Недоросля», опытный переводчик. Не случайно поэтому именно он, Фонвизин, и читал «Начертание» на общем собрании Академии, видимо, его доля участия в работе — наибольшая. Следует помнить и то, что в «Известиях» Академии, напечатанных в словаре, говорится о том «Начертании», которое было выработано в результате многих обсуждений его на заседаниях, после включения в него многочисленных поправок. Текст же, читавшийся Фонвизиним на заседании Академии 11 ноября 1783 года, это первый вариант «Начертания». Он-то и был составлен Фонвизиним. О том же свидетельствует и письмо Фонвизина к Козодавлеву, посланное в начале 1784 года. Письмо вызвано следующим обстоятельством: живя в Москве, Фонвизин узнал, что член Академии Болтин после принятия «Начертания» прислал свои замечания, в которых решительно отвергал принципы составления словаря, сформулированные в проекте, прочитанном Фонвизиним. Академия в своем собрании от 30 января приняла замечания Болтина и отвергла ранее принятое «Начертание». Такая непоследовательность Академии возмутила Фонвизина. Он написал Козодавлеву письмо, в котором защищал «Начертание». Фонвизин знал, что Козодавлев близок к Дашковой, и потому его аргументы, собственно, обращены к президенту Российской Академии. Фонвизинское письмо окончательно убеждает нас в том, что автором «Начертания» был сочинитель «Недоросля». По своему характеру это даже не письмо, а филологическое исследование, непосредственно примыкающее к «Начертанию», дополняющее его и раскрывающее темы и принципы, кратко сформулированные в плане словаря. Кроме того, оно свидетельство глубоких лингвистических знаний Фонвизина, которыми не обладал ни Леонтьев, ни Румовский. Наконец, в письме Фонвизин отстаивает со страстью именно *свои* взгляды и убеждения, изложенные в «Начертании». Оттого он прямо заявляет, что именно ему принадлежат те или иные оспариваемые Болтиным формулировки: «В примечаниях раскритикован употребляемый мною термин сословие и преобразен в сослов». Заметим — «мною», а не «нами». Вспомним также, что в I, IV и X частях «Собеседника любителей российского слова», напечатанных в мае и августе 1783 года и январе 1784 года, Фонвизин поместил «Опыт российского сословника». Далее: «может быть, я<sup>4</sup> и виноват». И еще: «впрочем, если Академия отвергнет *мой термин*, я повиноваться буду ее решению». Эти признания Фонвизина более чем красноречивы. Из всей суммы обстоятельств, связанных с созданием «Начертания», можно сделать совершенно обоснованное заключение — первоначальный план «Начертания», прочитанный на заседании Академии 11 ноября 1783 года и отстаиваемый в письме к Козодавлеву, принадлежит Фонвизину. Авторитетный историк Российской Академии М. И. Сухомлинов уже давно пришел к заключению: «... есть основание полагать, что истинным автором его («Начертания». — Г. М.) был Фонвизин. Он, а не кто другой из членов, читал „Начертание“ в собрании Российской Академии, он же горячо отстаивал „Начертание“ и в личных беседах, и в письменных сношениях с своими сочленами».<sup>22</sup>

«Мнение об избрании пьес в „Московское сочинение“». Автограф этой заметки хранится в ЦГАЛИ. Она представляет интерес как свидетельство общественной активности писателя, его настойчивого желания пробиться к читателю вопреки запрету властей. Судя по всем данным «Мнение» написано после запрещения «Друга честных людей, или Стародума» (апрель 1788). Вспомним, что в 1783 году Фонвизин активно сотрудничал в «Собеседнике любителей российского слова» (напечатал семь произведений), с октября по декабрь работал над подготовкой «Начертания» и писал «Жизнь Н. И. Панина». Летом 1784 года он уехал в Италию. Сразу же после возвращения, в августе 1785 года его разбил паралич. Пролежав год в постели, он в тяжелом состоянии уехал в июне 1786 года в Карлсбад, откуда прибыл только в сентябре следующего года. И сразу же приспустил к подготовке собрания своих сочинений и сатирического журнала «Друг честных людей, или Стародум». К этому же времени относится его особый интерес к прозе. Он оставляет драматургию, перестает писать комедию «Добрый наставник», а второе явление комедии переделывает в сатирическую сценку «Разговор у княгини Халдиной» для «Друга честных людей». Видимо, после запрещения сатирического журнала в Петербурге Фонвизин и предпринял попытку издавать журнал в Москве, но уже не один, а в компании с другими литераторами. Несмотря на то, что такое содружество было уже создано, журнал из печати не вышел. Сохранилась лишь его программа, изложенная Фонвизиним в «Мнении»:

<sup>22</sup> М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. VII. СПб., 1885, стр. 11



«Для предупреждения тех злоупотреблений, которые обыкновенно во всяких добрых делах случаются, следовательно, и с „Московскими сочинениями“ случиться могут, надлежит, мне кажется, поставить такое в рассуждении их учреждение, которое бы никогда не нарушаемо было от тех, кто для пользы общества желает проводить время с такою прилежностью, каковую подают словесные науки всем упражняющимся в оных. Нет в том сомнения, чтоб не сошлись в оном учреждении все те, которые приняли намерение составить малое сообщество издавать „Московские сочинения“. Остается только положить единожды сие учреждение, которое может состоять в следующем:

1. Не принимать никаких переводов, тем менее дурных, ибо в противном случае „Московские сочинения“ наполнены будут, как и „Ежемесячные“ в Петербурге, такими переводами, которых и сам переводчик, не говоря о читателе, разумеет не может. Сверх того общество, издавая сии книги, желает стараться о чистоте русского языка, которая, как и всех языков на свете видна бывает по большей части в сочинениях. Оно желает стараться показать чистоту языка и в стихах, которых переводить почти не возможно для той редкости, которую языки в свойстве своем имеют; сверх того доказывается то самым опытом, что с стихов стихом переводить не можно, разве только подражать.

2. Трагедий и комедий не принимать, ибо оные называются уже большими сочинениями, а „Московские“ состоять будут в малых.

3. Все сии сочинения должны надлежать к словесным, а не другим наукам, ибо для прочих учреждены другие собрания.

4. Отсутствующие, как присутствующие, обязаны каждый месяц давать по листу стихами и по листу прозою. Первые пересылать, а другие отдавать могут тому, который избран будет стараться о напечатании.

5. Как всякое общество утверждается на единодушии тех, кои оное составляют, то все пьесы должны быть читаны всем собранием; защищать каждый не только может, но и должен свое мнение как о всей пьесе вообще, так и порознь о примечаемых им погрешностях. Сей есть один способ очистить российский язык от тех погрешностей, которые видны во многих сочинениях и в толиком множестве несносных переводов, от коих язык русский страдает. Чужестранные авторы, прославленные во всем свете, теряют в отечестве нашем свою славу, и читатель заражается дурным вкусом».

В различных книгохранилищах обнаружено несколько писем к А. М. Голицыну, Е. Р. Дашковой, Я. И. Булгакову, П. И. Панину. Особый интерес представляет письмо П. И. Панину от августа 1778 года из Парижа, в котором излагаются подробности смерти Руссо и дается высокая оценка его «Исповеди» со слов осведомленного лица. Этим лицом, видимо, был английский физик Ж. Магеллан, который хорошо знал Руссо и посетил его в деревне Егтепонвилле за несколько дней до смерти. Фонвизин рассказывает о том, как недостойный поступок жены, продавшей рукопись «Исповеди» книготорговцу, поверг Руссо в отчаяние:

«В те часы, когда хаживал он со двора, пригласила она одного книгопродавца и повелела списывать манускрипт, продав сие творение за сто луидоров. И автор не имел еще ни малейшего подозрения на сие безумство, как уже списанный манускрипт был отвезен в Голландию и продан тамошнему книгопродавцу.

Содержание книги и многие в ней подробности, касающиеся до жизни самого автора и до здешних знатнейших господ, стало в публике рассеиваться, и Руссо узнал, что жена его продала все секреты его жизни. В крайнем страхе бросил он жену свою и скрылся из Парижа в деревню Егтепонвилле к своему другу, маркизу Жерардену, который дал ему убежище. Несколько дней жила жена его в беспокоестве о судьбе его, и терзаемая раскаянием пришла к нему, как скоро узнала место его пребывания. Между тем правительство предприняло остановить издание книги. Руссо, удручен будучи бедою, пришел прямо в отчаяние.

Образ смерти его заставляет думать, что он отравился. В деревне, где он жил, был крестьянский мальчик, который острою своею полюбился Руссо, и они виделись непрестанно. Накануне смерти своей повелел он тому мальчику разбудить себя гораздо ранее, обещая с ним идти в поле, чтоб смотреть восхождение солнца. На другой день, действительно, поутру с ним пошел и, оставя его бегать по полю, сам стал на колена и, подняв руки к небу, молился со слезами. Сию сцену рассказывал после тот мальчик, который один был сему свидетель.

По возвращении его в дом хозяева заметили в нем необычайную бледность и хотели показать ему помочь, но он отвечал, что ни в какой помочи нужды не имеет и, взяв за руку жену свою, просил позволения идти с нею в свою комнату, имея сказать ей нечто важное. Оставшись с нею, обнял ее, как человек, который расстается навсегда. Потом, отворив окно, смотрел на небо, говоря жене своей в превеликом исступлении, что он пронзается величием создателя, смотря на прекрасное зрелище природы. Несколько минут продолжалось сие исступление, и потом упал мертвым».

Дальше Фонвизин пишет об «Исповеди». Зная о гениальной книге лишь только по рассказам тех, кто ее читал, он, однако, сумел с удивительной тонкостью и глубиной понять весь беспримерный замысел Руссо и высоко оценить его «подвиг». Вот как оценил он «Исповедь»:

«Книга, которую он сочинил, есть не иное что, как исповедь всех его дел имышлений. Считаю, что прежде смерти его никто читать ее не будет, изобразил он без малейшего притворства всю свою душу, как мерзка она была в некоторые моменты, как сии моменты завлекали его в сильнейшие злодеяния, как возвращался к добродетели; словом, обнаружил он сердце свое и тем хотел сделать услугу человечеству, показав ему в самой слабости, каково суть человеческое сердце».

Некоторые новые материалы позволяют судить о том, что Фонвизин подготовил для журнала «Друг честных людей, или Стародум» большее число статей, чем дошло до нас. В объявлении о подписке на этот журнал Фонвизин предупреждал читателей: «Целый год состоять будет из двенадцати листов. Первые четыре получить будет можно в начале мая, вторые четыре — в начале сентября, а последние четыре — в начале будущего года». Далее сообщалось: «Сие сочинение хотя и готово, но прежде печатано не будет, как разве подпишутся на 750 экземпляров до первого марта». Видимо, готовы были не все 12 листов, а лишь первые четыре, которые должны были выйти в мае. Как известно, Управа благочиния запретила это издание. Автограф этих сочинений не сохранился. Отдельные статьи из журнала стали распространяться в списках. Позже они попали в печать. П. Бекетов, располагавший рукописью, опубликовал впервые полностью все статьи, входившие в журнал (исключив почему-то письмо Тараса Скотинина). Текст бекетовского издания единственно авторитетный.

Но закономерно возникают вопросы: всё ли из написанного для этого журнала дошло до нас, составляют ли известные нам статьи те четыре части, которые приготовил Фонвизин и передал в Управу благочиния, верно ли воспроизведена Бекетовым композиция журнала и, наконец, самый главный вопрос — точно ли им воспроизведена рукопись?

Есть все основания предполагать, что до нас дошло не все написанное для журнала. Это подтверждается записной книжкой П. А. Вяземского от 1823 года, где мы находим авторитетный список статей «Друга честных людей», который до сих пор не привлекал внимания исследователей. Прежде всего, в списке среди известных нам материалов сохранилось и неизвестное «Письмо к Стародуму от сочинителя „Недоросля“» от февраля 1788 года с текстом разговора Софьи со Стародумом из второго явления четвертого действия «Недоросля», «опущенного актерами» во время спектакля. Ссылка на актеров носит цензурный характер — те же остро политические суждения Стародума не были напечатаны и в первом издании комедии в 1783 году; значит, их не пропустила полиция, и Фонвизин через пять лет решил вновь попытаться напечатать запрещенный текст. Таким образом, список Вяземского обогащает нас очень ценной статьей журнала. Помогает список восстановлений и композиция журнала. Статьи в списке расположены иначе, чем у Бекетова, и правильнее. Дело проясняют последние строки ответного «Письма Стародума к сочинителю „Недоросля“» о его согласии принимать участие в журнале, которое Бекетов напечатал с пропусками. Привожу текст нового письма «сочинителя „Недоросля“» Стародуму: «Сообщенный мне вами в свое время разговор ваш с Софьею, из которого составил я второе явление четвертого действия „Недоросля“, весьма сокращен господами актерами, дабы комедия не весьма была длинна, но как в том, что выпущено, много есть нравоучительного, которое достаточно быть известно нашей просвещенной публике, то я с позволения вашего помещу весь ваш разговор в мое периодическое творение, поставя знак на всем том, что в комедии не напечатано и чего актеры не играют, есть и проч. Сочинитель „Недоросля“». Далее следовал текст второго явления четвертого действия «Недоросля».<sup>23</sup>

Одной из ближайших задач историков русской литературы XVIII века является издание Полного академического собрания сочинений Д. И. Фонвизина. Для этого необходимо развернуть широкую работу по собиранию рукописного наследия писателя. Необходимо обследовать многие архивы нашей страны и рукописные отделения крупных библиотек, чтобы разыскать следующие материалы:

1. Собрание рукописей первого Полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина, переданное автором П. Богдановичу и увезенное последним в Полтаву.

2. Собрание рукописей, имевшееся в распоряжении П. Бекетова. О его судьбе мы узнаем некоторые сведения из письма И. И. Дмитриева к П. А. Вяземскому от марта 1836 года. После смерти Платона Петровича Бекетова рукописи попали к его брату, Петру Петровичу Бекетову, который, в свою очередь, передал их вместе с другими вещами одному из своих племянников. Наследство, по словам И. И. Дмитриева, состояло в «доме, в русской библиотеке, в уцелевшем портфеле с любимыми эстампами... и в куче рукописей. Хочу похлопотать насчет последних».<sup>24</sup> Через год

<sup>23</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, д. 1108, л. 13 об. и 14.

<sup>24</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хран. 1842

И. И. Дмитриев умер. Получил ли он эту драгоценную «кучу рукописей»? Или они остались в семейном архиве Бекетовых? Очевидно, искать эти рукописи необходимо либо в архиве Дмитриева, либо в архиве Бекетовых, если он сохранился.

3. Бумаги Д. И. Фонвизина, находившиеся у Клостермана. Из письма Ф. Ф. Толмачева П. А. Вяземскому от 12 ноября 1830 года мы узнаем об этом: «Препровождаю при сем вашему сиятельству письма и некоторые другие бумаги Фонвизина, полученные мною от почтеннейшего старика Клостермана. Он очень дорожит ими и просит вас возвратить ему оные, когда они не будут вам уже нужны».<sup>25</sup>

4. Письма Д. И. Фонвизина Н. И. Панину. Мы не знаем ни одного письма к Н. И. Панину. А они, несомненно, были. Можно утверждать, во всяком случае, что Фонвизин писал ему из Франции во время путешествия 1777—78 годов. Вернее всего, он пересылал их дипломатической почтой через русского посла во Франции князя Барятинского. Все официальные дипломатические материалы одно время хранились в государственном архиве древних актов, ныне они переданы архиву Министерства иностранных дел. Но личного фонда Н. И. Панина там нет. Его, видимо, надо искать в архиве древних актов.

5. Из распоряжений Ивана Тауберта о выплате Фонвизину денег мы узнаем, что он подготовил и передал для печати в Академию наук перевод Юстия «О правительствах» в трех частях.<sup>26</sup> Этот перевод должен быть разыскан.

6. П. Вяземский в своей книге о Фонвизине сообщает, что 19 февраля 1790 года писатель обратился с письмом к Екатерине, в котором просил разрешить ему переводить Тацита. Письмо это чрезвычайно важно. Мы знаем, что все попытки Фонвизина печатать после «Недоросля» новые сочинения за своей подписью кончились неудачей. Возможно, в письме к императрице Фонвизин рассказывает о том, как его преследует Управа благочиния. Письмо это должно находиться в бумагах Екатерины, которые хранятся в различных фондах архива древних актов.

7. Восемнадцатого марта 1830 года издатель подготовленного П. П. Бекетовым собрания сочинений Фонвизина И. Салаев обратился к П. А. Вяземскому с письмом, из которого видно, что ему стало известно о существовании новых глав «Всеобщей придворной грамматики»: «Осмелюсь беспокоить вас покорнейшею просьбою: у господина издателя газеты „Северный Меркурий“ М. А. Бестужева-Рюмина есть окончание „Придворной грамматики“ Фонвизина, которое он хотел напечатать в „Северной звезде“ на 1830 год, для полноты моего издания желательно бы получить от него верный список оной».<sup>27</sup> Что это за окончание «Придворной грамматики»? Только тщательные разыскания могут ответить на этот вопрос.

8. «Журнал», посвященный немецкому и итальянскому искусству. В письме сестре из Нюрнберга 9 сентября 1784 года Фонвизин писал: «В журнале, который я веду для себя собственно, делаю описание картин лейпцигских, но как из вас никто не охотник до живописи, то я эту часть здесь пропускаю». В письме из Милана от 21 мая 1785 года сообщалось: «Римского журнала моего не посылаю к вам для того, что он состоит в описании картин и статуй, что вас мало интересовать может».

Итак, «Журнал» об искусстве существовал, и Фонвизин привез его с собой в Россию. Где он? После смерти писателя со всеми бумагами он мог попасть или к родственникам, а от них к П. Бекетову, а от того — к его племяннику, или к Клостерману. Следовательно, в части литературного наследия, оставшегося у наследников Бекетова и Клостермана следует искать и этот журнал.



<sup>25</sup> Там же, ед. хран. 2856, л. 10.

<sup>26</sup> Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, № 467, стр. 103.

<sup>27</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2714, л. 1.

## СИГИЗМУНД СЕРАКОВСКИЙ—СОТРУДНИК „СОВРЕМЕННОКА“

Русские связи и знакомства, сыгравшие такую важную роль в жизни и деятельности выдающегося представителя польского национально-освободительного движения Сигизмунда Сераковского, до настоящего времени еще недостаточно изучены. Очень слабо, в частности, освещено в литературе и сотрудничество С. Сераковского в «Современнике» в 1856—1857 годы. Даже в новейшем, чрезвычайно содержательном исследовании польского ученого Юзефа Ковальского о русско-польских связях в 60-е годы<sup>1</sup> об участии Сераковского в «Современнике» содержится лишь беглое упоминание.

Между тем характеристика статей Сераковского в «Современнике» важна и для создания научной биографии Сераковского, и для истории русско-польских общественно-литературных связей XIX века, и в аспекте дальнейшего изучения журнала «Современник», наконец, с точки зрения изучения романа Чернышевского «Пролог»; хорошо известно, что прототипом для образа Соколовского автором «Пролога» был взят С. Сераковский.

Для выяснения вопроса о характере сотрудничества С. Сераковского в «Современнике» чрезвычайно важное значение имеет письмо Н. Г. Чернышевского к Н. А. Некрасову от 5 ноября 1856 года. «На первый раз,— писал о Сераковском Чернышевский,— он составил иностранные известия не совсем искусно—но будет полезным сотрудником как человек неглупый и образованный».<sup>2</sup> Факт сотрудничества Сераковского в «Современнике» подтверждается документально хранящимися в архиве Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР гонорарными ведомостями «Современника» (ф. 628, оп. № 2).<sup>3</sup> Согласно гонорарным ведомостям и сведениям Масанова<sup>4</sup> выясняется, что С. Сераковский за период с ноября 1856 по июль 1857 года поместил в «Современнике» шесть статей—«Заграничные известия» и большую статью «Взгляд на внутренние отношения Соединенных Штатов». Дальнейшее внимательное изучение «Современника» может, думается, увеличить список помещенных в журнале статей Сераковского.

С. Сераковский стал публицистом революционного журнала вскоре после своего возвращения из оренбургской ссылки. Тесные связи его с русскими и польскими политическими ссыльными в годы изгнания, дружба с Тарасом Шевченко, восторженное отношение к революционно-материалистическим идеям, большие знания, огромная энергия, пламенное свободолюбие— всё это позволило Н. Г. Чернышевскому с первой же статьи Сераковского в «Современнике» рекомендовать его Н. А. Некрасову как «полезного сотрудника».

В статьях, помещаемых в журнале, в отделе «Заграничные известия», Сераковский выступал не только как человек очень осведомленный и хорошо эрудированный, но и как глубокий и тонкий обозреватель.

Часто в обзорах Сераковского мы находим обстоятельную характеристику экономического положения отдельных стран, оценку состояния их бюджета, железных дорог, торговли. Хорошо видел он тяжелое положение французских и английских рабочих и паразитическое существование французской и английской буржуазии,

<sup>1</sup> J. Kowalski. *Revolucyjna demokracja rosyjska a powstanie styczniowe*. Wydanie drugie, rozszerzone. Warszawa. 1955.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, М., 1949, стр. 327.

<sup>3</sup> Опубликованы С. Рейсером. Гонорарные ведомости «Современника». «Литературное наследство», т. 53—54, М., 1949, стр. 229—288.

<sup>4</sup> См. также: Ю. Масанов и С. Макашин. «Современник», 1847—1866 гг. Хронологический указатель анонимных и псевдонимных текстов с раскрытием авторства. «Литературное наследство», т. 53—54, стр. 435—513.

писал о крайне низком нравственном уровне в буржуазно-предпринимательских кругах, настолько низком, что нередко герялась грань между уголовными хищениями и «честной» предпринимательской деятельностью.<sup>5</sup> Писал Сераковский о росте пауперизма в Англии, ему же принадлежит меткая афористическая фраза об Ирландии: «Ирландия — это классическая земля нищеты».<sup>6</sup>

В статье «Взгляд на внутренние отношения Соединенных Штатов» публицист «Современника» центральным вопросом всей общественно-партийной борьбы, политико-экономической жизни США назвал «существование невольничества». Подробно прослеживая борьбу Севера с Югом, Сераковский, клеймя позором политику захватов, писал: «...известно, каким образом люди Юга, при тайном содействии центральной власти, произвели нашествие на Техас, оторвали от Мексики и образовали из него призрак независимой республики, чтобы вслед за тем присоединить ее к Союзу. Постыдная эта история недостойна великой нации».<sup>7</sup> Сераковский пронизательно рассматривал, какие нарушения элементарных человеческих прав, какие надругательства над человеческой личностью совершаются под покровом буржуазной демократии; его статья проводила мысль о том, что «под наружным видом демократической республики Соединенные Штаты, в продолжение довольно уже продолжительного времени, и в настоящее время, управляются олигархией».<sup>8</sup>

Особо следует отметить осознание Сераковским гигантских потенциальных сил стран Востока, и в первую очередь таких, как Китай и Индия. Публицист видел хищническо-колониаторские действия Англии в Китае, думал, что «раньше или позже и здесь борьба может возродиться в страшных размерах. Исход ее, кажется, не подлежит сомнению, если все народы, представители образованности, будут действовать заодно, имея в виду призвать Китай к новой жизни, вывести его из отчужденного положения».<sup>9</sup>

Благородный и смелый дух борца и «инстинкт политического деятеля», которыми наградила Н. Г. Чернышевский героя романа «Пролог» Соколовского, отчетливо проявились в мужественно-оптимистических взглядах Сераковского на историческое развитие, на будущее народов, на место и роль человека в жизни.

Пусть Сераковский в 1856—1857 годах нередко очень переоценивал значение европейской цивилизации, роли образованности, просвещенного реформаторства в судьбах народов, но при всем этом он последовательно отвергал философию уныния, разочарованности, пассивности и, если можно так выразиться, усталости человеческого духа.

Так, например, Сераковский резко возражал против «воплей разочарования и отчаяния» некоторых французских публицистов и критиков в их суждениях о жизни. Показывая ничтожество причин их разочарованности, Сераковский говорил (очевидно, имея в виду и свою родину Польшу): «Другие народы подвергались более страшным испытаниям и гонениям судьбы и однако ж исполнены надежд...»<sup>10</sup>

«Мы живем в великое время,— писал Сераковский,— время по преимуществу драматическое... Современная жизнь, это величайшая драма, но напрасно искать вдохновения в гостинных и будуарах, нельзя писать законов жизни, запершись в своем кабинете. Нужно изведать жизнь во всех ее проявлениях — в столице и в лагере, на университетских скамьях и на бивуаках».<sup>11</sup> В другом месте Сераковский восклицал: «...неужели все наши знания, стремления, надежды, идеалы, вся образованность и просвещение хороши только на университетских скамьях и не имеют никакого применения в жизни?»<sup>12</sup>

Так горячо «агитаторская натура» Сераковского ратовала на действительную жизнь как единственный источник теорий и вдохновений, опять-таки нужных для той же действительной живой жизни, для людей, для того, чтобы на земле было «братство между людьми» и «братство между народами».<sup>13</sup>

Сераковский в статьях 1856—1857 годов идеалистически переоценивал возможности европейской цивилизации, недооценивая культуру народов Азии, хотя и ощущал их огромные потенциальные силы, переоценивал, как замечено было выше, роль просвещенно-эволюционного прогресса, но при всем том он горячо отстаивал диалектическое понимание гегелевской формулы «что существует, то разумно», такое пони-

<sup>5</sup> «Современник», 1856, № 12, стр. 272—273.

<sup>6</sup> Там же, 1857, № 3, стр. 178.

<sup>7</sup> Там же, № 4, стр. 73.

<sup>8</sup> Там же, стр. 94.

<sup>9</sup> Там же, стр. 324.

<sup>10</sup> Там же, № 5, стр. 94—95.

<sup>11</sup> Там же, стр. 95.

<sup>12</sup> Там же, 1857, № 4, стр. 325.

<sup>13</sup> Там же.

мание, которое делает человека, народы силой активной в историческом развитии, силой, творящей «новый мир».

Мечтая о том будущем, когда «сыновья или внуки, может быть, увидят тесные братские союзы всех народов германских, романских, славянских», называя «великой мыслью» ту мысль, что «различные национальности играют такую же роль в развитии великой семьи человечества, как различные инструменты в оркестре», Сераковский отстаивал идею исторического развития мира по линии, восходящей к добру и счастью для людей. Он писал в «Современнике»: «Нужно создать новый мир... Цель жизни — всестороннее развитие духовных и телесных сил человека. Великий германский мыслитель, обзрев и изучив прошедшее и настоящее, провозгласил свою знаменитую формулу: was wirklich ist vernünftig ist («что существует, то разумно»). Гегель своей формулой, вероятно, хотел объяснить процесс развития. Но равнодушные или отчаявшиеся пытались во имя ее сделать людей слепыми орудиями исторической необходимости. Люди, верующие в будущее, признают другую формулу: „was wirklich ist hat eine Ursache, — was vernünftig ist wird wirklich sein“, — „все существующее имеет свои причины, все разумное должно осуществиться“» (курсив мой.— А. К.).<sup>14</sup>

Через все статьи Сераковского в очень различных формах и по различным поводам, но настойчиво проводится акцентировка идеи исторической справедливости национально-освободительной борьбы народов за свою самостоятельность, независимость.

В ноябре 1856 года, откликаясь на поднимающееся в Италии национально-освободительное движение против австрийского владычества, Сераковский испытывал «чувство надежды и беспокойства за ее будущность» и приводил характерное обращение к итальянцам: «...идите вперед, но твердо и благоразумно!»<sup>15</sup>

В январе 1857 года Сераковский в своей статье много места уделил рассказу о Черногории, о героической борьбе малочисленного народа Черногории против турецкого ига и об умном, энергичном, мужественном черногорском князе Данииле, стоявшем во главе освободительной борьбы.<sup>16</sup>

Статьи Сераковского в «Современнике» можно рассматривать как один из моментов формирования одной из лучших тенденций идейной позиции последовательных «красных» в польском восстании 1863 года — неразделимость, взаимосвязанность вопроса национального освобождения народа с вопросом социального освобождения крестьян. Такая взаимосвязь — характерная особенность статей Сераковского. Судьба земледельческого класса, судьба крестьян важнейшая и, можно сказать, агитационно-пропагандистская тема его статей.

Страстно негодующее отрицание невольничества в Америке имело отношение не только к действительности США, но было также и формой горячего протеста против крепостного права в России, формой агитации за освобождение крестьян от ярма неволи и в России.

Выступая горячим сторонником борьбы против американских рабовладельцев, поборником освобождения рабов в США, Сераковский вообще характеризовал земледельческий класс как «самый полезный класс». В доказательство этого Сераковский приводит следующее: «Мы до сих пор совершенно не знали самого полезного класса наших сограждан, — класса, наиболее заслуживающего сочувствия. Неблагодарные, мы забывали и презирали тех, которые кормят нас! До сих пор ничего не было сделано по части истории земледельческих классов».<sup>17</sup>

При всех преувеличенных оценках и надеждах на просвещенное реформаторство, которых, как уже указывалось, в статьях Сераковского было немало, он со всей определенностью заявлял, что никакое просвещение невозможно, если человеческая личность действительно не ограждена «от самоуправства и произвола других».<sup>18</sup>

Анализ статей Сераковского и особенно содержащихся в них многих литературно-критических и эстетических высказываний и оценок не может не служить ярким свидетельством огромного влияния на него идей русской революционно-демократической эстетики и критики. Поэтому понятна та восторженность, с какой Сераковский принял труд Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности».<sup>19</sup>

Сераковский, подобно Н. Г. Чернышевскому, убежденно и горячо утверждал, что жизнь, действительность — подлинный источник и вдохновитель искусства, что искусство никак не может быть выше жизни. Эта мысль не только внутренне объеди-

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Там же, 1856, № 11, стр. 143.

<sup>16</sup> Там же, 1857, № 1, стр. 157.

<sup>17</sup> Там же, № 7, стр. 129.

<sup>18</sup> Там же, № 4, стр. 326.

<sup>19</sup> Н. В. Шелгунов. Воспоминания. Госиздат, М.-Пгр., 1923, стр. 163—164.

няет его суждения о различных произведениях европейской и американской литературы, но она высказана и прямо, и в своем стилистическо-языковом выражении близка Чернышевскому.

«...не отвлеченная идея,— писал Сераковский,— но любовь дает счастье, и жизнь выше искусства».<sup>20</sup> Именно этот важнейший эстетический принцип обусловил его совершенно иные (в сравнении с некоторыми французскими критиками) оценки поэмы Броунинг «Augoга Leigh» и романа Густава Фрейтага «Soll und haben». Если, например, по мнению французского критика Монтегю, главный смысл поэмы Броунинг лишь в том, что в «наше время возможна только лирическая поэзия», то Сераковский основной смысл поэмы видел в том, что жизнь, любовь, а не отвлеченная идея дает счастье, что жизнь выше искусства.

Если французский критик Таландые спасительным явлением в развитии романа считал «Деревенские истории» Ауэрбаха, а также роман Густава Фрейтага «Soll und haben», то критик «Современника» видел здесь идеализацию «добродетелей и патриархальности немецких негоциантов».

Критикуя роман Густава Фрейтага, Сераковский писал: «В сущности мы не совсем верим в идеальные добродетели и патриархальность немецких банкиров. В последнее время они играли еще более жалкую роль,<sup>21</sup> чем французская буржуазия времен Людовика Филиппа. Большая часть банкиров в Германии разве потому имеет в себе много патриархального, что происходит от патриарха Авраама. Нам кажется, что роман Г. Фрейтага написан именно на заданную тему, написан с талантом и отчасти потому имел шесть изданий. Если бы написать, например, историю добродетельного стряпчего, каждый взяточник охотно бы купил ее, и повесть, пожалуй, дождалась бы второго издания».<sup>22</sup> В эстетических взглядах Сераковского чрезвычайно высок был пафос отрицания искусства, далекого от жизни общества, равнодушного к современности, пассивного в деле идейно-нравственного, гражданского развития современников.

Главной, например, заслугой французского философа, историка и литератора Мишле и русского историка Грановского Сераковский считал то, что они были учителями своих сограждан. «Мы не разделяем... всех взглядов Мишле,— писал Сераковский,— не подлежит сомнению, что он увлекается и нередко произносит несправедливые приговоры и часто впадает в риторику. Но вот в чем мы видим его главную заслугу. Никто из французских ученых не умеет лучше его внушить любовь к истине, веру в ее торжество. Читая Мишле, кажется, читаешь произведение пылкого юноши, между тем это уже маститый старец. Гизо; может быть, образовал основательных ученых; Мишле образовал прекрасных людей. Кто из юношей, читая его Орлеанскую деву, не чувствовал готовность пожертвовать собою для спасения отечества?»!

У нас был один человек, которого можно сравнить с Мишле, это Грановский. Французский ученый провел жизнь в архивах и только изредка появлялся на кафедре; русский деятель начал и кончил свое поприще на университетской кафедре. Но между ними обоими есть много общего: оба они были учителями молодого поколения и образовали не столько ученых, сколько людей благородных» (курсив мой.— А. К.).<sup>23</sup>

В литературе Сераковский видел большую идейно и нравственно воспитывающую силу и очень убедительно писал о том, что «любовь к литературе развивает ум, возвышает мысль и доставляет человеку лучшие наслаждения».<sup>24</sup> Он вообще подчеркивал важность литературного образования для человека на любом поприще деятельности.

Пылкий поклонник эстетического учения Н. Г. Чернышевского, Сераковский утверждал, что лишить литературу влияния на общественное мнение и жизнь на рода — значит сделать ее рабской и дряхлой, сделать «пустой игрушкой — ремеслом писать оды и панегирики». Он был глубоко убежден в том, что без больших идей литература «падает и умирает», что «полноту и силу форме» дают лишь «глубокие убеждения».<sup>25</sup> Человек большой и сильной души, Сераковский готов был преклониться и сочувствовать скорби Байрона, «который столько любил и страдал» и ненавидел в литературе пессимистических «„амфибий“... без светлого взгляда и теплого чувства».<sup>26</sup>

<sup>20</sup> «Современник», 1857, № 5, стр. 101.

<sup>21</sup> Очевидно, здесь намек на позорную роль немецкой буржуазии в революции 1848 года.

<sup>22</sup> «Современник», 1857, № 5, стр. 106—107.

<sup>23</sup> Там же, № 4, стр. 332.

<sup>24</sup> Там же, № 3, стр. 170—171.

<sup>25</sup> Там же, № 1, стр. 142.

<sup>26</sup> Там же, 1856, № 12, стр. 275.

Не только содержание, но и стиль публицистических статей Сераковского, в которых часто манера письма становилась очень эмоциональной, агитаторски приподнятой, во многом определялись общими взглядами автора на литературу.

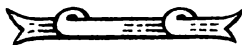
Ознакомление со статьями Сераковского в «Современнике» позволяет нам высказать предположение, что статья «Заграничные известия» в первом номере журнала за 1857 год, автор которой ни в гонимых ведомостях, ни в указателе Масапова не обозначен, также принадлежит С. Сераковскому. Она теснейшим образом связана со статьями Сераковского как по своему идейному содержанию, так и по стилю. Конкретные «внутренние признаки», подтверждающие наше предположение, следующие: 1) характерная акцентировка темы национально-освободительной борьбы; 2) идейно-стилистическая близость.

В анонимной статье январского номера «Современника» по сути дела содержится «заявка», вступление к статье Сераковского «Взгляд на внутренние отношения Соединенных Штатов» («Современник», 1857, № 4). Например, о «бесчинствах приверженцев невольничества в Канзасе», о которых кратко говорилось в анонимной статье январского номера «Современника», подробно было рассказано спустя три месяца в статье «Взгляд на внутренние отношения Соединенных Штатов». Далее: о тех уступках северных штатов южным, о которых вскользь упоминалось в статье январского номера, подробно рассказано в статье «Взгляд на внутренние отношения Соединенных Штатов», причем, иногда есть дословные текстуальные совпадения.<sup>27</sup>

Бросается в глаза и сходство в оценке творчества Бичер-Стоу, в частности, разбора ее романа «Дред».

Все это вместе взятое позволяет раскрыть аноним и автором статьи «Заграничные известия» в январском номере «Современника» за 1857 год считать Сераковского.

Статьи Сераковского в «Современнике» расширяют, конкретно обогащают общую картину глубоких связей русских и польских революционеров 60-х годов. Сотрудничество в «Современнике» Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Михайлова являлось важнейшим этапом идейного роста, формирования замечательного польского революционера и патриота Сигизмунда Сераковского.



<sup>27</sup> В анонимной статье «Современника» (1857, № 1, стр. 140): «...чем более северные были уступчивы, тем более возрастали наглость и бесстыдство южных...» В статье Сераковского «Взгляд на внутренние отношения Соединенных Штатов» («Современник», 1857, № 4, стр. 91): «бесстыдные и наглые действия Юга».



## ШЕВЧЕНКО И РУССКИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ

Глубоко демократический характер поэтического творчества Т. Г. Шевченко не сразу был оценен по достоинству русской прогрессивной критикой, и это следует объяснить как сложностью идейной борьбы в русской литературе 1840-х годов, так и слабой дифференциацией демократических и реакционных сил в новой украинской литературе, находившейся в процессе становления. Украинская литература не имела в то время ни своего печатного органа, ни критики; самая правомерность существования украинского литературного языка и литературы всё еще продолжала вызывать сомнения даже в среде представителей последней (А. Метлинский и др.). Слабое развитие украинской литературной жизни и было причиной таких, казалось бы, трудно объяснимых явлений, как например сотрудничество молодого Шевченко в консервативном «Маяке», с одной стороны, или резко отрицательные и в основе своей ошибочные отзывы В. Г. Белинского об украинском альманахе «Ластовка» (1841) и поэме Шевченко «Гайдамаки» (1841) — с другой.

В то время, когда Белинский ставил под сомнение эстетическую ценность «Гайдамаков», реакционный «Москвитянин» поместил о них на своих страницах восторженный отзыв.<sup>1</sup> Факт этот, при всей своей парадоксальности, поддается вполне удовлетворительному объяснению. Раннее творчество Шевченко, несмотря на свою демократическую сущность, не было всё же осознано революционным. Даже в «Гайдамаках», изображающих вооруженную борьбу украинского народа за свое освобождение, социальный элемент был еще подчинен элементу национальному, вследствие чего антикрепостническая сущность поэмы в начале 40-х годов не могла быть уяснена читателем без надлежащего комментария. Объективный смысл этого подлинно новаторского произведения, главным героем которого выведен участник крестьянского восстания, батрак Ярема, был в полной мере оценен лишь в 60-е годы, в обстановке нарастающего крестьянского движения, оценен прежде всего журналом «Современник».

В 1843—1847 годы, составляющие новый период в творчестве Шевченко, формируется революционно-демократическое мировоззрение поэта и его реалистический художественный метод. Шевченко создает в этот период поэмы «Сон» (1844), «Еретик» (1845), «Кавказ» (1845), «И мертвым и живым» (1845), стихотворения «Холодный яр» (1845), «Завещание» (1845) и ряд других произведений, свидетельствующих об идейной и творческой зрелости поэта. Однако ни одно из называемых здесь произведений не могло в 40-е годы появиться в печати, и благодаря лишь этому обстоятельству реакционный «Маяк» продолжал относить Шевченко к числу «любимейших писателей образованного класса малороссиян».<sup>2</sup> Состоявшийся в апреле 1847 года арест и вскоре за ним последовавшая ссылка поэта должны были заметно охладить симпатии к нему со стороны «образованных классов» украинского общества. Известно, что за 1847—1857 годы немало близких знакомых ссыльного поэта из числа украинских дворян по соображениям предосторожности порвали с ним всякую связь. Эти годы и для самого Шевченко, как это видно из его переписки и «Дневника», были периодом напряженной работы мысли, критического отношения к пройденному пути, личным связям и знакомствам.

С 1847 по 1859 год не только произведения, но и самое имя ссыльного поэта находились под запретом; стихотворения поэта, в том числе и ранее изданные, могли распространяться только неофициальными путями, преимущественно в рукописном виде.

Мы не имеем, к сожалению, до сих пор сколько-нибудь удовлетворительного исследования, посвященного вопросу о популярности имени и произведений Шев-

<sup>1</sup> «Москвитянин», 1843, ч. VI, № 11, «Критика», стр. 242—244; ср.: «Москвитянин», 1844, ч. III, № 6, «Библиография», стр. 71—72.

<sup>2</sup> «Маяк», 1844, т. XIII, кн. XXV, гл. IV, стр. 6.

ченко за период с 1840 по 1860 год, т. е. за время, прошедшее от первого до второго издания «Кобзаря». Тем не менее даже факты, уже отмеченные в литературе, дают возможность утверждать, что известность Шевченко на Украине даже в годы, когда его имя в печати не появлялось, возрастала неуклонно и что увеличение числа читателей и слушателей произведений поэта происходило в значительной мере за счет крепостного крестьянства. Проживавший на Украине Н. А. Маркевич в своем «Дневнике» за 1852 год (запись от 31 августа) писал: «Рассуждение о грамотности крестьян в России. Шевченко и инвентари киевские любимое их чтение».<sup>3</sup> О том, что имя Шевченко было «драгоценно каждому малороссу», писал в 1861 году Н. Г. Чернышевский.<sup>4</sup>

Теснейшая связь Т. Г. Шевченко с крестьянским движением на Украине была продемонстрирована с необыкновенной силой в 1861 году, через несколько месяцев после смерти поэта, когда среди крестьянства Киевской губернии стала распространяться легенда о якобы зарытых в могиле Шевченко, близ Канева, «ножах», предназначенных для крестьянской расправы с панями.<sup>5</sup>

Выдающаяся роль поэтического наследия Шевченко в освободительном движении 1860-х годов была определена во многом общественно-политической позицией, которую занял поэт в последние годы своей жизни, другими словами, — в канун и период революционной ситуации 1859—1861 годов. В названный период окончательно сформировалось революционно-демократическое мировоззрение Шевченко. Поэт ведет в это время самую непримиримую борьбу с носителями крепостнических, либеральных и националистических идей и тенденций. Стремление найти поддержку и союзников в этой борьбе приводит великого поэта Украины в круг «Современника» и «Искры». И неслучайно националист П. Кулиш ставил в упрек поэту то, что он «братался с чужими», т. е. русскими революционными демократами.<sup>6</sup> Установление прочных связей с лагерем русской революционной демократии помогло Шевченко выработать правильную оценку многих явлений украинской и русской общественной жизни, в частности оценку такого сложного направления русской общественной мысли, как славянофильство.

История взаимоотношения великого украинского поэта с представителями славянофильства нигде еще не подвергалась специальному исследованию. А между тем она содержит исключительно ценный материал как для освещения основных проблем творчества Шевченко, так и для характеристики русского и украинского литературного движения 40—60-х годов.

Суждения об отношении Шевченко к славянофильству, встречающиеся в исследовательской литературе, как правило, построены на ограниченном материале и поэтому крайне разноречивы. В дореволюционном литературоведении (в работах Ф. Матушевского, Н. И. Петрова, Н. И. Стороженко и др.) получило широкое хождение мнение о том, что в начале 40-х годов Шевченко увлекался идеями славянофильства. Характерно, что этого мнения одно время не был чужд выдающийся украинский поэт Иван Франко. Остановившись на стихах Шевченко из поэмы «И мертвым, и живым»:

Когда б учились вы, как надо,  
И мудрость бы была своя,—

Франко писал в 1882 году: «Как упивались наши не критичные читатели и критики как этой, так и другой, равносильной ей фразой: „В своей хате своя правда и сила, и воля“ — и никто за сверкающими словами не увидел того, что в этих на первый взгляд патриотических и мудрых словах содержится порядочная доля славянофильского (в духе московских славянофилов) мистицизма и ретроградности».<sup>7</sup>

Упрек в славянофильстве был брошен в адрес Шевченко Иваном Франко в пылу полемики. Франко, как свидетельствует об этом другая его статья «Принадлежит ли Т. Шевченко стихотворение „Славянам?“» (1897), о которой речь будет идти ниже, хорошо понимал, что общественно-политические взгляды Шевченко, с одной стороны, и славянофилов, с другой — были совершенно различны. Между тем у многих других дореволюционных исследователей попытки зачислить великого поэта

<sup>3</sup> Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 488 (архив Н. А. Маркевича), № 41, л. 253 об.

<sup>4</sup> Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. VII, Гослитиздат, М., 1950, стр. 791.

<sup>5</sup> Т. Г. Шевченко в документах і материалах, під ред. Д. Д. Копиці. Київ, 1950, стр. 279—280.

<sup>6</sup> См.: П. А. Кулиш. Сочинения и письма, т. 1, Киев, 1908, стр. 136.

<sup>7</sup> Ив. Франко в. Твори в двадцяти томах, т. XVII, Київ, 1955, стр. 178—179.

Украины в разряд славянофилов покоились на твердом убеждении. Гораздо реже в дореволюционном литературоведении отстаивалось мнение о том, что по отношению к славянофильству Шевченко придерживался скептических, а то и вовсе отрицательных взглядов.<sup>8</sup> Мнение это получило однако распространение в литературоведческих трудах советской эпохи. При этом названное мнение высказывалось всегда мимоходом, и ни в одном исследовании мы не найдем анализа всей суммы относящихся к затронутому вопросу фактов, не говоря уже о том, что и у советских исследователей по вопросу об отношении Шевченко к славянофильству нет общей платформы. Так, например, весьма своеобразную точку зрения по этому вопросу заняла М. Шагинян, которая считает, что «Шевченко ехал из ссылки, любя и уважая славянофилов» и что «имена славянофилов» были в то время для поэта «дорогими».<sup>9</sup>

Основание для зачисления великого украинского поэта в разряд славянофилов некоторые исследователи видели в близости его к Кирилло-Мефодиевскому братству, где славянофильские элементы играли серьезную роль. Названные исследователи усматривали славянофильство Шевченко также и в том, что в творчестве поэта всегда находила живой отклик славянская тема, пропаганде которой немало внимания и сил уделяли также и славянофилы. В силу этого представляется необходимым выяснить вопрос о том, когда и как возникает у Шевченко славянская тема и в каком отношении находится она у него к идеям Кирилло-Мефодиевского общества и славянофильства.

Огромный интерес для исследователя представляет самый ранний отклик Шевченко на «славянскую» тему, а именно,— в поэме «Гайдамаки» (1841), в главе «Гупалившина», где поэт сожалеет о существовавшей в прошлом национальной розни между украинским и польским народами. Эта мысль отражена также и в послесловии к поэме, где «казаки» и «ляхи» названы «детьми одной матери», «славянами». «Сердце болит, а рассказывать надо: пусть видят сыновья и внуки, что отцы их ошибались, пусть братаются вновь со своими врагами. Пусть житом, пшеницею, как золотом покрыта, неразмежована останется навеки от моря и до моря славянская земля».<sup>10</sup>

Эту же мысль развивает поэт и в следующем монологе главного героя исторической драмы «Никита Гайдай», создание которой относится также к 1841 году: «Славяне, несчастные славяне! Так нещадно и так много пролито храброй вашей крови междоусобными ножами! Ужели вам вечно суждено быть игралищем иноплемеников? Настанет ли час искупления? Придет мудрый вождь из среды вашей погасить пламеник раздора и слить воедино любовь и братством могущественное племя!» (III, 77).

Известно, что вскоре, к середине 40-х годов, славянская тема в творчестве Шевченко займет одно из важнейших мест.

Появление темы славянского единения в раннем творчестве Шевченко один из исследователей безоговорочно приписывает воздействию поэтических произведений А. С. Хомякова.<sup>11</sup> Однако всем без исключения стихотворениям Хомякова, посвященным славянскому единству, как известно, присуща панславистская, монархическая тенденция, которой был чужд Шевченко; к тому же, в 1841 году славянофильские стихотворения Хомякова вряд ли могли быть известны молодому украинскому поэту. Стихотворение «Ода» (1830) и «Орел» (1832) к этому времени еще не были напечатаны, а другие славянофильские стихотворения Хомякова («Не гордись перед Белградом» и др.) даже не были еще написаны.

Не выдерживает серьезной критики также и версия о влиянии, якобы оказанном на молодого Шевченко славянофильскими статьями «Москвитянина» и «Маяка», версия, поддержанная в работах Ф. Матушевского, В. Гнатюка и других исследователей.

Влияние славянофилов в «Москвитянине» в первые годы существования последнего, как известно, не было значительным. Оно усилилось на некоторое время в первый раз в 1845 году, когда журнал временно перешел в руки И. В. Киреевского, а во второй — с 1850 года, когда направление журнала стало во многом зависеть от его «молодой редакции». Примечательно, что в первые два года существования журнала (1841—1842) ни в отделе «Славянские известия», ни в других отделах «Москвитянина» тема славянского единения вообще не поднималась.

<sup>8</sup> См., например, І Г. Черняхівський. Т. Шевченко і слов'янофіліство. Катеринослав, 1915, стр. 14 и сл.

<sup>9</sup> М. Шагинян. Тарас Шевченко. М., 1946, стр. 301, 302.

<sup>10</sup> Тарас Шевченко, Собрание сочинений в пяти томах, т. I, Гослитиздат, М., 1955, стр. 231. В дальнейшем ссылки на это издание (1955—1956) приводятся в тексте. Цитирование по другим источникам оговаривается особо.

<sup>11</sup> См.: В. А. Францев. А. С. Хомяков — поэт-славянофил. В книге: А. С. Хомяков. Стихотворения. Прага, 1934, стр. 72—73.

Гораздо большего внимания заслуживает вопрос о характере связей Шевченко с журналом «Маяк», подтверждаемых фактом сотрудничества в нем молодого поэта.<sup>12</sup>

Руководимый С. А. Бурачком «Маяк» принадлежал к числу самых ревностных защитников уваровской формулы: «самодержавие, православие и народность». Малеишие попытки отрицания окружающей действительности встречали резкое осуждение со стороны Бурачка. Подозрительное отношение редактора «Маяка» к «отрицательным началам» распространялось не только на современную русскую, но и на мировую литературу, не исключая античной. «А помните ли,— писал Бурачок в 1843 году,— в какой восторг приводил всю Францию миф Прометей, который с таким жаром воспевали перед французской революцией все якобинские поэты... Достоинство замечания, что неистовые певцы Прометея почти все пали в числе первых жертв революции».<sup>13</sup>

Эта злобная тирада, которую следует оценить как несколько запоздавший ответ на восторженную оценку, данную древнему мифу о Прометее Белинским,<sup>14</sup> дает вполне ясное представление о том, что по такому важному вопросу, как отношение поэта к окружающей его действительности, Шевченко и Бурачок стояли на противоположных позициях. Уместно будет тут же отметить, что приблизительно в то время, когда Бурачок пытался выбросить из современного литературного обихода миф о Прометее, Шевченко создавал свою поэму «Кавказ» (1845), в которой титанической образ Прометея-борца ассоциируется с образом народа, вдохновенно и стойко сражающегося за свою свободу.

Мысль о том, что с «Маяком» и его редактором у молодого Шевченко не могло быть общей идейной платформы, выводится не только априорно, но и подтверждается конкретными документальными данными, к числу которых прежде всего следует отнести рецензию Н. Тихорского, одного из ведущих сотрудников «Маяка», на поэму Шевченко «Гайдамаки». Рецензент предьявлял автору поэмы обвинение в том, что «зверскую историю гайдамаков» он выдает за «геройское удалство».<sup>15</sup>

Солитаризируясь с точкой зрения Тихорского и обвиняя Шевченко в пристрастии к «языческой поэзии», Бурачок в редакционном примечании к рецензии писал: «Стало быть, основание поэмы г. Шевченко, при всей чистоте его настроения, неверно; т. е. он рисует людей... не такими, какими должна их видеть и представлять история и поэзия христианская, озаренная откровением неведомых для язычества путей, судеб и тайн божия строительства и управления миром».<sup>16</sup>

«Христианская» точка зрения на мир, которую Бурачок рекомендовал усвоить писателям, в том числе и молодому Шевченко, была не чем иным, как проповедью примирения с окружающей действительностью. Свой совет украинскому поэту Бурачок повторил и в 1844 году, в рецензии на альманах «Молодик на 1843 год» (часть вторая). Разбирая в названной рецензии стихотворение Шевченко «Думка» («Тяжко важко в світі жити»), Бурачок отрицал за ним сколько-нибудь серьезное содержание: «...пошел казак, сумуючи, на чужую сторону и горюет, что ему пришлось там загнута! Где же теперь эта чужая сторона для казака: в Турции? в Алжире? в Немецине? — то кто ж ему велел туда идти! Если же он, живя в Тверской или Петербургской губернии, считает себя на чужой стороне, то право же улыбнешься этому поэтическому анахронизму».<sup>17</sup> Неприязнь к элементам «отрицания существующей действительности» явно ощущается и в отзыве Бурачка о втором стихотворении Шевченко, напечатанном в «Молодике». «Утоплена (баллада) Т. Шевченко — мимо! не лежит душа моя к вздорной поэзии утопленников, удавленников, искрошенных, раздавленных. Как материал народных, языческих поверий, эта баллада подлежит ведомству холодной этнографии, а не изящной мовы».<sup>18</sup>

Заканчивая свою рецензию на альманах «Молодик», Бурачок обращался к молодым украинским писателям с советом отрешиться от «тоски» и «душевной пустоты», «материализма» и «атеизма».<sup>19</sup>

Вряд ли есть необходимость доказывать, что и советы, и угрозы Бурачка были адресованы в первую очередь Шевченко, так как именно в его произведениях и были обнаружены строгим блюстителем «христианской» поэзии наибольшие отклонения от

<sup>12</sup> В журнале «Маяк» Шевченко напечатал отрывок из драмы «Никита Гайдай» («Маяк», 1842, т. V) и поэму «Бесталаный» («Тризна»), («Маяк», 1844, т. XIV). О личных связях Шевченко с Бурачком см.: Тарас Шевченко, Собрание сочинений в пяти томах, т. V, 1956, стр. 259—260 и 555.

<sup>13</sup> «Маяк», 1843, т. X, гл. IV, стр. 125.

<sup>14</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 320—325; ср. там же, т. IX, стр. 276.

<sup>15</sup> «Маяк», 1842, т. IV, кн. VIII, гл. IV, стр. 93 и 95.

<sup>16</sup> Там же, стр. 96, ср. также стр. 105.

<sup>17</sup> Там же, 1844, т. XIII, кн. XXV, гл. IV, стр. 8.

<sup>18</sup> Там же, стр. 17.

<sup>19</sup> Там же, стр. 23.

предписываемых им норм. То обстоятельство, что поэтическое творчество Шевченко развивалось в направлении, диаметрально противоположном «предначертиям» Бурачка, дает нам право решительным образом утверждать, что сотрудничество Шевченко в журнале «Маяк» не оказало на поэта никакого идейного воздействия. Это сотрудничество следует объяснить тем обстоятельством, что «Маяк», выступая в роли «покровителя» украинской литературы, помещал в отдельных случаях на своих страницах произведения на украинском языке.

Само собою разумеется, что нет никаких оснований и для того, чтобы возникновение славянской темы в поэзии Шевченко ставить в зависимость от охранительных статей «Маяка». Характерно, что в статьях основных сотрудников журнала (Бурачок, Тихорский и др.) славянская тема никогда не затрагивалась. Авторами «славянских» статей в «Маяке» выступали преимущественно москвичи, сотрудники «Москвитянина» (И. П. Боричевский, Ф. Л. Моршкин, Н. В. Савельев-Ростиславич). Показательно, наконец, и то, что ни А. С. Хомяков, ни братя Аксаковы, ни И. В. Киреевский, ни Ю. Ф. Самарин участия в «Маяке» не принимали.

Возникновение идеи о необходимости единства славянских народов у молодого Шевченко некоторые исследователи связывали со статьей Яна Коллара «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими», напечатанной в первой и второй книжках «Отечественных записок» за 1840 год. Эту точку зрения также нельзя признать состоятельной, так как, хотя в статье Яна Коллара все славяне и рассматривались как «братья одного великого семейства», никаких задач политического объединения славянских народов она перед собой не ставила. Существующий порядок вещей Ян Коллар рассматривал как незывлемый, утверждая при этом, что проповедуемая им «литературная взаимность» «уживается при всех образах правления, не касается законов и обычаев чужих земель». «...Взаимность,— заявлял Ян Коллар,— не состоит в политическом соединении всех славян; в каких-либо демагогических происках или революционных возмущениях против правительства и государей, откуда происходит замешательство и несчастье».<sup>20</sup>

Таким образом, ни стихотворениями Хомякова, ни программными статьями «Москвитянина» и «Маяка», ни взглядами Яна Коллара нельзя объяснить пафоса «Гайдамаков» и «Никиты Гайдая», в которых так явственно прозвучал призыв к единению и дружбе всех славянских народов.

Ближе чем другие исследователи, на наш взгляд, подошел к решению вопроса А. И. Белецкий, усмотревший во взглядах Т. Г. Шевченко по «славянскому вопросу» сходство с аналогичными взглядами декабристского Общества соединенных славян.<sup>21</sup> При этом исследователь ограничился указанием лишь на один вероятный, по его мнению, источник, которым мог якобы вдохновиться украинский поэт,— стихотворение А. И. Одоевского «Славянские девы».

Вряд ли было бы правомерно, однако, взгляды Шевченко по «славянскому вопросу» возводить к одному стихотворению, опубликованному к тому же лишь в 1859 году. Вопрос о том, каким образом могли стать доступны украинскому поэту идеи Общества соединенных славян, очевидно, может быть решен путем выяснения всех возможных декабристских связей поэта.

Изучение темы «Шевченко и декабристы», к сожалению, не намного продвинулось вперед за последние 30 лет, точнее, с того времени, как появилось первое (и последнее!) серьезное исследование на эту тему.<sup>22</sup>

Так как настоящая статья не ставит перед собой задачу всестороннего освещения вопроса о декабристских знакомствах украинского поэта, то мы остановимся здесь лишь на одном из таких знакомств, наиболее содержательном, с нашей точки зрения, а именно, на знакомстве Шевченко с известным художником и вице-президентом Академии художеств Ф. П. Толстым (1783—1873). Это знакомство возникает, вероятно, не позднее 1838 года; во всяком случае дочь художника, Е. Ф. Юнге, полагает, что отец ее принимал участие в освобождении юноши Шевченко от крепостной зависимости.<sup>23</sup> Известно, что Шевченко учился у Ф. П. Толстого гравировальному искусству, хотя, вероятно, не одни только профессиональные интересы связывали молодого художника с маститым вице-президентом Академии художеств. Несмотря на большую разницу в возрасте и официальном положении, Т. Г. Шевченко и Ф. П. Толстой были довольно тесно связаны друг с другом;<sup>24</sup> они встречались на

<sup>20</sup> «Отечественные записки», 1840, т. VIII, № 1, отд. II, стр. 3.

<sup>21</sup> О. І. Білецький. Шевченко і слов'янство. Сб. «Т. Г. Шевченко в критиці». Київ, 1953, стр. 220.

<sup>22</sup> См.: П. Филипович. Шевченко і декабристи. Київ, 1926.

<sup>23</sup> Е. Ф. Юнге. Воспоминания о Шевченке. «Вестник Европы», 1883, кн. 8, стр. 837.

<sup>24</sup> Воспоминания А. Н. Струговщикова. «Русская старина», 1874, т. IX, стр. 701—702.

вечерах А. Н. Струговщикова, Н. А. Маркевича и Н. В. Кукольника.<sup>25</sup> Дом Толстых в свою очередь был местом для собраний петербургских художников и писателей. Несомненно, что Шевченко был постоянным посетителем этих собраний.

Не приходится сомневаться также и в том, что когда впоследствии Шевченко обращался с просьбой спасти его от ужасов ссылки именно к Ф. П. Толстому, то он имел для этого какое-то моральное право и не сомневался в дружеском участии. Роль, которую сыграл Ф. П. Толстой в освобождении сосланного поэта, достаточно хорошо известна. Известно, наконец, и то, какой теплотой и вниманием был окружен в доме Толстого Шевченко по своему возвращении в Петербург в начале 1858 года.

Выясняя отношения, сложившиеся между Шевченко и Ф. П. Толстым в самом начале их знакомства, важно указать на декабристские связи Ф. П. Толстого. По отзыву декабриста И. Д. Якушкина, Толстой был одним из «самых значительных и ревностных» членов Союза Благоденствия.<sup>26</sup> Правдивость этого показания подтверждается также рядом других данных.<sup>27</sup> В связи с событиями 14 декабря 1825 года Ф. П. Толстой подвергался аресту, хотя вскоре и был за недостаточностью улик выпущен на свободу. В начале 20-х годов Ф. П. Толстой был теснейшим образом связан с К. Ф. Рылевым, Ф. Н. Глинкой и многими другими декабристами. Правда, ко времени, когда Шевченко познакомился и сблизился с Толстым, декабристские взгляды последнего заметным образом эволюционировали в сторону либерализма. Однако и в период 40—60-х годов Ф. П. Толстой, по словам его дочери, «продолжал быть тем, чем он был прежде: горячим защитником всего свежего, молодого, сочувствующим всякому движению вперед, всякому благому начинанию, с ясным, широким взглядом на вещи».<sup>28</sup>

Не только в 40-е, но и позднее, в конце 50-х годов, в кругу своей семьи и близких к ней лиц Ф. П. Толстой любил, и всегда с неизменным сочувствием, вспоминать о декабристах.<sup>29</sup>

Все сказанное выше дает нам основание считать, что Ф. П. Толстой и его окружение, вероятно, были для молодого Шевченко одним из важнейших источников его представлений и познаний о восстании декабристов, его участниках, их замыслах и их взглядах. Знаменательно, что дом Толстого после возвращения Шевченко из ссылки служил местом для его встреч с декабристами.<sup>30</sup>

Исследуя вопрос о путях приобщения Шевченко к идеям декабризма и, в частности, к идеям Общества соединенных славян, нельзя не остановиться также и на ранних польских, точнее, белорусско-польских связях украинского поэта. Исключительно важный материал на эту тему содержит забытая статья Ромуальда Земкевича «Тарас Шевченко и белоруссы», основанная на недошедших до нас рукописных источниках и напечатанная в 1911 году в белорусской газете «Наша нива». «Живя в Петербурге,— сообщает автор названной статьи,— Шевченко познакомился в 1839 году с белорусским писателем Яном Барщевским. Вокруг Барщевского группировались в то время и другие белоруссы... Шевченко, познакомившись со всеми этими белоруссами, обратился к ним с просьбой прочитать ему их белорусские произведения и особенно заинтересовался белорусскими народными песнями... Народные песни понравились Шевченко, но литературные произведения белорусских писателей он немного критиковал, говоря, что в них мало чисто народного элемента. Об „Энеиде“ Маньковского Шевченко заметил, что в этом творении более, чем в других, выражен чисто белорусский элемент и что поэтому оно для него более всего интересно. Вслед за этим Шевченко подбадривал белоруссов, чтоб они не оставляли своих трудов для народа, ибо это их обязанность, а труды их, несмотря на тяжелые условия, не пропадут даром...»<sup>31</sup>

Ценность сообщения Р. Земкевича состоит прежде всего в том, что оно расширяет наши представления о ранних интересах Шевченко к поэтическому творчеству славянских народов, в частности, белорусского народа. Указание Ромуальда Земкевича на знакомство молодого Шевченко с окружением Яна Барщевского позволяет,

<sup>25</sup> Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 488 (архив Н. А. Маркевича, № 39, лл. 44 и 48 об.).

<sup>26</sup> И. Д. Якушкин. Записки, статьи и письма декабриста. М., 1951, стр. 29.

<sup>27</sup> См.: Н. Н. Коваленская. Художник-декабрист Ф. П. Толстой. Сб. «Очерки из истории движения декабристов». М., 1954, стр. 516—560.

<sup>28</sup> Е. Ф. Юнге. Воспоминания (1843—1860). Изд. «Сфинкс», б/г., стр. 51.

<sup>29</sup> Там же, стр. 116.

<sup>30</sup> В письме к поэту от 19 апреля 1858 года А. И. Толстая писала: «Приходите к нам сегодня обедать, я угощу вас беседой Штенгеля (декабриста)». Твори Тараса Шевченка, т. III. Листування. ДВУ, 1929, стр. 306.

<sup>31</sup> «Наша нива, першая беларуская газэта», 1911, № 8, 24 лютаго (февраля), стр. 118. По заявлению автора статьи, Ромуальда Земкевича, приведенные выше сведения взяты им из частного письма Винцента Реутта к Игнатию Легатовичу

на наш взгляд, дополнить существенным образом характеристику не только литературных, но отчасти и политических связей и знакомств молодого украинского поэта. Дело в том, что Ян Баршевский на протяжении ряда лет (1839—1844) возглавлял издававшийся в Петербурге на польском языке альманах «Незабудка» (всего вышло пять выпусков). У одного из современников и участников описываемых событий мы находим любопытнейшее свидетельство о том, что альманах этот «издавался польской молодежью, обучавшейся в университете».<sup>32</sup> В какой однако мере был связан в 1839—1844 годы Шевченко с молодежью белорусского и польского происхождения, обучавшейся в С.-Петербургском университете? Ответом на этот вопрос, на наш взгляд, может служить автобиографическая повесть Шевченко «Художник» (1856), в которой с большой теплотой и симпатией от лица главного героя повести изображен образ его друга, студента-поляка Леонарда Демского, восторженного поклонника Лелевели и Мицкевича. Жизненный прототип Демского исследователями пока еще не раскрыт, однако сомневаться в его исторической реальности у нас нет оснований. По данным повести «Художник», Шевченко познакомился с «Демским» в начальный период своего пребывания в Академии художеств, т. е. приблизительно в 1838—1840 годы. Лелевель был «идолом» для Демского, и это дает нам основание считать, что беседы и встречи последнего, точнее, его прототипа, с Шевченко носили «запретный» характер, поскольку запретным в то время в России было самое имя Лелевели. Превосходно образованный Демский должен был обсуждать с молодым украинским поэтом как тему польского восстания 1830 года, так и декабристскую тему. Заметим кстати, что среди участников польского освободительного движения 1830-х годов идеи Общества соединенных славян были особенно популярны. Так, например, в воззвании 1831 года «Поляки к Россиянам!» мы находим следующее место о декабристах и «русской свободе»: «Она соединила навсегда сердца двух доблестных, единоплеменных народов. Она запечатлела великий Союз Славянских племен».<sup>33</sup>

Из сказанного выше следует, что возникновение славянской темы у Шевченко вовсе не обязательно нужно возводить к какому-либо одному источнику. Можно предполагать, что еще до своего вступления в литературу молодой украинский поэт обладал довольно разнообразными представлениями не только о культурной жизни отдельных славянских народов, но также и об историческом прошлом и современном положении последних. Утверждать, что славянская тема появляется у молодого поэта под воздействием славянофильского учения, было бы неправильно прежде всего потому, что первые печатные выступления славянофилов о славянском единстве появляются намного позднее, чем возникают они у Шевченко (1841). Мысль о том, что славянская тема возникает у автора «Гайдамаков» в результате его деятельного общения с лучшими представителями русской и польской, украинской и белорусской общественности, гораздо ближе к истине. Связи молодого Шевченко со студентами С.-Петербургского университета, а также с Ф. П. Толстым и его окружением — это, разумеется, весьма вероятные, но отнюдь не единственные источники, через посредство которых поэт приобщался к декабристской идеологии и к программным установкам Общества соединенных славян. «Пусть житом, пшеницею, как золотом покрыта, неразмежована останется навеки от моря и до моря славянская земля». В этих словах из послесловия к «Гайдамакам» Шевченко несомненно имел в виду не настоящее, а будущее; и не насильственное, а братское единство славянских народов, причем единство, облеченное в какие-то государственные, политические формы («неразмежованная славянская земля»). Именно такой могущественный союз вольных славянских республик, простирающийся до берегов четырех морей, и предусматривала программа Общества соединенных славян.<sup>34</sup>

Идеи Общества соединенных славян были довольно широко известны в среде декабристов, а после 1825 года — в среде испытавшей влияние декабризма молодежи. Заметим кстати, что в «Книгах бытия украинского народа», которые были составлены для Кирилло-Мефодиевского общества Н. И. Костомаровым в 1846 году, о декабристах было сказано следующее: «По смерти царя Александра русские хотели изгнать царя и дворянство уничтожить, учредить республику и всех славян соединить с нею по образу божественных ипостасей, нераздельно и несмесиемо» (§ 105). Наиболее вероятным источником названного параграфа «Книг бытия» был «Доклад следственной комиссии 30 мая 1826 г.», в котором излагались некоторые идеи Общества соединенных славян и который был найден у Костомарова при его аресте.<sup>35</sup> Если в 1846 году идеи Общества соединенных славян стали достоянием

<sup>32</sup> Julian Bartoszewicz. Historia Literatury polskiej. Warszawa, 1861, стр. 563.

<sup>33</sup> См.: П. Попов. Революційна прокламація польських повстанців 1831 року з згадкою про декабристів. Сб. «Декабристи на Україні», т. II, Київ, 1980, стр. 137—141.

<sup>34</sup> М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, М., 1955, стр. 133—182.

<sup>35</sup> А. И. Бортников. Кирилло-Мефодиевское общество. «Труды исторического факультета Киевского государственного университета», т. I, 1940, стр. 244.

Костомарова, то нет ничего удивительного и в том, что за несколько лет до этого они могли стать известны и Шевченко.

Следует подчеркнуть и то, что декабристские идеи были творчески усвоены украинским поэтом. И в «Гайдамаках», и в драме «Никита Гайдай» Шевченко выступает от имени украинского народа, голос и права которого не были представлены ни в программных документах Общества соединенных славян, ни в каких-либо иных документах политической мысли декабристов.

Вместе с тем было бы ошибкой считать, что дальнейшее развитие славянской темы в сознании и творчестве украинского поэта протекало совершенно в стороне от разработки этой темы славянофилами в различных сферах жизни (славянская филология, публицистика, художественная литература и т. д.). Было бы также неправильно рассматривать русское славянофильство без учета той эволюции, которую оно пережило за период с 40-х по 60-е годы. Серьезный интерес к проблеме народности и культурной жизни славянских стран, известная оппозиционность отдельных славянофилов к режиму самодержавия — всё это сообщало идеям славянофильства в 40—50-е годы некоторую притягательную силу в среде демократической русской общественности. Достаточно хорошо известно, что духовное развитие А. И. Герцена в названный период совершалось под заметным воздействием славянофильства. Известно также и то, что даже Белинский, отвергший славянофильскую доктрину уже в момент ее появления, всё же до конца дней продолжал делить славянофилов на «лучших» и «худших». Следует напомнить, наконец, и о том, что даже такого выдающегося представителя русской революционной демократии, как М. Е. Салтыков-Щедрин, по его собственному признанию, в 50-е годы сильно тянуло «в сторону славянофилов». Думається, что об известном усвоении и вместе с тем о преодолении славянофильских воззрений можно говорить и применительно к Шевченко. Правомерность подобного взгляда находит свое обоснование, в частности, и в том, что Шевченко, при всей самостоятельности его позиции в Кирило-Мефодиевском обществе, считал для себя возможным сотрудничать с его членами, испытывавшими на себе несомненное влияние славянофильского учения. Несомненно, наконец, и то, что Шевченко внимательно изучал и высоко ценил отдельные научные труды, созданные славянофилами и примыкавшими к ним лицами, в особенности труды О. М. Бодянского и И. И. Срезневского. Вместе с тем ни высокая оценка, ни даже использование названных трудов в поэтической деятельности украинского поэта еще не свидетельствуют о его примирении с идеологией славянофильства, тем более потому, что принадлежность к славянофильскому лагерю самих Бодянского и Срезневского носила весьма условный характер. Срезневский, в частности, неоднократно заявлял, что русское славяноведение, представителем которого он себя считал, развивалось независимо от учения славянофилов, или, как он иронически их называл, «псевдославоманов». «Теперь по необходимости у нас отделились слависты и славянофилы, как две партии, ничем не связанные», — писал Срезневский В. Ганке 1 февраля 1848 года.<sup>36</sup>

Весьма условной была также близость к славянофилам и у О. М. Бодянского, с которым Шевченко познакомился в феврале 1844 года и с которым до конца своей жизни находился в добрых отношениях. Бодянский обладал не только колоссальной эрудицией в вопросах истории, быта и культурного возрождения славянских стран, но и большими знакомствами с виднейшими представителями русского и зарубежного славяноведения. Уже к началу их знакомства Бодянский видел в лице Шевченко выдающегося поэта славянского мира, всеславянской известности которого он всячески содействовал, используя для этого свои обширные заграничные связи. Уже в 1840-е годы Бодянский сумел познакомить с творчеством великого украинского поэта многих зарубежных славистов, в том числе и выдающегося чешского слависта Шафарика. Немаловажное значение имело знакомство с Бодянским и для Шевченко. В конце 1845 года под заметным воздействием Бодянского Шевченко написал поэму «Еретик». Бодянский первый обратил внимание Шевченко на работу С. Палаузова «Иоани Гус и его последователи» (М., 1845) и снабдил поэта самыми разнообразными сведениями о гуситском движении. Однако и Палаузов, и Бодянский, как справедливо отмечает И. Я. Айзеншток, «не поднимались в своем понимании Гуса выше обычных в то время представлений о нем как об исключительно религиозном реформаторе. Между тем для Шевченко Гус — прежде всего народный вождь, а его борьба с сильными мира сего — борьба за право народа, за осуществление его чаяний» (I, 502).

При работе над поэмой Шевченко не ограничился теми сведениями, которые были получены им от Бодянского. Поэт «прочел все источники о гуситах и эпохе, им предшествовавшей, какие только можно было достать, а чтобы не наделать промахов против народности — не оставлял в покое ни одного чеха, встречавшегося

<sup>36</sup> Письма к В. Ганке из славянских земель, изд. В. А. Францева. Варшава, 1905, стр. 1061.



в Киеве или других местах, у которых расспрашивал топографические и этнографические подробности».<sup>37</sup>

В поэме «Еретик» звучала резкая нота протеста против претензий Ватикана на мировое господство, а также против германской экспансии в отношении славянских народов, и это, на первый взгляд, сближало поэму Шевченко с некоторыми публичными выступлениями русских славянофилов. Однако протест Шевченко был направлен против всех видов национального угнетения, откуда бы оно ни исходило. В инвективах поэта против Ватикана и католицизма нет ни восхищения восточной церковью, ни каких-либо иных особенностей славянофильской теологии. Идеи, поднятые в поэме «Еретик», перекликались с коренными вопросами русской общественной жизни и борьбы 40-х годов.

Кругом неправда и неволя,  
Народ замученный молчит,  
А на апостольском престоле  
Монах раскормленный сидит.  
Он кровью, как в шинке, торгует,  
Твой светлый рай сдает внаем!  
О царь небесный! Суд твой всеу,  
И всеу царствие твое.

(I, 341).

Расшифровать скрытые намеки поэмы не представляло большого труда, и вследствие этого поэма впервые могла появиться в печати в полном виде только в 1906 году.

Постановка славянского вопроса в «Еретике» отличается широтой взгляда, чуждой славянофильской узости и тенденциозности. Несмотря на известную идеализацию Шафарика, Шевченко выступает в поэме сторонником свободного союза славянских народов, выражает готовность бороться за то,

Чтобы стали все славяне  
Братьями-друзьями,  
Сыновьями солнца правды  
И еретиками,  
Вот такими, как Констанцкий  
Муж великий, правый!

(там же).

Союз славянских народов поэт сравнивает с многоводным морем, в которое вливаются в свободном движении «славянские реки». Поэтический этот образ был подготовлен глубоким и длительным процессом идейного развития поэта.

В момент, когда создавалась поэма «Еретик», славянофилы успели уже довольно всесторонне изложить свою доктрину. Известно, что обострение борьбы между московскими славянофилами и западниками, вызванное распространением памфлета Н. М. Языкова «К ненашим», относится к концу 1844 года. Усиление активности славянофилов заставило Белинского почти половине обзора «Русская литература в 1844 году» посвятить полемике с А. С. Хомяковым и Н. М. Языковым. В письме к А. И. Герцену от 26 января 1845 года, имея в виду славянофилов, Белинский писал: «Теперь я этих каналов не оставляю в покое».<sup>38</sup>

В последующих статьях 1845 года («Тарантас», «Славянский сборник» и др.) Белинский с достаточной ясностью изложил свои доводы против славянофилов. С появлением названных статей споры о славянофильстве приобретают самую широкую популярность. Полемика вокруг славянофилов была несомненно известна Шевченко, и поэтому она безусловно учитывалась поэтом при написании им поэмы «Еретик».

Наглядным подтверждением того, что Шевченко находился в курсе споров о славянофилах, является и другое произведение поэта, написанное в 1845 году «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам моим, на Украине и не на Украине сушим, мое дружеское послание» (точная дата написания его, 14 декабря 1845 года, как заметил в свое время еще В. И. Семевский, указывает на то, что поэт посвятил это произведение памяти декабристов). Смелый и глубокий взгляд на современное положение и жизнь народа, на обострение классовой борьбы на Украине («хуже ляха свои дети ее распинают») позволили поэту взглянуть новыми глазами и на историческое прошлое своей родины, изображенной в названном «послании»-поэме без малейшей идеализации, с беспощадной правдивостью.

<sup>37</sup> А. Чужбинский. Воспоминания о Т. Г. Шевченко. СПб., 1861, стр. 13.

<sup>38</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1956 стр. 250.

Рабы, холопы, грязь Москвы,  
Варшавский мусор ваши паны,—  
И гетманы, и атаманы!

(I, 413).

Глубоко и бесстрашно проникая в самую сущность социальных процессов на Украине как в прошлом, так и в настоящем, Шевченко пытается приоткрыть завесу будущего:

Опомнитесь! Будьте люди,  
Иль горе вам будет:  
Скоро разорвут оковы  
Скованные люди.  
Суд настанет, грозной речью  
Грянут Днепр и горы,  
Детей ваших кровь польется  
В далекое море  
Сотней рек. Вам ниоткуда  
Помощи не будет:  
Брат от брата отречется,  
Сын про мать забудет;  
И дым тучею закроет  
Солнце перед вами,  
И прокляты вы будете  
Своими сынами.

(I, 410—411).

В то время, когда славянофилы усиленно разрабатывали «теорию» о якобы присущем славянским народам смиренности и покорности, Шевченко приходил к мысли о правомерности и неизбежности крестьянского восстания, и эта противоположность взглядов по вопросу о путях и средствах борьбы с крепостничеством и об отношении к самодержавию исключала возможность идейного союза между славянофилами и Шевченко.

В послании «И мертвым, и живым» мы находим и конкретный отклик поэта на споры о западниках и славянофилах. Шевченко осуждает представителей западных теорий, тех, которые «рвутся на чужбину искать великого добра».

Просветить хотят сыночки  
У матери<sup>39</sup> очи  
Современными огнями,  
Чтобы шла за веком,  
Шла за немцами слепая  
Бедная калека.

(I, 414).

Однако с не меньшей силой гнева и сарказмом отзывается поэт и о славянофилах.

Изучаете Коллара  
Изо всей-то силы  
И Шафарика, и Ганку,  
И в славянофилы  
Так и претесь. Все языки  
Славян изучили,  
О своем же, о природном  
Языке забыли.

(I, 412).

Между западниками, с одной стороны, и славянофилами — с другой, с точки зрения Шевченко, разница несущественная. И те и другие в одинаковой мере оторваны от народа, не знают его истинных нужд. И вместе с тем, согласно взгляду поэта, изучение положения народа, постижение самых затаенных его чаяний не вле-

<sup>39</sup> Слово *мать* употреблено здесь в значении *родина, Украина (Ред.)*.

чет за собою отрицания культуры Запада. В отличие от славянофилов Шевченко не признавал существования неразрешимого конфликта между психическим складом, культурой и историческими судьбами народов Запада и своего родного народа. В постановке вопроса об освоении культуры Запада («I чужому научайтесь, й своего не цурайтесь») Шевченко выступал не мистиком, а рационалистом.

В послании «И мертвым, и живым» можно найти не один пример конкретного ознакомления поэта с историей распространения славянофильского учения в России. Так, например, когда Шевченко говорит о славянофилах, изучивших все языки, за исключением своего родного, то он имеет в виду тяготеющую к славянофильству дворянскую молодежь украинского происхождения.

Типичным представителем упомянутой разновидности славянофильства являлся Г. П. Галаган. Воспитанник и ученик известного славянофила Ф. В. Чицова, Галаган находился в дружеских взаимоотношениях со всеми лидерами славянофильства, испытывая на себе влияние их идей. Шевченко познакомился с Галаганом не позднее мая 1840 года. В переписке поэта имя Галагана мелькает довольно часто: неоднократно встречается это имя и в повести Шевченко «Музыкант»; кстати сказать, в последней изображено на редкость бесправное и бедственное положение крепостных крестьян помещика Галагана в начале 40-х годов, и в этом проявилось глубоко отрицательное отношение поэта-гуманиста к либеральным замашкам и славянофильским затеям этого помещика-крепостника.

Из числа знакомых Шевченко, тяготевших к идеям славянофилов, следует назвать также П. А. Лукашевича. В 30-е годы Лукашевич занимался украинской этнографией и в 1836 году выпустил анонимно весьма содержательный сборник «Малороссийские и червонорусские народные думы и песни». Связь Лукашевича с славянофилами была закреплена его сотрудничеством в «Москвитяине»: Лукашевич находился, кстати сказать, в переписке с В. Ганкой и Я. Колларом. Познакомившись с Лукашевичем летом 1843 года, Шевченко заинтересовался его познаниями в области славянских литератур и языков. Характерно, однако, что знакомство это продолжалось недолго. Осенью 1843 года Шевченко порвал всякие связи с Лукашевичем, который, по словам В. Н. Репниной, «оскорбил его <поэта> грубо, низко, подло, попрекнув его его происхождением».<sup>40</sup>

Если поэма «И мертвым, и живым» крайне важна для выяснения вопроса о взгляде Шевченко на славянофильство, то история отношений поэта к «славянофильствующим» Г. П. Галагану и П. А. Лукашевичу может в свою очередь служить комментарием к названной поэме. Белинский неустанно твердил о реакционной сущности славянофильства, опираясь на анализ трудов и учения славянофилов. Шевченко приходил почти к аналогичному выводу, наблюдая отдельных представителей славянофильства в жизни, в их противоречиях между словами и делом, в их слепой приверженности к дворянским предрассудкам и привычкам.

Галаган и Лукашевич далеко не единичное явление в среде украинской дворянской интеллигенции. Влияние славянофильских идей в той и иной мере испытали на себе и П. А. Кулиш,<sup>41</sup> и М. А. Максимович и Н. И. Костомаров, не говоря уже о целом ряде других, менее значительных представителей украинского дворянского либерализма 40-х годов.

Мысли по славянскому вопросу и отзыв о славянофилах, высказанные в поэме «Еретик» и послании «И мертвым, и живым», способствуют также и уяснению той своеобразной позиции, которую занимал Шевченко в Кирилло-Мефодиевском обществе. Ни строгой программы и единства взглядов по славянскому (национальному) вопросу, как, впрочем, и по другим вопросам, названное общество не имело. В этом отношении для исследователя большой интерес представляет стихотворение «Славянам», которое в конце прошлого века было обнаружено в делах Кирилло-Мефодиевского общества Н. И. Стороженко. Приведем из него небольшой отрывок:

Слава, честь тобі во вики,  
Орле наш двоглавый!  
Бо ты шпонами своїми  
Вывав из неволи,  
Из поруги давний на свит  
Славянську долю!<sup>42</sup>

<sup>40</sup> «Русские пропилеи», т. II, М., 1916, стр. 216.

<sup>41</sup> Характерно, что П. А. Кулиш в письме к М. П. Погодину от 13 апреля 1846 года писал: «Зачем спрашивать у меня, как говорят о „Москвитяине“? Одни так, как „Отечественные записки“, а другие, как „Современник“. Что касается до меня, то я от всей души желаю, чтоб этот журнал процветал вовеки». Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей. Погодин, II, 17—65.

<sup>42</sup> Н. И. Стороженко. Неизданное стихотворение Т. Г. Шевченко. «Киевская старина», 1897, т. 59, № 10, стр. 4—5.

Н. И. Стороженко с полным основанием поставил это стихотворение в связь с «славянскими» стихотворениями А. С. Хомякова («Орел» и др.), однако он допустил грубую ошибку, приписав его Шевченко.<sup>43</sup>

В то время, как либеральное крыло Кирилло-Мефодиевского общества при решении славянского вопроса выдвигало откровенно националистические концепции, довольно неожиданным образом сочетавшиеся с иллюзорными надеждами на русское самодержавие, Шевченко вместе с радикально настроенными «братчиками» вставал на путь революционного демократизма, связывавшего решение славянского вопроса с крестьянским восстанием и насильственной ликвидацией монархического строя.

Для выяснения вопроса об отношении Т. Г. Шевченко к славянофильству важное значение приобретает написанное поэтом 8 марта 1847 года предисловие к новому изданию «Кобзаря» (издание осталось неосуществленным). Критикуя «иноплеменных журналистов», Шевченко в названном предисловии писал: «Толкуют об единой славянской литературе, а не хотят знать того, что делается у славян. Разве они прочли хоть одну книжку польскую, сербскую, чешскую или хоть нашу? Нет, не прочли, потому что не понимают. Если же им попадается в руки наша книжка, то они хвалят в ней то, что никуда не годится, рассказы о... шинках и пьяных бабах, а наши патриоты-хуторяне только повторяют их слова... Нет, господа, прочтите наши думы и песни, послушайте, как наши крестьяне говорят между собой, не снимая шапок, как они сидят на пирушках и вспоминают про старину, как они плачут, вспоминая про турецкую неволю или про те окопы, в которые их заковали польские магнаты, тогда вы скажете, что хотя „Энеида“ и хорошая вещь, но все-таки смехотворная и притом на московский лад. Вот так-то, братия моя возлюбленная, чтобы знать людей, нужно пожить с ними, а чтоб их описывать, нужно прежде самому стать человеком».<sup>44</sup>

Шевченко объявляет борьбу против слепой подражательности, за самобытный характер украинской литературы. Литература может освободиться от «чужеземства мод» только в том случае, если она проникнется мыслью о народной свободе. Предисловие Шевченко предназначалось для подцензурного издания, и поэтому мысль о поработенном народе выражена здесь в несколько завуалированной форме («окопы, в которые их заковали польские магнаты»). Но даже и оглядываясь на цензуру, Шевченко высказал мысль о том, что литература только тогда станет подлинно народной, когда она самым решительным образом перестанет ориентироваться на вкусы «наших патриотов-хуторян», т. е. украинских помещиков.

Заслуживает внимания также и русский аспект предисловия к «Кобзарю», содержащий ряд намеков. Пытаясь раскрыть содержание одной из фраз в предисловии («они ссылаются на Гоголя» и т. д.), Н. И. Стороженко увидел здесь намеки на Белинского. Справедливость требует признать, что, возражая тем довольно многочисленным русским критикам, которые считали украинскую литературу историческим анахронизмом, Шевченко, вероятно, имел в виду также и Белинского. Вряд ли однако названное место из предисловия относится к какому-либо конкретному лицу. Более определенным является намек на критиков, которых приводят в восторг «рассказы о шинках и пьяных бабах». Как это удалось установить А. И. Комарову, Шевченко имел здесь в виду прежде всего Н. А. Полевого.<sup>45</sup> Остается до сих пор невыясненным вопрос о том, кого имел в виду автор «Кобзаря» в словах: «Толкуют об единой славянской литературе, а не хотят знать того, что делается у славян. Разве прочли они и т. д.». Отнести этот намек ни к Белинскому, ни к Н. А. Полевому нельзя, так как о «единой славянской литературе» они никогда не толковали. Намек этот вполне применим, однако, к М. П. Погодину и возглавляемому им «Москвитянину». Известно, что Погодин пытался оказать свое воздействие на издаваемую с 1842 года в Варшаве П. Дубровским газету «Денница», одним из замыслов которой было объединение литератур всего славянского мира. Сотрудники «Москвитянина», а среди них прежде всего славянофил Ф. В. Чижов, с позиций, близких к официальной народности, примерно, с середины 40-х годов также начали кричать о «братстве» славянских народов.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> В своей статье «Чи справді Т. Шевченко написав вірш „Славянам“?» (1897) Иван Франко неопровержимо доказал несостоятельность попытки Н. И. Стороженко приписать великому поэту произведение, чуждое ему как по идее, так и по языку и поэтической форме. См.: Иван Франко. Твори в двадцяти томах, т. XVII. Київ, 1956, стр. 121—123.

<sup>44</sup> Н. И. Стороженко. Мелочи для биографии Шевченко. «Русская мысль». 1898, № 6, стр. 198—199

<sup>45</sup> А. И. Комаров Украинский язык, фольклор и литература начала XIX века. «Ученые записки Ленинградского государственного университета», серия филологических наук, вып. 4, 1939, стр. 155.

<sup>46</sup> См.: Ф. Чижов. Отрывки из дневниковых записок во время путешествия по Далмации. «Москвитянин», 1845, ч. IV, № 7—8, стр. 1—46.

Так же, как в поэме «И мертвым, и живым», в предисловии к «Кобзарю» Шевченко обвиняет славянофилов в равнодушном отношении к истинным нуждам и правам славянских народов и народу вообще. Шевченко закончил свое предисловие похвалой в честь Караджича и Шафарика, виднейших представителей культурного возрождения славянских стран, так как в последнем поэт видел залог их будущего национального освобождения.

Несмотря на то, что кружок московских славянофилов никаких организационных связей с Кирилло-Мефодиевским обществом не имел, разгром последнего в апреле 1847 года вызвал тревогу в среде московских славянофилов. Еще до начала этих событий, в письме от 5 апреля 1847 года к А. Н. Попову, Ю. Ф. Самарин писал: «...сообщаю вам под строжайшим секретом очень дурное известие. Чижова, Савича и Кулиша велено схватить, как скоро они переедут через границу, запечатать бумаги и препроводить с жандармами в Петербург. За что? — Не знаю. Не знаю, падает ли это на них лично или на образ мыслей, следовательно на нас всех... Нам надобно быть осторожными».<sup>47</sup> В этом письме любопытно то, что образ мыслей Чижова, Савича и Кулиша Самарин называет «нашим», т. е. славянофильским. В письме к А. С. Хомякову, написанном, вероятно, также 5 апреля 1847 года из Риги, Самарин просил адресата принять необходимые меры на случай предстоящего ареста.<sup>48</sup>

Беспокойство Самарина имело перед собой известные основания. Письма члена Кирилло-Мефодиевского общества Н. И. Гулака, обнаруженные у Ф. В. Чижова, послужили поводом для ареста последнего. Тем не менее ни идейных, ни организационных связей московских славянофилов с Кирилло-Мефодиевским обществом следствию обнаружить не удалось, и Ф. В. Чижов вскоре был освобожден из-под ареста. Попытка следствия установить организационные связи славянофила Н. А. Ригельмана с кирилло-мефодиевцами также не увенчалась успехом. В письме к Самарину от 30 мая 1847 года Хомяков писал: «Малороссиян, по-видимому, заразила политическая дурь... Досадно и больно видеть такую нелепость и отсталость... Не знаю, до какой степени было преступно заблуждение бедных малороссиян; а знаю, что бесполодность их очень ясна. Время политики миновало».<sup>49</sup>

Шевченко, как известно, хотя и не являлся юридическим членом Кирилло-Мефодиевского братства, участвовал в его деятельности, занимая в нем наиболее радикальные позиции,<sup>50</sup> и, следовательно, тем менее мог рассчитывать на оправдание или снисхождение со стороны А. С. Хомякова.

За период десятилетней ссылки «славянская тема» не однажды возникала в сознании Шевченко. Ее появлению способствовали знакомство и дружеские взаимоотношения поэта с Бр. Залесским, А. Желиговским и другими ссыльными польскими революционерами. Яркое представление о характере этих взаимоотношений дает переписка поэта с Бр. Залесским, в которой вопросам искусства и литературы и преимущественно литературы польской уделяется почетное место.

В стихотворении «Когда мы были казаками», написанном осенью 1847 года, поэт мечтает о будущем братском содружестве украинского и польского народов:

Вот так, поляк и друг и брат мой!  
Несытые ксендзы, магнаты  
Нас разлучили, развели,—  
Мы до сих пор бы рядом шли.  
Дай казаку ты руку снова  
И сердце чистое отдай!

(II, 33—34).

В годы ссылки у Шевченко появлялась иногда возможность получить информацию о деятельности московского кружка славянофилов. Такая возможность возникла, например, осенью 1854 года, когда в составе экспедиции Бэра в Новопетровск прибыл бывший петрашвец Н. Я. Данилевский (1822—1885), человек славянофильских убеждений. Шевченко писал Бр. Залесскому 9 октября 1854 года, что Данилевский «своим присутствием оживил во мне, одиноком, давно прожитые прекрасные дни» (V, 315). Однако продолжавшееся свыше месяца близкое общение Шевченко с Данилевским не повлекло за собой ни дружеских взаимоотношений поэта с ним в последующем, ни новых знакомств с славянофилами.

Достоинно внимания и то, что за время десятилетней ссылки, ни в дошедшей до нас переписке, ни в своем «Дневнике» Шевченко ни разу не называет «Москви-

<sup>47</sup> Ю. Ф. Самарин, Сочинения, т. XII, М., 1911, стр. 279.

<sup>48</sup> См.: там же, стр. 422—424.

<sup>49</sup> А. С. Хомяков, Сочинения, т. VII, М., 1900, стр. 269.

<sup>50</sup> Об этом см.: В. И. Семевский. Кирилло-Мефодиевское общество («Голос минувшего», 1918, №№ 10—12); П. А. Зайончковский. Кирилло-Мефодиевское общество. «Труды историко-архивного института», 1947, № 3.

тянина», хотя другие журналы и газеты упоминаются им неоднократно («Отечественные записки», «Современник», «Русский вестник», «Русский инвалид» и др.).

При отсутствии видимых признаков интереса у поэта в период 1847—1856 годов к «Москвитянину» любопытно узнать, что редакция этого журнала небезучастно относилась к имени и творчеству ссыльного поэта. Так, например, в первом томе «Москвитянина» за 1855 год, т. е. тогда, когда и произведения, и имя Шевченко находились под запретом, в редакционном обзоре («Петербургские новости и слухи») были упомянуты без имени поэта его «Гайдамаки». «В заключение скажем,— писал анонимный автор названного обзора,— что на днях в Петербурге, из типографии Праца, вышла книжка малороссийских стихотворений, под именем: „Що було на сердці“<sup>51</sup> — без имени сочинителя... Вид ее самый скромный, и критика, быть может, пройдет ее без сочувствия. Но в ней столько теплоты, свежести и самобытных красок, как мы давно уже не встречали этого в украинских изданиях, со времен „Гайдамаков“ и „Присказок“ Гребенки»<sup>52</sup>. Это было первое «упоминание» имени Шевченко в подцензурной печати, начиная с мая 1847 года.

Об интересе «Москвитянина» к Шевченко свидетельствует также один документ, датированный 1854 годом. Это письмо М. П. Погодина к О. М. Бодянскому от 3-го июля этого года следующего содержания: «„Москвитянин“ посылает „Летопись“ Величка обитателю Мангишлика, с условием, чтоб он присылал известия в журнал, который скоро распространится и увеличится значительно в своем объеме»<sup>53</sup>.

Опубликованное семьдесят с лишним лет тому назад, письмо это еще не было учтено в литературе о Шевченко, хотя не возникает никаких сомнений в том, что обитателем Мангишлика в нем был назван Погодиным (ради осторожности) ссыльный украинский поэт. Возникновение цитируемой записки Погодина разъясняется сохранившимся письмом Бодянского к Погодину от 30 июня 1854 года. «Автор „Кобзаря“ и „Гайдамак“, — писал в нем Бодянский, — теперь в Ново-Петровском укреплении, на полуострове Мангашлаке Каспийского моря, лицом к Туркестану, обращается к Вам через меня с покорнейшей просьбой, не пожалуете ли Вы ему Величка летописи о Малороссии. Буде будет Вам угодно это сделать, то через два-три дня я пришлю за экземпляром ее в Вашу контору и поспешу отправить по принадлежности с одним уральским офицером, который едет в Гурьев-городок, а оттуда на Мангашлак»<sup>54</sup>.

Уральский офицер — это Никита Савичев, через которого Шевченко отправил письмо к Бодянскому от 1 мая 1854 года с просьбой прислать «Летопись» Величко (V, 311—312). Для нас важно отметить, что в указанном письме Шевченко не упоминает имени Погодина и не подразумевает. Таким образом, версия о том, что Шевченко через Бодянского обращался к Погодину, — изобретение Бодянского. Заметим здесь же, что Шевченко получил желаемую книгу от Н. Савичева только по возвращении из ссылки, весной 1858 года, в Москве (V, 212).

Обращение к ссыльному Шевченко приглашение Погодина сотрудничать (негласно) в «Москвитянине» чрезвычайно любопытно. Его следует объяснить тем «покровительственным» отношением к украинской литературе, которое сам Погодин вменял себе в заслугу. Известно, какую большую материальную и моральную поддержку оказал в середине 40-х годов Погодин И. Е. Бецкому, издателю украинского альманаха «Молодик». Всё это не мешало, однако, Погодину рассматривать украинский язык в качестве диалекта русского языка, областного наречия, сфера применения которого должна быть ограничена рамками литературы для народного чтения. Что же касается политической репутации Шевченко, то для Погодина в то время она, вероятно, не представлялась одиозной. Политические стихотворения Шевченко, за которые он поплатился ссылкой, могли оставаться неизвестными Погодину или же быть оценены им как «грехи молодости» поэта.

Росту популярности Шевченко среди московской общественности в 1850-е годы сильно содействовал М. С. Щепкин. Он мог содействовать пробуждению интереса к Шевченко и в славянофильской среде, с которой был тесно связан. Когда осенью 1857 года возвращавшийся из ссылки Шевченко был задержан властями на несколько месяцев в Нижнем Новгороде, из Москвы на свидание к нему приехал Щепкин, привезший поэту экземпляр «Семейной хроники» С. Т. Аксакова с авторской надписью. В ответ на этот знак внимания Шевченко через Щепкина послал Аксакову свой портрет и предназначенную для напечатания в каком-либо журнале повесть «Прогулка с удовольствием и не без морали» с надписью: «Посвящается Сергею Тимофеевичу Аксакову в знак глубокого уважения».

<sup>51</sup> Автором названного сборничка стихотворений был А. С. Афанасьев-Чужбинский. — *Ред.*

<sup>52</sup> «Москвитянин», 1855, т. I, № 2, стр. 189.

<sup>53</sup> Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Июль-сентябрь, кн. 3, М., 1884, Смесь, V, стр. 7.

<sup>54</sup> Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей. Погодин, II, 5—62.

Этим было положено начало кратковременной переписке между Шевченко и автором «Семейной хроники». Позднее, 22 марта 1858 года, уже по прибытии в Москву, Шевченко записал в «Дневнике»: «Радостнейший из радостных дней! Сегодня я видел человека, которого не надеялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве» (VI, 213—214). В «Дневнике» от 24 марта Шевченко записал: «Еще раз виделся с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и с его симпатическим семейством и еще раз счастлив. Очаровательный старец!» (V, 215).

Вслед за знакомством с семейством Аксаковых последовали знакомства Шевченко и с дугими виднейшими представителями московского славянофильства. 25-го марта 1858 года поэт записал в «Дневнике»: «Многоуважаемый М. А. Максимович задал мне обед, на который пригласил, между прочим, и ветхих денями товарищей своих, Погодина и Шевырева. Погодин еще не так стар, как я его воображал себе. Шевырев старше и, несмотря на седенькую свою благопристойную физиономию, почтения к себе не внушает. Сладкий до тошноты старичок... До 9 часов пробыл я у Аксаковых и с наслаждением слушал мои родные песни, петье Надеждой Сергеевной. Все семейство Аксаковых непритворно сердечно сочувствует Малороссии и ее песням и вообще ее поэзии. В 9 часов с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я к Кошелеву, где встретился и познакомился с Хомяковым и со стариком-декабристом кн. Волконским» (V, 216).

Случайно ли то, что приведенный выше отзыв Шевченко о Погодине пропитан едкой иронией, а в отзыве о Шевыреве сквозит явное презрение? в 40-е годы Погодин и Шевырев были вдохновителями «Москвитянина», который с похвалой отзывался о Котляровском, Квитке-Основакыненко и самом Шевченко. Всего только четыре года тому назад Погодин приглашал ссыльного поэта негласно сотрудничать в «Москвитянин». То, что Шевченко на обеде, устроенном в его честь, не нашел общей темы для разговора с Погодиным и Шевыревым, не могло быть случайностью. За семь месяцев, истекших со времени своего освобождения, Шевченко с жадностью знакомился с литературной жизнью и, следует думать, составил себе достаточное представление о бывших столпах «Москвитянина». В пренебрежительно-ироническом отзыве о присутствовавших на обеде Погодине и Шевыреве нетрудно уловить отрицательное отношение Шевченко к представляемому ими направлению общественной мысли, идеологии официальной народности.

Несколько иным было отношение поэта к славянофилам. Об отце и сыновьях Аксаковых Шевченко отзывался в тоне восхищения. (Заметим в скобках, что подчеркнуто положительное отношение к семейству Аксаковых поэт повторил и в дневниковой записи от 26 марта 1858 года). В серьезном и спокойном тоне говорит Шевченко о своем знакомстве с А. И. Кошелевым и А. С. Хомяковым. Следует сказать, что еще по пути из Астрахани в Нижний, на пароходе, Шевченко записал в свой журнал стихотворение А. С. Хомякова «Кающаяся Россия», назвав его «глубокогрустным стихотворением». «Кающаяся Россия» импонировала украинскому поэту своей тревогой за будущее родной страны, своим неравнодушием к «безбожной лести, лжи тлетворной», и «всякой мерзости» и прочим «ужасным грехам» ее государственного организма и общественно-политического устройства. Оппозиционные настроения по отношению к самодержавию, нараставшие у славянофилов в связи с подъемом общественного движения в России, вероятно, были замечены Шевченко, и он не мог не оценить их. Вместе с тем ни в «Дневнике», ни в письмах поэта восхищения славянофилами мы не встретим. Исключение составляет лишь один С. Т. Аксаков, в котором поэт ценил и уважал не славянофила, а крупного художника-реалиста, человека с ясным и светлым умом и простодушным характером.

Для того чтобы правильно оценить содержание записи Шевченко в «Дневнике» от 25 марта 1858 года и выяснить вопрос о том, какое же отношение к славянофилам сложилось у Шевченко к моменту его отъезда из Москвы в Петербург, следует остановиться в двух словах на взаимоотношениях Шевченко с М. А. Максимовичем. 18 марта 1858 года, как показывает запись в «Дневнике», Шевченко со Шепкиным, заехав к Максимовичу, «застали его в хлопотах около „Русской беседы“». Таким образом, Шевченко было хорошо известно о той действительно значительной роли, которую играл Максимович в качестве временного редактора «Русской беседы» (1856—1860), славянофильского журнала, издателями которого были А. И. Кошелев и Т. И. Филиппов. Еще до приезда своего в Москву, в Нижнем Новгороде, Шевченко, получив от В. Г. Варенцова второй и третий тома «Русской беседы» за 1857 год, составил некоторое представление о журнале. Поэт выписал из второго тома стихотворение Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья», которое было прочитано им «с наслаждением» (V, 157). В третьем томе журнала Шевченко мог прочитать статью П. А. Кулиша «Об отношении малороссийской словесности к общерусской», где без упоминания имени Шевченко говорилось о нем, как о «нашем вешем поэте, который весь проникнут духом своего народа и выражает свои чувства истинно народным словом».<sup>55</sup>

<sup>55</sup> «Русская беседа», 1857, т. III, кн. 7, стр. 141.

За время своего двухнедельного пребывания в Москве Шевченко несомненно познакомился также и с отзывом о своей поэме «Наймичка» в рецензии на «Записки о Южной Руси» Кулиша, напечатанной в IV книге «Русской беседы» за 1857 год. Автором рецензии был Н. Р-н, т. е. Н. А. Ригельман, друг М. П. Погодина и славянофилов, в прошлом — сотрудник «Москвитянина». Так же, как и Кулиш, поместивший поэму Шевченко во втором томе своей книги без имени автора, Н. А. Ригельман в своем отзыве о «Наймичке» был лишен возможности упомянуть имя Шевченко, и называл ее поэмой неизвестного сочинителя. «...это,— писал Ригельман,— одно из лучших произведений на малороссийском языке. В нем творчество достигло почти высоты народной поэзии: это та же глубина, неподдельность чувства, та же простота выражения, не нуждающегося в прикрасах, та же меткость слова, свойственная только народу или даровитейшим его представителям. В этом отношении автор стоит далеко выше малороссийских поэтов-писателей прошлого времени (конечно за исключением творений «Кобзаря»), которые, заимствуя сюжеты для своих произведений из народного быта, не вполне, нам кажется, почували дух народного творчества. Правда, может быть, ни с одною народною поэзию не предстоит искусству такой трудности в состязании, как с малороссийскою, именно потому, что она в высшей степени отвергает все искусственное: в ней нет прикрас праздного воображения, все выходит непосредственно из глубоких родников созерцания или взволнованного чувства».<sup>56</sup>

Похвальные отзывы «Русской беседы» о Шевченко не могли, однако, помешать ему спокойно и беспристрастно оценить направление журнала.

Еще 15 марта Максимович прислал поэту на отзыв ряд своих произведений, среди которых были и подготовляемые к печати «Псалмы» (изданы в Москве в 1859 г.).<sup>57</sup> Ознакомление с названными «Псалмами» не могло оставить у поэта никаких сомнений в том, что политическим идеалом Максимовича была монархия, возглавляемая «справедливым» царем. Иронический тон отзыва о Максимовиче в «Дневнике» Шевченко от 25 марта 1858 года позволяет утверждать, что различие между программой возглавлявшейся Максимовичем «Русской беседы» и своими собственными взглядами поэт осознавал уже в то время. Тем не менее, перед своим отъездом из Москвы, уступая просьбам Максимовича, Шевченко оставил ему для напечатания в «Русской беседе» три своих стихотворения («Вечір», «Пустка» и «Сон»).<sup>58</sup>

Сразу же по прибытии в Петербург Шевченко получил присланный ему Максимовичем полный комплект «Русской беседы» за два с лишним года ее существования.<sup>59</sup> Так как на чтение «Русской беседы» ориентировал поэта не только Максимович, но и Кулиш,<sup>60</sup> то не приходится сомневаться в том, что Шевченко основательно ознакомился с журналом русских славянофилов.

В первые годы существования «Русской беседы» «партийность» ее была слабо выражена. Редакция привлекла к сотрудничеству таких крупных писателей, как М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Островский, Марко Вовчок, И. С. Никитин, А. К. Толстой и др. В отделах «Науки» и «Критики» журнала принимали участие самые видные деятели славянофильства: А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, С. Т., И. С. и К. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев, кн. В. А. Черкасский.

Следы знакомства Шевченко с «Русской беседой» мы находим в переписке поэта. Так, например, в письме к С. Т. Аксакову от 25 апреля 1858 года Шевченко просил поблагодарить И. С. Аксакова «за его алмазное стихотворение „На новый год“». (V, 406). Речь шла о стихотворении И. С. Аксакова «На 1858 год», напечатанном в первом новомодном номере «Русской беседы». Вместе с тем уже в первые месяцы своего пребывания в Петербурге Шевченко не мог не заметить всё возраставших тенденций «Русской беседы» к союзу с царизмом и крепостниками. Связанная узлами преемственности с «Москвитянином», «Русская беседа» усвоила более гибкую тактику, чем журнал Погодина. Трехчленная уваровская формула подразумевалась, но никогда не провозглашалась «Русской беседой» открыто. Даже в программных документах, ратуя за «русское воззрение на науки и искусства» и «верность православию», журнал ни единым словом не упоминал о самодержавии.<sup>61</sup>

Позицию решительного отрицания православия Шевченко занял еще в годы ссылки. В «Дневнике» от 17 сентября 1857 года он писал: «Главный узел московской старой внутренней политики — православие. Неудобозабываемый Тормоз (Ни-

<sup>56</sup> Там же, кн. IV, «Критика», стр. 4—5.

<sup>57</sup> Тарас Шевченко, Повне зібрання творів, т. III, Листування. ДВУ, 1929, стр. 304.

<sup>58</sup> Там же, стр. 312.

<sup>59</sup> Там же, стр. 305—306; ср.: Тарас Шевченко, Собрание сочинений в пяти томах, т. V, стр. 217.

<sup>60</sup> См.: «Киевская старина», 1898, т. 60, кн. II, стр. 231—232; ср.: Т. Шевченко, Повне зібрання творів, т. IV. Щоденні записки (журнал). ДВУ, 1927, стр. 705.

<sup>61</sup> См., например, «Русская беседа», 1856, т. III, Приложение «Об издании „Русской беседы“ на 1857 год».



колай I.—Ф. П.) по глупости своей хотел затянуть ослабевший узел и перетянул: он теперь на одном волоске держится» (V, 131). В то время, когда «Русская беседа» настойчиво повторяла формулу «свет православия», Шевченко, приветствуя появление первого народного Букваря на украинском языке, записал в «Дневнике» 10 декабря 1857 года: «Это первый луч света, могущий проникнуть в сдавленную попами невольничью голову» (V, 172).

«Без православия,—заявлял А. Кошелев,—наша народность — дрянь. С православием наша народность имеет мировое значение».<sup>62</sup> Выраженную Кошелевым мысль разделяли все славянофилы, и в ней заключалось одно из важнейших расхождений их с революционными демократами. «Война наша с ними,—писал в 1858 году А. И. Герцен, имея в виду славянофилов,—была в самой сущности воззрения; она не могла не быть. Они смешивали с народностью не только детское поклонение *детскому* периоду нашей истории, но и *православию*».<sup>63</sup> По названному вопросу Шевченко без колебаний разделял точку зрения революционных демократов.

Выступая в качестве дворянских либералов, славянофилы хотели отменить крепостное право при сохранении основных привилегий дворянства, тогда как, с точки зрения Шевченко, отчуждение помещицкой собственности на землю являлось непременным условием крестьянской реформы. Отрицая наличие классовой борьбы в России, славянофилы единственное решение крестьянского вопроса видели в реформе сверху, тогда как Шевченко, отражая точку зрения революционных демократов, приходил к выводу о том, что в обстановке обострения социальных противоречий земельную реформу в стране можно разрешить только путем крестьянского восстания.

Славянофильская идея о союзе царя с народом не пропагандировалась «Русской беседой» открыто, но вместе с тем и не являлась тайной для вдумчивого читателя. Эту идею нетрудно было обнаружить как в публицистических статьях, так и в художественном отделе журнала. Так, например, ее открытым сторонником со страниц «Русской беседы» выступал А. С. Хомяков (стихотворение «26 августа». «Русская беседа», 1856, т. III).

Как революционный демократ, искавший сближения с кругом «Современника», Шевченко в качестве внимательного читателя «Русской беседы» должен был все более и более убеждаться в несовместимости своих политических взглядов с программой Хомякова и славянофилов. Чрезвычайно показательной для позиции «Русской беседы» была статья Хомякова, посвященная разбору изданной на украинском языке книги проповедей священника Василия Гречулевича. Книгу эту, преследовавшую цели борьбы с нараставшим крестьянским движением, Хомяков отнес к выдающимся явлениям молодой украинской литературы.<sup>64</sup> Вполне понятно, что подобного рода попытки направить украинскую литературу на путь поповского морализаторства не могли встретить одобрения со стороны Шевченко.

Не мог сочувствовать Шевченко и эстетической программе «Русской беседы». В то время, как поэт, восхищаясь Гоголем и Салтыковым-Щедриним, боролся за развитие «умной и благородной сатиры», «Русская беседа» в своих критических статьях довольно недвусмысленно высказывалась против «отрицательного отношения к жизни в русской литературе».<sup>65</sup>

В процессе дифференциации русского общества накануне крестьянской реформы «Русская беседа» отходила все более вправо, и это обстоятельство неотвратимо толкало поэта-демократа к конфликту с журналом. Поводом для названного конфликта послужило письмо М. А. Максимовича к Шевченко от 15 ноября 1858 года, содержавшее просьбу уступить хранившиеся в портфеле «Русской беседы» стихотворения поэта для газеты «Парус», издание которой было задумано И. С. Аксаковым. Отвечая отказом на просьбу Максимовича, Шевченко мотивировал его двумя причинами: «„Парус“ в своем объявлении перечислил всю славянскую братию, а про нас и не вспомнил»; «„Парус“ сей надувает заступник сиятельного князя, любителя березовой каши» (V, 410—411).

В первом пункте своего ответа Шевченко имел в виду И. С. Аксакова, который, перечисляя в программе своей газеты славянские народы, «выражающие собою разные стороны многостороннего духа славянского», забыл назвать украинский народ. Во втором пункте Шевченко намекал на поведение И. С. Аксакова в истории, вызванной статьей кн. В. А. Черкасского «Некоторые общие черты будущего сельского управления». В названной статье, напечатанной в журнале «Сельское благоустройство» (1858, часть 9), Черкасский отстаивал право сельских старост подвергать крестьян телесным наказаниям. Статья Черкасского вызвала возмущение передовой общественности и многочисленные отклики в прессе. В защиту его выступил в «Мо-

<sup>62</sup> Н. Колупанов. Биография А. Кошелева, т. IV. М., 1892, стр. 251.

<sup>63</sup> «Полярная звезда», 1858, кн. IV, стр. 142 («Былое и думы»).

<sup>64</sup> См.: «Русская беседа», 1857, т. III, «Критика», стр. 60—70 и 70—72.

<sup>65</sup> Статья А. И-ц. О положительном и отрицательном отношении к жизни в русской литературе. «Русская беседа», 1859, т. I, «Критика», стр. 1—46.

сковских ведомостях» (1858, № 130) И. С. Аксаков, что и дало Шевченко повод назвать последнего «заступником... любителя березовой каши».

Не может возникнуть сомнений в том, что конфликт Шевченко с «Парусом» распространялся также и на «Русскую беседу». Журнал «Сельское благоустройство», напечатавший шумевшую статью кн. Черкасского, был лишь приложением к «Русской беседе», а не самостоятельным журналом. Другими словами, заступником идей и проектов Черкасского был не один только И. С. Аксаков, но и редакция «Русской беседы» в целом. Я уже не говорю здесь о том, что начиная с августа 1858 года И. С. Аксаков возложил на себя «нравственную ответственность» за издание «Русской беседы».

В третьей книге «Русской беседы» за 1859 год были напечатаны на языке оригинала стихотворения Т. Г. Шевченко «Вечір» и «Сон» («На панцині пшеницю жала»). Факт этот не следует рассматривать как наступление примирения поэта с журналом. Названные стихотворения были переданы автором Максимовичу еще в марте 1858 года и по соображениям цензурного характера около года пролежали в портфеле редакции.<sup>66</sup>

Наличие революционной ситуации в стране, знакомство с деятельностью русских революционных демократов, знакомство с передовыми русскими журналами и вольной печатью Герцена вызывает новый подъем творческих сил надломленного ссылок поэта. Вместе с русскими революционными демократами Шевченко осуждал политику либералов в крестьянском вопросе и призывал крестьянство к вооруженному выступлению против помещиков-крепостников и царизма:

...надо поскорее  
 Всем миром обух закалить  
 Да наточить топор острее —  
 И вот тогда уже будить.  
 (II, 284)

На совершенно иных, «реформистских» позициях по крестьянскому вопросу стояли в это время славянофилы. Сила исторических обстоятельств и логика общественной борьбы всё более и более принуждали славянофильскую «Русскую беседу» к сближению с охранительным, консервативно-монархическим лагерем. Закономерность этого процесса хорошо уяснил Шевченко, свидетельством чего является его стихотворение «Умре муж велий в власянице», написанное в связи со смертью петербургского митрополита Григория и датированное 17 июня 1860 года, днем смерти последнего.

Умре муж велий в власянице.  
 Не плачьте, нищие, вдовицы!  
 А ты, Аскоченский, восплачь —  
 Во утрие на тяжкий глас!  
 И Хомяков — Руси ревнитель  
 Москвы, отечества любитель,  
 Об юбкоборце громко плачь.  
 И вся, о «Русская беседа»!  
 Во глас единый исповедуй  
 Свои грехи.

И плачь! и плачь! •

(II, 334).

В этом стихотворении Шевченко ставит знак равенства между консервативно-обскурантским журналом Аскоченского и славянофильской «Русской беседой», как бы пренебрегая той довольно значительной разницей, которая существовала между ними.

Стихотворение «Умре муж велий в власянице» — это памфлет огромного художественного мастерства, большой и глубокой политической мысли, результат длительных наблюдений и обобщений, рассуждений и раздумий. Если личность редактора «Домашней беседы», Аскоченского, начиная с 1846 года всегда вызывала у Шевченко чувство отвращения, то с сотрудниками «Русской беседы» поэт был связан другого рода чувствами и отношениями. Для того чтобы о братьях Аксаковых, которые еще так недавно были для Шевченко членами «очаровательного семейства», о Максимовиче, которого недавно поэт называл своим «другом», и других сотрудниках журнала отозваться в тоне сарказма и гнева и объединить их с одинокой фигурой юродствующего Аскоченского, поэт должен был сделать над собой величайшее усилие, отказаться от личных симпатий во имя какой-то высшей цели. Целью этой была открытая Шевченко истина, которую он и высказал без колебаний. Данная

<sup>66</sup> Как известно, имя Т. Г. Шевченко полностью было легализовано только в 1860 году. В «Русской беседе» стихотворения украинского поэта были обозначены инициалами («Два малороссийских стихотворения Т. Ш.»).

лозом политическая характеристика русского славянофильства отличается исключительной пронизательностью.

Внимательный анализ стихотворения «Умре муж велий в власянице» дает возможность внести исправление в установившийся взгляд на характер взаимоотношений Т. Г. Шевченко с М. А. Максимовичем. Наступившее в последние годы жизни Шевченко ухудшение его отношений с Максимовичем до сих пор остается невыясненным. Между тем изменение отношений было обусловлено причинами, несомненно, политического характера. Высказывая в стихотворении «Умре муж велий в власянице» свое возмущение программой и тактикой «Русской беседы», Шевченко вместе с тем осудил также и общественную позицию Максимовича.

Стихотворение было опубликовано впервые в 1876 году (Пражское издание «Кобзаря», т. II) и до момента первой своей публикации широкого распространения не получило. Если бы это стихотворение сразу же после его написания стало известно русским славянофилам, оно могло бы окончательно изменить их отношение к Шевченко. Охлаждение славянофилов к личности и творчеству поэта произошло, однако, не сразу. В славянофильских кругах и после 1860 года можно найти выдержанные в тонах восхищения отзывы о Шевченко. Наиболее показательной в этом смысле является статья Аполлона Григорьева «Тарас Шевченко», напечатанная в журнале «Время» за 1861 год и явившаяся откликом на смерть поэта. Называя Шевченко «последним кобзарем и первым великим поэтом новой литературы славянского мира», Ап. Григорьев указывал на то, что смерть поэта является огромной потерей для всех славянских литератур. «По красоте и силе,— писал Григорьев,— многие поставляли его наравне с Пушкиным и Мицкевичем; мы готовы идти дальше в этом — у Тараса Шевченки есть та нагая красота, выражение народной поэзии, которая только разве искрами блистает в великих поэтах-художниках, каковы Пушкин и Мицкевич, и которая на каждой странице «Кобзаря» паразит васу Шевченко».<sup>67</sup>

На фоне довольно ординарных некрологов, посвященных Шевченко, статья Аполлона Григорьева выделялась своим умением определить подлинные масштабы поэта и попыткой указать на своеобразие его поэзии. И вместе с тем Ап. Григорьев обнаружил в своей статье незнание политической поэзии Шевченко, непонимание значения поэта для украинской литературы. Следуя своей славянофильской концепции, Ап. Григорьев в творчестве Марко Вовчка увидел отступление от традиций Шевченко, а в лице П. Кулиша — преемника великого поэта.

Славянофильские убеждения Ап. Григорьева были далеки от догматизма, фанатической верности интересам определенной группы или кружка. Отзыв его о Шевченко не мог поэтому быть принят славянофилами-догматиками, редакторами и сотрудниками славянофильской газеты «День». В отношениях к Шевченко и его поэтическому наследию со стороны «истинных» славянофилов за годы революционной ситуации произошли большие изменения к худшему. Если в 1859 году И. С. Аксаков хотел украсить первый номер своей газеты стихотворениями Т. Г. Шевченко, то он не согласился бы повторить это после 1861 года, когда редактируемая И. С. Аксаковым газета «День» неоднократно выступала против права украинской литературы на существование. От выпадов против украинской литературы и попыток умалить значение поэтической деятельности Шевченко не была свободна и славянофильская газета «Москва», также издававшаяся И. С. Аксаковым.<sup>68</sup> По справедливому мнению А. Н. Пыпина, начиная с 1863 года «голоса славянофилов» немало способствовали возникновению правительственных репрессий против украинского художественного слова.<sup>69</sup>

По вопросу об отношении к украинской литературе вообще и к литературному наследию Шевченко в частности у русских славянофилов уже в начале 60-х годов намечилось сближение с лагерем правительственной реакции. Точка зрения последней и нашла выражение в брошюре «О зарождающейся, так называемой, малороссийской литературе» И. Кулжинского, изданной в Киеве в 1863 году. Называя составленный Т. Г. Шевченко «Букварь южнорусский» (1861) «пустейшей из пустейших книжек», И. Кулжинский обратил внимание властей предрешающих на то, что «вместо десяти заповедей божиих в „Букваре южнорусском“ напечатаны некоторые малороссийские пословицы и что в народной думе «Про Марусю поповну Богуславскую», напечатанной в «Букваре», под «плачем турецких невольников» следует подразумевать призыв к борьбе с помещиками-крепостниками. «Тенденция этого букварика одна и та же, что и в „Грамматке“: какая-то воля людская, освобождение из какой-то неволи. О какой это свободе хлопчете вы, гг. букваристы?!»<sup>70</sup>

И. Кулжинский был близок к славянофильскому лагерю. В 20—30-х годах он сочувственно относился к возникавшей новой украинской литературе, в 50-х годах —

<sup>67</sup> «Время», 1861, т. II, кн. 4, стр. 637.

<sup>68</sup> «Москва», 1867, № 117, 26 августа. Передовая статья.

<sup>69</sup> А. Пыпин. Русские сочинения Шевченко. «Вестник Европы», 1888, кн. 3, стр. 249.

<sup>70</sup> И. Кулжинский. О зарождающейся, так называемой, малороссийской литературе. Киев, 1863, стр. 15.

сотрудничал в «Москвитянине», в 1867 году — по-прежнему был верен Погодину, сотрудничая в газете последнего «Русский». В своем отношении к наследию Шевченко И. Кулжинский отразил не только правительственную идеологию, но и точку зрения вырождавшегося в великодержавный панславизм славянофильства.

Взаимоотношения, существовавшие между Шевченко и русскими славянофилами, составляют содержательную и поучительную страницу из истории русско-украинских литературных связей. В 40—50-е годы Шевченко приходилось неоднократно вступать в известное сотрудничество с русскими и украинскими славянофилами, хотя последнее никогда не приобретало характера идейного компромисса. В 1860 году, когда вполне обнаруживается выступавшая в одеждах демократизма дворянская сущность общественно-политической программы славянофилов, украинский поэт порывает с ними самым решительным образом. На примере взаимоотношений Шевченко с русскими славянофилами отразилась история отношений поэта-революционера к дворянскому либерализму в целом.

Изучение связей Шевченко с русским славянофильством способствует уяснению самых существенных сторон в идейном и эстетическом развитии гениального Кобзаря и подтверждает новыми фактами справедливость мысли о том, что дружба Шевченко с русскими революционными демократами в период революционной ситуации 1859—1861 годов явилась закономерным итогом всей предшествующей его жизни и деятельности.



## М. ГОРЬКИЙ И Р. РОЛАН ОБ АНАТОЛЕ ФРАНСЕ

1

Жизнь Анатоля Франса завершилась апофеозом: за несколько месяцев до смерти было отпраздновано его восьмидесятилетие; юбилей сопровождался грандиозными манифестациями, во время которых Франс — словно Вольтер на представлении «Ирины» — присутствовал при увенчании своего собственного бюста. Однако за внешним единодушием скрывались глубокие противоречия. Правым импонировала утонченная роскошь, окружавшая писателя. Старшее поколение, с Моррасом во главе, восхваляло парнасский александризм Франса, его приверженность к античной культуре и к классическим формам искусства. Эти люди помнили, что Анатоль Франс был буланжистом и патриотом, но в то же время не забывали, что он был дрейфусаром, социалистом, приветствовал русскую революцию и что в 1921 году церковь включила его произведения в «Список запрещенных книг». Левые же видели в нем представителя разума, чей гуманизм поднялся от вольтерьянства к пониманию революционного социализма. В то же время молодое поколение левых, прошедшее через войну, не могло простить Франсу «Славного пути» и не дорожило слишком уж буржуазным, на их вкус, искусством и мудростью. Среди правых не было глубоких расхождений: восхваляя утонченность искусства и жизни Франса и в то же время осуждая его прогрессивную мысль, правым удалось дискредитировать Франса в глазах масс. За парадным прославлением вскоре последовала кампания оскорбительно-грязного поношения. Затем Франс был предан забвению. Чуть ли не одни только учителя светских школ продолжали помнить о нем, да коммунисты почитали его. Лишь в самые последние годы мало-помалу стал восстанавливаться образ великого классического писателя.

Расхождения существовали в левом течении. Нигилизм, проявившийся в известном памфлете «Un cadavre» («Труп»),<sup>1</sup> объединил наряду с Филиппом Супо и Полем Элюаром писателей, которым суждено было пойти по совершенно иным путям, таких, как Арагон и Дриё-Ла-Рошель. Группа «Clarté» — основанная Барбюсом и Франсом, но перешедшая затем под контроль интеллигентов, выступивших за построение новой культуры на основе непримиримой «пролетарской морали»<sup>2</sup> — выпустила специальный номер, менее резкий по форме, но, быть может, еще более суровый по существу.<sup>3</sup> Напечатанный в этом номере памфлет вызвал раскол в самом движении: Поль Вайян-Кутюрье покинул «Clarté». Он разделял чувства газеты «Юманите», которая вслед за «Правдой» приветствовала искусство Франса и, делая оговорку относительно его примиренчества, увидела в нем «древнюю культуру, протягивающую руку новому гуманизму».

В такой обстановке появилась статья Горького «Об Анатоле Франсе»

Эта статья была напечатана в декабрьском номере «Revue Européenne»<sup>4</sup> за

<sup>1</sup> «Un cadavre» («Труп»). Извлечения оттуда можно найти у A. N a d e a u. Documents surréalistes. Paris, Ed. du Seuil. 1945, p. 11.

<sup>2</sup> V. Marcel F o u r r i e r. De Clarté à la Guerre civile. «Clarté», 1926, N 79, p. 1—10.

<sup>3</sup> Специальный номер от 15 ноября 1924 года: «Clarté contre Anatole France. Cahier de l'Anti-France. Pamphlet de Jean Bernier, Edouard Berth, Marcel Fourrier, Georges Michael». На обложке воспроизведен портрет Франса работы Ван Донгена, который можно рассматривать как шарж.

<sup>4</sup> «La Revue Européenne» явилось продолжением «Ecrits nouveaux» Андре Жермена, который финансировал издательство. Андре Жермен познакомился с Горьким в Берлине (см. его «У Горького» в «Ecrits nouveaux», 1922, 1 октября) и получил от него разрешение быть его литературным представителем во Франции. Перевод статьи был сделан Дюмениль де Грамоном, которого рекомендовал Горькому Алексей Толстой и который с тех пор стал превосходным переводчиком большей части его новых произведений. Русский текст был частично напечатан в «Красной газете» от 26 апреля 1925 года, но полностью лишь в журнале «Красная Новь». № 5, 1927.

1924 год. Анатолий Франс, по мнению Горького, был человеком, полностью воплотившим французский дух.

Французский дух, писал Горький, характеризуется активным скептицизмом, враждебным фанатизму, догматизму, консерватизму; расстройством просвещения он обеспечивает прогресс свободы; для него характерно духовное здоровье, верный признак которого «смех от Рабле до Кола Брюньона»; ему чуждо уныние, свойственное философам и поэтам пессимизма.

Горький защищал Франса от упреков в равнодушии и подчеркивал не только его гражданское мужество и ясный ум, но и мужество мыслителя и художника, разоблачающего зло, умевшего чувствовать «дурное» в том, «что ходячее мнение признавало хорошим». Горький анализировал его этику, показывая, что у Франса чувство относительности нравственных идей выражает убеждение, что истина является постоянным созданием мышления; сама справедливость для него лишь форма красоты, «которая включает в себе истину, более высокую и более проникновенную, нежели сама истина». Наконец, он представлял его как «дрессировщика», беспрестанно дразнящего и возбуждающего разум, чтобы помешать ему заснуть на мягком ложе истины, и предпочитающего «грубой ковке догматов творчество гипотез».

Горький, конечно, не ожидал, что его статья вызовет горячий протест со стороны Ромена Роллана, которого он любил и мысленно объединял с Анатолем Франсом. За несколько месяцев до этого Горький писал Роллану: «В сегодняшней Франции есть два художника, два мудреца, которых я люблю и которыми я восхищаюсь, хотя они и очень различны — это вы и Анатолий Франс».<sup>5</sup>

Различие между Горьким и Роменом Ролланом не замедлило обнаружиться: уже 12 декабря Ромен Роллан возразил с чрезвычайной горячностью.<sup>6</sup> Он протестовал против «шаблонного представления», которое Горький составил себе о Франции, не подзревая, что «интеллектуальная тирания» царствует в ней наравне со свободой духа, и не зная «о силе фанатизма и ненависти, разъедающих умы стольких современных писателей». Ромен Роллан писал, что «парадоксальность» статьи в честь Анатоля Франса состоит как раз в том, что она появилась в журнале, один из директоров которого, Супо, только что подписался под оскорбительным, полным жестокой ненависти памфлетом о Франсе, опубликованным на другой день после его смерти». Ромен Роллан имел в виду упомянутый уже памфлет «Труп», специальный номер «Clarté», посвященный Франсу, и статью Эдуарда Дюжардена в «Cahiers Idéalistes».<sup>7</sup>

Письмо Ромена Роллана к Горькому проникнуто страстью. Кому же как не Ромену Роллану было знать эти страсти интеллекта, раздражающие Францию! Он, до тех пор такой сдержанный, порою даже несколько чопорный в своих письмах к Горькому, которого он знал только издали, вдруг возвращается к страстным порывам своей юности, которые тесно связаны если не с самим Франсом, то по крайней мере с тем, представителем чего он был. В глазах Роллана Франс являлся воплощением того, против чего он ополчался. Роллан поясняет это в одном из писем к Клоду Авелину:<sup>8</sup> «Я люблю: да или нет. Анатолий Франс принадлежит к поколению (непосредственно мне предшествовавшему), когда охотно говорили *да* и *нет*, а иногда — ни *да*, ни *нет*. Именно из этого возник Жан Кристоф...» «Воспоминания»<sup>9</sup> Роллана по большей части являются комментарием к этой мысли. Самому Анатолю Франсу, правда, там уделено немного места так же, как в «Дневнике» и в переписке: в стремлении к нравственному уединению, в котором Роллан усматривал тогда «самое главное условие существования духа»,<sup>10</sup> он даже не борется с Франсом, а только с отращиванием отворачивается от него. Две темы постоянно возникают в размышлениях Роллана по поводу прочитанного или в его рассказах, которые можно найти в его бумагах, — это те самые темы, которые ему нравилось называть по-итальянски «odor di femina» (запах

<sup>5</sup> Письмо от 20 мая 1924 года (Архив Ромена Роллана. Париж).

<sup>6</sup> Архив Ромена Роллана. Горький немедленно ответил Роллану. Письмо Роллана было так пылко, что его молчание в течение последующих месяцев Горький приписывал его раздражению. «...Мне кажется, — писал Горький Стефану Цвейгу, — что моя статья об Анатоле Франсе произвела на него неблагоприятное впечатление». (М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29, М., Гослитиздат, стр. 429. В дальнейшем ссылки на это издание)

<sup>7</sup> «Les Cahiers idéalistes français», основанные в феврале 1917 года, сразу же стали на сторону русской революции. Роллан опубликовал в них, между прочим, свое приветствие «Свободной России» (август 1917), статью «Толстой — свободный мыслитель» (ноябрь 1917) и извлечение из письма Горького от 18/21 марта 1917 года. В 1924 году этот журнал находился под одновременным влиянием сюрреалистов и Гильбо. Статья о Франсе появилась в 1924 году (№ 11, декабрь).

<sup>8</sup> Письмо от 11 февраля 1924 года (Архив Ромена Роллана).

<sup>9</sup> Paris, Albin Michel, 1956.

<sup>10</sup> Дневник, 31 мая 1896 года, цитировано в «Mémoires», стр. 257.

женщины) и «*odori di morte*» (запах смерти). Оскорбленная и возмущившаяся чистота юноши, выброшенного из родимого дома в «липкую лихорадку улиц», в галлюцинирующий город — существенная черта нравственного облика Роллана, определяющая принятое им решение быть горделиво-уединенным; она, несомненно, является скрытой внутренней основой тех интеллектуальных страстей, которые развились на этой почве, а затем и той нетерпимости к «компромиссам», которую он назовет «свободой Духа». Эта лихорадочная чистота возмущается в нем против александризма того, в ком он видит лишь «гривуазного библиотекаря, все анекдоты которого вертятся вокруг эротизма». Сюаресу, любившему «Красную лилию», он возражает так: «Часто я выходил из себя, негодую на этого учителя разврата, когда видел, что те, кого я любил, поддались его соблазнам; этот аромат влюбленной плоти, веющий посреди изысканного изыщества чувства и мысли, ласкает, хмелит, развращает сердце».<sup>11</sup> В 1912 году он все так же воспринимает «Боги жаждут»: «Умно, изящно и мелочно. Крайне мне несимпатично. Нигилизм чувственного и немощного старика, забавляющегося безделушками искусства и отрицанием».<sup>12</sup> «Нигилизм», «импотентность», «дряхлость»! Так и на страницах «Воспоминаний», где Роллан анализирует «чувство разрушения», «гнилостный запах»<sup>13</sup> разлагающейся цивилизации, царящий в салонах, он хотя не называет Франса, но совершенно очевидно, что и к нему относится это изображение «материализма как основы пессимизма и неизлечимого разочарования».

При этом содержание и объект скептицизма Франса не анализируются. Ни в произведениях, предшествовавших «Современной истории», ни в самой «Истории»; нет анализа природы пессимизма Франса и причин его разочарования даже после 1906 года. А между тем анализ по существу мог бы привести Роллана к выводу, что социальные темы у Франса и в «Жане Кристофе» одни и те же, что их суждения родственны и что их пессимизм, в сущности, одинаков: Франция г-на Бержера это та же Франция, которую презирает Оливье и против которой восстает Кристоф. «Народному театру» свойственны те же стремления и те же иллюзии, что и Народным университетам. Отвращение к революционным беспорядкам одинаково у того и у другого, как одинаково их презрение к толпе, одинаков делаемый ими вывод о неизбежной деградации революций; одинаково у того и у другого пристрастие к маленьким людям города, а также к «галльским» традициям французской деревни. Сходны даже их противоречия: любовь к жизни и любовь к красоте, воплощенные в уме г-на Бержера или в вере Жана Кристофа, оказываются равно бессильными изменить хоть что-нибудь в положении вещей, пускай безропотное отречение одного выражается в горьком шутовстве, а у другого переходит в метафизические эмоции.

Но именно это различие и казалось существенным Роллану: самоопределение происходит путем противопоставления себя тем, кто наиболее близок. Ромен Роллан прежде всего человек веры. Предпринятая им в пьесах и в «Жане Кристофе» критика общепринятых ценностей является моральной — он ее называет «мистической».<sup>14</sup> Роллан рисует картину ложных и бесстыдных ценностей, которой противопоставляется, в виде диптиха, картина ценностей подлинных, но скромных, в которые он хочет вдохнуть уверенность в себя и энергию. Критический разум служит ему не столько орудием познания, сколько вспомогательным средством. В своих драмах так же, как и в «Жане Кристофе», Роллан ставит только проблемы поведения, вытекающие из сопоставления его веры с социальной действительностью, он питает свою веру путем этого сопоставления, но никогда не ставит ее под вопрос. Разум служит Роллану только для обоснования его убеждений, которые являются религиозными. У Франса, напротив, разум выступает в качестве средства познания и в то же самое время как критик самого познания. В эпоху, когда умственное движение, в котором участвовал Роллан, страдая от ограничений, со времен позитивизма установленных для разума, стремилось к обновлению сознания посредством интуиции, Франс употребляет всю остроту своего ума на то, чтобы уничтожить иррациональное познание. Но такому человеку, как Роллан, казалось, что здесь существует только упражнение в критике ради нее самой, что это — игра, дилетантизм, тем более невыносимый, что в нем заключается покушение на священные ценности. В антипатии Роллана к Франсу есть нечто от ужаса перед кощунством; Франс, в его глазах, «*libertin*» во всех смыслах, которые придавали этому слову религиозные умы.

В суровом отношении Роллана к Франсу парадоксально то, что выполнение моральных обязательств на практике было делом не Роллана, а Франса. По существу, Роллан ясно высказался в своих «Воспоминаниях»: моральное обязательство, по его мнению, поскольку оно является моральным, необходимо завершается духовной независимостью и последовательно ведет к отказу от практических обязательств, где неизбежны компромиссы. В непреклонность, с которой Роллан отстаивает это убеждение, он вносит

<sup>11</sup> Письмо от 24 января 1895 года (Архив Романа Роллана).

<sup>12</sup> Дневник, 4 апреля — 25 сентября 1912 года, стр. 59 (Архив Романа Роллана).

<sup>13</sup> «*Mémoires*», стр. 197 и следующие.

<sup>14</sup> *Péguy*, т. 1, Paris, Albin Michel, стр. 30 и следующие.

какое-то страстное неистовство, не лишенное несправедливости: об этом можно, в частности, судить по его отношению к Франсу. В своих «Воспоминаниях» Роллан поясняет, что для суждения об искренности приверженцев Дрейфуса (к ним примыкал и Франс) «имеется пробный камень — их отношение к самому жестокому из преступлений, армянской Варфоломеевской ночи». А ведь Анатолий Франс в отличие от многих дрейфусаров активно и очень скоро принял участие в помощи жертвам армянской резни.<sup>15</sup> Однако это не принимается во внимание, так как Франс остается в рядах сторонников Дрейфуса, а этот «компромисс» достаточен для Роллана, чтобы свести на нет то выступление, за отсутствие которого он осуждает политических деятелей. Позднее, в старости, возвращаясь мысленно к своему прошлому, Роллан находил странным свое поведение: «Странно, что когда разыгралась эта борьба, я, желавший ее, вдруг отошел в сторону и не примкнул к сподвижникам Золя, хотя его мужество меня восхищало и я завидовал его опасной роли».<sup>16</sup> Однако давая в конце своей жизни (в 1940 году) оценку пройденного пути и осуждая «Жана Кристофа, лишённого доброты», каким он когда-то был, за недостаток «терпения, выдержки и широкой и прозорливой гуманности», Роллан удовлетворялся признанием своей вины, не отрекаясь, однако, от прежних предубеждений.

На своем собственном примере Роллан так или иначе проиллюстрировал отмеченную в письме к Горькому «половину французского духа»; при случае и у него окажется доля «интеллектуального фанатизма»: «И меня, как и вообще нас французов, сжигает страсть (за и против) и ирония».<sup>17</sup> И это страстное вмешательство в схватки по вопросам искусства или в идейные споры, хотя бы даже для того, чтобы оспаривать вмешательство в политику, показывает, что по своей природе он способен броситься в самую гущу великой ежедневной битвы за более высокую человечность. Легко понять, сколько нужно было мужества, честных усилий, чтобы вступить во всё более и более последовательную борьбу с какой-то частью самого себя; его «пятнадцать лет борьбы»<sup>18</sup> (на самом деле двадцать четыре) были не только борьбой против войны и фашизма, но также и борьбой с самим собой. Эта героическая драма еще не нашла своего историка.

От отрицательных высказываний Роллана о Франсе не так далеко на первый взгляд стоит мнение, высказанное Горьким в годы, последовавшие за первой русской революцией. После неудачного обращения к Анатолию Франсу с призывом бойкотировать русский заем, Горький писал из Америки в сентябре 1906 года А. В. Амфитеатову: «С А. Франсом я ничего не затеваю... Я, знаете, почему-то в европейца не верю, а есть ли европеец более законченный, чем А. Франс? Его скептицизм напоминает мне скрип новых сапог у деревенского щеголя — да прости меня Франс! Ум у него все-таки дьявольски острый и перо изумительно тонкое. Но вот скептицизм этот! И не нужно его совсем в таком элегантно виде».<sup>19</sup> В 1908 году, подчеркивая упадок буржуазного искусства, Горький упоминал о Франсе как о холодном и безжизненном красавце.<sup>20</sup> Он критиковал его эпикуреизм и изящный скептицизм. Этот эпикуреизм останется чуждым Горькому и в дальнейшем. Но критика творчества Франса дается им с совершенно иной точки зрения, чем у Роллана. В статье «О разрушении личности» он хвалит его наряду с Уолтом Уитменом, Рихардом Демелем, Верхарном, Уэллсом, Метерлинком за то, что они «начав с индивидуализма и квиетизма, дружно приходят к социализму, к проповеди активности, все громко зовут человека к слиянию с человечеством».<sup>21</sup> Даже в высказывании 1906 года о «законченном европейце» уже намечается разница, раскрытая в последующих выступлениях Горького: скептицизм для него похвален, когда «дьявольски острый» ум<sup>22</sup> не оставляет «ни одной из основных идей буржуазного государства, не показав, как противоречив, лицемерен и бесчеловечен их смысл». Горький упоминает Франса наряду со Свифтом, Рабле, Вольтером, Байроном, Теккереем, Гейне и Верхарном — «все это были — безукоризненно правдивые и суровые обличители пороков командующего класса».<sup>23</sup> Горький воспринимал «Современную историю» как «самую сильную и безжалостную книгу XX-го века»;<sup>24</sup> он не забывает, что Франс — писатель, высоко оценивший в 1908 году его памфлет «О цинизме», где разоблачается маска «сво-

<sup>15</sup> См.: «Сирийские христиане и народ в Тюльери» в «L'Echo de Paris», 1896, 29 декабря. Свою первую политическую речь Франс произнес 9 марта 1897 года в качестве председателя собрания по случаю доклада Аршага Чобаниана об Армении. С этого времени начались его многочисленные выступления. См. также его книги: *Vers les temps meilleurs*, тт. I, II.

<sup>16</sup> «Mémoires et souvenirs», p. 284.

<sup>17</sup> Письмо к Горькому от 12 декабря 1924 года (Архив М. Горького).

<sup>18</sup> R. Rolland. *Quinze ans de Combat*. Paris, Rieder, 1935.

<sup>19</sup> Собрание сочинений, т. 28, стр. 433—434.

<sup>20</sup> Там же, т. 24, стр. 526.

<sup>21</sup> Там же, стр. 48—49.

<sup>22</sup> Там же, т. 25, стр. 94.

<sup>23</sup> Там же, стр. 105.

<sup>24</sup> Там же, т. 30, стр. 123.



бодного человека», которой мелкий буржуа украшал себя в литературе<sup>25</sup> Скептицизм, мы сказали бы, критический дух как раз и привел Франса к социализму Но то, что Горький осуждал в 1906 году, это в самом деле изящный покров, лишивший этот социализм его революционной действительности и несомненно идущий рука об руку с унынием, равнодушием, умолчаниями

Эти умолчания Ромен Роллан ставил в упрек Анатолю Франсу, за это же упрекает его и Горький, притом еще более серьезно, так как писатель не поднял своего голоса в решающих, по его мнению, обстоятельствах Об этом он так рассказывает Роллану: « . в 1906 г. я писал ему, просил агитировать против русского займа, который был одною, и, может быть, главной причиной неудачи первой нашей революции. . . А Франс ответил на мое письмо уклончиво, не поняв рокового значения той помощи, которую банкиры и политики Франции оказали бездарному и преступному царизму. Тогда я написал грубый и резкий памфлет, заключив его плевром крови и желчи в лицо официальной Франции. Г.Г Катюль Мэндес, Вивиани и другие поняли мой выпад как оскорбление нации и только профессор А Оляр, кажется, почувствовал законность моего возмущения А. Франс, зная в чем дело, чем вызван мой памфлет и куда он направлен, ничего не возразил Вивиани и другим, извратившим суть дела Я никогда, никому не говорил об этом, говорю первому Вам».<sup>26</sup>

В данном случае Горький был несправедлив по отношению к Франсу. Живя в Соединенных Штатах, он, видимо, не знал о широкой и чрезвычайно определенной деятельности Франса, который в это время сделал шаг, подобный горьковскому: в 1905 году он официально вступил в социалистическую партию и был там одним из тех, кто прилагал усилия, чтобы проводить разъяснительную работу и вести остальных за собой Этого недооценивали многие во Франции Лишь после опубликования К. Авелином статей Франса, объединенных под заглавием «К лучшим временам», сложилось, наконец, общее представление о его политической и общественной деятельности Горький знал о ней мало и потому был склонен приписывать Франсу все слабые стороны французского социализма тех лет Горький понимал, что умолчания вообще означают компромиссы, во всяком случае они являются признаком давления капитала на газеты, а следовательно и на умы «Вот тебе и свобода печати! и европейская культура!» — писал он Е. П. Пешковой<sup>27</sup>

В это время сам Горький переживал мучительные раздумья: на опыте русской революции, совпавшей по времени с медленной, выжидательной политикой западного социализма, он обнаруживает глубокую, роковую разницу «между реформатором и революционером» Он считает, что и сам до сей поры «революционером не был» и только теперь становится им Вступив в 1905 году в социал-демократическую партию, он называет себя простым солдатом революционной армии.<sup>28</sup> В этом плане становится понятно, что сущность горьковских упреков Франсу заключалась в том, что Франс, по его мнению, недостаточно включился в борьбу масс и, следовательно, не выполнил своей миссии социалистического писателя: учить массы революционной борьбе; прекрасный лозунг, уже высказанный Франсом: «союз трудящихся обеспечит мир на всем свете», он не сумел применить в действительности на пользу русской революции

Таким образом критика Ролланом и Горьким слабых сторон Франса является родственной лишь при поверхностном взгляде Горький упрекает Франса в том, что тот не сделал практических выводов из беспощадного скептицизма, который он ему ставит в заслугу, что он не был достаточно социалистом в действии Роллан же осуждает Франса за то, что он был скептиком во всем и, тем не менее, социалистом в действии.

## 2

В рамках этой статьи нельзя дать сопоставления «социализма» Роллана и Горького, да и дискуссия писателей в 1924 году по поводу Анатоля Франса непосредственно этого вопроса не коснулась Их расхождение выявилось прежде всего в связи с различным пониманием «скептицизма»

В 1924 году Горький, по-видимому, считал не заслуживающими внимания или по

<sup>25</sup> Там же, т. 25, стр. 377. Статья «О цинизме», опубликованная в маленьком журнале «Les documents du Progrès» (1908, март), недавно была переиздана журналом «Еurore», (1957, № 142—143) Следует отметить, что та же тема была затронута Франсом в «Острове пингвинов» в сатире на «святош»

<sup>26</sup> Письмо от 16 декабря 1924 года (Архив Ромена Роллана) О деятельности А. Франса в 1906 году см. в статьях И. Г. Гуткиной «Анатолю Франсу и французская общественность в 1905—1906 г.» в книге: Революция 1905 года и русская литература Л., 1956, стр. 344—376, и «Общество друзей русского народа и присоединенных народов во Франции в годы первой русской революции» в книге: Из истории общественных движений и международных отношений Сборник статей в память Е. В. Тарле, М., 1957, стр. 615—632

<sup>27</sup> Собрание сочинений, т. 28, стр. 436.

<sup>28</sup> Там же, т. 23, стр. 398.

крайней мере уже отошедшими в прошлое те слабые стороны, за которые он в 1906 году упрекал Анатоля Франса. Действительно, надо было взглянуть на них глазами историка, чтобы показать их пагубные последствия<sup>29</sup> такому человеку, как Роллан, который хранил полное молчание в 1906 году. Теперь революция уже совершилась. Она высвободила новые бурные силы, и Горький пытался увидеть, какое общество они построят, какой гуманизм будет вызван ими к жизни. Он «болен Россией». Исследуя образы «русского человека», накопленные в памяти и записных книжках, он допытывается теперь у великих писателей, которых знал или любил, о той тайне, которая проясняла их взгляд о той основной мысли, которая могла бы руководить и современным русским писателем, стоящим перед лицом новой, формирующейся России. Горький обращается к русским — к Толстому, Короленко, Чехову, Лескову — и к французам. Анатолю Франсу — один из них.

Такова перспектива, в которой Горький рассматривает теперь его «скептицизм». Он стремится найти в умственном складе, беспощадно острую направленность которого против буржуазного общества он одобрял, то, что представляет ценность для социалистического общества. В своей статье он начинает с того, что проводит резкое различие между «скептицизмом» Франса и агностицизмом. Не вдаваясь в подробный исторический анализ мировоззрения французского писателя, он считает, что вольтеровская традиция у него глубже, существеннее, чем ренановская. В нем он скорее видит отражение требований поднимающегося класса, чем взглядов класса, стоящего у власти. Банальное сближение дела Дрейфуса с делом Каласа будет всегда казаться ему верным по существу, и подтверждением этому будет служить привязанность Анатоля Франса к XVIII веку. Отсюда он выводит прежде всего требование справедливости. Это понимание, очень важное в эти годы для Горького, можно найти в центре двух очерков, посвященных В. Короленко («Время Короленко» и «В. Г. Короленко»). Горький влагает в его уста похвальное слово Вольтеру, защитнику Каласа: «Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима — справедливость!.. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость, — вот как я думаю».<sup>30</sup> Горький заключает статью «В. Г. Короленко» следующими словами: «Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши, она — призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы... Суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце, — сердце человека, который страстно любил красоту-справедливость, искал слияния их во единое целое».<sup>31</sup> Эти строчки очень близки к горьковскому отзыву о Франсе: «Он в справедливости видел прежде всего красоту, мудро предчувствуя, что жизнь людей будет справедлива лишь тогда, когда ее насытит красота».<sup>32</sup> И в этом смысле Горький присоединился к Франсу.

Раздумья Горького касаются здесь как раз того пункта, где Анатолю Франсу и Ромену Роллану противостоят друг другу. Не потому, конечно, что забота о справедливости будто бы была чужда Роллану: его творчество, проникнутое демократическим духом, и его деятельность показывают и в дальнейшем покажут это всё больше и больше. Тем не менее, она у него не является основной. В частности, можно было сказать, что в 20-е годы он обращает больше внимания на несправедливость, чем на справедливость. С одной стороны, он чувствует несправедливость как оскорбление личности, оскорбление того права на уважение, которым обладают в равной степени все люди; несправедливость затрагивает их тем более жестоко, чем сильнее выражена их личность, чем энергичней их деятельность, поднимающая их над посредственностью. С другой стороны, справедливость представляется ему как историческая необходимость, имманентный закон, форма всеобщей гармонии в постоянном становлении, которую он постигает не столько в самих вещах, сколько в движении своей собственной мысли. Между ними почти нет места для введения конкретных форм справедливости в законы или в нравы. Ее юридическое выражение ему представляется запятанным той фальшью, которая отмечает Республику Прав Человека и будет неизбежно отмечать всякую республику, которую учредит любая новая революция — они являются поневоле политическими. Хотя бы даже свободный Дух изобличил несправедливость повсюду, где она появляется, это не содействовало бы, однако, установлению справедливости, которая все равно будет извращена в силу природы человека и общества. Свободный Дух нисходит, чтобы вступить в сражение с злоупотреблениями, посягающими на Человека, в сражение, заранее обреченное на неудачу, — а затем этот Дух возвращается в свои

<sup>29</sup> Горький писал Ромену Роллану 16 декабря 1924 года: «...я и теперь уверен, что если б тогда революция в России удалась, европейской войны не было бы, а культурное развитие русского народа избежало бы катастрофы» (Архив Ромена Роллана).

<sup>30</sup> Собрание сочинений, т. 15, стр. 31.

<sup>31</sup> Там же, стр. 50.

<sup>32</sup> Там же, т. 24, стр. 252.

Эмпирей, со взором, устремленным на свою вечную цель — это не Справедливость, а Истина. Один Дух.<sup>33</sup>

По мнению же Горького, «скептицизм» Франса, разрушитель истины, как раз и обуславливает дух справедливости. Горький указывает, что пирронизм Франса является «моральным учением»,<sup>34</sup> а не метафизическим: его сомнение касается не только учреждений и людей, построений разума и самого разума, но он не щадит даже своей собственной природы, этого «я», — скалы, на которой Ромен Роллан обосновал свои жизненные правила. Благодаря этому, такой пирронизм является «моральным»: отказ от придания особой важности своему «я» делает то, что невольно, без усиленных раздумий, Франс видит в себе человека, подобного всем остальным, человека, находящегося с ними на равной ноге и сливающегося с ними: это не просто «причастие», а чувство равенства. Этот аристократ духа глубоко демократичен по своей природе. Вот почему его пирронизм, как подчеркивает Горький, не исключает ни убеждений, ни веры, ни активности, не только моральной активности, но и практической деятельности, которая осуществляется сообща, т. е. деятельности общественной. Можно пожалеть, что Ромен Роллан, создавший в своих пьесах, в «Жане Кристофе» и в первых книгах «Очарованной души» целую галерею личностей сильных как в добре, так и в зле, как наглых, так и скромных, не сумел разглядеть людей-носителей совершенно бескорыстной мудрости, восходящей — минуя героический индивидуализм буржуазных столетий — к античной гражданственности, столь человеческой в учениях великих рабов Греции времен упадка. Вооруженные новыми орудиями мысли, выкованными современным разумом, такие люди продолжают развивать идеи мыслителей древности в условиях нашего мира, на пути «к лучшему времени». В противоположность Ромену Роллану, даже когда тот пытается найти в самом себе все Человечество, Анатолий Франс никогда не мыслит себя одиночкой, не хочет или не может мыслить себя одним. Хотел ли он идти к народу или поднять народ до себя, или вмешаться в ряды его взоющего авангарда — это всегда одно и то же душевное движение, вызванное желанием слиться с народом. Несомненно, это также одна из причин того, что слабые стороны его мысли или характера проявлялись в те моменты истории, когда народное движение было дезорганизовано, находилось в замешательстве или отступало. Точно так же общее движение Франса вперед отражает прогресс народного сознания: с 1920 года Франс безоговорочно примкнул к коммунистическому движению, в то время как Роллан, внезапно остановившись после необычайного скачка мысли, который за несколько месяцев войны привел его к самостоятельному открытию империалистического капитализма и необходимости социальной революции, пытался мистическим путем примирить свои личные требования с объективной необходимостью действия масс.

### 3

Признание Горьким Анатоля Франса является одним из фактов борьбы за «культурное наследие», к которой Ленин призывал после победы Октябрьской революции. Эта борьба была одним из наболевших вопросов в идеологической борьбе молодой социалистической республики в первые годы ее существования. Известно, что даже творчество самого Горького было в свое время поставлено под вопрос приверженцами «пролетарского искусства» (пролеткультовцами). И в самой Франции расхождение между «Humanité» и «Clarté», между пролетарским нигилизмом и защитниками «наследия», отражает до известной степени спор, происходивший в России.

Однако смысл горьковского признания значения Франса иной, чем у «Humanité». Делая оговорки относительно реформизма Анатоля Франса. «Humanité» одобряло и его творчество и его общественную деятельность. Марсель Кашен писал: «В то время, как современные литераторы и писатели выступают в качестве угодливых и презренных лакеев капитала, трудящиеся будут всегда бесконечно признательны Анатолию Франсу за то, что он отдает служению их идеалу все свои силы, свое благородное сердце, свою обширную эрудицию и престиж своего замечательного писательского дарования».<sup>35</sup> Творчество Франса и он сам, как человек, оценивались, следовательно, в исторической перспективе.

Статья Горького нисколько не оспаривает этого отзыва, это ясно по всему, что он

<sup>33</sup> В принципиальной полемике с Барбюсом относительно «Независимости Духа» Роллан различает два духовных склада: один (к которому принадлежит и он сам) выше всего ставит Истину; другой — предпочитает Равенство. Незаметно, чтобы у него при этом было четкое представление, и что он противопоставляет Справедливость саму себе и Справедливость социальную. Как бы там ни было, Горький всегда хвалил справедливость Роллана только как стремление к такому миру, где более царствует доброты. Роллан, по мнению Горького, тем самым подменяет его другой добродетелью — духом любви.

<sup>34</sup> Собрание сочинений, т. 25, стр. 252.

<sup>35</sup> «Humanité», 1924, 16 октября. Фернан Депре шел еще дальше: он хвалил творчество Анатоля Франса за его общедоступность, точность мысли и ясность выражения. (там же, 14 октября).

писал о Франсе. Но в то же время Горький не имел намерения писать хвалебную эпитафию, он мыслит и чувствует как писатель. Горький желает постичь творческую натуру Франса-художника. О Франсе, как человеке, он, по его собственному признанию, не судит, так как не знает его.<sup>36</sup> Вместе с тем Горький не стремится противопоставить Франса как человека его творчеству. Горький стремится схватить самую суть: что разумы Франса под плохим устройством общества, как понимал он положение человека в этом общем нестройстве, какое внутреннее побуждение овладело им вследствие этого понимания и в какой форме выразил он это побуждение. Горький хочет постичь ход мысли Франса, который в былое время обусловил силу и красоту его творчества и должен — *mutatis mutandis* — сохранять свои достоинства и в новых обстоятельствах.

Подобный метод является надежным, если он основывается на правильном диалектическом анализе тех исторических условий, в которых развивалось творчество, и данных исторических условий, к которым приложим полученный опыт. Но Горький, с одной стороны, придерживался отвлеченного представления о вкладе Франции в дело революционного гуманизма, с другой, воспринимал, благодаря интеллектуальной симпатии, личный опыт Анатоля Франса как художника, поэтому он превратил Франса в выразителя французского духа. В созданном им портрете, столь оригинальном в других отношениях и свидетельствующем о пронизательности Горького, встречается таким образом и самая избитая банальность: та аллегория, которую любила преподносить и сама радикал-социалистическая III-я Республика.

Ромену Роллану было не трудно опровергнуть эту схему. С двадцатилетнего возраста он изучал историю, интересуясь ее смутными эпохами, когда сталкивались политические страсти, и поэтому чувствовал здесь себя в своей сфере.

«Вы составили себе о Франции, дорогой Горький,— писал Роллан,— какое-то условное представление. Полагать, что французский дух лишен фанатизма, сильного догматизма, интеллектуальной тирании — это значит забывать о половине французского духа (и притом не менее мощной, хотя и менее симпатичной)... Вы взирате издалека, дорогой друг!.. Нет, страсти не вымерли во Франции — те страсти, что зажигали костры и воздвигали гильотины!.. Чтобы вполне чувствовать Монтена и Анатоля Франса, нужно никогда не забывать стихию религиозной (Монтень) и социальной (Франс) ненависти, против которой они восставали».<sup>37</sup> Роллан снова возвратился к этому в следующем письме: «Я ставил вам в упрек, что вы ничего не видите во Франции, кроме ее улыбки. Мне бы хотелось, чтобы вы увидели также ее зубы. Я хочу, чтобы наряду со свободой духа люди увидели бы во Франции ее нетерпимость, ее неистовые страсти рядом с ее скептицизмом, дух тиранства вместе с духом братской человечности, мрачные тени и свет».<sup>38</sup> Роллан подчеркивает реальную сложность противоположных традиций, которые сталкиваются и дополняют друг друга внутри французского единства. Нет сомнения, он говорит здесь скорее как психолог, изучающий историю, чем как историк. Нет сомнения, что его заключение («Великий человек не столько тот, кто представляет свой народ, а скорее тот, кто его бичует») слишком уже отмечено воинствующим индивидуализмом автора «Одного против всех». Как бы там ни было, Ромен Роллан вынес из своего основательного исторического образования, которым он справедливо гордился, ощущение диалектической сложности реального мира и убеждение, что без постижения и показа во всей его силе того, что противодействует прогрессу, этот прогресс неизбежно сводится к безжизненной схеме.

Ответ Горького Роллану для французского читателя глубоко трогателен: «Дорогой друг, о Франции всегда хочется говорить хорошо. Может быть, это потому, что мать любишь не так, как женщину, а, может,— потому, что мы любим до поры, пока не узнаем. Любить же — необходимо... К Франции у меня, как у многих русских моего поколения,— восторженное чувство влюбленного, и оно не колеблется, нет!»<sup>39</sup>

В сущности это признание в том, что речь идет не столько о Франции, сколько о какой-то идее, символом которой она была для Горького.

В годы тяжелых раздумий о русском народе и некоторых чертах его исторической отсталости, которые Горький считал в то время свойственными русскому характеру, мысль писателя обращалась порою к историческому опыту Запада и прежде всего к опыту Франции. Вспоминая французскую, он прежде всего думал о русской действительности.

В своей статье Горький пытается определить, в чем заключается сила «скептицизма» Франса и в чем он противостоит «догматизму», который стремится «вонзать мысль в узкое русло той или иной системы...»<sup>40</sup>

Именно против «догматизма», ведущего к упрощению сложности жизни, против искусственного подчинения человека разуму вместо того, чтобы поставить разум на службу человеку, Горький и призывал на помощь скептицизм Анатоля Франса.

<sup>36</sup> Собрание сочинений, т. 29, стр. 429.

<sup>37</sup> Письмо от 12 декабря 1924 года (Архив М. Горького).

<sup>38</sup> Письмо от 8 января 1925 года (Архив М. Горького).

<sup>39</sup> Письмо от 16 декабря 1924 года (Архив Ромена Роллана).

<sup>40</sup> Собрание сочинений, т. 24, стр. 249.

При такой постановке вопроса Роллану, конечно, трудно было понять Горького. Для Роллана догматизм (как это явствует из «Клерамбо» и «Лилюли») в самом деле происходит либо из страстных стремлений коллектива, либо из духа власти, развившегося вследствие применения силы; он является, таким образом, результатом постоянного конфликта индивидуализма и общества. Права и обязанности, которые Роллан ему противопоставляет — дух критики, нон-конформизм, критика самого себя, владение собой, всё это — формы интеллектуальной честности, посредством которых доказывается независимость Духа. Следовательно, догматизму Роллан противопоставляет определенное «я», которое, полагает он, разрушается скептицизмом. Скептицизм, по его мнению, является врагом прогресса: он равносильен агностицизму, консерватизму, нигилизму.

Для Горького скептицизм Анатоля Франса является орудием прогресса: при его помощи критический разум становится творческим, заставляя постоянно двигаться вперед, закосневшей мысли он выдвигает гипотезу, заставляя постоянно двигаться вперед.

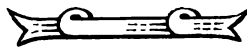
Статья Горького не вызвала, по-видимому, никакого отклика во французской прессе. Если Ромен Роллан так живо на нее откликнулся, то это объясняется его привязанностью к самому Горькому, его личной неприязнью к Анатолю Франсу, а также позицией, которая была занята им в полемике вокруг памфлета «Труп».

Выпады против Анатоля Франса произвели большое впечатление на Горького. Та пылкость, с которой он реагировал на памфлет «Труп», раскрывает глубину его переживаний. Он «в тревоге», он потрясен «безумным издевательством над Анатолем Франсом»,<sup>41</sup> угадывая в неслыханном оскорблении, нанесенном Франсу, непонятную ему трагедию. Ему представляется, что во Франции, в этой прекрасной стране, пылкой и яркой, люди измучились до отчаяния, до того, что стали делать что-то такое, чего он не понимает и никогда не поймет, как бы ему ни старались объяснить побуждения, «заставившие так бессмысленно осмеивать Анатоля Франса». По мнению Горького, это неоспоримый признак упадка, духовного оскудения. Начиная с 1926 года, Горький указывает на «Cadavre» («Труп»), на скандал, устроенный Маргериту, и другие нелепости и преступления, как на доказательства вырождения капиталистического мира.

Статья «Об Анатоле Франсе», написанная в 1924 году, отразила в некоторой мере взгляды Горького, которые он затем превозмог.

Позднее он уже не мог смотреть на Анатоля Франса по-прежнему. «Скептицизм» Франса уже не рассматривается им как орудие прогресса. Горький снова возвращается к тому различию, которого он держался после 1905 года. В отзывах, написанных им после 1924 года, делается ударение на беспощадной критике буржуазных учреждений и идеологии. Он ставит Франса, «чей скепсис очень близок пессимизму», в один ряд с Шатобрианом, Бодлером, этими «блудными сынами» буржуазии, неспособными показать выход и что-либо утверждать, кроме явной бессмысленности социальной жизни, да и вообще «бытия».<sup>42</sup>

И когда несколько лет спустя Горький бросит ретроспективный взгляд на свою статью в честь Анатоля Франса, он осудит себя: «Мне кажется, что иностранных художников я чувствую лучше, чем могу выразить это чувство словами. Написанное мною о Гамсуне, А. Франсе — мне уже неловко читать, ибо вижу, что эти образы я одел в ризы из фольги, как монахиня Полетаевского монастыря сделала с превосходной копией Ступина, написанной им с Мадонны Гвидо Рени».<sup>43</sup>



<sup>41</sup> Письмо к Роллану от 16 декабря 1924 года (Архив Ромена Роллана).

<sup>42</sup> Собрание сочинений т. 27, стр. 217—218.

<sup>43</sup> Письмо к А. К. Виноградову от 5 мая 1929 года (Архив М. Горького).

## НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО А. В. КОЛЬЦОВА К В. Г. БЕЛИНСКОМУ

Знакомство Кольцова с Белинским состоялось в 1831 году, но только в 1836 году, когда Кольцов вторично побывал в Москве, они близко сошлись, и между ними завязалась переписка. Из этой переписки до нас дошли лишь письма Кольцова. Письма же Белинского к нему, как и все бумаги, оставшиеся после смерти Кольцова, погибли.

Публикуемое письмо Кольцова относится ко времени пребывания Белинского в Прямухине, где он гостил у М. А. Бакунина с конца августа до середины ноября 1836 года. «Во время его пребывания там,— писал Е. А. Ляцкий в своих примечаниях к письму Белинского М. А. Бакунину от 3 января 1837 года,— в Москве разыгралась „Телескопская“ история; у Белинского на квартире в Москве был обыск, он был предупрежден о грозящей ему опасности кем-то из друзей, кажется, Кетчером, и спешно выехал от Бакуниных в Москву, чтобы не подвергнуть и их обыску, которого можно было ожидать в том случае, если бы Белинский остался в Прямухине. Вряд ли, все-таки, в ожидании обыска, были приняты кое-какие меры, заключавшиеся между прочим и в уничтожении писем и бумаг Белинского. . .»<sup>1</sup> Вот почему в составе обширного семейного архива Бакуниных уцелело всего несколько писем к В. Г. Белинскому: Н. В. Станкевича, Н. И. Надеждина, В. П. Боткина, И. П. Ключникова и два письма А. В. Кольцова. Одно из этих писем Кольцова к Белинскому, от 11 сентября 1836 года, вместе с приложенным к нему стихотворением «Неразгаданная истина» напечатано впервые А. А. Корниловым в «Юбилейном сборнике Литературного фонда. 1859—1909» (СПб., стр. 140—141), а затем вошли в «Полное собрание сочинений» А. В. Кольцова, (изд. 3-е, СПб., 1911, стр. 163, 72—73). Другое письмо, от 3 сентября 1836 года, впервые публикуется ниже по автографу, хранящемуся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (ф. 16, оп. 11, № 21). К письму приложен беловой автограф стихотворения «Молодая жница».

Доброй и любезнейший мой

Виссарион Григорьевич.

Простите меня, что так долго я к вам не писал. Простите меня, что так долго не послал к вам требуемые вами стихи чрез Сребрянского — Подражание Эоловой арфе.<sup>2</sup> Простите меня, что не благодарил вас и почтеннейшего Николая Ивановича за полученный мною 10 № Телескопа.<sup>3</sup> Виноват. Не был дома. Всё хлопоты, да дела, всему виною. Теперь посылаю вам стихи Подражание Эоловой арфе. С ними вместе мои Молодая жница.<sup>4</sup> Посмотрите, если хороши, поместите в Телескопе. Благодарю вас за присланный мне 10 № Телескопа, поблагодарите и Николая Ивановича. Этот подарок я дорого ценю, хоть я еще его и не заслужил. Но бог даст заслужу. Прошу вас, любезнейший Виссарион Григорьевич, нельзя ли как-нибудь в свободную минуту уведомить: Цветок и Умолкший поэт будут напечатаны или нет.<sup>5</sup> И если будут, покорно прошу в Умолкшем поэте выкиньте три самые последние стиха. Я думаю лучше кончить его

Тебе не заметна  
Великая дума  
Огонь благодатный  
Во взоре его?

а прочие вон.— Уведомлением много обяжете. 28 августа был у меня Николай Владимирович Станкевич.<sup>6</sup> Слава богу, здоров. В октябре поедет в Москву.

С истинным моим уважением и душевной преданностью честь имею пребыть вас милостивого государя покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

Воронеж

1836

Сентября — 3.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Белинский. Письма. Редакция и примечания Е. А. Ляцкого, т. I, СПб., 1914, стр. 392.

<sup>2</sup> Серебрянский, Андрей Порфирьевич (1810—1838) — друг Кольцова. Белинский очень высоко ценил его и в своей статье «О жизни и сочинениях Кольцова» писал: «Дружеские беседы с Серебрянским были для Кольцова истинною школою развития во всех отношениях, особенно в эстетическом. Для своих поэтических опытов, Кольцов нашел себе в Серебрянском судью строгого, беспристрастного, со вкусом и тактом, знающего дело» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IX, изд. АН СССР, М., 1955, стр. 506). В 1831—1836 годах Серебрянский учился в Москве в Медико-хирургической академии. Летом 1836 года он, вероятно, был в Воронеже, и Кольцов предлагал с ним послать Белинскому обещанное стихотворение «Подражание Эоловой арфе». Автор этого стихотворения неизвестен, но, по-видимому, им был один из воронежских начинающих поэтов, произведения которых Кольцов посылал Белинскому для оценки. В письме к Белинскому от 11 сентября 1836 года Кольцов писал: «Другую пьеску „Песнь“ посылаю к вам же на суд. Это новое произведение нового молодого человека, купчика. Он просил меня ее прислать к вам. Я посылаю.— „Ему даже ответ ваш дорог“, — так он говорит» (А. В. Кольцов, Полное собрание сочинений, изд. 3-е, СПб., 1911, стр. 163). Кольцов и в дальнейшем продолжал посылать Белинскому произведения своих земляков. О причинах, побуждавших его к этому, он говорит в письме к Белинскому от 20 февраля 1840 года: «Посылаю вам еще одного моего знакомца две пьески; а чорт знает, может я вам их посылаю — только скучаю; скажите, — не буду. Я ведь не из того бьюсь, чтобы услужить моим знакомым, а из того: если у них что выйдет хорошо, жаль так пропадет» (там же, стр. 210).

Рукопись стихотворения «Подражание Эоловой арфе» при публикуемом письме не сохранилась. Возможно, что рукопись была уничтожена вместе с другими бумагами Белинского в ожидании обыска в Прямухине или же утрачена позднее.

<sup>3</sup> Надеждин, Николай Иванович (1804—1856) — критик, историк и этнограф, основатель и редактор журнала «Телескоп» (1831—1836) и его приложением «Молва» Осенью 1836 года «Телескоп» был закрыт за напечатание в пятнадцатом номере журнала «Философического письма» П. Я. Чаадаева, а Надеждин был сослан в Усть-Сысольск. В «Телескопе» Белинский сотрудничал с 1833 года.

<sup>4</sup> Еще весной 1836 года Кольцов пытался поместить стихотворение «Молодая жница» в «Современнике». В письме к А. А. Краевскому от 22 мая 1836 года он писал: «Януарию Михайловичу <Неверову> с сею же почтою я послал „Молодую жницу“; пожалуйста, прочтите ее. Если она не годится в „Современник“, то киньте в Неву» (А. В. Кольцов, Полное собрание сочинений, 1911, стр. 159). Что ответили Краевский и Белинский, неизвестно, но стихотворение при жизни поэта напечатано не было, и только в 1846 году Белинский включил его в сборник стихотворений Кольцова (стр. 20—22). В бумагах Белинского, хранящихся в собрании П. Я. Дашкова (ИРЛИ), имеется рукопись ранней редакции этого стихотворения. Эта редакция замечательна тем, что из нее после переработки выделились два стихотворения: «Молодая жница» (1836) и «Грусть девишки» (1840). Последнее было напечатано в 1841 году в «Отечественных записках» (т. XIV, отд. III, стр. 158).

<sup>5</sup> Стихотворения «Цветок» и «Умолкший поэт» в «Телескопе» напечатаны не были. Стихотворение «Цветок» написано Кольцовым еще в 1829 году, но весной 1836 года по дороге из Петербурга в Москву оно было переработано поэтом и из 22 стихов только 1—3 и 6 стихи вошли в новую редакцию. В письме к А. А. Краевскому, Я. М. Неверову и В. В. Григорьеву от 2 июля 1836 года Кольцов писал: «Посылаю вам при сем „Цветок“. Я его написал, или лучше — переправил еще дорогою из Питера в Москву; но прежде не послал: думал, что он не успеет войти в собрание. В Москве отдал его Белинскому: напечатает ли он, или нет, — не знаю» (А. В. Кольцов, Полное собрание сочинений, 1911, стр. 162). В конце того же 1836 года, по совету Ф. Н. Глинки, Кольцов внес в стихотворение последнюю поправку: он заменил четыре последних стиха новыми, о чем и сообщил в письме от 9 декабря 1836 года к Ф. Н. и

А. П. Глинкам: «Вы изволили говорить: последний стих переменить у пьески „Цветок“. Вот эдак будет, кажется, лучше. . .» (там же, стр. 165). «Цветок» напечатан в 1838 году в «Сыне отечества» (т. II, стр. 22—23 — в окончательной редакции) и в 1867 году в «Отечественных записках» (т. 170, стр. 823—824 — в ранней редакции).

Стихотворение «Умолкший поэт» Кольцов в начале 1838 года передал в «Современник» П. А. Плетневу. «Его видно Плетнев почему-то не хочет печатать в „Современнике“, — писал Кольцов Белинскому 28 сентября 1839 года, — видно потому, что он умолкший, а ему, знаете, надобны живые, говорливыс» (А. В. Кольцов, Полное собрание сочинений, 1911, стр. 202). Стихотворение напечатано в 1840 году в «Отечественных записках» (т. VIII, отд. III, стр. 142—143) без трех последних стихов, о которых Кольцов говорит в публикуемом письме:

Возьми же, безумец,  
Возьми и мою  
Улыбку презренья.

<sup>6</sup> Станкевич, Николай Владимирович (1813—1840) — сын помещика Воронежской губернии, глава московского философско-литературного кружка 30-х годов XIX века. Кольцов познакомился с ним в 1830 году. Станкевич один из первых оценил талант Кольцова и в 1835 году издал сборник его стихотворений.



,



## И. С. ТУРГЕНЕВ И Ю. П. ВРЕВСКАЯ

В городе Плевне существует Скобелевский парк, в котором находится филиал Военно-исторического музея — могила-склеп, где хранятся останки и личные вещи русских солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение этого города от пятисотлетнего турецкого ига. Здесь висит и написанный масляными красками портрет русской сестры милосердия Юлии Петровны Вревской,<sup>1</sup> умершей от тифа в одном из госпиталей в г. Беле 24 января (5 февраля) 1878 года.

Для нас, советских людей, а также для наших друзей из славянских стран, личность Ю. П. Вревской, помимо ее участия в войне за освобождение Болгарии, представляет большой интерес еще и потому, что искренняя и глубокая дружба связывала с ней И. С. Тургенева. Великий русский писатель посвятил памяти Ю. П. Вревской взволнованные строки своего известного стихотворения в прозе.

\* \* \*

О Юлии Петровне Вревской, урожденной Варпаховской (1841—1878), сохранились очень скудные биографические сведения. Шестнадцать лет она вышла замуж за вдовца, генерал-лейтенанта Ипполита Александровича Вревского, командовавшего войсками на лезгинской линии Кавказа. И. А. Вревскому было в то время (в 1857 году) 44 года. Это был человек далеко незаурядный. Некогда товарищ М. Ю. Лермонтова по школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, И. А. Вревский только годом раньше великого поэта (в 1833 году) был выпущен из нее в Финляндский полк. Позже Вревский окончил Академию Генерального штаба. Служа на Кавказе, он сблизился с декабристами А. П. Беляевым, М. А. Назимовым, Н. И. Лорером.

В 1840 году на квартире И. А. Вревского в Ставрополе бывали М. Ю. Лермонтов, А. А. Столыпин, Л. С. Пушкин, Р. И. Дорохов, М. А. Назимов и др.<sup>2</sup> По словам А. П. Беляева, Вревский был «одним из образованнейших и умнейших людей своего времени», «знал многие иностранные языки, был очень любознателен, имел чрезвычайно многосторонние познания». Во время военных операций он «всегда старался выбирать самые почетные позиции по опасности». «Я восхищался его хладнокровием и мужеством»,<sup>3</sup> — добавляет А. П. Беляев. В 1858 году И. А. Вревский получил смертельную рану при штурме лезгинского аула Китური и 30 августа умер, «оставив по себе память искусного и храброго военачальника».<sup>4</sup>

Юлия Петровна была женой И. А. Вревского очень непродолжительное время. Тем не менее вполне возможно, что муж неоднократно делился с ней своими воспоминаниями о Лермонтове и декабристах. И его рассказы несомненно должны были производить сильное впечатление на молодую женщину, ставшую впоследствии близким другом И. С. Тургенева.

Как сложилась жизнь Ю. П. Вревской после смерти мужа? Об этом известно очень мало. «Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез»,<sup>5</sup> — писал впоследствии И. С. Тургенев в стихотворении в прозе «Памяти Ю. П. Вревской» (1878).

<sup>1</sup> Воспроизведен в журнале «Нева», 1958, № 5, стр. 222.

<sup>2</sup> А. Е с а к о в. М. Ю. Лермонтов. «Русская старина», 1885, № 2, стр. 474.

<sup>3</sup> А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. 1805—1850. СПб., 1882, стр. 500.

<sup>4</sup> [В. Потто]. Исторический очерк николаевского кавалерийского училища. 1823—1873. СПб., 1873, стр. 144.

<sup>5</sup> И. С. Тургенев. Собрание сочинений в двенадцати томах, том. 8, Гослитиздат, М., 1956, стр. 488.

Активная и деятельная натура Ю. П. Вревской, по-видимому, не могла примириться с той монотонной и малосодержательной жизнью, которую она была вынуждена вести в Петербурге, принадлежа, в качестве вдовы прославленного генерала, к великосветскому обществу столицы. Ей было скучно и неуютно в Петербурге среди пустого и лицемерного «света». И неслучайно, конечно, И. С. Тургенев в одном из писем к ней, отмечая, что «привычки» и «повадка» Вревской «вполн и совершенно светские», подчеркивал далее: «... в Вашем существе, в Вашем сердце и душе — ничего нет светского».<sup>6</sup>

Писатель познакомился с Ю. П. Вревской, вероятно, в 1873 году.

Летом 1874 года она навестила Тургенева в Спасском и прогостила у него пять дней (21—26 июня). Это посещение, по словам писателя, «оставило глубокий след» в его душе. Сразу же после отъезда Вревской Тургенев писал ей: «... я чувствую, что в мсей жизни, с нынешнего дня, одним существом больше, к которому я искренне привязался, дружбой которого я всегда буду дорожить, судьбами которого я всегда буду интересоваться».<sup>7</sup>

В 1875 году Тургенев и Вревская встретились в Карлсбаде, где писатель проходил курс лечения водами.

В промжутках между встречами они вели оживленную переписку. До нас дошло всего шесть писем Вревской к писателю,<sup>8</sup> хотя в действительности их было гораздо больше. Об этом с уверенностью можно судить на основании известных нам сорока восьми писем Тургенева к Вревской за 1873—1876 годы, опубликованных в «Шукинском сборнике» в 1906 году (вып. V). Содержание тургеневских писем позволяет сделать некоторые выводы о характере переписки в целом, о круге взаимных интересов обоих корреспондентов.

Несомненным является тот факт, что Ю. П. Вревская далеко не чужда была литературно-художественных и общественно-политических интересов.

В связи с этим в письмах к ней Тургенев нередко цитирует произведения Пушкина и Лермонтова, сообщает о своих впечатлениях от новых литературных произведений («Анны Карениной» Л. Толстого, «Благонамеренных речей» Салтыкова-Щедрина, «Его првосходительства Эжена Рюгона» Золя и др.).<sup>9</sup>

В свою очередь Вревская советует Тургеневу помириться с Некрасовым, написав ему письмо; сообщает писателю об опере «Демон» А. Г. Рубинштейна, которая ей, видимо, очень понравилась;<sup>10</sup> пишет о посещении выставки в Академии Художеств и о своем знакомстве с И. К. Айвазовским<sup>11</sup> и т. д.

Одно из значительных мест в письмах Тургенева к Вревской занимают вопросы, так или иначе связанные с романом «Новь». Еще в начале 1876 года, 15 (27) февраля, Тургенев писал ей, что он «принялся серьезно за свою большую работу»,<sup>12</sup> а 14 (26) июля того же года сообщал об окончании работы над романом в Спасском-Лутовинове.<sup>13</sup>

Во время очень краткого пребывания в Петербурге летом 1876 года Тургенев успел повидаться с Вревской: 20 июля (1 августа) он обедал у нее на даче в Старом Петергофе.<sup>14</sup>

Вскоре после отъезда Тургенева из столицы Вревская 5 (17) августа сообщала Я. П. Полонскому, с которым писатель не успел повидаться: «И. С. Тургенев в Буживале... обещает быть в Петербурге в ноябре<sup>15</sup> со своим новым романом *Новь*».<sup>16</sup>

Двадцать пятого ноября (6 декабря) 1876 года Тургенев писал Вревской, что М. М. Стасюлевич уговорил его «разрубить» роман на две части, из которых первая половина будет напечатана в январской, а вторая — в февральской книжке «Вестника Европы» за 1877 год. «Не знаю, что такое я написал, — прибавлял писатель далее, — критик „Отечественных записок“ г-н Михайловский, как только начали ходить слухи о мсем романе, обозвал меня „бездушнейшим человеком, который будет запускать свои неумелые пальцы в зияющие раны нового поколения!“»<sup>17</sup>

Предстоящая реакция критики и читателей на «Новь» волновала Вревскую и,

<sup>6</sup> Шукинский сборник, вып. V. М., 1906, стр. 481—482.

<sup>7</sup> Там же, стр. 465.

<sup>8</sup> Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР, рукописный отдел (в дальнейшем — ИРЛИ), 5777. ХХХб. 67, лл. 1—21 об.

<sup>9</sup> Шукинский сборник, стр. 478, 479.

<sup>10</sup> Там же, стр. 485—486.

<sup>11</sup> ИРЛИ, 5777. ХХХб. 67, л. 12 об.

<sup>12</sup> Шукинский сборник, стр. 477.

<sup>13</sup> Там же, стр. 482.

<sup>14</sup> См. телеграмму Ю. П. Вревской Я. П. Полонскому от 20 июля 1876 года — ИРЛИ, 11.987. LXIX б. 6, л. 3.

<sup>15</sup> В действительности этот приезд совершился гораздо позже; рукопись же «Нови» была отправлена в редакцию «Вестника Европы» 9 (21) ноября 1876 года — «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», том III, СПб., 1912, стр. 89.

<sup>16</sup> ИРЛИ, 11.987. LXIX б. 6, л. 1.

<sup>17</sup> Шукинский сборник, стр. 485.

по-видимому, нередко служила предметом разговоров, которые она вела с друзьями писателя. Так 8 (20) декабря 1876 года, отвечая Тургеневу на его предшествующее письмо, она сообщала «Топоров бедал у меня вчера и просил передать Вам, что Стасов по слухам *очень хвалит* „Новь“, но что, по-видимому, *никто* кроме Стасюлевича ее не читал — что касается до Михайлов<ского> (От<ечественные> Записки), то он очень озлоблен, и кажется готовится бранить Все без исключения ждущего Вашего романа с большим нетерпением»<sup>18</sup>

В ответном письме от 16 (28) декабря 1876 года Тургенев писал: « до Вас с Топоровым слухи доходят поздно Стасюлевич читал мой роман в разных местах . . . если Стасов его хвалит — значит он о нем понятия не имеет — ибо он там выведен в комическом свете Ну а Михайловскому сам бог велел меня мешать с грязью»<sup>19</sup> В следующем письме, от 15 (27) января 1877 года, Тургенев, сетуя на молчание Вревской, писал: « Вам неловко говорить со мною о фиаско, претерпленном первой частью „Нови“? Вы можете быть спокойны факт этот мне совершенно известен. Не могу сказать, чтобы к этому факту я отнесся совершенно равнодушно, но ведь горю теперь уж пособить нельзя, след<овательно> надо стараться позабыть его Не лучшей участи ожидаю я также и для второй части Смотрю на литературную свою карьеру как на поконченную»<sup>20</sup>

Вревская старалась успокоить Тургенева и писала ему еще до получения этого письма, 12 (24) января 1877 года, по-видимому, какие-то слова одобрения, в ответ на которые писатель благодарил ее 18 (30) января «за дружеское участие»<sup>21</sup>

\* \* \*

Восстания против турецкого ига (в Боснии и Герцеговине в 1875 году, в Болгарии в 1876 году) побудили русский царизм в целях укрепления своего влияния на Балканах выступить за предоставление автономии славянскому населению Болгарии, Боснии и Герцеговины. Надеясь новой победоносной войной поднять свой престиж на международной арене и разрядить напряженную политическую обстановку внутри России, царская дипломатия выступила против Турции под лозунгом «защиты братьев славян». Искренние симпатии к балканским славянам, борющимся за свою свободу и национальную независимость, питали передовые круги русского общества и широкие народные массы. Когда в июне 1876 года Сербия и Черногория объявили войну Турции, это вызвало сильное возбуждение в России. Повсюду открыто заявлялись симпатии сербам. В Сербию отправлялись добровольцы, деньги, провиант. С середины сентября началась частичная мобилизация русской армии. В феврале 1877 года разгромленная Сербия подписала с Турцией мир, продолжала борьбу одна Черногория. 12 (24) апреля 1877 года Россия объявила войну Турции.

Война на Балканском полуострове нашла отражение как в письмах, так и в художественном творчестве Тургенева 1876—1878 годов. Одним из самых ранних откликов писателя явилось стихотворение «Кркет в Виндзоре», написанное 20 июля 1876 года. Непосредственным поводом к его созданию послужило жестокое подавление восстания в Болгарии, находившейся под властью Турции<sup>22</sup>. Это вызвало волну возмущения в России, тем более, что Англия, боясь усиления влияния России, проводила политику «невмешательства» в балканские дела, фактически поощряя этим Турцию.

Девятого (21) ноября 1876 года Тургенев писал Е. А. Черкасской, близкой к славянофильским кругам: « я. не славянофил и никогда им не буду, сочувствовать глубоко движению, охватившему всю Россию, уже потому не в состоянии, что оно исключительно религиозное, — но силу и стихийную громадность его признаю ». Далее писатель подробно излагал свое отношение к подавлению восстания в Болгарии: «Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства. Они только и живут во мне — и если этому нельзя помочь иначе — как войною — ну так война! Зарезанные болгарские жены и дети были бы не христианской веры и не нашей крови — мое негодование против турок не было бы несколько меньше — Оставить это *так*, не обеспечить будущность этих несчастных людей — было бы позорно — и повторяю, едва ли возможно без войны»<sup>23</sup>

<sup>18</sup> ИРЛИ, 5777, XXX б. 67, лл. 5 об — 6

<sup>19</sup> Щукинский сборник, стр. 486

<sup>20</sup> Там же, стр. 487.

<sup>21</sup> Там же, стр. 488.

<sup>22</sup> О том, насколько дикими зверствами сопровождалось подавление этого восстания, свидетельствует тот факт, что, например, в районе Филиппополя (ныне Пловдив) «в несколько дней было вырезано около 15 тыс. человек и сожжено 79 деревень» («История международных отношений и внешней политики СССР (1870—1957 гг.)», М., 1957, стр. 7).

<sup>23</sup> ИРЛИ, Р III, оп. 2, № 1924, лл. 1 об — 2

В связи с этим легко могут быть объяснимы постоянные возвращения к теме войны в письмах Тургенева к Вревской. «Сербская катастрофа<sup>24</sup> меня очень огорчает. Будь мне только 35 лет, кажется, уехал бы туда»,<sup>25</sup> — пишет он 8 (20) августа 1876 года. И эти слова писателя произвели глубокое впечатление на его корреспондентку, которая менее чем через год, в июне 1877 года, отправилась на театр военных действий. Интересно, что вместе с Вревской оказалась в Яском госпитале в качестве сестры милосердия и другая знакомая Тургенева — В. А. Сурикова,<sup>26</sup> уроженка Орловской губернии (впоследствии напечатывавшая в журналах несколько рассказов). Есть все основания полагать, что её решение было принято также под влиянием образа Елены из романа «Накануне».

Внимательно следя за развитием событий на Балканском полуострове, Тургенев 1 (13) ноября 1876 года писал Вревской о неизбежности войны, которая «займет все умы».<sup>27</sup> С глубоким сочувствием относясь к борьбе славянских народов против турецкого ига, писатель 25 ноября (6 декабря) того же года выражал надежду: «... дай бог нашим смиренным героям в больших сапогах действительно выгнать турку и освободить братьев славян!»<sup>28</sup>

В одном из писем к Тургеневу, относящемся, очевидно, ко второй половине апреля 1877 года, Вревская сообщала: «Видаю часто мою старую приятельницу, сестер милосердия начальницу, учусь ходить за больными и утешаю себя мыслью, что делаю дело».<sup>29</sup> В конце письма она добавляла: «Вряд ли придется мне выехать ранее половины или конца мая, это меня только радует, потому что таким образом есть надежда Вас видеть».<sup>30</sup> Однако позднее Вревская в не дошедшем до нас письме, очевидно, высказывала предположение о том, что ей придется выехать из столицы несколько раньше. Это видно из ответного письма Тургенева от 12 (24) мая, в котором он, сообщив, что послезавтра выезжает из Парижа в Россию, выражал сожаление, что «двумя-тремя днями» не захватит Вревскую в Петербурге. «Мое самое искреннее сочувствие будет сопровождать Вас в Вашем тяжелом странствовании. Желаю от всей души, чтобы взятый Вами на себя подвиг не оказался непосильным...»<sup>31</sup> Далее Тургенев выражал надежду, что «эта бедственная война не затянется», хотя «едва ли можно предвидеть ей скорый конец». «А какой Ваш костюм? Костюм Сестер Милосердия? Посмотрел бы я на Вас... и вероятно... был бы тронут. Знаете ли Вы, по крайней мере, Ваших будущих товаров? Я даже не могу себе представить: как это так — 22 женщины вместе? С особенным чувством благодарю Вас за то, что вспомнили обо мне — и с великой нежностью целую Ваши милые руки, которым предстоит делать много добрых дел»,<sup>32</sup> — писал он.

Однако Тургеневу суждено было еще раз встретиться с Вревской до отъезда ее в Яссы, где в это время организовывался эвакуационный госпиталь. Один из современников (К. П. Ободовский) в «Рассказах об И. С. Тургеневе» описывает свою встречу с писателем в Павловске, на даче у Я. П. Полонского в июне 1877 года следующим образом:

«Тургенев прибыл не один. С ним вместе приехала дама в costume сестры милосердия. Необыкновенно симпатичные, чисто русского типа, черты лица ее как-то гармонировали с ее костюмом.

Меня ей представили, причем назвали и ее фамилию. Это была баронесса Вревская.

Тогда начиналась война за освобождение Болгарии, и баронесса спешила на театр военных действий, чтобы посвятить себя деятельности сестры милосердия».<sup>33</sup>

\* \* \*

Деятнадцатого июня 1877 года Вревская вместе с другими сестрами Свято-Троицкой общины, к которой она присоединилась в Петербурге, приехала в Яссы (Румыния) для работы в 45 военно-временном эвакуационном госпитале. Он был расположен в здании большого каменного паггауза, находящегося на расстоянии около 200 шагов от вокзала. Уже 21 июня в Яссы пришел из Браилова первый санитарный поезд с ранеными и больными. Прибывших переводили из вагонов в барак, где их осматривали врачи.

<sup>24</sup> В августе 1876 года сербские войска понесли ряд поражений.

<sup>25</sup> Шукинский сборник, стр. 483.

<sup>26</sup> Два письма Тургенева к ней 1872—1873 гг. опубликованы. См.: «Огонек», 1957, № 20, стр. 24.

<sup>27</sup> Шукинский сборник, стр. 485.

<sup>28</sup> Там же, стр. 485.

<sup>29</sup> ИРЛИ, 5777 ХХХ б. 67, л. 12.

<sup>30</sup> Там же, л. 13.

<sup>31</sup> Шукинский сборник, стр. 495.

<sup>32</sup> Там же.

<sup>33</sup> «Исторический вестник», 1893, № 2, стр. 359—360.

Тяжелораненых оставляли в госпитале, а способных к дальнейшей транспортировке отправляли дальше, в Россию

«Весь конец июня и начало июля прошли для всего персонала Ясского эвакуационного барака в весьма напряженных трудах»,<sup>34</sup> — отмечает Н. С. Абаза — главноуполномоченный общества попечения о раненых и больных воинах. В самом деле уже в начале июля бывали дни, когда приходило по два транспорта раненых и больных, с половины июля, в особенности же после первого штурма Плевны (18 июля), прибытие двух поездов в сутки стало обычным делом. Во второй половине июля и в августе количество больных и раненых быстро возрастало.

К сожалению, письма Вревской к Тургеневу, относящиеся к этому времени не сохранились. Но о том, что они существовали, известно из письма Тургенева к А. В. Топорову от 22 августа (3 сентября) 1877 года, в котором сообщалась «Баронесса Вревская мне изредка пишет из Ясс — Завалены они все там работою. Самое тяжелое впереди»<sup>35</sup>

Действительно, наиболее горячее время наступило в начале сентября. «В продолжение 12 дней (с 7 по 18 сентября) происходил такой наплыв раненых и больных, какого в Яссах не испытывали еще. Ежедневно прибывало средним числом 3 поезда. Каждый поезд, большей частью воинский, привозил огромные транспорты. Персонал барака работал до изнеможения.»<sup>36</sup>

Наиболее обременены обязанностями были в Ясском госпитале сестры. Они переносили раненых, раздавали, по назначению врачей, лекарства, наблюдали за сменой белья, раздавали пищу, собственноручно кормили больных и тяжелораненых. Все сестры по очереди назначались сопровождать санитарные поезда, где работа была особенно сложной и тяжелой, так как товарные вагоны не сообщались между собой, а количество больных и раненых, находившихся в них, было огромным.

О своей работе в Яссах Вревская рассказывает в неопубликованном «Дневнике»<sup>37</sup> «Я совершенно привыкла к нашей жизни, и мне было бы скучно без дела. Я очень рада работе», — записывает она 24 сентября (6 октября) 1877 года, указывая, что находится в Ясском госпитале уже три месяца и что за это время ее «белье стало в лохмотьях, также платья страшно обтрепались» (л. 4—4 об.)

После трудных сентябрьских дней в конце месяца наступило некоторое затишье и в госпитале было «больных больше, чем раненых» (л. 4 об.), — пишет Вревская 3 (15) октября.

Такое положение существовало, однако, не долго.

Восемнадцатого (30) октября Вревской пришлось отметить, что «ждут большую партию раненых после победы Гурко» (л. 5). Действительно, взятие гвардейцами Горного Дубняка и Телиша 12 (24) октября вызвало новый приток раненых в Яссы.

В это время Вревская, как и многие другие сестры, чувствуя сильное переутомление после напряженнейшей и тяжелой трехмесячной работы в госпитале, собиралась пойти в отпуск. Однако уже 18 (30) октября она записала в своем «Дневнике»: «Если будет очень много дела тут, то я в отпуск, может быть, не поеду» (л. 5). Двадцать пятого октября (6 ноября) Вревская отмечает: «У нас опять работа, завтра ждем 1500 человек, сегодня было 800. дни проходят в бараке и писать почти не нахожу минуты» (л. 5).

На следующий день она снова указывает, что у них в госпитале «жизнь однообразна и очень деятельна». Вревская привязалась к солдатам, которые, по ее мнению, «милы и умны донельзя». Но «война вблизи ужасна, — пишет она, — сколько горя, сколько вдов и сирот» (л. 6).

Получив отпуск на 3 месяца, Вревская, однако, не поехала на отдых. Характеризуя ее поступок как подвиг, Н. С. Абаза пишет, что Вревская, «желая послужить делу ухода за больными и ранеными там, где чувствовался наибольший недостаток в сестрах милосердия, в начале ноября оставила, на время, Яссы и отправилась в Белу»<sup>38</sup>

Сначала Вревская приехала в Бухарест, где от уполномоченного Красного Креста А. Г. Щербатова она узнала, что многие госпитали закрывают из-за отсутствия средств. Тогда она решила отправиться в маленькое местечко Белу (Болгария), где действительно не хватало сестер.

Переезд из Румынии в Белу и первые болгарские впечатления Вревской нашли яркое отражение в ее письме к И. С. Тургеневу от 27 ноября (9 декабря) 1877 года.

«Родной и дорогой мой Иван Сергеевич. Наконец то, кажется, буйная моя головашка нашла себе пристанище, я в Болгарии, в передовом отряде сестер — До Фратешт<и> я доехала железной дорогою, но в Фратештах уже увидела я непроходимую

<sup>34</sup> Н. Абаза. Красный крест в тылу действующей армии в 1877—1878 гг., т. 1, СПб., 1880, стр. 65 (В дальнейшем — Н. Абаза).

<sup>35</sup> «Литературный архив», т. 4, изд. АН СССР, М — Л, 1953, стр. 259.

<sup>36</sup> Н. Абаза, стр. 200—201.

<sup>37</sup> ИРЛИ, 13 452 LXXIII.6. 2, лл. 4—12 об.

<sup>38</sup> Н. Абаза, стр. 116.

грязь наших сеструшек (как нас называют солдаты) в длинных сапогах, живущих в наскоро сколоченной избе внутри выбитой соломой и холстом вместо штукатурки. Тут уже лишения, труд и война настоящая, щи и скверный кусок мяса, редко вымытое белье и транспорты с ранеными на телегах. Мое сердце екнуло и вспомнилось мне мое детство и былой Кавказ. Мне было много хлопот выбраться далее, так как не хотелось принимать услуги любезных спутников разнокалиберного военного люда. Господь выручил меня, на мое счастье подоспел транспорт из Белой, и я, забравшись в фургон под покровительством урядника, казака и кучера, двинулась по торным дорогам к Дунаю.— Мост в Тотрошанах не внушительен. Дунай — белая речонка, невзрачная в этом месте. На следующий день атака турок 14 нояб<ря> была направлена на этот пункт, и я издала видела бомбардировку из Журжева, и грохот орудий долетал до меня. Дороги тут ужасны, грязь невылазная. Я ночевала в болгарской деревне. . . Как я только нашла себе избу для ночлега, ко мне явились два солдатика, узнавшие, что приехала сестра; они предложили мне свое покровительство; было трогательно видеть, как напереерыв и совершенно бескорыстно они покоили меня, достали всё, что можно было достать, расспрашивали про Россию и новости, присидели со мною весь вечер, повели меня на болгарские посиделки, где девушки и женихи чистят кукурузу. Многие из них в самом деле очень красивы, и поэтично видеть весь этот молодой люд при свете одной свечи, которые цветут как цветы, по выражению солдатика. Меня приняли отлично, угостили церином (бобами с перцем, кукурузой и вином) и уложили на покой, т. е. предоставили мне половину довольно чистой каморки. На другой половине улеглась моя хозяйка с ребятишками. Я, конечно, не спала всю ночь от дыма и волнения, тем более, что с 4 часов утра хозяйка зажгла лучины и стала пряхать, а хозяин, закурив трубку, сел напротив моей постели на корточках и не спускал с меня глаз. Обязанная совершить свой туалет в виду всей добродушной семьи, я сердитая и почти не мытая уселась в свой фургон, напутствуемая пожеланиями здоровья. В нескольких местах мне пришлось переправляться <через> речку вброд и проезжать турецкие деревни оставшихся тут турков. Белая — красиво расположенное местечко, но до невероятия грязное. Я живу тут в болгарской хижине, но самостоятельно. Пол у меня — земляной и потолок на четверть выше моей головы; мне прислуживает болгарский мальчик, т. е. чистит мои большие сапоги и приносит воду, мету я свою комнату сама, всякая роскошь тут далека, питаюсь консервами и чаем, сплю на носилках раненого и на сене. Всякое утро мне приходится ходить за три версты в 48 госпиталь, куда я временно прикомандирована, там лежат раненые в калмыцких кибитках и мазанках. На 400 человек нас 5 сестер, раненые все очень тяжелые. Бывают частые операции, на которых я тоже присутствую, мы перевязываем, кормим после больных и возвращаемся домой в 7 часов в телеге Красного Креста; иногда я заезжаю в склад ужинать и поболтать, наш полномочный тут к<нязь> Щербатов — очень умный и милый человек. Я получила на днях позволение быть на перевязочном пункте, если будет дело — это была моя мечта, и я очень буду счастлива, если мне это удастся. У нас все только и речь что о турках и наступлении на Тырново и пр. Тут чувствуется жидкая струя жизни и опасности. Я часто не сплю ночи напролет, прислушиваясь к шуму на улице, и поджидаю турок. Я живу в доме турецкого муллы, возле разоренной мечети. Иду ужинать, прощайте, дорогой Иван Сергеевич,— и как Вы можете прожить всю жизнь все на одном месте? Во всяком случае дай бог Вам спокойствия и счастья. Преданная Ваша сестра Юлия. Целую.

Пишите мне в Бухарест на имя Чичерина в склад К<расного> Креста.<sup>39</sup>

Сорок восьмой военно-временной госпиталь, из-за отсутствия в Беле подходящих зданий, действительно, принужден был, как об этом писала Тургеневу Вревская, размещать своих больных и раненых в кибитках и мазанках. Знаменитый русский хирург Н. И. Пирогов, посетивший госпиталь в ноябре 1877 года, отмечал, что мазанки эти, сделанные «на живую руку из плетня, смазанного внутри и снаружи глиной, . . . едва ли заслуживают одобрения». <sup>40</sup> Он предвидел, что сырьё в мазанках несомненно будет способствовать плохому заживанию ран и возникновению различных заболеваний.

Ко времени прибытия Вревской в Белу в госпитале скопилось большое количество тяжелораненых солдат и офицеров. Это было отмечено Вревской в ее «Дневнике» 21 ноября (3 декабря): «Раненые страдают ужасно, и часто бывают операции. Недавно одному вырезали всю верхнюю челюсть со всеми зубами. Я кормлю, перевязываю и читаю больным до 7 часов вечера. . . Я, вероятно, пробуду тут весь свой отпуск. . . Тут осень в полном разгаре и бывают морозы. Кажется, нет надежды, чтобы война кончилась к рождеству. Плевна, говорят, хорошо снабжена сухарями и может держаться долго» (лл. 7—7 об.).

Энергичная и деятельная по натуре, Вревская все время добивалась разрешения побывать на самых передовых позициях. Пятого (17) декабря она записывает в «Дневнике»: «Вот я и достигла моего задушевного желанья и была на перевязочном пункте,

<sup>39</sup> ИРЛИ, 5777. XXXб. 67, лл. 14—21 об.

<sup>40</sup> Н. Пирогов. Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877—1878 гг. (т. 1), СПб., 1879, стр. 45.

т. е. в деле» (л. 9). Далее она описывает свою поездку с другими сестрами в Обертеник — деревню, расположенную в 12 верстах от Бельи. Тридцатого ноября (12 декабря) неподалеку отсюда, при Мечке, происходил бой. «Мы были на самом передовом пункте. Я видела издали летающие снаряды и дым, и к нам беспрестанно привозили по 2, по 3 человека окровавленных солдат и офицеров. Раненых в этот день на разных пунктах было 600 с убитыми, раны все почти тяжелые и многие из них уже умерли. Победа осталась за нами...» (лл. 9—9 об.). Вревская отмечает, что она усовершенствовалась в перевязках и бывает ассистентом при ампутациях.

Жизнь ее в Обертенике была очень нелегкой. Четырнадцатого (26) декабря Вревская писала в своем дневнике: «... живу в крошечной болгарской комнате, которая ночью бывает страшно холодна, утром встаю в 7½ часов, набираю себе снега в умывальники у нас же на дворе и начинаю свой туалет... Затем убираю свою комнату, мету ее и пр. и отправляюсь к 9 часам в зимник, т. е. сарай, в котором лежат раненые. Начинаю превозвращать ампутированных, которые очень умирают. После обеда идем опять к больным. В 7 часов беру работу, большей частью кистеты для солдат... В 9 часов ужин и в 10 я возвращаюсь к себе спать — всякий день то же самое; иногда приходит кто-нибудь из Бельи и расскажет новости, ни газет, ни книг мы не видим. Снег у нас по колени и дороги очень дурные...» (лл. 10—10 об.).

Тем не менее Вревская не хотела еще возвращаться из Обертеника в Белью, отмечая в своем «Дневнике», что к раненым она «очень привязана» (л. 10 об.).

Лишь 21 декабря 1877 года (2 января 1878 года) Вревская была снова в Белье, где решила остаться еще некоторое время, так как «тут мало слишком сестер» (л. 11). Ей приходилось теперь обслуживать транспортных больных, которых ежедневно прибывало от 30 до 100 человек. Они были «оборванные, без сапог, замерзшие», — пишет Вревская, добавляя: «Это жалости подобно видеть этих несчастных, поистине героев, которые терпят такие страшные лишения без ропота; все это живет в змлянках, на морозе, с мышами, на одних сухарях; да, велик русский солдат!» (лл. 11—11 об.).

Последняя запись в «Дневнике» Вревской относится к 31 декабря 1877 года (12 января 1878 года). По-прежнему не собираясь возвращаться в Яссы, она пишет: «Тут слишком много дела, чтобы можно было бы решиться оставить, всё меня тут привязывает, интересует. Труд здешний мне по сердцу... Я весь день в больнице... в приемном покое у меня бывает от 30 до 75 больных...» (лл. 11 об.—12).

Пятого (17) января 1878 года Юлия Петровна Вревская заболела тяжелой формой сыпного тифа и почти до самой смерти — она скончалась 24 января (5 февраля) — была без сознания. Могилу ей копали раненые, за которыми она ухаживала. Они же несли ее гроб.

Тургенев узнал о смерти Вревской, вероятно, прежде всего из газетного объявления, гласившего, что «Свято-Троицкая община сестер милосердия с прискорбием извещает, что в г. Белье в Болгарии 24-го января скончалась после тяжкой болезни, вследствие неусыпных трудов по уходу за ранеными и больными воинами, сестра Красного Креста, прикомандированная к Свято-Троицкой общине, баронесса Юлия Петровна Вревская»<sup>41</sup>

Одиннадцатого (23) февраля 1878 года Тургенев писал П. В. Анненкову о Вревской: «Она получила тот мученический венец, к которому стремилась ее душа, жаждавшая жертвы. Ее смерть меня глубоко огорчила. Это было прекрасное, неопишанно доброе существо. У меня около 10 писем, написанных ею из Болгарии»<sup>42</sup>

Вскоре было опубликовано стихотворение Я. П. Полонского «Под Красным Крестом» (посвящается памяти Ю. П. баронессы Вревской)<sup>43</sup> в котором описывался, по-видимому, действительный факт. От имени солдата поэт рассказывал о том, как сестра милосердия (Вревская), сняв с себя рубашку, надела ее на раненого.

Эти стихи произвели сильное впечатление на Тургенева, который 17 (29) апреля 1878 года писал Я. П. Полонскому: «Я сам ежедневно с особым чувством скорби и жалости вспоминаю о бедной баронессе В<ревской>, и твоё стихотворение в Н<овом> В<ремени> вызвало слезы на мои глаза.— Чудесное было существо — и столь же глубоко — несчастное»<sup>44</sup>

Существует свидетельство болгарского историка о том, что и В. Гюго создал стихотворение, посвященное памяти Ю. П. Вревской, в котором писал: «Роза на Русия откъсната на българска земля...»<sup>45</sup>

Тургенев также откликнулся на смерть Ю. П. Вревской:

<sup>41</sup> «Новое Время», № 689, от 28 января (9 февраля) 1878 года.

<sup>42</sup> ЦГАЛИ, ф. 7, оп. 1, ед. хр. 29, лл. 10—10 об. Из болгарских писем Вревской к Тургеневу сохранилось лишь одно, текст которого приведен нами выше.

<sup>43</sup> «Новое Время», № 745, от 26 марта (7 апреля) 1878 года.

<sup>44</sup> И. С. Тургенев. Первое собрание писем. СПб., 1884, стр. 330. Проверено по автографу: ГПБ. ОЛДП, 250.

<sup>45</sup> Стоян Сен-Жан Д'Акарски (Стоян Заимов). Светите места на признателна България. Част 1. Първо издание. София — Плевен, 1912, стр. 58.

«На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка. . .

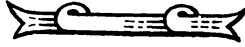
Нежное кроткое сердце. . . и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи. . . она не ведала другого счастья. . . не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена. . . дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее труп — хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!»<sup>46</sup>



<sup>46</sup> «Памяти Ю. П. Вревской». И. С. Тургенев, Собрание сочинений в двенадцати томах, том 8, стр. 488.



## ДЖОН РИД О ТУРГЕНЕВЕ

В 1919 году в американском издательстве «Бони и Ливрайт» в серии «Лучшие произведения мировой литературы» вышло очередное издание романа Тургенева «Дым».<sup>1</sup> Предисловие к нему написал Джон Рид. В дальнейшем оно не вошло ни в один из его сборников. Не было оно упомянуто и в большом библиографическом индексе критической литературы о Тургеневе, приложенном к книге С. Гетмана «Тургенев в Англии и Америке» (1941).<sup>2</sup> Последнее нетрудно объяснить. Когда в апреле 1918 года Джон Рид вернулся в Америку из Советской России, он сразу же подвергся судебным преследованиям и ожесточенной травле. «Человек, по которому соскучилась виселица», — так именовался он в заголовках некоторых газет, призывавших к открытой расправе над писателем. В марте 1919 года Джон Рид закончил свою книгу «Десять дней, которые потрясли мир», написанную пером страстного журналиста и горячего друга социалистической революции.

Пребывание в нашей стране помогло Риду лучше понять и полюбить русский народ и его великую литературу. В своем предисловии он не только знакомил американского читателя с творчеством Тургенева, но и напоминал ему о революционных событиях, которые происходили в России. Эти строки писались в те дни, когда в США прокатилась волна репрессий против «красных», а реакционные круги выступали как организаторы антисоветской интервенции.

Тургенев был первым русским писателем, с которым широко познакомилась читательские круги Америки. В 1867 году был переведен его роман «Отцы и дети», в последующие 6 лет было издано еще 16 произведений русского писателя, в том числе «Рудин».

Благородный гуманистический пафос творчества Тургенева, возвысившего свой голос против крепостничества, был созвучен настроениям тех американцев, которые с оружием в руках еще недавно боролись за освобождение негров. В крупнейших американских журналах «Атлантик Мансли» и «Норс америкэн» появляются статьи и рецензии на произведения Тургенева. В 70-е годы горячими пропагандистами его творчества выступают американские писатели Генри Джеймс и Хоуэллс. Искренним поклонником Тургенева был и американский писатель Бойезен, посетивший автора «Отцов и детей» в Париже в 1873 году и оставивший интересное воспоминание об этой встрече. Даже в 80-е годы, когда американцы стали знакомиться с произведениями Толстого и Достоевского, интерес к Тургеневу не снизился. Один из читателей писал в журнале «Атлантик Мансли»: «Самое высокое из того, что мне довелось увидеть за морем, — Монблан, но самое великое — Тургенев».

В своем предисловии Джон Рид подчеркивает политическую направленность и злободневность произведений Тургенева. Особенности русской литературы он объясняет не некими мистическими свойствами «славянской души», а обстоятельствами политической жизни России. В то время как реакционная пресса трубила о том, что большевики разрушают культуру и цивилизацию, Рид в заключение своего предисловия говорит о том внимании, которое уделяет советское правительство пропаганде классической литературы, имея в виду предпринятое литературно-издательским отделом Наркомпроса в 1918—1919 годах массовое издание Тургенева, Чехова, Толстого и других русских писателей.

Ниже приводится впервые переведенное на русский язык предисловие Джона Рида.

Когда Литвинов, вырванный из своего привычного существования, лишенного тревог и волнений, был захвачен страстью, так и не принеся ей радости, а затем окончательно отвергнут, — он поспешил на поезд. Сначала он ощущал лишь усталость от того нервного потрясения, которое ему пришлось пережить, но потом какое-то спокой-

<sup>1</sup> Smoke. By Ivan Turgenev. Introduction by John Reed. Boni and Liveright, N/Y, 1919.

<sup>2</sup> Royal A. Gettman. Turgenev in England and America. The University of Illinois Press, Urbana, 1941.

ствие нашло на него. Он словно «закостенел». Поезд, время уносили его все дальше от того места, где жизнь его, казалось, потерпела крушение.

«Он принялся глядеть в окно. День стоял серый и сырой; дождя не было, но туман еще держался, и низкие облака заволокли все небо. Ветер дул навстречу поезду; беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами дыма, мчались бесконечною вереницей мимо окна, под которым сидел Литвинов. Он стал следить за этим паром, за этим дымом. Бесперывно взвываясь, поднимаясь и падая, крутясь и цепляясь за траву, за кусты, как бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами: они непрестанно менялись и оставались те же... однообразная, торопливая, скучная игра! Иногда ветер менялся, дорога уклонялась — вся масса вдруг исчезала и тотчас же виднелась в противоположном окне; потом опять перебрасывался громадный хвост и опять застилал Литвинову вид широкой прирейнской равнины. Он глядел,— глядел, и странное напало на него размышление... Он сидел один в вагоне: никто не мешал ему. „Дым, дым“, — повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь — все людское, особенно все русское. Все дым и пар,— думал он; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то — и все исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул — и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и — ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы... дым, шептал он, дым...» «Дым». Но не только Литвинов выразил в этом слове свое отношение к тем горьким переживаниям, которые выпали на долю его ума и сердца, не только он находил в нем утешение. Сам Тургенев заключил в этом слове свой взгляд на жизнь.

Глубокое разочарование, охватившее широкие слои европейской интеллигенции вслед за поражением революции 1848 года, коснулось и целого поколения передовой молодежи в России. Подобные же настроения прекрасно воссоздал Чехов, изобразивший людей 80-х годов, они были свойственны и русской интеллигенции в период, последовавший за разгромом революции 1905 года.

Недовольство собой, самоанализ, слабость воли, — черты, свойственные этому типу людей, воплотил Тургенев в одном из своих значительнейших созданий — образе Рудина. Эти черты повторяются у многих персонажей «Дыма», в том числе и у Литвинова, присущи они и самому автору романа. Признание бесплезности борьбы, революции, политической деятельности, ощущение суетности всего, если сравнивать жизнь с вечностью — эту философию выразил Тургенев еще в «Отцах и детях». Писатель хотел смотреть на мир с олимпийским спокойствием, но ирония самой смерти Базарова, как он ее изобразил, говорит о его глубоком пессимизме. А едкая сатира в «Дыме» свидетельствовала о том, что жизнь оставалась для Тургенева напряженной и непрерывной борьбой.

Распространенный в критике взгляд на Тургенева как на аристократа по рождению и складу характера, который хотел быть прежде всего художником, опровергается его собственной автобиографической заметкой, которую он предпослал полному собранию своих сочинений, изданному в Москве в 1880 году.<sup>3</sup> «Я бросился головою в „немецкое море“, — писал Тургенев о своей поездке в Германию, где он собирался учиться в университете и где, между прочим, другом его студенческих лет был Бакунин. — Мне необходимо нужно было удалиться, чтобы из моей дали сильнее напасть на моего врага. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право». И Тургенев поклялся победить этого «врага». «Это была моя Аннибалова клятва, и не я один дал себе ее тогда... Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить».

О том, как сдержал он свою клятву, можно судить по его первому значительному произведению — «Запискам охотника», опубликованному около 1852 года. Тургенев так ярко показал в нем тяжелую жизнь крестьян, что общественное мнение России было разбуждено, и с невиданной до того настойчивостью стали раздаваться требования отмены крепостного права. Эту книгу часто называют русской «Хижинкой дяди Тома», она появилась почти одновременно с романом Бичер-Стоу. Мотив освобождения крестьян пронизывает почти все произведения Тургенева, есть он и в «Дыме», написанном уже после реформы 1861 года. (Между прочим, в 14-й главе романа мы находим окрашенное мягким юмором упоминание о Бичер-Стоу). Когда Литвинов, разбитый, с тяжелым сердцем, возвращается в свое поместье в России, первое время он чувствует, что бессилён изменить старую систему: «Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло: неумелый сталкивался с недобросовестным, весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная, и только одно великое слово „свобода“ носилось как божий дух над водами... Но минул год, за ним другой, начинался третий. Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила в кровь и плоть: выступил росток из брошенного семени, и уже не распотать его врагам — ни явным, ни тайным».

<sup>3</sup> Неточность. Полное собрание стало выходить с 1883 года, когда и была помещена настоящая заметка. (Ред.).

Огромный интерес, вызванный произведениями Тургенева в России, объясняется в значительной мере тем, что во всех них затронуты политические вопросы, тем, что они, при всем их художественном совершенстве и изяществе формы, отличаются ярко выраженной пропагандистской направленностью, наконец, тем, что в них ставятся жгучие вопросы современности.

«Дым» — это отклик Тургенева на полемику между славянофилами и защитниками идеалов Запада. Идеалы же самого Тургенева, несомненно, выражены разорванным дворянином Потугиным; да и главный герой романа Литвинов, заурядный молодой человек, относился, по глубокому убеждению писателя, к тем людям, в которых особенно нуждалась Россия.

Но в то же время наиболее острым нападкам Тургенева подвергалась та русская молодежь, которая, приезжая в Европу, без разбора, со всей присущей славянству восприимчивостью поглощала массу теорий и идей. И ядовитая сатира первых шести глав романа, близкая по духу сатире Диккенса, не имеет себе равных в литературе.

Но в ней нет ненависти. Горько посмеиваясь над своими «интеллектуальными» соотечественниками, Тургенев понимает их; они, как и он сам, воспитаны и выросли в определенной среде. Зато всё презрение писателя обрушивается на грубых и своекорыстных петербургских «аристократов».

Жизнь Литвинова во многом напоминает жизнь Тургенева. Подобно своему герою, писатель был сыном «вышедшего в отставку служаки», доживающего век в своем поместье, а мать Тургенева, как и полагалось родовитому дворянству, жила на широкую ногу, постепенно разоряя имение. В семье Тургенева, как и в доме Литвинова, говорили исключительно по-французски. У слуг и дворни учился будущий писатель русскому языку, великим мастером которого суждено ему было стать.

Как и Литвинов Тургенев жил в Бадене, там он написал «Дым», взяв эпизоды и характеры своего произведения из самой жизни. Он приехал в Баден, чтобы быть рядом с оперной певицей Виардо — самым близким другом всей его жизни. . .

И, конечно, образ Ирины был создан Тургеневым на основе жизненных впечатлений. Она одна из трех тургеневских героинь, пылких, обаятельных, приносящих мужчинам лишь страдания; две другие — это Варвара Павловна из «Дворянского гнезда» и Мария Николаевна из «Вешних вод». Но Ирина самая человечная и чистая из всех. Многим мужчинам знакомы такие женщины, сильные, как львицы, своенравные, горящие мрачным огнем своих страстей, покоряющиеся только силе. А Литвинов не был сильным, как, впрочем, и сам Тургенев.

Тургенев был из плеяды великих русских романистов, выступивших вслед за Гоголем, он явился предшественником и в то же время современником таких гигантов, как Толстой и Достоевский. Особенности русского реалистического романа, существенно отличающегося по своему творческому методу от западноевропейского, могут быть объяснены во многом политическими условиями русской жизни.

И хотя в России отсутствовала политическая свобода, социальные проблемы всегда волновали общественность, а русские писатели выступали прежде всего как политические пропагандисты. Но каким образом можно было писать о политических вопросах так, чтобы тебя печатали и читали? Только рассказывая в повестях и рассказах о быте и общественном укладе России, только рисуя средствами художественного слова картины народной жизни, писатель предоставлял читателю возможность сделать необходимые выводы. В этом творческом принципе была сила Тургенева. . .

«Дым» наряду с незабываемым эпизодом, рассказывающим о любви Ирины и Литвинова в Бадене, представляет для нас особый интерес изображением русского общества не только 60-х годов, но и целой эпохи вплоть до 1917 года. И вот такая же «интеллигенция», поглощающая свропейские тсории, инстинктивно симпатизирующая западному либерализму, как только в России подымается революционная волна, в панике отшатывается от революции, ощутив весь ее размах и суровость. И вот подобную же продажную и жестокую бюрократическую «аристократию» свергают вместе с царем, ее более не существует, исключая ту часть, что еще интригует в эмиграциях и в бессильной злобе плетет разговоры, не будучи способной понять свою обреченность.

В сегодняшней России Советское правительство издает собрание сочинений Тургенева, и народ читает его произведения, восхищаясь художественным мастерством писателя, переживая вместе с его героями, чувства которых имеют общечеловеческий характер. Его книги приковывают к себе внимание как свидетельства правдивого летописца о времени, безвозвратно отошедшем в прошлое.



# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

А. ГРИГОРЬЕВ

## ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ\*

(1945—1957)

В послевоенные годы учеными славянских стран достигнуты серьезные успехи в изучении русской классической литературы

Это изучение имеет особый смысл оно связано с укреплением исторических братских связей между русским и славянскими народами, а также с тем культурным подъемом, который произошел в этих странах после разгрома фашизма

Правда, работы, непосредственно посвященные отдельным русским писателям, появляются сравнительно редко и большей частью имеют характер юбилейных откликов, так как основное внимание русистики уделено вопросу о распространении и прогрессивном влиянии русской литературы, русско-славянским литературным связям. Разработкой этой важной проблемы занимаются не только отдельные литературоведы, но и целые научные коллективы, она находит свое отражение и в планах литературоведческих секций национальных академий

При всем сходстве общего направления развития русистики в славянских странах можно заметить большое своеобразие в том, какие именно проблемы истории русской литературы разрабатываются литературоведением каждой отдельной страны. Это зависит от культурных традиций, от того, в какие эпохи литературного развития этих стран упрочились связи с русской литературой и т. п.

Передовой характер русской классической литературы в той или в другой степени понимали отдельные зарубежные исследователи и в прошлом. Его понимают современные прогрессивные литературоведы в странах капитализма. Но только в странах, где произошла социалистическая культурная революция, прогрессивное значение русской классической литературы стало предметом широкого, коллективного, планового изучения

### 1

В чешском литературоведении зачинателем нового этапа изучения русской литературы выступил друг и учитель Юлиуса Фучика, Зденек Неедлы, ныне президент Чехословацкой Академии наук. Ученый с широким кругозором — историк, музыковед и литературовед, Зденек Неедлы с самого начала своей многосторонней деятельности проявил себя как истинный демократ, а в послесоветскую эпоху стал основоположником чешской марксистской славистики. Статьи Зденека Неедлы по вопросам русско-чешских литературных связей, написанные им в 20—40-х годах, явились большим вкладом в укрепление советско-чехословацкой дружбы.<sup>1</sup> Собранные воедино в собрании его сочинений, они стали прочным фундаментом обновленной чешской русистики.

Русская литература сыграла огромную роль в формировании мировоззрения Зденека Неедлы. «Я принадлежу к поколению, которое в молодости воспитывалось на классическом русском романе», — говорил он на съезде писателей Чехословакии в 1949 году.<sup>2</sup>

Глубоко восприняв связь классической русской литературы с передовым общественным движением в России, Зденек Неедлы выдвинул перед чешским литературоведением новую задачу — раскрыть прогрессивное воздействие русской литературы на чешскую и осветить исторически сложившиеся связи между передовыми литературно-общественными деятелями обоих народов. Программу для многих будущих исследований

\* По техническим причинам примечания помещены в конце статьи

наметила его статья «Чешское русофильство»<sup>3</sup> (1925), в которой он впервые противопоставил два течения в развитии чешско-русских связей: одно, реакционное, тяготеющее к русским славянофилам и в лице Ганки тесно связанное с официальными кругами России; и другое, демократическое, представленное другим русским народом Карелом Гавличек, единомышленником Герцена Йозефом Фричем и пропагандистом Чернышевского Анталом Шашеком. Особое значение выступлений Зденека Неедлы для чешского литературоведения состояло в том, что они были направлены против реакционной и лженаучной концепции истории русской культуры, создателем и выразителем которой был Томаш Масарик.

Свои ложные представления о русской литературе чешское буржуазное литературоведение черпало главным образом из двухтомного сочинения Томаша Масарика «Русская философия истории и религиозная философия»,<sup>4</sup> появившегося впервые на немецком языке. В нем, опираясь на кадетский сборник «Вехи», Масарик искажал историю общественной мысли в России и приносил значение русских революционных демократов. На первый план он выдвинул Достоевского как религиозного мыслителя. Одностороннее истолкование Достоевского занимало в концепции Масарика важное место, поэтому не случайно Зденек Неедлы, выступая на съезде чешских писателей, особо указал на узость подобного подхода к Достоевскому и призывал обратить внимание на другую, прогрессивную сторону творчества великого русского писателя.

Если Масарик считал Достоевского гениальным выразителем русской отсталости, то Зденек Неедлы, напротив, прямо заявил, что, говоря о прогрессивном влиянии русской литературы, он подразумевает и Достоевского:

«Достоевского у нас очень много читали в передовых кругах. Мы видели у него не то, что реакционеры признавали типичным для России, а то, что у него должны были увидеть русские революционеры и передовые люди».<sup>5</sup>

В буржуазной Чехословакии историко-литературные работы Зденека Неедлы, как и труды советских ученых, оставались вне поля зрения университетской науки. Большинство чехословацких литературоведов тех лет придерживалось позитивистского объективизма в духе Яна Махала и в то же время находилось под влиянием философско-исторических идей Масарика. Поэтому работы о русской литературе и русско-чешских литературных связях, изданные или переизданные в Чехословакии в первые годы после ее освобождения, большей частью несут отпечаток старой буржуазной методологии.

Из статей, написанных еще в 30-е годы, составлена книга профессора Карлова университета в Праге Иржи Горака «Из истории славянских литератур».<sup>6</sup> В книге Горака наиболее интересны статьи о популярности Толстого и Достоевского в Чехословакии. Вопреки явному влиянию Масарика, у Иржи Горака отчетливо проявилась и другая, прогрессивная тенденция, лучше всего выраженная в его статье о Горьком.

Для ранее пройденного этапа чешского литературоведения характерна и четырехтомная монография профессора Йозефа Ирасека «Россия и мы»,<sup>7</sup> вышедшая вторым изданием в 1945—1946 годах. Толчок к новому изданию этой работы был дан освобождением Чехословакии от немецко-фашистской оккупации.

Работа Йозефа Ирасека не выдерживает критики в обобщениях, но ценна собранным в ней фактическим материалом о русско-чешских общественных и литературных связях с конца XVIII века до начала первой мировой войны. Демократическое течение в чешском русофильстве, к изучению которого призывал Зденек Неедлы, в книге Ирасека, к сожалению, осталось в тени. Непререкаемым авторитетом для него был Масарик.

Работу Йозефа Ирасека с фактической стороны частично дополняет небольшая книжка Йозефа Штепанека «Москва в чешской литературе».<sup>8</sup> К Масарику автор этой книги проявил столь же некритическое отношение, как и Ирасек.

В некоторых чешских работах о русской литературе, появившихся в первые послевоенные годы, еще целиком господствовали традиции буржуазного литературоведения. Такова, например, книга автора ряда богословских сочинений Алоиза Ланга о Достоевском — «Достоевский. Крестный путь русского религиозного мыслителя».<sup>9</sup> Идея книги заключается в том, что Достоевский, вопреки своему отрицательному отношению к католицизму, фактически был ему близок. Ланг не вышел за пределы узкого круга религиозно-философских вопросов в духе Мережковского или Масарика.

Решительный перелом в чехословацком литературоведении произошел после того, как в феврале 1948 года народные массы Чехословакии дали отпор буржуазной реакции и возглавляемые Коммунистической партией решительно повели страну по пути к социализму.

За последнее десятилетие в Чехословакии появилось немало работ, в которых вслед за выступлениями Зденека Неедлы дается отпор ложной историко-философской концепции Масарика и заново пересматривается вопрос об историческом и историко-литературном значении деятельности русских революционных демократов. Симптоматична книга И. Филиппа «Главы о творчестве Н. Г. Чернышевского»,<sup>10</sup> снабженная подзаголовком «Некоторые вопросы в философских и социально-политических взглядах Н. Г. Чернышевского и критика отношения Масарика к русской революционной демократии». Одна из глав книги Филиппа целиком посвящена критике взглядов Масарика. Против утверж-

дений Масарика о некритическом отношении Чернышевского к Фейербаху направлена статья Ф. Боура «Н. Г. Чернышевский — философ-материалист и революционер».<sup>11</sup>

Для нового направления в чешской русистике очень показательна статья К. Косика и Р. Гребеничковой «И. Фрич и русские революционные демократы».<sup>12</sup> Развивая мысль Зденека Неедлы о том, что необходимо приняться за изучение чешского прогрессивного русофильства, авторы статьи осветили отношение Фрича к русской передовой общественности и подробно остановились на его взаимоотношениях с Герценом.

Данные о русско-чешских общественных и литературных связях частично входят в сборник «Чешские радикальные демократы»,<sup>13</sup> составленный К. Косиком. Две публицистические статьи, включенные в сборник, посвящены Герцену: одна из них принадлежит перу Фрича, а другая — анонимная. Здесь же опубликованы адресованные Герцену письма Фрича о планах создания чешского прогрессивного органа типа «Колокола», каким и явился возникший в 1861 году журнал «Чех».

В чешской русистике видную роль играет член-корреспондент Чехословацкой Академии наук, профессор Карлова университета в Праге Юлиус Доланский. Широко эрудированный славист, автор исследования «Русские основы сербского реализма»,<sup>14</sup> Ю. Доланский принадлежит к числу тех чешских ученых старшего поколения, которым освобождение Чехословакии открыло дорогу к марксизму. За последнее десятилетие им написано множество статей, объединенных общим замыслом как страницы одного, пока еще не собранного единого труда о прогрессивном воздействии классической русской литературы. Сюда относятся такие его работы, как «Москва в чешской литературе», опубликованная в сборнике, посвященном 800-летию Москвы;<sup>15</sup> «Белинский и чешская литература»,<sup>16</sup> «Гавличек в Москве»<sup>17</sup> и многие другие статьи, а также брошюра о Челаковском.<sup>18</sup> Для Ю. Доланского как представителя нового этапа в развитии чешского литературоведения очень характерны выступления, в которых он выдвигает острые методологические вопросы, освещающие пути перестройки чешской русистики. Таковы статьи «Зденек Неедлы и русская литература»,<sup>19</sup> «Масарик и Россия»<sup>20</sup> и содержательный обзор чешской русистики за десять лет — «За углубленное изучение русской литературы».<sup>21</sup>

Прогрессивные русско-чешские литературные связи освещаются в трех коллективных историко-литературных сборниках, изданных в Чехословакии в послевоенные годы: «Пушкин у нас»,<sup>22</sup> «Наш Маяковский»,<sup>23</sup> «Наш Горький».<sup>24</sup> Во всех этих книгах русская литература предстает как великая общественная сила, оказавшая большое воздействие на передовых чешских писателей. Содержателен сборник о Пушкине: тут и две юбилейные заметки Зденека Неедлы, и статья о распространении пушкинских произведений в Чехословакии, и тщательный анализ чешских переводов его произведений, и, наконец, обстоятельная библиография. В сборнике о Маяковском большинство статей носит мемуарный характер. Интересен разнообразный материал в сборнике о Горьком, открывающемся статьями Зденека Неедлы и Юлиуса Фучика. Много нового в статье И. Кадлеца<sup>25</sup> о пребывании Горького в Чехословакии и особенно в статье воспитанника Московского университета М. Ботуры о популярности Горького в чешской рабочей печати начала двадцатого века. Сборник завершается горьковской библиографией, составленной Я. Кунцем, автором обширной библиографии чешской критической литературы о русских классиках.<sup>26</sup>

Внимание чехословацких литературоведов привлекает Лесков, всегда проявлявший большую симпатию к чешскому народу и его культуре. О поездках писателя в Прагу и встречах с чешскими литературными деятелями рассказывает Р. Тихий в статье «Лесков и чехи».<sup>27</sup>

Русской литературе так или иначе касаются чешские литературоведы во всех новых работах, обобщающих творческий путь Яна Колара, Франтишека Челаковского, Карела Гавличека, Яна Неруды и других ведущих чешских писателей XIX века. Такова, например, статья М. Янушковой «Антал Сташек и Россия».<sup>28</sup> Автор приводит интересные сведения о том, как проблематика тургеневских романов помогла Анталу Сташкеку выдвигать в своих произведениях аналогичные актуальные проблемы чешской общественной жизни. Обзор новой критической литературы о русских связях чешских писателей-классиков содержит статья Яна Йиши «Чешско-русские литературные связи в прошлом».<sup>29</sup>

Большую ценность представляет собой капитальный библиографический труд, предпринятый Славянским институтом Академии наук Чехословакии — библиография чешских переводов славянских писателей. В 1957 году вышел в свет первый том «Славика на чешском языке. Часть I. Чешские переводы со славянских языков до 1860 года».<sup>30</sup> Русские писатели занимают в этой книге видное место. В дальнейшем намечается выпуск еще двух томов.

В пропаганде русской классической литературы и революционно-демократической критики видную роль сыграл чешский писатель-демократ Вилем Мрштик (1863—1912), часто выступавший как переводчик и критик. Изучением его деятельности в настоящее время занимается бывший воспитанник Ленинградского университета Радегаст Паролек. Им подготовлена книга о роли Мрштика как пропагандиста русской литературы, отдельные главы из которой печатались в виде статей в чешских журналах: «Вилем Мрштик и Николай Добролюбов»<sup>31</sup> «Вилем Мрштик о Достоевском»<sup>32</sup> и др.

Некоторые из чешских литературоведов занимаются изучением русского стихосложения, главным образом отношения русского стиха к чешскому. Сжатый очерк истории русского стихосложения с XVIII века до нашего времени представляет собою книжка Ярослава Завады «Введение в эстетику русского стиха».<sup>33</sup> Завада в основном опирается на русские работы двадцатых годов. Он касается не только русского стиха, но и проблемы его эквивалента в чешских переводах. Ему же принадлежит и статья «Пушкин и чешский стих» в сборнике «Пушкин у нас». Вопросы, поднимаемые Завадой, интересны как для переводчиков, так и для исследователей славянского стихосложения.

В процессе перестройки современного чешского литературоведения большую актуальность получила проблема изучения международных литературных связей с позиций марксистско-ленинской методологии. В 1955 году Чехословацкая Академия наук провела конференцию, посвященную проблеме литературного влияния.<sup>34</sup> Одним из главных предметов обсуждения на конференции был вопрос о русско-чешских литературных связях. Известный чешский славист, профессор Карел Крейчи выступил с докладом «Святоплук Чех и Россия».<sup>35</sup>

Споры чешских литературоведов о проблеме влияния достигли особенной остроты в связи с появлением двух книг, которые по своему содержанию несколько выходят за рамки данного обзора, но получили такой широкий резонанс, что не могут быть не упомянуты: «Борьба КПСС за советскую литературу и ее отзвук у нас. 1917—1925» Мирослава Дрозды<sup>36</sup> и «Чешская поэзия двадцатых годов и поэты советской России» Яна Йиши.<sup>37</sup> Обе книги представляют собой первые обобщающие исследования о влиянии Октябрьской революции и советской литературы на литературную жизнь Чехословакии 20-х годов. Они вызвали немало рецензий, порою чересчур придирчивых и явно ревизионистских, враждебных по отношению к социалистической культуре, но прикрытых дымовой завесой борьбы за строгую научность.

Весьма академична по своему тону, но вместе с тем совершенно чужда духу коммунистической партийности в литературе статья Мирослава Носека и Людмилы Лаутовой «Проблемы сравнительного изучения истории литературы в новых работах о русско-чешских культурных связях».<sup>38</sup> Авторы статьи без достаточного основания упрекают Яна Йишу и Мирослава Дрозду в недооценке национальных литературных традиций, настаивают на узко филологическом подходе к анализу литературных влияний, с наигранной наивностью удивляются постановке вопроса об этапах развития социалистического реализма в чешской литературе и делают вид, как будто не понимают, что в данном случае речь идет не просто о взаимных связях двух национальных литератур, а о влиянии литературы первой в мире социалистической страны.

По мнению Носека и Лаутовой, понятие социалистического реализма, употребляемое Я. Йишей и М. Дроздой, это просто «априорная и субъективная концепция»; а вопрос о том, в какой мере отдельные чешские писатели приблизились к социалистическому реализму, «абсурден».

Книги М. Дрозды и Я. Йиши неоспоримы и не свободны от схематизма, но все-таки они явились немалым вкладом в изучение прогрессивных русско-чешских общественных и литературных связей. И как бы ни противились победе марксистско-ленинской методологии защитники старых литературоведческих позиций в чешской русистике, они оказываются в меньшинстве. Изучение прогрессивных русско-чешских литературных связей остается главным предметом внимания огромного большинства чешских русистов.

Русской литературе и русско-чешским литературным связям уделяют серьезное внимание многие чешские периодические издания. Здесь прежде всего должен быть назван старейший чешский филологический журнал «Славия» (Slavia), орган Славянского института Чехословацкой Академии наук, издаваемый с 1922 года. После временного перерыва, вызванного войной и оккупацией, издание журнала «Славия» возобновилось с 1947 года. По своему содержанию журнал обновился и обратился к актуальным научным проблемам.

Укрепление культурных связей между Чехословацкой Народной республикой и СССР определило необходимость появления ряда новых специальных журналов. В 1952 году в Чехословакии стал издаваться журнал «Советская наука» с подзаголовком «Литература». Большое место в новом журнале заняли статьи о русско-чешских литературных связях. В 1954—1955 годах тот же журнал выходил под названием «Советская литература». В 1956 году на смену ему появилось новое периодическое издание — «Журнал славянского языкознания, литературы и истории СССР», который с 1957 года принял название «Чехословацкая русистика». Орган Чехословацко-советского института Чехословацкой Академии наук, журнал «Чехословацкая русистика» представляет собою издание академического типа. Весьма серьезные статьи о русско-чешских литературных связях появляются и на страницах журнала «Прага — Москва», рассчитанного на более широкий круг читателей. Надо добавить, что русско-чешские литературные связи освещаются и на страницах журнала «Чешская литература». Таким образом, русская литература входит в круг научных интересов всех основных чешских журналов по вопросам славистики.

## 2

Словацкое литературоведение в изучении русской литературы имеет много общего с чешским. Недаром как чешскому, так и словацкому народам принадлежат оба зачинателя исследования славянских литератур в их единстве — Я. Коллар и П. Шафарик, — Коллар как автор знаменитой работы «О литературной взаимности славянских народов» (1837),<sup>39</sup> а Шафарик как автор «Истории славянских языков и литератур».<sup>40</sup> Русская литература вслед за чешской оказала сильнейшее воздействие на развитие национальной словацкой литературы и утверждение в ней реализма. Отклики на нее в Словакии были многочисленны и восходят к первым десятилетиям активной борьбы за национальное возрождение словацкой культуры. Теперь, в новых условиях, созданных в стране народной властью, словацкие литературоведы приступили к углубленному изучению русской литературы и прежде всего русско-словацких литературных связей.<sup>41</sup>

В 1947 году появилась небольшая, но содержательная книга Рудо Бртаня «Пушкин в словацкой литературе».<sup>42</sup> По своему содержанию книга Р. Бртаня представляет собою историю переводов и влияния произведений Пушкина в Словакии. Отдельные главы в книге посвящены выдающимся переводчикам Пушкина — Сладковичу, Ваянскому, Гвездославу и Есенскому; все они хорошо известны как видные писатели, и тем самым становится очевидна огромная роль Пушкина в развитии словацкой литературы. Большую ценность книге придает словацкая пушкинская библиография.

Книга Рудо Бртаня богата материалом, но ясного представления об исторических условиях литературной судьбы пушкинского наследия в Словакии она не дает. Некоторый сдвиг в этом направлении есть в статье того же автора «Штуровцы и русская литература».<sup>43</sup>

Роль русской литературы в словацкой литературной жизни XIX—XX веков наиболее широко освещается в работах профессора Братиславского университета академика Андрея Мраза. Некоторые из них вошли в книгу «Из прошлого словацкой литературы».<sup>44</sup> Здесь напечатаны статьи «Русская реалистическая литература в Словакии», «Л. Н. Толстой в Словакии», «О знакомстве словаков с сочинениями Н. В. Гоголя» и «Русофильство Ваянского». Большая ценность статей А. Мраза заключается в том, что в них выдвинуты новые задачи дальнейшего изучения русско-словацких литературных связей, которые объясняются с марксистско-ленинских методологических позиций.

В статьях А. Мраза в центре внимания стоит вопрос о влиянии русской классической литературы на формирование критического реализма в словацкой литературе. В них убедительно показано, что консервативное течение в словацком русофильстве, очень влиятельное в Словакии в силу исторически сложившихся условий, несколько ограничивало воздействие русской классической литературы и мешало правильному пониманию ее наиболее прогрессивных сторон, но все же даже влиятельнейший русофил-консерватор Светозар Ваянский, вопреки своей идейной ограниченности, сделал многое для пропаганды русской литературы у себя на родине. Консервативному русофильству, как показывает А. Мраз, противостояла ориентация словацких писателей-реалистов на реализм русской классической литературы, главным образом на Пушкина, Гоголя, Тургенева и Толстого.

Книга А. Мраза «О русской литературе и откликах на нее в Словакии»<sup>45</sup> открывается исследованием об отзывах русской действительности в творчестве Яна Коллара, выдающегося деятеля литературы чешского и словацкого Возрождения начала XIX века. В этой статье рассмотрены поэтические отклики автора «Дочери Славы» на современные ему исторические события и установлен круг научных и литературных источников его суждений о России и русском народе. Как показывает А. Мраз, Ян Коллар преувеличивал значение литературной деятельности А. С. Хомякова, но в своей идее культурного единения славянских народов существенно расходился со славянофилами.

Для советского литературоведа в этой книге наиболее интересны четыре статьи А. Мраза о Льве Толстом. В двух из них освещается судьба романов «Война и мир» и «Воскресение» в Словакии; выясняются обстоятельства, благодаря которым роман «Воскресение» оказался не только первым полностью переведенным крупным произведением Толстого, но и наиболее популярным. Особую ценность представляют два исследования о словацких толстовцах — Душане Маковицком, близком друге и личном враче великого писателя в последние годы его жизни, и об Альберте Шкарване, авторе книги «Мой отказ от военной службы», изданной В. Чертковым в Лондоне. В примечаниях к книге А. Мраза приводятся данные о В. Кривоше, авторе изданной в России пьесы «Толстовец» (1906), героем которой является А. Шкарван.

Душан Маковицкий и Альберт Шкарван были не только носителями идей толстовства, но и деятельными пропагандистами художественных произведений великого писателя и переводили их на словацкий язык. Статьи А. Мраза позволяют учесть заслуги Маковицкого и Шкарвана как пропагандистов русской культуры и в то же время проливают свет на общественно-исторические условия, определившие односторонность их понимания Толстого.



Остальные статьи А. Мраза — о Пушкине, Герцене, Островском, Салтыков-Щедрине и Герцене — были написаны в виде предисловий или к юбилейным дням, но и в них встречаются ценные замечания о судьбе русской литературы в Словакии.

Изучению русско-словацких литературных связей посвящены впервые собранные статьи С. Ваянского о русских писателях, вошедшие в его книгу «Статьи о мировой литературе», изданную с предисловием А. Мраза.<sup>46</sup> В силу своей консервативности Ваянский был на стороне Гоголя в его споре с Белинским и на стороне тургеневских «отцов», а не «детей», и тем не менее он глубоко воспринимал гуманизм русской литературы и много содействовал ее распространению в Словакии.

Русско-словацкие литературные и культурные связи рассматриваются в книге Яна Станислава «Русско-словацкие связи во времена Яна Гоголя и Людовита Штура».<sup>47</sup> Поскольку автор книги — языковед, в ней на первый план выдвинута история установления научного контакта между русскими и словацкими филологами-славяноведами в первой половине XIX столетия. Для историков русской литературы в книге Яна Станислава наиболее интересны разделы об отношении П. Шафарика к Гоголю и его творчеству, об увлечении знаменитого филолога Пушкиным и, наконец, об интересе Пушкина к словацкой народной песне.

В пропаганде классической русской литературы в Словакии весьма велика заслуга выдающегося словацкого переводчика середины прошлого века Богуслава Носака-Незабудова, переводившего произведения Крылова, Пушкина, Лермонтова и других русских писателей. О нем пишет А. Попович в статье «Богуслав Носак-Незабудов и русская литература».<sup>48</sup>

За последнее десятилетие словацкие литературоведы, как и чешские, впервые начали разрабатывать историю общественно-литературных связей передовой словацкой общественности с революционными демократами. Только теперь выяснилось, что хотя произведения русских революционных демократов до последнего времени на словацкий язык не переводились и замалчивались русофилами-консерваторами, они были гораздо более широко известны, чем это можно было предполагать, и оказали серьезное воздействие на словацкую литературную мысль.

В 1951 году Ян Ормис в работе «Словацкая критика царской России в 1868 году»<sup>49</sup> напомнил о забытой статье Микулаша Кевелова «Русский призыв к словакам», первоначально напечатанной в «Словацких новостях», а затем изданной отдельной брошюрой (1868). М. Кевелов резко осудил режим Александра II, проницательно выяснил истинный смысл либеральных реформ в России, выступил против панславизма и солидаризировался с «Колоколом» Герцена. Упомянув Чернышевского и Добролюбова, Кевелов поставил им в заслугу борьбу за новую литературу, обращенную к массам.

Разработку вопроса о связях передовой словацкой общественности с русскими революционными демократами продолжил М. Бакош в статье «О словацком издании эстетических работ Чернышевского».<sup>50</sup> М. Бакош связал выступление М. Кевелова с деятельностью левого крыла прогрессивной для того времени либеральной «новой словацкой школы». Тут же он указал и на других прогрессивных критиков близких к эстетическим идеям русских революционных демократов. Один из них, Б. Павлу, автор программной статьи, напечатанной в журнале «Словацкое обозрение» за 1907 год и по примеру Белинского озаглавленной «Литературные мечтания», был в то же время пропагандистом Горького в словацкой литературе. Другой, Франтишек Вотруба (1880 — 1953), широко известен как выдающийся словацкий критик и литературовед. Надо добавить, что сам Ф. Вотруба в авторских примечаниях к новому изданию своих литературоведческих работ вспоминал о той большой роли, которую сыграли в его идейном развитии русские революционные демократы и Горький.<sup>51</sup>

Новые работы словацких литературоведов все больше убеждают в том, что вопреки влиянию консервативного русофильства в литературной жизни Словакии и Чехии слышались отголоски русского революционного движения. Подтверждение этого можно найти в статьях А. Мраза («Отголоски первой русской революции в словацкой литературе»),<sup>52</sup> А. Завадского («Отголоски революционного движения 1905 года в чешской литературе»),<sup>53</sup> М. Пишута («Гвездослав и первая русская революция»)<sup>54</sup> и в книжке Яна Брезини «Поэтическая панихида Гвездослава на смерть Толстого»,<sup>55</sup> в которой публикуется и комментируется стихотворение Гвездослава «24-ое ноября 1910», проникнутое духом протеста против прогнившего общественного строя в царской России. В содержательной рецензии на книгу Я. Брезини М. Пишут заостряет методологическую сторону вопроса об исследовании международных литературных связей.<sup>56</sup>

Среди многих статей словацких литературоведов о творчестве отдельных русских писателей своей художественной выразительностью выделяются литературно-критические очерки известного критика Андрея Матушки о Лермонтове, Гоголе и Толстом, включенные в его книгу «Неувядающие лавры»;<sup>57</sup> они написаны в свойственной ему блестящей эссеистской манере, обнаруживают широкий кругозор автора и с методологической стороны выгодно отличаются от его же более ранней статьи о Достоевском, истолкованном в духе традиционных представлений буржуазного литературоведения. о его «визионерском» реализме («Профили»).<sup>58</sup>

Уяснению прогрессивного значения русской классической литературы немало мешали формалистические тенденции в словацком литературоведении, заметные еще в недавние годы. Одним из влиятельных течений в буржуазном литературоведении Чехословакии был так называемый «структурализм», сложившийся под влиянием русского формализма. В послевоенные годы отголоском этих былых увлечений был чешский перевод «Теории прозы» В. Шкловского, книги, которая для самого автора уже давно стала пройденным этапом. Формализм явственно сказался в литературоведческих работах видного языковеда профессора Исаченко. Некоторые из них документальны и не вызывают возражения; такова его статья «Пушкин в Словакии» (о документах семьи Пушкина, очутившихся в Словакии и принадлежавших А. Гончаровой-Фризенгоф, сестре жены поэта).<sup>59</sup> Другие статьи А. Исаченко в основном формалистичны.

Еще в 1943 году в статье «Что такое „Евгений Онегин“?» А. Исаченко утверждал, что «Евгений Онегин» не реалистическое произведение, а пародия на сентиментально-романтическую литературу — «литературная игра, жонглирование условно-романтическими ситуациями».<sup>60</sup> Под влиянием этой статьи упрощенный взгляд на гениальный стихотворный роман Пушкина частично проник и в массовую литературу.<sup>61</sup>

В 1950 году вышел в свет словацкий перевод «Петербургских повестей» Гоголя, выполненный участниками переводческого семинара, руководимого профессором А. Исаченко, и снабженный его обширным предисловием, в котором опять-таки утверждалось, что главное в гоголевских повестях составляют гротеск и антиромантическая пародия. Эти ложные формалистические идеи встретили решительный отпор в статье редактора «Литературно-исторического сборника» Яна Рознера «Структурализм и словацкое литературоведение».<sup>62</sup> В то же время В. Кохол в статье «Искаженный Гоголь» убедительно показал, что формалистическое понимание Гоголя помешало переводчикам его петербургских повестей правильно передать реалистический характер русской классической литературы.<sup>63</sup> Следует упомянуть и о статье В. Кохола «Лермонтов в новом переводе», написанной по поводу нового двухтомного издания произведений Лермонтова в переводе известной словацкой переводчицы Зоры Есенской.<sup>64</sup> Автор статьи не подверг сомнению высокие качества перевода Есенской, но справедливо упрекнул переводчицу за некоторую романтизацию оригинала и недооценку лермонтовского реализма.

Таким образом, благодаря методологической перестройке словацкого литературоведения перед ним полностью раскрывается все своеобразие и истинная сила русской классической литературы как носительницы художественной правды.

Статьи и заметки о русской литературе часто появляются на страницах трех словацких периодических изданий: в старейшем литературно-общественном журнале «Словацкое обозрение», в «Литературно-историческом сборнике» Словацкой Академии наук и в новом журнале «Словацкая литература».

### 3

В буржуазно-помещичьей Польше развитие русистики тормозилось антисоветской сплитикой правящих кругов. В период между двумя мировыми войнами на все польские высшие учебные заведения существовала только одна кафедра русской литературы. Специалистов по русской литературе в польском буржуазном литературоведении было мало, и они были изолированы от научной жизни в Советском Союзе.

После освобождения Польши и установления в ней народной власти, в годы, когда началась полная перестройка польской науки, изменилось и положение русистики. В высших учебных заведениях Варшавы, Кракова, Лодзи и Вроцлава были организованы кафедры русской литературы. В 1952 году в Варшаве был учрежден Польско-Советский институт. Стал налаживаться контакт с советскими литературоведами.

Польская русистика имеет свои давние традиции; ее истоки восходят к началу прошлого века — к тому времени, когда в 1801 году в Варшаве возникло «Общество друзей наук», членами которого являлись составитель известного польского словаря С. Линде, выступивший в 1815—1816 годах со статьями о русской литературе, и переводчик «Русской правды» Б. Раковицкий. Славнейшим представителем польской русистики на заре ее существования был Мицкевич — автор курса истории славянских литератур, прочитанного им во Франции.

На отношениях Мицкевича и Пушкина сосредоточили свое внимание позднейшие польские буржуазные литературоведы, в той или другой степени занимавшиеся русской литературой, — прежде всего В. Спасович, хорошо известный в России как участник русской общественной жизни и соавтор А. Пыпина по «Истории славянских литератур»; затем профессор Краковского университета, автор книги «Мицкевич и Пушкин»<sup>65</sup> Ю. Третьяк и исследователь Байрона и байронизма в европейской литературе, автор известной монографии «Байрон и его эпоха» (1897), профессор того же университета М. Эджеховский. Но ни либерал Спасович, ни националистически настроенные Третьяк и Эджеховский не могли раскрыть истинную историческую основу дружбы Пушкина с Мицкевичем как выражение идейной и политической связи между революционными кругами русской и польской общественности. Прогрессивное значение русской классической литературы осталось совершенно не раскрытым и в работах крупнейшего пред-

ставителя польской буржуазной русистики Александра Брюкнера (1856—1939), прежде всего в его «Истории русской литературы», первоначально изданной на немецком языке (1905), а затем переизданной в расширенном двухтомном польском издании.<sup>66</sup>

Ведущим русистом в Польше перед второй мировой войной был Вацлав Ледницкий, ныне польский эмигрант и один из лидеров реакционной славистики в США. В. Ледницкий тщательно собирал материалы о польских связях отдельных русских писателей — Пушкина, Грибоедова, Льва Толстого, — в известной мере учитывая работы советских литературоведов, но в своих собственных обобщениях исходил из националистических предубеждений и ложной философской концепции русского исторического процесса. В силу этого его книги — «Александр Пушкин»,<sup>67</sup> «Друзья-москальи»<sup>68</sup> и книга об отношении Льва Толстого к Польше, изданная в Кракове на французском языке<sup>69</sup> — не позволяли уяснить передовое, освободительное содержание классической русской литературы. Пушкина, например, он охарактеризовал как писателя замечательного, но враждебного Польше и только под влиянием Мицкевича умерившего свою нетерпимость.

Предшественником обновленной польской русистики был человек, не связанный с академическими кругами, — зачинатель марксистской критики в Польше Бронислав Бялоблочный (1861—1888). Его литературно-критическая деятельность совпала с периодом расцвета критического реализма в Польше и знаменовала собою зарождение новой социалистической эстетики. Б. Бялоблочный выступал в восьмидесятые годы прошлого века как идейный единомышленник первой в Польше революционной пролетарской организации «Пролетариат». Половина его литературно-критических статей посвящена русской литературе. Критик, воспитанный на материалистической эстетике Чернышевского и Добролюбова, Бялоблочный в статьях о Тургеневе, Глебе Успенском и других русских писателях сумел правильно оценить мировое значение, народность и прогрессивность русской литературы. Как противник эстетики «чистого искусства», он высоко ценил реализм русских писателей и подобно Плеханову глубоко анализировал социальные сдвиги в русской деревне, запечатленные в лучших произведениях писателей-народников.

Изучение наследия Бялоблочного, предпринятое еще в начале тридцатых годов прогрессивным польским публицистом Людвигом Кшивицким, было продолжено после войны Самуэлем Сандлером. Первое издание «Литературных очерков» (1932) Б. Бялоблочного осталось незамеченным. Новое издание публицистических и литературно-критических статей забытого критика вышло в 1954 году,<sup>70</sup> в том же году появилась и монография С. Сандлера — «У истоков марксистской литературной критики в Польше. Бронислав Бялоблочный».<sup>71</sup>

Ценный материал по истории прогрессивных русско-польских и русско-германских литературных связей содержит переписка Юлиана Мархлевского со Стефаном Жеромским и Владиславом Орканом, изданная в Кракове в 1953 году.<sup>72</sup> Выдающийся революционно-пролетарский политический деятель, Ю. Мархлевский занимает почетное место в истории развития марксистской эстетики в Польше. Краковское издание переписки Ю. Мархлевского дает представление не только о его марксистских эстетических взглядах, но и о его роли пропагандиста русской литературы за рубежом.

В период с 1902 по 1905 год Ю. Мархлевский жил в Мюнхене и здесь, вступив в тесный контакт с немецкими социал-демократическими кругами, возглавил издательство, которое поставило перед собою цель популяризовать классическую и современную литературу. Издательство «Ю. Мархлевский и компания» выпускало книги на немецком, польском и русском языках. Именно в этом издании появились первые переводы пьесы Горького «На дне» (немецкий — А. Шольца и польский — А. Зельферовича), в 1902—1904 годах по инициативе Мархлевского вышли переводы произведений Горького, Короленко, Успенского, Вересаева, Гарина-Михайловского и других русских писателей.

Б. Бялоблочный и Ю. Мархлевский были прямыми предшественниками нового направления в развитии польской русистики. Ныне русистика возродилась в Польше как важная часть передового литературоведения, перестроенного на марксистско-ленинской основе. Процесс перестройки польского литературоведения отражен в целом ряде книг, в том числе в книге Стефана Жулкевского «Старое и новое литературоведение» (1950), в сборнике «О ситуации в истории польской литературы» (1951) и в статье Казимежа Вьки «Филологическая наука» в академическом сборнике «Десять лет развития науки в Народной Польше» (1956). Русистика как часть нового польского литературоведения учтена в справочно-библиографической книге С. Жулкевского и Я. Страдецкого «Развитие изучения польской литературы в 1944—1954 годах»,<sup>73</sup> изданной Польской Академией наук; вступительная часть ее написана С. Жулкевским (стр. 5—93), а библиография составлена Я. Страдецким (стр. 94—158).

В новой литературной обстановке, сложившейся в Польше после перехода власти в руки народа, главным предметом внимания польских литературоведов-русистов стали те эпохи литературного развития России и Польши и те литературные деятели обеих стран, с которыми связаны лучшие исторические традиции революционной дружбы польского и русского народа. Особое внимание польских русистов привлек к себе Пушкин. «Популяризация сочинений Пушкина в Польше укрепляет нашу дружбу с Советским Союзом», — говорил на торжественном заседании, посвященном памяти поэта.

Стефан Жулковский, один из активнейших участников борьбы за перестройку польского литературоведения на марксистско-ленинской основе.<sup>74</sup>

Центральная проблема польской русистики — Пушкин и Мицкевич — наполнилась новым содержанием, и перед ее исследователями встала задача прежде всего раскрыть связь дружбы обоих великих поэтов с движением декабристов в России и с откликами на него в Польше.

Как специалист по русской литературе пушкинской эпохи и русско-польским связям этого времени известен Леон Гомолицкий. Ему принадлежат две книги о русско-польских литературных связях: «Дневник путешествия Мицкевича в Россию»<sup>75</sup> и «Мицкевич среди русских». Первая представляет собою ценный монтаж документов эпохи и историко-литературных материалов позднейшего времени, а вторая — сжатый научно-популярный очерк.

В 1954 году вышла из печати книга Л. Гомолицкого «Великий реалист Александр Пушкин».<sup>76</sup> Книга носит проблемный характер. В ней анализируются главным образом те произведения Пушкина, которые были неизвестны в Польше или оставались в тени в силу предвзятого подхода польского буржуазного литературоведения: десятая глава «Евгения Онегина», «Борис Годунов», «Полтава» и пушкинская проза. Значительную часть книги занимает историография — критический пересмотр ложных антиисторических представлений о Пушкине в польском буржуазном литературоведении и сжатый очерк советского пушкиноведения.

Обобщающей монографической работы о Пушкине в польском литературоведении пока еще нет, но потребность в ней настолько велика, что полезная в общем книга Л. Гомолицкого была подвергнута резкой критике за слишком беглый характер полемики с польским буржуазным литературоведением, за серьезные пропуски в обзоре русского пушкиноведения и, главное, за то, что она не дает цельного представления о Пушкине.<sup>77</sup> Таким образом, задача создания польской монографии о Пушкине остается в порядке дня.

Фундаментальный труд представляет собою критико-библиографическое исследование Мариана Топоровского «Пушкин в Польше»,<sup>78</sup> значительно расширенное по сравнению с первым вариантом, напечатанным в 1937 году в Краковском пушкинском сборнике. В книге М. Топоровского тщательно учтена вся польская пушкиниана, начиная с первых прижизненных упоминаний о Пушкине и до 1949 года включительно. Материал расположен в хронологическом порядке и поставлен в связь с общественно-политической жизнью страны. Ценность книги увеличивают удачно подобранные цитаты из польских переводов Пушкина и критических отзывов о нем. В вводном очерке М. Топоровского хорошо освещен интерес польской прогрессивной общественности к Пушкину.

В борьбе за методологическую перестройку польского литературоведения видную роль сыграла острая проблемная книга Стефана Жулковского «Спор о Мицкевиче».<sup>79</sup> С. Жулковский подверг резкой критике традиционную буржуазную легенду о Мицкевиче как религиозном писателе, весь идейный и творческий путь которого будто бы сводился к сближению с Товянским, и убедительно опроверг беспочвенные утверждения о мнимом одиночестве поэта во время его пребывания в России. Анализируя идейную и творческую близость Мицкевича и Пушкина к декабристам, С. Жулковский с полным основанием применил к великому польскому поэту ленинское определение декабристов как дворянских революционеров.

Укрепление культурной связи между Польской Народной Республикой и Советским Союзом облегчило работу польских ученых и открыло перед ними двери советских архивов и книгохранилищ. На неопубликованные материалы опираются работы С. Фишмана «Мицкевич в России» и «Из проблематики пребывания Мицкевича в России».<sup>80</sup> Обе они содержат много данных о русско-польских общественно-литературных связях и подтверждают влияние декабристов на Мицкевича.

К настоящему времени работ о польско-декабристских связях накопилось много. Л. Подгорский-Околув выдвинул предположение о встрече Мицкевича с декабристами во время его пребывания в Киеве.<sup>81</sup> М. Якубец в обширной статье «Русская литература в парижских лекциях Мицкевича» установил, что, вопреки националистической тенденции, одна из главных идей в лекциях великого польского писателя заключается в признании мирового значения русской литературы, а в своих суждениях о «Слове о полку Игореве» и о Пушкине он опирается на русскую декабристскую критику.<sup>82</sup> Б. Гальстер в статье «О критике „Истории“ Карамзина Лелевелем»<sup>83</sup> обнаружил совпадение взглядов польского историка и декабристов в оценке карамзинского труда. Другая статья Б. Гальстера — «Творчество Рыльева и польская литература»<sup>84</sup> — также освещает связи между польской литературой и декабристским движением в России.

Русско-польские культурные и литературные связи входят в круг проблем, поднимаемых в книгах Генрика Батовского «Мицкевич как исследователь славянства»<sup>85</sup> и «Друзья славяне».<sup>86</sup> Еще в 1936 году в своей книге «Мицкевич и славяне до 1840 года»<sup>87</sup> Г. Батовский вопреки антиисторизму польского буржуазного литературоведения настаивал на конкретно-историческом подходе к литературе и указывал на особую важность знакомства Мицкевича с декабристами. Новые работы Г. Батовского служат продол-

жением его давно начатых исследований. Для историка русской литературы в них интересно освещение славяноведческой концепции Мицкевича и анализ использованных им русских источников.

Русские переводы поэтических произведений Мицкевича стали предметом критического разбора в статье видного польского литературоведа Юлиана Кжижановского, автора известного исследования о русских былинах.<sup>88</sup>

Совершенно новая и обширная область открылась для польских русистов с началом изучения связей между русскими революционными демократами и современными им передовыми общественными деятелями Польши. Разработкой этих вопросов занимаются главным образом историки. Советскому читателю известна содержательная книга Иозефа Ковальского «Русские революционные демократы и январское восстание 1863 года в Польше». Эта книга вышла уже во втором переработанном издании, которое отличается от первого тем, что И. Ковальский включил в него новые данные об участии ряда русских революционных демократов в восстании 1863 года, пересмотрел свои ошибочные утверждения о польском влиянии на деятельность союза «Земля и воля», привел данные о ранее недооцененных им крестьянских восстаниях против барщины и, наконец, использовал новейшие работы советских историков.

В некоторых работах польских русистов речь идет не только о взаимном влиянии русских и польских общественно-литературных деятелей друг на друга, а о сходстве процесса их идейного и творческого развития. Именно так ставится вопрос в статье Ц. Бобинской «С. Сташиц и А. Радищев»<sup>89</sup> или в статье А. Валицкого «Белинский и Дембовский».<sup>90</sup> Подобная постановка вопроса вполне оправдана тесной связью исторической судьбы Польши и России. Задача исследователя в данном случае состоит в установлении как сходства, так и национального своеобразия в развитии культуры обоих народов.

За последнее десятилетие в Польше появился целый ряд научно-популярных книг и брошюр об отдельных классиках русской литературы: Ч. Згожельский «Лермонтов»,<sup>91</sup> С. Фишман «Александр Герцен»,<sup>92</sup> Р. Карст «Лев Толстой»,<sup>93</sup> Н. Модзелевская «Николай Гоголь»<sup>94</sup> и др. В книгах этого типа есть свой отпечаток и, например, естественно, что С. Фишман подробно останавливается на отношении Герцена к Польше.

Особой популярностью в Польше пользуются некоторые произведения Льва Толстого, на страницах которых очень живо проявилась его симпатия к борцам за независимость польского народа — «Воскресение», «Хаджи-Мурат» и рассказ «За что?», целиком написанный на польскую тему. Данные об отношении Льва Толстого к Польше, в свое время собранные В. Ледницким, заново переосмыслены в духе идеи советско-польской дружбы в статье известной польской писательницы М. Домбровской — «Польша и поляки в произведениях Льва Толстого».<sup>95</sup> На ту же тему написана научно-популярная статья Г. Лебедзинского «Лев Толстой и Польша».<sup>96</sup>

Отношение крупнейших представителей польского критического реализма к русской литературе пока изучено недостаточно. Из немногих работ на эту тему надо отметить статью А. Семчука «Прус о Льве Толстом».<sup>97</sup> В ней рассмотрены полемические статьи Пруса в защиту автора «Воскресения» от нападок русской и польской реакционной критики. Льву Толстому посвящена и другая статья того же исследователя — о романе «Воскресение» в польской критике.<sup>98</sup>

О Достоевском в Польше за последнее десятилетие написано немного. Отрицательные отзывы справедливо заслужила реакционная книга Мацкевича «Достоевский».<sup>99</sup>

Из юбилейных откликов на творчество Достоевского должна быть отмечена вдумчивая статья известного критика и переводчика Анджея Ставара «Преступление и наказание».<sup>100</sup> А. Ставар делится наблюдениями над тем, как идейные противоречия автора «Преступления и наказания» проявляются в самой художественной ткани произведения и обнаруживает их в сочетании глубокого реализма с элементами условности, очень заметными, когда в романе идеолог побеждает художника. Любопытно тут же высказанное А. Ставаром соображение о том, что в образе выведенного в романе искусного следователя-психолога своеобразно отразились воспоминания Достоевского о главном следователе по делу петрашевцев генерале Дубельте. Удачна и другая статья того же критика — «Белинский».<sup>101</sup> Обе статьи выгодно выделяются в журнале среди ревизионистских выступлений некоторых других авторов.

Полезный экскурс сделан Л. Гомолицким в статье «Польский позитивизм в свете русской критики»; она вошла во второй том сборника «Позитивизм».<sup>102</sup> Л. Гомолицкий проанализировал оценки произведений Сенкевича, Ожешко, Пруса, Конопницкой и других близких к ним писателей в русской либеральной и народной критике и привел интересные данные об остроте проблемы реализма в этих критических отзывах. Досадно, что он упустил из вида статью В. Воровского о Свентоховском.<sup>103</sup>

При всей неразработанности вопроса о связи польского реализма с русским в работах польских литературоведов много нового о распространении русской литературы в Польше и ее оценке польской критикой. Выясняется, что вопреки недоброжелательному отношению к русской литературе со стороны реакционных кругов она распространялась в Польше гораздо шире, чем это представлялось польским буржуазным русистам во главе с А. Брюкнером.

Тщательно собранным материалом богата статья Маряна Якубца о распространении русской литературы в так называемую «эпоху позитивизма», т. е. в годы утверждения критического реализма в польской литературе.<sup>104</sup> Автор этой работы — один из виднейших польских специалистов в области русистики. Еще до войны во втором томе Краковского сборника «Пушкин» (1939) появились две его обширные статьи — «Пушкин в Польше» и «Юбилей Пушкина в Польше»; обе они тогда выделялись своей прогрессивной направленностью. За последние годы М. Якубцем написано немало новых работ, главным образом по вопросу о русско-польских литературных связях: «Польские друзья Лермонтова», «Пушкин и Мицкевич», «Словацкий в поэтическом кругозоре Пушкина», «Состояние и задачи изучения польско-советских литературных отношений», «Некрасов в польской критике» и др. Весьма содержателен обзор «Десять лет русской литературы в народной Польше» (1954), написанный М. Якубцем совместно с С. Фишманом.<sup>105</sup>

Ценные сведения о судьбе произведений русских писателей в Польше можно найти в двухтомном издании пьес Чехова с комментариями С. Демброва (1953),<sup>106</sup> в четырехтомном издании Пушкина под редакцией М. Топоровского (1954) и в других аналогичных изданиях. Для историка русской поэзии XIX века не лишены интереса некоторые польские издания, снабженные содержательными предисловиями или дельными комментариями: басни Крылова (1951), поэтические произведения Жуковского (1952), Тютчев в двух разных изданиях (1948 и 1957), «Антология поэзии декабристов» (1952) и др.

В 1952 году начал выходить журнал «Квартальное обозрение Польско-Советского института». Он объединил вокруг себя историков и литературоведов, занятых изучением русско-польских исторических и литературных связей. Специальные номера журнала были отведены отдельным писателям — Радищеву (1953, № 2—3), Некрасову (1953, № 5), Чернышевскому (1954, № 4), Чехову (1955, № 3) и Мицкевичу (1955, № 1).

Польские ученые ввели в свою практику плановые тематические сборники о русско-польских связях. Так некрасовский номер журнала «Квартальное обозрение» содержит вводный очерк С. Фишмана о творческом пути поэта, статью М. Якубца об оценке произведений Некрасова польской критикой, коллективную статью о произведениях Некрасова в переводе Ю. Тувиной, библиографию польских переводов Некрасова, составленную А. Цезажом, и другие материалы. В чеховский номер вошли три содержательные статьи об огромной, как выясняется, роли произведений Чехова в литературной и театральной жизни Польши: статья Л. Нодзинской «Начало литературной славы Чехова в Польше», Ф. Сельского «Чехов в междувоенной Польше» и Г. Позняка «О первых постановках пьес Чехова в Польше». Подготавливается специальный номер о Достоевском.

С 1957 года, т. е. с шестого года своего существования «Квартальное обозрение Польско-Советского института» выходит под новым названием «Slavia orientalis» и издается от имени Комитета славяноведения Польской Академии наук. Объем издания сократился в четыре раза, и оно превратилось в ежегодник такого же листажа, как прежние отдельные выпуски.

Некоторые авторы статей в ежегоднике занимают ревизионистскую позицию. Под видом борьбы за подлинную научность они подвергают сомнению самые основы марксистско-ленинского литературоведения: революционный историзм и понимание литературы как образного отражения действительности. Именно так выступают Янина и Анджей Валицкие в своей статье «У истоков проблемы „лишнего человека“ в творчестве Тургенева». Свою борьбу против марксистского литературоведения авторы статьи прикрывают критикой революционных демократов и заявляют, что историческую концепцию Чернышевского и Добролюбова «нельзя признать соответствующей требованиям современной науки».<sup>107</sup> Подразумевая под «современной наукой» отнюдь не марксизм, а буржуазное литературоведение, они обвиняют Чернышевского и Добролюбова в том, что их подход к «лишним людям» как общественному явлению «закрывал дорогу для более глубокого понимания их литературного и философского гнесиса».<sup>108</sup>

Содержание статьи Я. и А. Валицких сводится к антиисторическому сближению тургеневских образов «лишних людей» с западноевропейским романтизмом. «Современная наука», к которой апеллируют авторы, представлена в почтительных сносках на книги В. Ледницкого, М. Гершензона и эмигрантского философа В. Зеньковского.

Статья Я. и А. Валицких не заслуживала бы внимания, если бы она не была так же показательна, как аналогичные выпады против Горького-теоретика социалистического реализма в статьях К. Теплица, З. Федецкого и других критиков-ревизионистов, уже получивших ответ на страницах советской печати. Надо заметить, что в целом ежегодник «Slavia Orientalis» за 1957 год производит все же благоприятное впечатление и богат материалом о прогрессивных русско-польских связях. Привлекают внимание публикации переписки Элизы Ожешко с русскими литературными деятелями: З. Баранский, М. Якубец — «Письма Элизы Ожешко к Вуколу Лаврову» и С. Фишман, А. Семчук — «Письма Элизы Ожешко к Виктору Гольцеву и Михаилу Стасюлевичу». Письма замечательной польской писательницы, публикуемые в ежегоднике, проникнуты горячим стремлением к упрочению дружеских культурных связей между польским и русским

нарами. С особенным подъемом Элиза Ожешко писала в 1899 году о том, что знаменательное совпадение юбилейных годовщин, связанных с именами Пушкина и Мицкевича, послужило поводом для выражения искренних симпатий между деятелями польской и русской культуры — для «встречи людей доброй воли», как совсем в духе нашей эпохи замечала писательница.<sup>109</sup>

Еще в 1953 году в четвертом томе «Квартального обозрения» сообщалось о подготовке сборника о Горьком. Его план очень интересен; он включает не только статьи о переводах произведений Горького и театральных постановках его пьес, но и статью о Горьком Жеромского, и, наконец, статью, направленную против фальсификации Горького реакционной критикой. Скорейшее завершение этой работы было бы очень желательно; она могла бы послужить хорошей отповедью литературоведам, зараженным ревизионистскими настроениями, тем, кто ставит под сомнение действительность идейного и творческого наследия Горького как зачинателя социалистического реализма.

Имя Горького как вдохновителя прогрессивной польской литературы заново прозвучало в известной статье Вацлава Налковского «Пролетариат и творцы (1905)», включенной в сборник «1905 год в польской литературе»,<sup>110</sup> превосходно составленный Стефаном Клоновским и, кстати, во многом очень интересный для историка русской литературы. Хотелось бы, чтобы роль Горького в развитии передовой литературы Польши получила должную историческую оценку.

#### 4

В болгарском литературоведении начало изучения русской классической литературы восходит к последнему этапу национально-освободительной борьбы против турецкого феодального гнета. Благодарной почвой для возникновения и роста болгарской русистики были прочные связи национальной литературы Болгарии с русской классической литературой и революционно-демократической критикой. Одним из зачинателей изучения русской литературы в Болгарии был Нешо Бончев, первый болгарский критик, автор известной статьи о Гоголе, напечатанной в журнале «Периодическо списание» за 1873 год.

Систематическое изучение русской литературы в Болгарии началось в стенах Софийского университета, созданного уже после возникновения самостоятельного болгарского государства. Серьезный вклад в изучение русской литературы на болгарской почве сделал первый болгарский профессор — историк литературы И. Д. Шишманов, который в связи с пушкинским юбилеем 1899 года подвел предварительный итог изучению раннего этапа русско-болгарских литературных связей и положил начало их дальнейшему исследованию.<sup>111</sup> Русско-зарубежные связи изучал и другой крупнейший представитель болгарского буржуазного литературоведения, ученик И. Д. Шишманова профессор Боян Пенев, он обращался к ним в некоторых разделах своего монументального труда по истории болгарской литературы,<sup>112</sup> изданного в тридцатые годы, и, кроме того, в отдельных экскурсах — о переводах Петко Славейкова (1909) и об отношениях Полонского и Тургенева к рабству и освобождению болгарского народа (1912).

Несомненная заслуга болгарского буржуазного литературоведения заключается в том, что в лице Шишманова, и в меньшей мере в лице Пенева, оно учитывало прогрессивную роль русской литературы в культурном возрождении Болгарии. Однако Шишманов и Пенев недооценивали революционную основу болгарского национально-освободительного движения, преувеличивали значение деятельности либеральных просветителей и свое изучение русско-болгарских литературных и культурных связей ограничивали их восприятием русской литературы.

Зачинателями обновленного подхода болгарских литературоведов к изучению русской литературы были революционные пролетарские деятели: Д. Благоев, воспитанный на эстетике русских революционных демократов, и его продолжатели, более поздние носители идей научного социализма в болгарском литературоведении — Георгий Бакалов и Тодор Павлов.

Г. Бакалов занялся пропагандой русской литературы еще в девятисотые годы и за три десятилетия напечатал целый ряд литературно-критических очерков о русских классиках от Пушкина до Горького. Некоторые из этих статей Бакалова теперь вошли в книгу его избранных произведений.<sup>113</sup> Новый путь для дальнейших исследований открыли работы Г. Бакалова о русско-болгарских революционных связях, написанные им во время пребывания в Советском Союзе, в частности известная статья «Чернышевский на Балканах».<sup>114</sup>

В годы монархо-фашистской диктатуры в Болгарии, особенно во время второй мировой войны, изучение русской литературы затруднялось в силу того, что официальные круги поддерживали антиславянские теории о происхождении и историческом пути болгарского народа. В этой обстановке всякое проявление научного интереса к русско-болгарским литературным связям выглядело как признак политической неблагонадежности. Положение совершенно изменилось после того, как в Болгарии установилась народная власть. Новый этап культурной жизни страны начался под знаком болгаро-советской дружбы.

В обновлении болгарской русистики видную роль сыграл Т Павлов, один из ведущих деятелей культуры народно-демократической Болгарии Вопросы русистики занимают видное место в установочной историографической статье Т Павлова «Состояние и задачи славяноведения в Болгарии»<sup>115</sup>

Новый угол зрения на русскую классическую литературу открывали доклады Т. Павлова о Пушкине (1949), Горьком (1948) и других русских классиках, произнесенные им на торжественных юбилейных собраниях, организованных Болгарской Академией наук и общественными организациями Русская классическая литература в них предстает как всенародное достояние и как действенная сила в социалистической культуре Советского Союза.<sup>116</sup> Главы о русской литературе — об эстетических воззрениях Льва Толстого и о творчестве Пушкина — входят в капитальный труд Т Павлова «Основные вопросы эстетики» (ч. 1, 1949)

Поворот болгарского литературоведения к наиболее актуальным проблемам изучения русской литературы проявился в книге С Каракостова «Горький и болгарская литература».<sup>117</sup> Следуя за Г Бакатовым, С Каракостов сумел убедительно показать, каким огромным и благотворным было влияние Горького на переводов болгарских писателей, начиная с первых лет знакомства с его творчеством и вплоть до первых лет новой жизни в освобожденной Болгарии Историю литературной репутации М Горького в Болгарии С Каракостов тесно связал с исторической обстановкой в стране и революционной борьбой болгарского рабочего класса Большую ценность книге придает насыщенность материалом, в ней приводятся точные данные о болгарских переводах произведений Горького, напечатаны ответы болгарских писателей на составленную автором книги анкету об их отношении к творчеству великого писателя и, наконец, публикуются архивные документы Книга С Каракостова не свободна от упрощения теоретических вопросов социалистического реализма<sup>118</sup> Тем не менее ее положительные качества неоспоримы В настоящее время С Каракостов подготавливает новое издание своей книги

Кроме книги о Горьком, С. Каракостову принадлежит целый ряд статей о русско-болгарских связях «Влияние Пушкина и связи с ним в Болгарии»,<sup>119</sup> «Н Г Чернышевский — любимец Ботева и Димитрова»,<sup>120</sup> «Н А Некрасов — поэт-гражданин и его значение в болгарской литературе»,<sup>121</sup> «В. Г Белинский и болгарская литература»<sup>122</sup> и др Как профессор Театрального института в Софии С Каракостов в последние годы изучает главным образом русско-болгарские театральные связи

Активное участие в перестройке болгарской русистики принял профессор Софийского университета Велчо Велчев О его давней симпатии к русскому народу и научном интересе к русско-болгарским литературным связям можно судить по книге об источниках знаменитой «Истории славяно-болгарской» Паисия Хилендарского — «Отец Паисий Хилендарский и Цезарь Бароний» (1943), изданной в годы войны.

Тесный контакт с советскими литературоведами, установленный В Велчевым благодаря его временному пребыванию в Москве и чтению лекций в Московском университете, позволил ему расширить и углубить свой исследовательский подход к русской литературе В 1948 году вышла в свет его книга о Горьком — «„На дне“ в новом освещении», в которой проводится анализ идейного замысла пьесы и опровергается ложный взгляд на образ Луки как выразителя идей самого Горького<sup>123</sup>

В Велчев часто выступает со статьями о русско-болгарских литературных связях Его статья «Любен Каравелов и Гоголь»<sup>124</sup> еще не свободна от преувеличенного интереса к установлению текстуральных заимствований О методологической перестройке свидетельствуют более поздние статьи В Велчева — «Русско болгарские литературные связи в прошлом и руководящая роль советской литературы у нас»,<sup>125</sup> «Идейное влияние Н Г Чернышевского в Болгарии»,<sup>126</sup> «Освобождение Болгарии и русская классическая литература»,<sup>127</sup> «Георгий Бакалов и русская революция 1905—1907 гг»,<sup>128</sup> «Петко Тодоров и русская литература»<sup>129</sup> и др В 1955 году В Велчев как участник тургеневской научной сессии в СССР познакомил ее участников со своей новой работой «Тургенев и Болгария»

В 1956 году издательством Болгарской Академии наук была издана книга Симеона Русакиева «Петко Славейков и русская литература»<sup>130</sup> С Русакиев исследует роль русской классической литературы в формировании творческой личности первого выдающегося болгарского поэта нового времени Петко Славейкова В отдельных главах книги внимательно рассмотрено отношение поэта к Пушкину, Крылову, Лермонтову, Никитину, Некрасову и, наконец, к Шевченко

С Русакиев пересмотрел традиционные взгляды буржуазного литературоведения на Петко Славейкова В девяностые годы Боян Пенев утверждал, будто бы русская классическая поэзия вела Славейкова к эстетическому идеалу чистого искусства Автор книги пришел к противоположному выводу Русская поэзия, как доказывает С. Русакиев, укрепляла патриотическое гражданское самосознание Петко Славейкова, она указывала ему путь к социальным темам и реализму

Несколько лет тому назад, в 1949 году, С Русакиев выступил с работой о Маяковском — «Маяковский и развитие болгарской литературы», ценной по материалу, но еще весьма противоречивой в своем исследовательском методе Его новая работа сви-



детельствует об окончательном преодолении компаративизма передовыми болгарскими учеными.

По-новому современное болгарское литературоведение рассматривает и вопрос о русских литературно-общественных связях Любена Каравелова. Б. Пенев подчеркивал его связи со славянофилами, в настоящее же время, напротив, все больше выясняется личная и идейная близость Каравелова с русскими революционными демократами. На эту тему написана большая статья И. Конева «К вопросу о влиянии русской общественной мысли шестидесятых годов XIX века на Любена Каравелова».<sup>131</sup> Автор статьи опирается на многие предшествующие работы советских и болгарских исследователей и, развивая их положения, заостряет свое внимание на расхождении Каравелова со славянофилами и его сближении с революционными демократами. В статье приводится впервые публикуемое полемическое «Объяснение» Л. Каравелова, направленное против И. А. Аксакова и «Славянского общества».

Многочисленные новые работы болгарских литературоведов возникли как отклики на памятные даты, связанные с именами русских классиков. У болгарских литературоведов установилась хорошая традиция откликаться на каждую из таких дат обстоятельными исследованиями из истории русско-болгарских литературных связей. Поскольку в истории болгарской литературы роль таких связей была особенно велика, их исследование тем более необходимо. Само собой разумеется, что подобные работы посвящаются не только к юбилейным датам.

Можно назвать некоторые наиболее интересные работы о судьбе наследия русских классиков в Болгарии: П. Динеков «Пушкин в Болгарии»<sup>132</sup> и его же «Первый русский переводчик „Тараса Бульбы“»,<sup>133</sup> Т. Боров «Гоголь в Болгарии»,<sup>134</sup> Г. Цанев «Гоголь и болгарская литература»,<sup>135</sup> его же «Русская классическая и советская литература у нас»<sup>136</sup> Г. Константинов «В. Г. Короленко и его влияние в Болгарии»,<sup>137</sup> Е. Метева «Некрасов в оценке болгарской прогрессивной критики»,<sup>138</sup> Н. Васева «Болгарские переводы „Анны Карениной“»,<sup>139</sup> Д. Шелудько «Любен Каравелов и „Что делать?“»<sup>140</sup> и др.

Как отклик на пятидесятилетие со дня смерти А. П. Чехова, широко отмеченное по постановлению Всемирного Совета Мира, появилась книга известного болгарского библиографа, директора библиографического института имени Елина Пелина Тодора Борова «Чехов и Болгария».<sup>141</sup> Значительную часть книги занимает критико-библиографическое исследование Т. Борова (стр. 9—94). Вторая половина книги занята библиографией переводов произведений Чехова на болгарский язык, составленной Ц. Арсовой (стр. 95—258).

Книга Т. Борова — серьезный вклад в изучение русской литературы в Болгарии. В своих исторических и литературоведческих обобщениях она не лишена погрешностей, но в целом говорит о высоком уровне болгарских библиографических изысканий и дает в руки историка литературы огромный и ценнейший материал. Высокие достоинства и частичные недостатки этой книги объективно оцениваются в рецензии В. Велчева.<sup>142</sup>

Творчество Чехова и Горького как действенную силу в развитии болгарской литературы исследует Пеню Русев в обширной статье под названием «Творчество Горького и Чехова — школа реализма и мастерства Елина Пелина».<sup>143</sup> Работа П. Русева дополняет соответствующие разделы в его монографии о Елине Пелине, изданной в 1954 году Институтом литературы Болгарской Академии наук.

Автор заострил внимание на методологической стороне вопроса о влияниях. Справедливо возражая против компаративистского понимания литературного заимствования и подражания, он пытается перенести в область литературоведения некоторые понятия из театральной системы Станиславского и, сближая творческий процесс писателя и актера, предлагает говорить о *работе писателя над образом*. Его собственные наблюдения убеждают в том, что Елин Пелин глубоко воспринимал художественную правду в творчестве Чехова и Горького и в силу сходства исторической обстановки в России и Болгарии часто обращался к сходным образам и темам, но как болгарский писатель, большой и оригинальный художник, развивал их по-своему.

В Болгарии, как и в других странах, решение Всемирного Совета Мира о проведении мероприятий, связанных с семидесятипятилетием со дня смерти Достоевского, послужило толчком к пересмотру широко распространенных упрощенных взглядов на наследие великого писателя. Еще относительно недавно в заметке, напечатанной в газете «Литературен фронт»,<sup>144</sup> все важнейшие произведения Достоевского были признаны вредными и чуждыми современному читателю. Теперь наследие Достоевского получило в Болгарии совершенно иную, более объективную оценку. Г. Германов в статье «Достоевский о Болгарии»<sup>145</sup> с полным основанием напомнил о симпатиях великого писателя к болгарскому народу, выраженных в «Дневнике писателя» и в романе «Братья Карамазовы».

Остается добавить, что, как правило, в каждой обобщающей работе о классиках болгарской литературы так или иначе затрагивается русская литература. Есть и специальные статьи на эту тему, например Ц. Минков «Вазов и русская классическая литература»<sup>146</sup> или Х. Дудевский «Алеко Константинов и русская литература».<sup>147</sup>

Специального научного издания, освещающего русско-болгарские литературные связи и различные вопросы русской литературы в Болгарии нет, но статьи на эти темы печатаются во многих научных и литературно-общественных изданиях, чаще всего в журнале «Език и литература» или трудах Института литературы Болгарской Академии наук.

## 5

Как и в других славянских странах, свои прогрессивные научные традиции есть и в югославской русистике; они восходят к деятельности Вука Караджича (1787—1864), установившего тесный контакт с представителями русской филологической науки, и получили новое содержание в статьях пропагандиста эстетики русских революционных демократов, выдающегося сербского общественного и литературного деятеля Светозара Марковича (1846—1875).<sup>148</sup> Этим традициям был не чужд виднейший сербский литературовед Иован Скерлич (1877—1914); роль русской классической литературы в литературной жизни Сербии неоднократно отмечается на страницах его «Истории новой сербской литературы»<sup>149</sup> (1914), третье издание которой появилось в 1953 году. Для историка русской литературы до сих пор сохраняет огромную ценность капитальный труд Ягича «История славянской филологии», изданный в 1910 году Академией наук в России. Книга Ягича была знаменательным фактом научного сотрудничества между южнославянской и русской филологической наукой.

Русская литература была предметом внимания со стороны выдающегося историка хорватской литературы Антуна Бараца (1894—1955); ему принадлежит и специальная работа «Белинский в хорватской литературе».<sup>150</sup> Значение русских классиков в развитии и утверждении реализма в сербской литературе XIX века отмечается в исследовании Велибора Глигорича «Сербские реалисты».<sup>151</sup>

Русско-югославские литературные связи учтены в капитальной двухтомной библиографии литературы Югославии, составленной под редакцией Мате Уевича и изданной Лексикографическим институтом в Загребе в 1956 году.<sup>152</sup> Составители библиографии учли не только отдельные издания, но и статьи в периодической печати за время с конца XVIII века до 1945 года.

Русская литература в Югославии и ее влияние на сербскую и хорватскую литературу — тема многочисленных работ Иосипа Бадалича, профессора университета в Загребе. Научная деятельность И. Бадалича началась в 1920 году. Он не только литературовед, но и книговед, исследователь истории славянской книги. Как литературовед И. Бадалич много занимался изучением судьбы произведений Пушкина, Достоевского, Горького и русской лирической поэзии в Югославии.

Последние работы И. Бадалича, написанные им уже после второй мировой войны, отличаются большим, чем раньше, углублением историзма. В статье «Русские писатели в литературе хорватского возрождения»<sup>153</sup> он обстоятельно выясняет историческую обстановку, благодаря которой в Хорватии сороковых годов прошлого века не только творчество Пушкина, но даже и славянофильские литературные произведения воспринимались как идейная поддержка национальной борьбы против австрийского гнета. Две статьи И. Бадалича об отражении русской литературы в Югославии, одна о Толстом и другая о Горьком, напечатаны в СССР и своим появлением на страницах советских журналов знаменуют укрепление международных научных связей в области славистики.<sup>154</sup>

На материале русской поэзии написана работа Кирилла Тарановского о некоторых вопросах ритмики русского стиха, изданная Сербской Академией наук по представлению академика Белича.<sup>155</sup> Кирилл Тарановский исходит из того, что наука о стихе граничит между лингвистикой и наукой о литературе. Фактически же он совершенно игнорирует историю литературы и, выступая под флагом лингвистики, полностью обходит идейную и вообще смысловую сторону поэзии.

Хотя в Югославии нет специального периодического издания по вопросам русистики, статьи о русских писателях и о русской литературе печатаются на страницах научных и общественно-литературных изданий. Как отклик на юбилей Гоголя в журнале «Книжевност» в 1951 году появились две статьи о связи сербской литературы с его творчеством: Л. Захарова — о Гоголе и Нушиче (1951, № 2) и П. Митропана — о Гоголе и Глишиче (1951, № 4); автор второй из этих статей известен своей работой о Пушкине в Сербии. В пятом номере того же журнала за 1951 год помещена ценная библиография сербской гоголианы, составленная П. Ивановичем. Русско-сербские литературные связи, кроме того, освещаются в работах Божидара Ковачевича, в частности, в его статье о судьбе произведений Горького в Югославии.<sup>156</sup>

Русско-хорватские литературные связи служат предметом исследования в статье Александра Флакера «Хорватские Базаровы и Неждановы».<sup>157</sup> Автор диссертации о влиянии русской революционно-демократической мысли в Хорватии восьмидесятих годов и участник недавней тургеневской конференции в Орле, А. Флакер является одним из тех молодых научных работников, которые осенью 1956 года в порядке международного культурного сотрудничества прибыли в Москву для повышения своей ква-

лификации в области русистики. «Думаю,—сказал он в Москве,—что уже осуществленный, а в будущем и более широкий обмен научными работниками и студентами будет способствовать укреплению культурного сотрудничества между нашими странами».<sup>156</sup>

\*

В изучении русской классической литературы в славянских странах есть много общего. Научные связи литературоведов этих стран и советских ученых крепнут. Изучение русской классической литературы становится делом широкого коллектива ученых.

Если и раньше советское литературоведение смело могло говорить о мировом значении русской литературы как носительницы идей гуманизма и художественной правды, то теперь с каждым годом увеличивается наше представление о ее мировом резонансе за рубежом. Русская литература предстает перед нами как источник творческого вдохновения литературы славянских стран. В наш научный оборот впервые входит множество ранее не изученных писателей и произведений.

Благодаря многочисленным исследованиям о русско-зарубежных и, в частности, русско-славянских литературных связях закладывается прочный фундамент изучения русской литературы как важной части истории мировой литературы.

Прогрессивные зарубежные литературоведы сознают всю плодотворность изучения русских классиков. А для советских литературоведов ясно, что без изучения зарубежных писателей, которые наиболее полно откликнулись на русскую литературу, невозможно понять по-настоящему силу ее мирового воздействия.

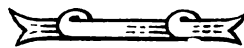
#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: *Život a práce Zdeňka Nejedlého. Katalog vystavy. Praha, 1953,* 40 str.
- 2 Zdeňk Nejedlý. *O literatuře. Praha, 1953,* str. 19.
- 3 Zdeňk Nejedlý. *Boje o nové Rusco. Praha, 1951,* str. 45—62.
- 4 T. G. Masaryk. *Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie. Sociologische Skizzen. Bd. I—II. Jena, 1913.*
- 5 Zdeňk Nejedlý. *O literatuře. Praha, 1953,* str. 20.
- 6 Jiří Horák. *Z dějin literatur slovanských. Praha, 1948.*
- 7 J. Josef Jirásek. *Rusko a my. Druhé vydání, I—IV. Praha—Brno, 1946.*
- 8 J. Štěpánek. *Moskva v českém písmenictví. Praha, 1949.*
- 9 Alois Lang. *«F. M. Dostojevskij». Křížová cesta náboženského myslitele ruského. Praha, 1946.*
- 10 Jindřich Filipец.  *Kapitoly o díle N. G. Černyševského. Praha, 1951.*
- 11 «Rozpravy CSAV», ročník 67, seš. I.
- 12 «Praha-Moskva», 1953, N 10, str. 73—86.
- 13 *Čestí radikální demokraté. Usporádal K. Kosík. Praha, 1953.*
- 14 Julius Heidenreich. *Ruské základy srbského realizmu. Část prvá. Praha, 1933.*
- 15 *Moskva — 800 let města. 1147—1947. Praha, 1947.*
- 16 «Slavia» 1949, sešit 1—2, str. 153—207.
- 17 *Pražská universita Moskovské université. Sborník k výročí 1755—1955. Praha, 1955,* str. 13—51.
- 18 Julius Dolanský, «F. L. Čelakovský», Praha, 1952. В журнале «Славяне» были напечатаны научно-популярные статьи Ю. Доланского «Гоголь и чехословацкая культура» (1952, № 3) и «Пушкин и чешская культура» (1957, № 7).
- 19 «Praha-Moskva», 1953, N 2.
- 20 «Sovětská literatura», 1954, N 5, 1955, № 1.
- 21 «Sovětská literatura», 1955, N 5, str. 587—596.
- 22 *Puškin u nás, 1799—1949. Praha, 1949.*
- 23 *Náš Majakovskij. Praha, 1951.*
- 24 *Náš Gorkij. Praha, 1952.*
- 25 См. также: J. Kadlec. *Maxim Gorkij v Československu. Stránka ze životopisu. Praha, 1951.*
- 26 *Kniha o velkých ruských spisovatelích. Praha, 1954,* str. 1053—1080.
- 27 «Praha-Moskva», 1956, N 11, str. 554—561.
- 28 «Sovětská literatura», 1955, N 5, str. 597—626.
- 29 «Praha-Moskva», 1955, N 11, str. 15—28.
- 30 *Slavica v české řeči. I. České překlady ze slovanských jazyků do r. 1860. Praha, 1857.*
- 31 *Pražská universita Moskovské université. Sborník k výročí 1755—1955. Praha, 1955,* str. 145—163.

- <sup>32</sup> «Časopis pro slovenské jazyky, literaturu a dějiny SSSR», 1956, N 4, str. 580—591.
- <sup>33</sup> Jaroslav Z á v a d a. Uvod do estetiky verše. Praha, 1949.
- <sup>34</sup> Информацию о конференции см.: «Slavia», XXIV, 1955, sešit 2—3, str. 351—367.
- <sup>35</sup> «Česká literatura», 1955, N 4, str. 350—377.
- <sup>36</sup> Miroslav D r o z d a. Boj KSR(b) o sovětskou literaturu a jeho ohlas u nás. Praha, 1955.
- <sup>37</sup> Jan J i š a. Česká poesie dvacátých let a básníci sovětského Ruska. Praha, 1956.
- <sup>38</sup> «Česká literatura», 1957, N 5, str. 65.
- <sup>39</sup> Jan K o l l á r. O literárnej vzájomnosti. Bratislava, 1954.
- <sup>40</sup> Paul Joseph S c h a f f a r i k. Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach alle Mundarten. Ofen, 1826.
- <sup>41</sup> См.: E. P a n o v á. Klasické ruské literatúra na slovensku od oslobodenia. «Sovětská literatura», 1955, N 3—4.
- <sup>42</sup> Rudo B r t á ň. Puškin v slovenskej literatúre. Turčiansky sv. Martin, 1947.
- <sup>43</sup> «Slovenské pohľady», 1956, N 1—2, str. 132—144.
- <sup>44</sup> Andrej M r á z. Zo slovenskej literárnej minulosti. Bratislava, 1953.
- <sup>45</sup> Andrej M r á z. Z ruskej literatúry a jej ohlasov u Slovákov. Bratislava, 1955.
- <sup>46</sup> S. H. V a j a n s k ý. State o svetovej literatúre. Bratislava, 1957.
- <sup>47</sup> J. S t a n i š l a v. Z rusko-slovenských kultúrnych stykov v časoch Jána Holého a Ludovita Štúra. Bratislava, 1957.
- <sup>48</sup> «Slavia», XXVI, 1957, sešit 2, str. 212—224.
- <sup>49</sup> «Slovensko», XVI, 1951, str. 108—114.
- <sup>50</sup> «Slovenské pohľady», 1953, N 9, str. 794—812.
- <sup>51</sup> F. V o t r u b a. Študié. II. Bratislava, 1950, str. 131—134, 139.
- <sup>52</sup> «Sovětská literatura», 1955, N 3—4.
- <sup>53</sup> Там же.
- <sup>54</sup> «Slovenské pohľady», 1955, N 4, str. 415—420.
- <sup>55</sup> Ján B r e z i n a. Hviezdoslavova básnická panychída na smrť Tolstého. Bratislava, 1952.
- <sup>56</sup> «Slovenské pohľady», 1956, N 1—2, str. 132—144.
- <sup>57</sup> A. M a t u š k a. Vavriny nevädnuce. Bratislava, 1954, str. 9—64.
- <sup>58</sup> A. M a t u š k a. Profily. Bratislava, 1946, str. 79—91.
- <sup>59</sup> «Slovenské pohľady», 1947, N 1, str. 1—16.
- <sup>60</sup> «Slovenské pohľady», 1943, N 4, str. 245.
- <sup>61</sup> См.: A. S. P u š k i n. Eugen Onegin. Turčiansky Sv. Martin, 1948, стр. 211—214 (послесловие И. Ференчика).
- <sup>62</sup> Literárno-historický zborník Slovenskej Akadémie Vied a Umeni. Roč., IX, 1952, N 1—2, str. 114—137.
- <sup>63</sup> «Slovenské pohľady», 1952, N 78, str. 579—598.
- <sup>64</sup> Literárno-historický zborník Slovenskej Akadémie Vied a Umeni. Roč. X, 1953, N 1—2.
- <sup>65</sup> Józef T r e t i a k. Mickiewicz i Puszkini. Warszawa, 1906.
- <sup>66</sup> A. B r ü c k n e r. Historia literatury rosyjskiej. Tom I—II. Lwów — Warszawa—Kraków, 1922.
- <sup>67</sup> W. L e d n i c k i. Aleksander Puszkini. Kraków, 1926.
- <sup>68</sup> W. L e d n i c k i. Przyjaciele Moskale. Kraków, 1935.
- <sup>69</sup> W. L e d n i c k i. Quelques aspect du nationalisme et du christianisme chez Tolstoï. (Le variations tolstoïennes a l'égard de la Pologne). Cracovie, 1935.
- <sup>70</sup> B. B i a ł o b ł o c k i. Szkice społeczne i literackie. Warszawa, 1954.
- <sup>71</sup> S. S a n d l e r. U początków marksistowskiej krytyki literackiej w Polsce. Bronisław Białobłocki. Warszawa, 1934.
- <sup>72</sup> J. M a r c h l e w s k i. Listy do Sz. Zeromskiego i Wł. Orkana. Opracował A. Słapa. Kraków, 1953.
- <sup>73</sup> J. Ż o ł k i e w s k i i J. S t r a d e c k i. Rozwój badań literatury polskiej w latach 1944—1954. Warszawa, 1955. Работы, включенные в этот справочник, в данном разделе указываются без точных ссылок на польское издание.
- <sup>74</sup> S. Ż o ł k i e w s k i. Puszkini a my. Warszawa, 1949.
- <sup>75</sup> L. G o m o l i c k i. Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji, 1824—1829. Warszawa, 1949.
- <sup>76</sup> L. G o m o l i c k i. Wielki realista Aleksander Puszkini. Warszawa, 1953.
- <sup>77</sup> См.: Bohdan Galster. Nieudala książka o Puszkynie. «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego», 1954, № 3 (8), стр. 174—181.
- <sup>78</sup> M. T o p o r o w s k i. Puszkini w Polsce. Warszawa, 1950.
- <sup>79</sup> S. Ż o ł k i e w s k i. Spór o Mickiewicza. Wrocław, 1952.
- <sup>80</sup> S. F i s z m a n. Mickiewicz w Rosji. Warszawa, 1949.

- S. Fiszman. Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji. Warszawa, 1956.  
Отзыв на эту книгу см. в рец. М. Полякова «Союз славы и оружия» польской и русской литературы. «Вопросы литературы», 1957, № 1, стр. 230—232.
- <sup>81</sup> L. Podhorski-Okołów. Realia Mickiewiczowskie. Warszawa, 1952.  
<sup>82</sup> «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego», 1956, N 1 (14), str. 53—150.  
<sup>83</sup> Ibidem, 1954, N 3 (8), str. 129—139.  
<sup>84</sup> Ibidem, 1956, N 1 (14), str. 201—226.  
<sup>85</sup> H. Batowski. Mickiewicz jako badacz słowianszczyzny, Wrocław, 1956.  
<sup>86</sup> H. Batowski. Przyjaciele słowianie. Szkice historyczne z życia Mickiewicza. Warszawa, 1957.  
<sup>87</sup> H. Batowski. Mickiewicz a słowianie. «Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie». Dział I, Tom VIII. Zeszyt 1, 1936.  
<sup>88</sup> J. Krzyżanowski. Poezje Mickiewicza w przekładach na język rosyjski. Pamiętnik Literacki, 1948, t. 38, str. 556—562.  
<sup>89</sup> «Przegląd Historyczny», 1950, t. XI, s. 201—232.  
<sup>90</sup> «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego», 1955, N 4 (13), str. 3—74.  
<sup>91</sup> C. Zgorzelski. Lermontow. Warszawa, 1949.  
<sup>92</sup> S. Fiszman, Aleksander Hercen. Warszawa, 1951.  
<sup>93</sup> R. Karst. Lew Tołstoj. Warszawa, 1952.  
<sup>94</sup> N. Modzelewska. Nikołaj Gogol. Warszawa, 1952.  
<sup>95</sup> M. Dambrowska. Mysli o sprawach i ludziach. Warszawa, 1956, str. 42—53.  
<sup>96</sup> «Język rosyjski», 1956, N 2, str. 3—8.  
<sup>97</sup> «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego», 1954, N 3 (8), s. 140—168.  
<sup>98</sup> Ibidem, 1956, N 3—4, str. 3—64.  
<sup>99</sup> Mackiewicz. Dostojewskij. Warszawa, 1957, Рец. «Nowa Kultura», 1957, N 25, 23 июня; «Życie literackie», 1957, N 27, 7 июля.  
<sup>100</sup> «Twórczość», 1956, N 3—4, str. 151—166.  
<sup>101</sup> Ibidem, 1956, N 12, str. 88—120.  
<sup>102</sup> Studia historyczno-literackie pod redakcją Jana Kotta. Tom II. Pozytywizm. Cz. II. Wrocław, 1950, str. 375—396.  
<sup>103</sup> B. В. Воробскій. Сочинения. Том II. 1931, стр. 450—455.  
<sup>104</sup> M. Jakóbiec. Literatura rosyjska wśród polaków w okresie pozytywizmu. «Pozytywizm», cz. I, Wrocław, 1950, str. 259—345.  
<sup>105</sup> «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego», 1954, N 3 (8), str. 55—93.  
<sup>106</sup> Antoni Czechow. Utwory dramatyczne, tt. 1, 2. Warszawa, 1953.  
<sup>107</sup> «Slavia Orientalis». Rocznik VI, 1957, str. 5.  
<sup>108</sup> Ibidem, str. 6.  
<sup>109</sup> «Slavia Orientalis», 1957, str. 270.  
<sup>110</sup> 1905 rok w literaturze polskiej. Opracował S. Klonowski. Warszawa, 1955.  
<sup>111</sup> Историко-литературные работы И. Шишманова в области русской литературы частично затрагиваются в книге Г. Димова «Иван Шишманов литературен историк и критик». София, 1956.  
<sup>112</sup> Б. Пенев. История на новата българска литература. тт. I—IV. София. 1930—1936.  
<sup>113</sup> Г. Бакалов. Избрани произведения. София, 1953.  
<sup>114</sup> «Каторга и ссылка», 1934, № 4, стр. 22—32.  
<sup>115</sup> «Философская мысль», 1948, № 1, стр. 36—58.  
<sup>116</sup> Т. Павлов. «А. С. Пушкин, М. Горки, Вл. Маяковский, Хр. Ботев, Дим. Благоев», София, 1949.  
<sup>117</sup> С. Каракостов. Максим Горки и българската литература. Влияние и връзки. София, 1947.  
<sup>118</sup> См.: Д. Ф. Марков. Горький и болгарская литература. «Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР», № 6, М. 1951, стр. 19—20.  
<sup>119</sup> «Българо-съветска дружба». 1949, № 6, стр. 29—34.  
<sup>120</sup> Там же, 1948, № 7—8, стр. 29—30.  
<sup>121</sup> Там же, 1948, № 1, стр. 25—27.  
<sup>122</sup> «Исторически преглед», 1948, № 1, стр. 95—108.  
<sup>123</sup> В. Велчев. «На дне» в новото осветление. София, 1948.  
<sup>124</sup> «Ученые записки МГУ», выпуск 127. Труды кафедры русской литературы, книга III. М., 1948, стр. 91—126.  
<sup>125</sup> «Язык и литература», 1950, № 4, 285—294.  
<sup>126</sup> Там же, 1953, № 4, стр. 193—203.  
<sup>127</sup> Там же, 1954, № 2, стр. 133—144.  
<sup>128</sup> Там же, 1956, № 2.  
<sup>129</sup> Там же, 1957, № 5, стр. 392—406.  
<sup>130</sup> С. Русакиев. П. О. Славейков и русская литература. София, 1956

- <sup>131</sup> «Известия на Института за българска литература». Книга VI. София, 1958, стр. 187—245.
- <sup>132</sup> «Септември», 1949, № 9, стр. 105—118.
- <sup>133</sup> «Известия на Института за българска литература». Книга първа. София, 1952, стр. 63—79.
- <sup>134</sup> Там же, стр. 81—89.
- <sup>135</sup> «Литературен фронт», 1952, № 9.
- <sup>136</sup> Там же, 1949, № 41.
- <sup>137</sup> «Септември», 1953, № 8, стр. 163—168.
- <sup>138</sup> «Език и литература», 1957, № 2, стр. 107—125.
- <sup>139</sup> Там же, 1957, № 6, стр. 437—552.
- <sup>140</sup> Там же, 1946, № 3—4.
- <sup>141</sup> Т. Боров. Чехов и България. София, 1955.
- <sup>142</sup> «Език и литература», 1956, № 3, стр. 246—250.
- <sup>143</sup> «Известия на Института за българска литература». Книга V. София, 1957, стр. 169—250.
- <sup>144</sup> «Литературен фронт», 1951, № 23.
- <sup>145</sup> «Септември», 1956, № 2, стр. 154—158.
- <sup>146</sup> «Изкуство», 1950, № 3, стр. 165—177.
- <sup>147</sup> «Септември», 1957, № 5, стр. 110—113.
- <sup>148</sup> Традиции Светозара Марковича в позднейшем югославском литературоведении отмечаются в статье А. Слюдняка «Критическая концепция в литературоведении народов Югославии» «Slavistična Revija», 1955, N 1—2, str. 145—163. обстоятельные сведения о развитии изучения русской литературы в Югославии приведены в статье Н. Кравцова «Русско-югославские литературные связи». «Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии». Сборник статей Под ред. С. А. Никитина и Л. Б. Валева. М., 1957, стр. 200—289.
- <sup>149</sup> J. Скерлић Исторја нове српске књижевности. Београд, 1953.
- <sup>150</sup> Rad JAZU, Zagreb, knj. 272, 1948, str. 91—121.
- <sup>151</sup> В. Глигорич. Српски реалисти. Београд, 1954.
- <sup>152</sup> Bibliografija rasprava, članaka i književnosti radova, I. Nauka o književnosti. I—1, Zagreb, 1956, VIII + 854 str.; I—2, Zagreb, 1957, 771 str.
- <sup>153</sup> «Slavia», XVIII, 1947—1948, str. 316—348.
- <sup>154</sup> И. Бадалич. «Власть тьмы» Л. Н. Толстого и хорватская драма начала XX века. «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка». Том XV. Вып. 4 1956. Его же. Максим Горький в литературах народов Югославии. «Славяне», 1957, № 1. Библиографию остальных работ И. Бадалича см.: Enciklopedija Jugoslavija, I, Zagreb, 1955, str. 279.
- <sup>155</sup> Кирил Тарановски. Руски дводелни ритмови. I—II. Београд, 1953.
- <sup>156</sup> «Наша книжевност», 1946, № 6—7.
- <sup>157</sup> «Zbornik Radova filosofskog fakulteta Svečilišta u Zagrebu. Zagreb, s. 99—111.
- <sup>158</sup> «Славяне», 1957, № 6, стр. 37. Надо добавить, что состояние обмена научными изданиями между СССР и Югославией заставляет желать лучшего и вынуждает неполноту данного обзора. Особого внимания заслуживает прогрессивный югославский литературовед Б. Крефт, автор книг «Пушкин и Шекспир» (Любляны, 1952) и «Профили» (Любляны, 1956); во вторую из этих книг входят очерки о русских писателях от Пушкина до Шолохова (стр. 121—378).



## ИЗУЧЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА НЕКРАСОВА

## 1

Сравнительно недавно вопросам художественного мастерства Некрасова уделялось очень немного внимания. Исследовалось мировоззрение поэта, факты его биографии, идейная направленность его творчества и почти не обращалось внимания на художественное своеобразие поэзии Некрасова.

Поэтическое новаторство поэта революционной демократии еще при жизни Некрасова вызывало восторженное признание одних и столь же решительную хулу и неприязнь других его современников. В этом отношении участь Некрасова подобна судьбе Маяковского, революционное новаторство поэзии которого также вызывало долго не смолкавшие споры.

За последние годы изучение поэтического мастерства Некрасова встало на твердый и верный путь. Обширная монография К. И. Чуковского, посвященная вопросам мастерства Некрасова, отдельные статьи и главы в общих исследованиях о творчестве поэта — знаменуют решительный сдвиг в этой области, хотя еще многое и остается сделать.

Не претендуя здесь на подробный обзор появившихся за все эти годы работ о мастерстве Некрасова, о его фольклоризме, о его стиле и стихе, мне представляется более важным наметить те общие проблемы, которые дают возможность, учитывая уже достигнутое, продвинуть дальше изучение художественного мастерства Некрасова.

Некрасов не представлял себе форму художественного произведения как нечто обособленное, самодовлеющее, оторванное от идейного звучания. В своей поэтической декларации «Поэт и гражданин» Некрасов торжественно провозгласил эту неразрывность формы и содержания, эту насыщенность художественной формы идей, неизменно и обязательно выступающей из «формы»:

Будь гражданин! служи искусству,  
Для блага ближнего живи,  
Свой гений подчиняя чувству  
Всеобнимающей Любви,  
И если ты богат дарами,  
Их выставлять не хлопочи:  
В твоем труде заблещут сами  
Их животворные лучи.<sup>1</sup>

Таков был поэтический девиз Некрасова, видевшего в поэзии прежде всего выражение идеи, содержания, которое должно служить воспитанию в народе чувства своего достоинства, ненависти к угнетателям, воспитанию в человеке его лучших духовных качеств. Требование, чтобы «сами» заблестали в поэтическом труде «животворные лучи» поэзии, отнюдь не означало какого-либо пренебрежения к форме, отказа от мастерства. Наоборот, Некрасов был одним из взыскательных мастеров формы, поэтом-новатором, проложившим новые пути поэзии.

Почему же в таком случае на протяжении многих десятилетий Некрасову отказывали в «художественности», считали, что «форма» его произведений слаба, не «поэтична»? Почему критики из лагеря «чистого искусства» на все лады твердили, что «трудно найти стихотворца, который был бы меньше поэт, чем г. Некрасов», как писал Б. Н. Алмазов,<sup>2</sup> что «Некрасов решительно не художник», как писал С. С. Дудышкин,<sup>3</sup> что стихи Некрасова — чистойшей проза?

<sup>1</sup> Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. 2. Гослитиздат, М., 1948, стр. 11. В дальнейшем цитируется по этому изданию (тт. I—XII, 1948—1953).

<sup>2</sup> «Москвитянин», 1852, т. V, № 17, отд. VIII, стр. 19.

<sup>3</sup> «Отечественные записки», 1861, т. 139, № 12, отд. III, стр. 87.

Это объясняется неприемлемостью для сторонников «чистого искусства» поэзии Некрасова в целом, ее народности, ее политического революционного звучания, ее подлинного и глубокого реализма. Всем этим Алмазовым, Дудышкиным и прочим казалось, что Некрасов разрушает те поэтические ценности и принципы, которые унаследованы были русской поэзией от Пушкина и Лермонтова, отказывается от «художественности» во имя революционной агитации, во имя изображения жизни во всей ее неприукрашенной правде.

Некрасов выступил с «новым словом» в поэзии, он явился певцом народа, писателем — революционером и демократом, который утверждал новые принципы поэзии, ее демократизм, ее близость к народу, ее реалистическую правдивость. Тем самым менялось и понимание формы, художественного метода. Некрасов ясно сознавал своеобразие, художественное новаторство своей поэзии, хотя под влиянием критики склонен был и сам считать свой стих «суровым» и «неуклюжим»:

Нет в тебе поэзии свободной,  
Мой суровый, неуклюжий стих,  
(1, 107)

— писал он. В то же время поэт видел, что в этом якобы «неуклюжем» стихе «кипит» «живая кровь», «торжествует мстительное чувство» (I, 107), т. е. он полон идейного накала, наиболее полно выражает мнение поэта. Еще Чернышевский, возражая Некрасову на это определение своего стиха как «сурового» и «неуклюжего», писал ему: «... с этим не согласен. Свобода поэзии не в том, чтобы писать именно пустяки... а в том, чтобы не стесняясь своего дарования произвольными претензиями и писать о том, к чему лежит душа». Чернышевский возражал и против определения Некрасовым своего стиха как «неуклюжего»: «Тяжестью часто кажется энергия, поэтому говорят, что стих Лермонтова тяжелее стиха Пушкина, что решительно несправедливо... То же скажу я и о вас».<sup>4</sup>

В изучении художественного мастерства Некрасова в прошлом можно отметить несколько этапов. Для дореволюционного литературоведения характерно было почти полное игнорирование этого вопроса, пренебрежение художественным анализом поэзии Некрасова, что сказалось даже в суждениях Плеханова, считавшего, что «поэтический талант Некрасова... недостаточно силен», «недостаточно пластичен», что «стихотворения Некрасова очень часто не удовлетворяют художественным требованиям».<sup>5</sup>

Буржуазное литературоведение тем более склонно было преуменьшать значение поэзии Некрасова и даже отказывало ему в праве на звание поэта-художника. Исключением является лишь работа критика С. А. Андреевского, который хотя и враждебно оценил творчество поэта, но вынужден был все же признать его художественную оригинальность. «Нередко впадая в грубые диссонансы, не особенно чуткий к поэтическим тонкостям,— писал Андреевский,— Некрасов, однако, благодаря своей необычайной даровитости, открыл для русской поэзии новые звуки, новые оригинальные формы».<sup>6</sup>

Подлинно новым этапом в изучении художественного мастерства Некрасова явилось советское литературоведение. Уже в 1921 году А. В. Луначарский решительно выступил против недооценки художественной стороны творчества Некрасова. «То, что сам Некрасов принимал за неуклюжесть своего стиха,— писал он в 1921 году,— было поистине только его суровость. Неуклюж он потому, что тема его неуклюжа, потому, что он искренен, неуклюж потому, что мощен».<sup>7</sup> В ряде работ о поэтике Некрасова, появившихся в 20-е годы (Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов), нередко отрывалось изучение формы от идейного содержания творчества Некрасова. Наблюдения над стиховыми размерами у Некрасова, над «прозаичностью» его стиховой манеры, над пародийным использованием предшествующей традиции представляют несомненный интерес.<sup>8</sup> Однако эти исследователи создали теорию, которая сохранила свое влияние и в последующее время, сводившую особенности художественного метода Некрасова к «отталкиванию» от старых форм, к «снижению» классической традиции русской поэзии. Конечно, объяснять особенности художественного метода Некрасова, своеобразие его эстетики «отталкиванием» от классических канонов или их прямым пародированием было явно ошибочно. Эстетические взгляды Некрасова, его художественные принципы вовсе не основаны на разрушении классической традиции, на борьбе с дости-

<sup>4</sup> Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, М., 1949, стр. 314, 315.

<sup>5</sup> Г. В. Плеханов. Сочинения, т. X, изд. 2-е, 1925, стр. 378.

<sup>6</sup> С. А. Андреевский. Литературные очерки, изд. 4-е. СПб., 1913, стр. 149.

<sup>7</sup> А. В. Луначарский. Н. А. Некрасов. «Статьи о литературе». Гослитиздат, М., 1957, стр. 257.

<sup>8</sup> См.: Б. Эйхенбаум. Некрасов. «Начала», 1922, № 2, стр. 158—192; вошло в его книгу: Сквозь литературу, изд. «Academia», Л., 1924, стр. 233—279; Юр. Тынянов. Стиховые формы Некрасова. «Летопись Дома литераторов», 1921, № 4, стр. 3—4; вошло в его книгу: Арханглы и новаторы, изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 399—411.



жениями поэзии Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Некрасов не противопоставлял поэзии «прозу» и тем более не «снижал» ее до уровня деловой прозы, публицистики. Вся эстетическая система Некрасова была поэтической, художественной и в то же время реалистической. Но реализм Некрасова имел свои особые специфические черты, отличавшие его стихи от поэзии предшественников. Некрасов был поэтом революционной демократии, поэтом, стоявшим на позициях революционного крестьянства, на первом месте у него находились интересы народа. Его восприятие мира, его отношение к действительности определялись этой идейной позицией. Некрасов отнюдь не «снижал» поэзию, а, наоборот, «возвышал» те стороны, те явления жизни, которые до того не рассматривались как достойные поэзии, он выступал как певец народа, его горестей и радостей, видя поэтическое начало в правдивом изображении народной жизни. В то же время Некрасов решительно отбрасывал все внешнее, показное, приукрашивающее действительность.

«Прекрасное есть жизнь», — учил Чернышевский. Это основное положение эстетики революционных демократов с особенной полнотой сказалось в творчестве Некрасова.

Эстетическую ценность приобретает в его поэзии пафос революционной борьбы. Этим определяется и самый характер и стиль поэзии Некрасова, в которой «иерархия» понятий и слов не отрывается от жизни, а приобретает необычайную конкретность, реальность, связанную с реальной повседневной действительностью в ее социальных противоречиях. Некрасов отказывается от традиционной поэтической символики, от абстрактно «возвышенного» во имя обращения к исторической и социальной конкретности. Его «муза» предстает не в ее классической традиционности. («Она гармонии волшебной не учила»), а как «неласковая» «спутница печальных бедняков», как «муза мести и печали». Но в этом жизненно-социальном, народном понимании своей «музы» Некрасов не менее поэтичен и «высок», чем поэты классической традиции.

Показывая жизнь народа, русскую природу, борьбу народа за свое освобождение от пут феодально-крепостнического, а затем и буржуазно-дворянского строя, — Некрасов утверждал в поэзии яркий и «возвышенный» положительный идеал, и это придавало немеркнущую красоту его художественным образам. Ни у одного из дореволюционных русских поэтов мы не найдем такого большого количества образов положительных героев и прежде всего людей из народа, как у Некрасова. Поэтому не может быть и речи о каком-то «снижении» поэзии, о ее «прозаизации», об отказе поэта от прекрасного, от красоты, от поэтического мастерства. Об этом следует тем более напомнить, что подобные взгляды, хотя и в завуалированной форме, нередко можно встретить и в более поздних работах, посвященных мастерству и поэтике Некрасова.

Советское литературоведение за четыре десятилетия изучения творчества Некрасова добилось существенных достижений в этой области. Именно в советском литературоведении было опровергнуто несправедливое и предвзятое мнение буржуазной критики о том, что Некрасов не художник, публицист в стихах, что его поэзия лишена эстетического значения. Работы советских литературоведов убедительно показали высокую художественность поэзии Некрасова, своеобразие его творческого метода, его художественных принципов. В особенности широко были освещены фольклорные основы и связи поэтики Некрасова, немало работ посвящено вопросам стиля, языка, жанра.

## 2

Появление работ обобщающего, синтезирующего характера и прежде всего исследования К. И. Чуковского «Мастерство Некрасова» (изд. 1-е, 1952; изд. 2-е, 1955) положило начало этапу углубленного изучения художественного мастерства и стиля Некрасова.

К. И. Чуковский во многом по-новому подошел к проблеме мастерства Некрасова, не отрывая его от идейного содержания поэзии. Исследователь убедительно показал тесную связь творчества Некрасова с его непосредственными предшественниками — Пушкиным и Гоголем. Но, что имеет еще большее значение, он на необычайно конкретном, филигранном анализе художественных особенностей стихов поэта раскрыл мастерство, многообразие и тонкость поэтических средств поэта-реалиста. Ярко и убедительно показано в книге К. Чуковского, что художественное мастерство Некрасова — это мастерство художника-реалиста, результат пользования реалистическим методом. Фактически, говоря о мастерстве поэта, Чуковский говорит о реализме Некрасова, хотя не всегда обобщая свои наблюдения в этом плане.

Книга К. И. Чуковского вызвала появление ряда работ советских литературоведов о мастерстве писателей-классиков (Пушкине, Крылове, Маяковском и др.). Однако изучение художественного метода писателя не может быть ограничено лишь вопросами мастерства. Да и самая тема «мастерства», совершенно законная и плодотворная, всё же во многом имеет другие задачи, чем изучение художественного метода. Изучение мастерства писателя предусматривает прежде всего оценку его достижений, рассмотрение применяемых им художественных средств в плане их эстетического воздействия.

Тогда как при изучении художественного метода писателя кладется в основу анализ всех компонентов художественной формы его произведений в их единстве с идейным содержанием, в плане разрешения вопроса о своеобразии его реализма (или романтизма), историко-литературного освещения проблем художественного своеобразия. И хотя в разрешении вопросов «мастерства» и художественного метода есть много общего, и в частности исследователи пользуются одним и тем же материалом, в методологии и конечной цели изучения имеется существенное различие. Не отступая от изучения «секретов» художественного мастерства, совершенства поэзии Некрасова, следует расширить границы этого изучения постановкой вопроса о своеобразии художественного метода поэта, его реализма.

Автор монографии о мастерстве поэта не ставил перед собой задачи рассмотрения художественного метода Некрасова в целом, не задавался целью систематического изучения поэтики Некрасова, таких сторон его творчества, как вопросы типизации, жанров, композиции, принципов образного раскрытия темы. Вернее, в его книге есть наблюдения и по этим вопросам, но это отдельные наблюдения, повернутые в сторону рассмотрения мастерства поэта.

Пути, проложенные К. И. Чуковским в изучении художественного метода и стиля творчества Некрасова, должны привести к рассмотрению своеобразия реализма поэта, его творческого метода в целом.

Особо следует упомянуть высказывания о мастерстве Некрасова наших советских поэтов. Так, Исаковский в статье «О „секрете“ поэзии» приводит в качестве примера поэтического обобщения простого жизненного факта стихотворение Некрасова «Несжатая полоса», показывая, как Некрасов осветил этот факт, «заново открыл его для поэзии».<sup>9</sup> Большой интерес представляют и «Заметки о мастерстве» С. Я. Маршака, в которых содержится ряд ценных наблюдений о мастерстве Некрасова. Сравнивая «Железную дорогу» Некрасова со стихами Фета, посвященными аналогичной теме, Маршак указывает на превосходство сурового реализма Некрасова над внешней красотой фетовских стихов. Маршак считает, что Некрасов после Пушкина и Лермонтова создал «свой собственный стих», который только у него «обретает силу, жизненность, предельную выразительность, т. е. те свойства стиха, которые позволяют поэту брать на себя разнообразные и ответственные задачи наравне с великими мастерами прозы».<sup>10</sup> Очень интересны указания Маршака на богатство и разнообразие речевых интонаций в стихах Некрасова, передающих даже «тембр» голосов. При всей фрагментарности таких высказываний они ценны конкретностью и точностью своих наблюдений.

Вслед за монографией Чуковского появился ряд статей, посвященных различным сторонам поэтики Некрасова, ее связи с фольклором, анализу отдельных сторон художественной формы его произведений. Скупые, совершенные по мастерству изложения статьи Б. Бухштаба удачно сочетают историко-литературный анализ с изяществом изложения. Необходимо выделить его статьи «К истории стихотворения Н. А. Некрасова „Катерина“» и «Начальный период сатирической поэзии Некрасова», в которых рассеяно много стилистических наблюдений, органически связанных с рассмотрением общих проблем мировоззрения и эстетики Некрасова.

Среди работ, посвященных мастерству Некрасова, необходимо назвать статьи А. М. Еголина «Принципы типизации в поэзии Н. А. Некрасова»,<sup>11</sup> И. Ю. Твердохлебова «Художественное своеобразие поэмы Н. А. Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“»,<sup>12</sup> С. А. Червяковского «К проблематике жанров поэзии Некрасова»,<sup>13</sup> И. М. Колесницкой «Художественные особенности поэмы Н. А. Некрасова „Коробейники“»,<sup>14</sup> и др.

Следует отметить и монографические исследования об отдельных произведениях Некрасова — названная работа И. Ю. Твердохлебова о «Кому на Руси жить хорошо», А. М. Гаркави о поэме «Саша», Т. С. Колосовой о поэме «Мороз, Красный нос», Н. В. Осьмакова о «Дедушке», И. А. Битюговой о «Княгине Трубецкой», помещенные (за исключением первой) во втором «Некрасовском сборнике», вышедшем в 1956 году. Эти монографические работы свидетельствуют о плодотворности исследования «формы» и «содержания» произведений поэта в их органическом единстве. Их появление само по себе знаменательно, означает усиление интереса к вопросам поэтики, художествен-

<sup>9</sup> М. Исаковский. О поэтическом мастерстве. Изд. «Советский писатель», М., 1952, стр. 34.

<sup>10</sup> «Новый мир», 1950, № 12, стр. 201.

<sup>11</sup> Некрасовский сборник, т. II, Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 369—393.

<sup>12</sup> «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», 1953, т. XII, вып. 1, стр. 3—16; то же в книге: И. Ю. Твердохлебов. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Изд. АН СССР, М., 1954.

<sup>13</sup> «Ученые записки Горьковского государственного педагогического института имени М. Горького», т. XIV, Труды факультета языка и литературы, 1950, стр. 66—100.

<sup>14</sup> «Вестник Ленинградского университета», 1954, № 3, Серия общественных наук, вып. 1, стр. 131—156.

ной формы творчества Некрасова. Однако подобных работ всё еще мало, они во многом случайны, касаются лишь отдельных сторон творчества Некрасова, отнюдь не решая вопроса о творческом методе поэта, о реализме его поэзии в целом.

В работе А. М. Еголина «Принципы типизации в поэзии Н. А. Некрасова» поднят один из важных вопросов творческого метода Некрасова — вопрос о принципах типизации. Автор работы указывает на различные принципы художественной типизации, в частности разграничивая писателей, типизирующих «социально-психологическую сторону изображаемых характеров» (Л. Толстой), и писателей, которые в своем наблюдении и обобщении действительности обращаются прежде всего к «социальной и социально-политической жизни». «При этом методе типизации,— отмечает Еголин,— особенно сильно подчеркивается роль обстоятельств, акцент делается на общественном поведении героя».<sup>15</sup> Хотя это разграничение несколько схематично, но оно указывает на специфические тенденции типизации у Некрасова, сближающие его с такими писателями революционно-демократического лагеря, как Салтыков-Щедрин, Гл. Успенский. Это, между прочим, особенно заметно в сатирических образах Некрасова, в таких его поэмах, как «Современники» и «Кому на Руси жить хорошо», в которых он пользуется средствами сатирического преувеличения, заостряющими типические образы. Следует отметить и указание Еголина на то, что в ряде своих произведений Некрасов создал положительные образы народных заступников, людей из народа, зорко увидев новое, еще нарождавшееся в жизни.

Вопросы мастерства Некрасова исследуют авторы отдельных статей, посвященных вопросам поэтики Некрасова. С. А. Червяковский в статье «К проблематике жанров поэзии Некрасова» пытается определить основные жанры поэта, показать новаторство Некрасова в этой области. Стихотворная новелла, сатирический фельетон, песня, ода-элегия, героическая поэма и т. д.— вот жанры, которые называются Червяковским. Думается, однако, что не следует располагать произведения Некрасова по узким полочкам «жанров». Если жанровая четкость характерна для поэзии XVIII и начала XIX века, то ко времени Некрасова традиционные стиховые жанры уже утратили эту определенность. Некрасов был подлинным новатором в этом отношении, создавая произведения, никак не укладывающиеся в рамки традиционных жанров. В них сочетались и песенное начало, и публицистика, и элегия, и грозная инвектива. Правильно отмечает автор статьи, что у Некрасова даже романс приобретает политическое звучание. Но в то же время у Некрасова его жанровые деления чрезвычайно широки, разнообразны, не совпадают с отжившими нормами классической поэтики. Жанры его поэзии зачастую возникают на основе прозаических жанров — романа («Саша»), физиологического очерка («Извозчик», «О погоде»), психологической повести («Рыцарь на час»), на основе народной песни и народного эпоса («Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо»), исторических записок и мемуаров («Русские женщины»). На это исследователем почему-то не обращено должного внимания. Кроме того, жанровое своеобразие поэзии Некрасова должно рассматриваться неотрывно от темы, материала, авторского задания. Червяковский отмечает (о чем упоминали и другие исследователи Некрасова) сюжетность стихотворений Некрасова, даже готов видеть в таких стихотворениях, как «Орина, мать солдатская», «психологическую новеллу», к ней он относит и главу «Демущка». Это явное преувеличение. Да и говоря о «сюжетности» стихов Некрасова, не следует забывать, что это стихи, в которых сюжет развивается иначе, чем в прозе, несмотря на известное сходство и близость в ряде случаев стихотворений Некрасова к прозаическим жанрам.

Достаточно подробно разработаны вопросы стиля Некрасова, особенности связей его творчества с фольклором. Работы Ю. М. Соколова, Н. П. Андреева, Г. В. Денисевич, В. Т. Плахотишиной, И. В. Шаморикова и многих других, не говоря уже об исследовании Чуковского в книге «Мастерство Некрасова», дают богатый материал для изучения связей поэзии Некрасова с народным творчеством, показывают общность художественного метода поэта с поэзией народа.

Однако изучением фольклорных связей поэзии Некрасова отнюдь не исчерпывается и не покрывается вопрос о народности поэта. О народности Некрасова без конца говорилось и говорится, но в общей форме это утверждение при всей своей бесспорности стало уже своего рода заклинанием. Следует наполнить это понятие конкретным историческим содержанием, ибо народен и Пушкин, народен и Крылов, но все они народны во многом по-разному, и народность творчества Некрасова отличается от народности и Пушкина и Крылова.

Уже Гоголь указывал, что народность писателя заключается не в «описании сарафана», а в «самом духе народа». Белинский признавал народность «необходимым условием истинного художественного произведения»<sup>16</sup> Основным свойством народности Белинский считал правдивое изображение жизни: «Жизнь всякого народа проявляется

<sup>15</sup> Некрасовский сборник, т. II, стр. 374.

<sup>16</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 295.

в своих, ей одной свойственных, формах, следовательно, если изображение жизни *верно*, то и *народно*. Таким образом, народность неразрывно связана с реализмом художественного метода писателя. Его связь с народом, общность его точки зрения на жизнь с народными массами, выражение им народных мнений и чаяний предполагают правдивое изображение жизни, раскрывающее истинное положение вещей.

Однако самый характер народности, степень ее различны в зависимости от различия мировоззрения писателя. Белинский, наряду со всеобъемлющей народностью Пушкина, указывает на народность Крылова, ограниченную чисто практической стороной народного мирозерцания. Но различна не только степень народности, но и исторический характер народности, ее идейное содержание. Народность по-разному проявляется у писателей, поскольку каждый из них по-своему выражает народную точку зрения, по-разному связана с общественной позицией и взглядами самого художника. Для того чтобы определить народность данного писателя в ее конкретности, необходимо рассмотреть своеобразие его мировоззрения, его понимания народа, его путь к правдному изображению народной жизни.

Проблема народности литературы в условиях конца 50—60-х годов приобрела во многом иной характер, чем во время Пушкина и Гоголя. Так, в программной статье Добролюбова «О степени участия народности в развитии русской литературы» уже прямо выдвинуто было требование народности как выражения интересов народа. «Мы действуем и пишем, за немногими исключениями, в интересах кружка,— отмечал Добролюбов,— более или менее незначительного; оттого обыкновенно взгляд наш узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер парциальности. Если и трактуются предметы, прямо касающиеся народа и для него интересные, то трактуются опять не с общесправедливой, не с человеческой, не с народной точки зрения, а непременно в видах частных интересов той или другой партии, того или другого класса». И Добролюбов призывал к выражению взглядов самого народа, «партии народа».<sup>17</sup>

Таким образом, народность Некрасова, выразившего стремления самого народа, была и шире и идейно целеустремленнее, революционно насыщеннее народности его предшественников. Этот подлинно народный характер творчества поэта был отмечен и его современниками. Так, критик демократического лагеря В. А. Зайцев писал: «Я не хочу также повторять эстетических нелепостей, говоря, будто бы поэзия г. Некрасова вытекла из народа. Народным поэтом я назвал бы г. Некрасова потому, что герой его песней один — русский крестьянин. Но он говорит о нем, конечно, как человек развитой, как говорил Добролюбов, он не „поет“ его, а думает о нем, о его бедах и горе, не ограничивается объективным изображением страдания, но мыслит о нем мысли свои, глубокие и светлые, передает в прекрасных свободных стихах, в которые без натяжек укладывается народная речь и которые чужды поэтических метафор и аллегорий».<sup>18</sup> Это определение народности поэзии Некрасова весьма существенно, так как в нем содержится и конкретизация идейной позиции автора и указывается органическое единство формы и содержания его стихов.

Своеобразие народности творчества Некрасова определяется тем, что он являлся поэтом, который не только увидел и запечатлел тяжелый гнет и безмерное порабощение народа господствующими классами, но и призывал к свержению как крепостнических, так и всех иных «цепей», сковывавших крестьянские массы. Выступая на защиту порабощенных народных масс, Некрасов создавал героические и вместе с тем реалистически типичные образы народных заступников, образ не смирившегося бунтаря-крестьянина Савелия — «богатыря святорусского». В поэме «Кому на Руси жить хорошо» он с глубоким пониманием социально-исторических причин показал пути, стоявшие перед русским крестьянином. Всё это придавало народности Некрасова осознанный, революционно-действенный характер, отличало его от писателей, хотя и стносившихся с глубоким сочувствием к народу, но не видевших выхода из его безрадостного положения. Тем самым народность Некрасова приобретала активный, протестующий характер, что сказалось и на особенностях его творческого метода и стиля. Некрасов изображает жизнь народа в ее конкретно-исторических условиях, без прикрас и смягчения темных сторон быта и психологии крестьянина. Но в то же время поэт показывает, как постепенно прояснялось классовое сознание крестьянина, как он пробуждается для активной борьбы, раскрывает основной конфликт эпохи: столкновение интересов крестьянских масс с помещичье-бюрократическим государством.

Но понимая так народность Некрасова, не следует забывать о колебаниях поэта. о его «личной слабости» и нотках либерализма, на что указывал Ленин. Некрасов тяжело переживал свою разобщенность с народом, в его народности были отдельные слабые стороны, налагавшие печать на его творчество, обусловившие те покаянные мотивы, те моменты уныния, которые следует не замалчивать, а исторически объяснить.

<sup>17</sup> Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. I, Гослитиздат, М.—Л., 1934, стр. 211.

<sup>18</sup> В. А. Зайцев. Избранные сочинения, т. I, М., 1934, стр. 260.

Такое понимание народности поэзии Некрасова поможет раскрыть и особенности его творческих принципов. Народность художественного метода и стиля писателя далеко не ограничивается обращением к фольклору, включением сюжетов, композиционных принципов, ритмов и образов, восходящих к народным песням и сказкам. Народность художественных принципов Некрасова сказывалась и в ясности, простоте, классической доступности его стихов. Некрасов не усложняет своих произведений внешними эффектами, его стих точен и прост. Но простота некрасовского стиха, подобно «простоте» стихов Пушкина, никогда не является упрощением, «подлаживанием» под уровень массового читателя, снижением поэтического качества. Вот эту сторону народности художественного метода Некрасова еще, по правде сказать, не пытались раскрыть наши исследователи.

С какой скупой простотой словесных красок начинается, например, первая часть поэмы «Мороз, Красный нос»

Савраска увяз в половине сугроба —  
 Две пары промерзлых лаптей  
 Да угол рогожей покрытого гроба  
 Торчат из-забогн дровней

(II 167)

Здесь все точно, все на месте, все предельно просто и естественно, вырастает суровая типическая картина крестьянской нищеты, зимнего холода, подавленного, сдержанного безнадежного горя. Так и во всей поэме (и в других произведениях Некрасова) — ничего не приукрашено, все дано в своей беспощадной правде. Но вместе с тем это не натуралистические зарисовки, не фотографии, каждая подробность, каждый образ у Некрасова приобретает типическое, обобщающее наполнение.

Советское литературоведение преодолело первоначальный этап накопления фактов, рассмотрение связей Некрасова с фольклором в плане установления механических параллелей между произведениями поэта и сборниками народных песен. Уже в работах покойного фольклориста Н. П. Андреева был намечен правильный путь к решению этих вопросов. Он справедливо видел задачу исследования фольклорных связей Некрасова не в том, чтобы определить самый факт и степень следования Некрасова за фольклором, а в том, чтобы отметить создание произведений, близких крестьянскому сознанию, наполненных революционным содержанием.

Обширные разыскания К. И. Чуковского, суммированные в главе «Работа над фольклором» его книги о мастере Некрасова, направлены к тому, чтобы показать основные принципы работы поэта над фольклорными источниками, сводившиеся к самостоятельной переработке фольклорного материала как в идейном направлении, так и в плане художественного отбора и осмысления. Некрасов отбрасывал в фольклорных источниках те мотивы, в которых сказалось подражание действительности, нарочитая архаизация, идеализация патриархальной старины, чрезмерность идиоматических и диалектных выражений и т. д.

Одной из важнейших проблем изучения «фольклоризма» Некрасова, к которой исследователи только сейчас подходят, является проблема построения художественного образа на основе фольклорных источников, изучение принципов типизации, восходящих к народному творчеству, изучение песенных ритмов и интонаций в ритмической системе Некрасова, анализ словесных характеристик героев, идущих от фольклорных источников, анализ юмора Некрасова в его связях с комическим в народном творчестве, речевой структуры стихов поэта (глаголичности, роли народных выражений, метких слов, эпитетов, сравнений и т. д. — их функции в поэтическом языке Некрасова). Все эти вопросы еще не нашли должного отражения в работах о связи поэзии Некрасова с народным творчеством.

Остановлюсь лишь на одном примере этой сложности и многогранности обращения Некрасова к фольклору, на его великолепной поэме «Мороз, Красный нос». Мотивы известной народной сказки («Морозко») здесь служат как бы сюжетным и в то же время лирическим обрамлением для типического, сурового в своей жизненной правде сюжета. Точно так же и стиль поэмы Некрасова основан на народном творчестве, на народной сказке, песне, языке фольклорных произведений. Но Некрасов не механически переносит эти «приемы» народного творчества в свою поэму, не копирует их, а включает в своеобразную цельную художественную композицию, в которой фольклорные элементы подчинены общему идейному замыслу, общей архитектонике поэмы. Подлинный реализм и типичность образов некрасовской поэмы отнюдь не противоречат элементам фольклорной фантастики, включенным в поэму. Наоборот, эти сказочные мотивы и краски лишь сильнее подчеркивают жизненную правду и народность поэмы, ее обобщающий замысел, типичность ее образов. Крестьянская жизнь показана не только в своей неприкрашенной правдивости, но и в поэтической обобщенности, в могучей красоте крестьянского труда, в духовном благородстве героев поэмы. Высокий поэтический пафос поэмы, ее идейное звучание, утверждение в ней душевной красоты

и трудового подвига русской крестьянки достигнуто включением в поэму народной фольклорной поэтической стихии, сферы ее образов, мотивов, эпитетов, ритмико-синтаксических повторений и т. д. и т. п. Возьмем знаменитую песню Воеводы-Мороза:

«Вглядись, молодлица, смелее,  
 Каков воевода Мороз!  
 Навряд тебе парня сильнее  
 И краше видать привелось?  
 Метели, снега и туманы  
 Покорны морозу всегда,  
 Пойду на мря-окияны —  
 Построю дворцы изо льда.  
 Задумаю — реки большие  
 Надолго упрячу под гнет,  
 Построю мосты ледяные,  
 Каких не построят народ...»

(II, 193)

В этих стихах не копирование народной песни, не стилизация. В них все черты, присущие народному творчеству: мощь и широта размаха, типическая обобщенность образа, проникновенное чувство природы, именно русской природы, ее здорового, жизнеутверждающего начала, родственного душе русского человека. Великолепие эпических красок народной поэзии подчеркнуто сказочно-поэтической образностью и фразеологией («моря-окияны»). Некрасов создает свои образы и метафоры по образцу народных, однако не повторяет их («дворцы изо льда», «мосты ледяные»). Он пользуется ритмико-синтаксическим параллелизмом, идущим от народных песен, но самый ритм его стихов кованный, мужественный; экономность образов, точность формулировок — всё это уже от Некрасова, от его понимания фольклора, от тех стилистических задач, которые, как поэт, он здесь себе поставил.

В художественном целом поэмы органически сливаются фольклорно-сказочные и песенные мотивы и краски и правдивое, реалистическое изображение крестьянской жизни. Фольклор помогает поэту создать обобщенные, типические образы, исполненные внутреннего свечения, передающие духовную красоту русского национального характера, отнюдь не приземленные и искаженно-отвратительные в своей звериности, как например изображали народ натуралисты («Земля» Золя).

Я не касаюсь здесь всей сложности использования фольклора в этой поэме, в ее языковой ткани. Важно указать на глубокое внутреннее единство и взаимодействие всех ее элементов, на подчиненность их общему идейному замыслу как на задачу, которая стоит перед исследователями фольклоризма Некрасова. Здесь и тесная связь этих вопросов с изучением поэтического языка Некрасова, которое также неотделимо от вопросов фольклорности.

### 3

Особо важной задачей является изучение поэтического языка и стиля Некрасова на основе широкого филологического анализа. К этому, в сущности, исследователи обращались неоднократно. Ряд работ, посвященных языку Некрасова, в какой-то мере дает уже материал для дальнейших наблюдений и выводов. Статьи Г. В. Денисевич, С. А. Копорского, В. Плахотишиной, Г. А. Бесединой и др.<sup>19</sup> содержат много верных наблюдений, большой и разнобразный материал. Исследователи правильно отмечают, что Некрасов неизменно боролся против условности поэтического языка, стремился придать слову конкретность и точную смысловую направленность. Это справедливо, но этого недостаточно для исследования художественных принципов Некрасова, его реалистического художественного метода, как он осуществлен в словесной организации произведений поэта. Авторы статей о языке Некрасова чаще всего обращаются к изучению словарного состава, педантически классифицируя крестьянские слова и обороты, диалектизмы, «просторечие», жаргонизмы, влияние мещанских городских говоров и т. д. Получается своего рода языковая «диалектная» карта словарного состава поэтического языка Некрасова, ценная для дальнейших исследований, но сама по себе статичная.

<sup>19</sup> Г. В. Денисевич. Народность языка Некрасова. «Ученые записки Курского государственного педагогического института», вып. 1, 1941, стр. 68—109; С. А. Копорский. Диалектизм в поэтическом языке Н. А. Некрасова. «Ученые записки Калининского государственного педагогического института им. Калинина», т. XV, вып. 1, 1947, стр. 275—319; В. Т. Плахотишина. Поэтический язык поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». «Научные записки Днепропетровского гос. университета», т. XXXV, Сборник работ филологического факультета, вып. 4, 1949, стр. 47—72; Т. А. Беседина. Народные пословицы и загадки в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». «Ученые записки Вологодского государственного педагогического института», т. XII, 1953, стр. 101—124.

Отмечая «вульгаризмы» Некрасова, употребление слов с ласкательными или уничижительными суффиксами, слов и форм разговорной речи, исследователи лишь описывают огромное разнообразие языковых форм и оттенков.

Этот подготовительный период собирания материала, выявления различных лексических слов, эпитетов, сравнений, параллелизмов и т. д. в основном уже завершается. Накопленный материал необходимо осмыслить, поставить его в связь со всей идейной и художественной архитектурой произведения. Именно органическое единство формы и содержания определяет свойства и функции всех элементов художественного произведения. Работы академика В. В. Виноградова о языке и стиле Пушкина, Гоголя, Крылова и других писателей-классиков наметили путь к такого рода изучению языка и стиля писателей, в его художественной функции. Такой анализ литературного языка и стиля писателя позволяет раскрыть художественную специфику произведения, его конкретную идейную направленность, своеобразие его стиля. Этот анализ должен иметь исторический характер, будучи основан на изучении литературного языка и стиля Некрасова по отношению к сложившемуся до него литературному языку и языку художественных произведений реалистического стиля середины XIX века. Некрасов широко включил в поэзию прозаические конструкции, разговорно-бытовую речь, языковые формы народной поэзии, лексику и фразеологию живой народно-разговорной речи, решительно раскрыв и преобразовав сложившиеся к тому времени нормы литературно-поэтической речи. Реализм художественного метода Некрасова сказался в реализме его словесного выражения, в реалистическом отношении к слову, точно и конкретно обозначающему предметный, вещественный мир поэзии Некрасова. Некрасов обогатил язык русской художественной литературы новыми приемами стилистического использования народной речи, народной поэзии, новыми способами выражения жизненного содержания своей поэзии, взятыми из арсенала прозы. Выступая противником условно-поэтической, книжной речи, Некрасов широко включил в свои стихи самые разнообразные формы устного языка, народного просторечия, видя одну из основных задач в сближении языка художественной литературы с живой и меткой разговорной речью народа, с поэтической многокрасочностью народной поэзии. Анализ этих разнообразных речевых форм, их роли в единстве художественного произведения, изучение диалектики соотношения авторского голоса с голосами его героев, внутренней структуры словесного построения отдельного произведения как выражения целостного смысла, мировоззрения писателя — таковы задачи, стоящие перед исследователями языка и стиля Некрасова.

В поэзии Некрасова дано необычайно широкое сочетание самых разнообразных речевых форм, стилей, структур. Роль и значение их в системе творчества поэта еще не выяснена, а подчас даже и не описаны формы монологической речи, структуры диалога, контрастного сочетания комически «сниженных», разговорно-бытовых форм, языка публицистики и высокой ораторской речи, форм народно-поэтического языка. нередко объединяемых в одном и том же художественном произведении. Необходимо раскрыть связь и взаимодействие между речевой структурой произведения и реалистическим методом писателя. Словесная структура, речевое построение таких поэм, как «Мороз, Красный нос» или «Кому на Руси жить хорошо», принципиально отличны от сатирико-публицистической поэмы «Современники», а историко-героическая поэма «Русские женщины» опять-таки написана в совершенно другом словесном, стилистическом «ключе».

Не исследован и такой важнейший вопрос, как принципы словесной структуры при создании типических образов, языковые средства типизации, различные соответственно с жанром, идейным замыслом, темой и тональностью художественного произведения. Образ Савелия — «богатыря святорусского» или русской женщины крестьянки Матрены Тимофеевны осуществляется Некрасовым при помощи языковых средств, совершенно отличных от тех, какими дается образ Шкурина или других персонажей поэмы «Современники». В первом случае Некрасов обращается к словесной системе и структуре народно-поэтических произведений — былин, песен, сказок, во втором — к словесным построениям фельетонно-газетной речи, к языковому прозаическому стилю, к словесному гротеску.

Особые вопросы возникают при изучении лирики Некрасова. Следует выяснить вопрос о границах ее автобиографизма, тем более, что исследователи склонны чаще всего рассматривать лирику Некрасова как прямое отражение в ней его биографии. Не раскрыто и своеобразие эмоционально насыщенной монологической речи поэта в его лирических стихах, нередко переходящих в ораторский монолог («Размышления у парадного подъезда»), вбирающих в то же время и формы народно-поэтической традиции, разговорно-бытовой речи (интонации и словаря) и т. д.

Следует в этой связи отметить статью Б. О. Кормана «К вопросу о формировании лирического стиля Н. А. Некрасова»,<sup>20</sup> в которой поставлен вопрос о своеобразии рече-

<sup>20</sup> «Ученые записки Борисоглебского государственного педагогического института», вып. 1, 1956, стр. 81—98.

вых форм лирики Некрасова, о связи их с гоголевской прозой. Корман ставит интересный и важный вопрос о роли автора-повествователя в лирике Некрасова, хотя в целом этот вопрос может быть решен лишь при определении роли и взаимоотношений лирического героя и автора.

Трудно за недостаточностью места перечислить все многообразные задачи, возникающие перед исследователем творчества художественных особенностей поэта революционной демократии. Но общий смысл, общий характер этих задач сводится к тому, что вопросы поэтического мастерства Некрасова, вопросы художественной и в первую очередь речевой структуры его произведений должны решаться не эмпирически-описательно, как они зачастую решались до сих пор, а в своей историко-литературной конкретности и в единстве с идейным замыслом произведения, с раскрытием мировоззрения поэта. Лишь в этом раскрытии единства формы и содержания, мировоззрения и художественного метода может быть обеспечено дальнейшее изучение мастерства Некрасова.

Творчество Некрасова необходимо рассматривать в общем русле развития реализма в русской литературе XIX века. Однако следует раскрыть своеобразие реализма Некрасова как представителя революционно-демократического направления в литературе, поскольку реализм Некрасова отличен в ряде своих специфических черт от реализма Пушкина и Гоголя. Сохраняя общие принципы русского критического реализма XIX века, родоначальниками которого являлись Пушкин и Гоголь, Некрасов не только вложил в уже выработанные формы новое, революционное содержание, но и выступил как поэт-новатор, создавший новые художественные жанры в русской поэзии.

Для реалистического метода Некрасова прежде всего важно отметить изображение действительности в ее социальных противоречиях, в ее классовых конфликтах, решаемых поэтом с точки зрения интересов демократии, народных масс. Открытое служение интересам народа, понимание его решающей роли в историческом процессе определяло своеобразие реализма Некрасова. С этими общими посылками связано и то конкретно-правдивое изображение жизни в ее типических проявлениях, которое прежде всего отличает поэзию Некрасова. Поэт революционной демократии отказывается от всякого украшательства, от условно-поэтизированного изображения жизни во имя показа действительности в ее исторически-реальном осмыслении. Новые поэтические формы, поэтический язык стихов Некрасова не могут быть поняты до конца вне той новой революционно-демократической эстетики, которая сблизила Некрасова с Чернышевским и Добролюбовым, вне той исторической обстановки, которой они были вызваны. В качестве примера этого революционного новаторства Некрасова следует прежде всего указать на создание им народно-эпического жанра, до того не представленного в русской поэтической традиции.

Некрасов — пример поэта, бесстрашно вторгающегося в жизнь. Поэтические жанры и формы его стихов всегда подчинены целевому идейному заданию. «Песня Еремушке» превращает традиционную форму народной песни в грозную политическую инвективу, эта песня становится политическим призывом к революции. Злободневный сатирический фельетон под пером Некрасова разрастается в великолепную, монументальную сатирическую поэму «Современники», исполненную огнедышащей ненависти к буржуазным «триумфаторам», злой бичующей сатиры и в то же время широкой социальной типичности. «Современники» — новый жанр сатирической поэмы, перекликающийся с своеобразными жанрами прозаической сатиры Щедрина. Точно так же расширяет жанровые границы и традиции Некрасов и тогда, когда обращается к романсу, элегии, стансам, превращающимся в его творчестве в политически смелые и резкие призывы, приобретающие характер высокой гражданской патетики, который так ярвенно звучит в таких стихах его, как «Замолкни, Муза мести и печали!..», «Рыцарь на час», «Блажен незлобивый поэт...» и др.

Но дело не только в том, что традиционные жанры приобретают у Некрасова новое звучание, он пролагает новые пути, создает жанры, которые вообще нельзя подвести под рубрики традиционной поэтики. Такие произведения его, как «На улице», «Песни о свободном слове», «Размышления у парадного подъезда», «О погоде» и другие, вообще трудно отнести к какому-либо традиционному жанру. Жизненная реальность, многосторонний охват действительности диктовали Некрасову и своеобразие его литературных жанров и форм. Так, им создается совершенно самостоятельный жанр исторической поэмы, совершенно не похожей на поэмы Пушкина, Майкова, Мея. Это — поэмы-биографии, поэмы, сочетающие биографическую документальность с революционным политическим горением, с острой направленностью на современность («Русские женщины», «Дедушка»)<sup>21</sup> Они и написаны иным поэтическим языком, языком политического документа, ориентированы на биографический роман, мемуары.

<sup>21</sup> См.: Н. В. Осьмаков. Поэма Некрасова о декабристе. «Некрасовский сборник», т. II, стр. 211—235.



Следует остановиться еще на одном очень существенном вопросе изучения художественного метода Некрасова — связи его стиха с прозой. Уже в статье Ю. Н. Тынянова «Стиховые формы Некрасова» отмечалось, что он сблизил прозу и стих.<sup>22</sup> Следует напомнить, что после 30-х годов XIX века главенствующее место в русской литературе заняли прозаические жанры, в первую очередь роман. Естественно, что Некрасов широко учел опыт русской прозы — Гоголя, Гончарова, Тургенева. В романе шире и многограннее представлена была действительность, чем в стихотворных жанрах. Этим в значительной мере объясняется обращение Некрасова к принципам прозаического повествования. Но обращение поэта к опыту прозы отнюдь не означало «измены» поэзии, какого-либо ее «снижения».

Некрасов начинает «Княгиню Трубецкую» с точных, наглядных, поэтически найденных строк:

Покоен, прочен и легок  
На диво слаженный возок;  
Сам граф-отец не раз, не два  
Его попробовал сперва.  
Шесть лошадей в него впрягли,  
Фонарь внутри его зажгли.

(III, 23)

Эти точные, поэтические строки эстетствующей критике, современной Некрасову, казались грубыми, прозаическими, высмеивались. А ведь всё дело было в том, что Некрасов в своей поэме широко воспользовался разговорно-бытовыми интонациями, словарем, оборотами, которые усиливали достоверность изображения, но были непривычны в лирико-героическом жанре. Напомним патетический разговор Трубецкой с губернатором: ведь это, казалось бы, кусок «прозы», но в нем заключена высокая поэзия, которую лишь подчеркивает прозаически-разговорная, «обыденная» форма. Поэтому так легко эта проза переходит в героическую декламацию:

Нет! я не жалкая раба,  
Я женщина, жена!  
Пускай горька моя судьба —  
Я буду ей верна!

(III, 43)

Перенесение в поэзию принципов прозы, в частности принципов реалистического романа 50—60-х годов, чрезвычайно существенно для поэтики Некрасова. В эту эпоху роман приобрел господствующее значение в литературе: в романе легче и плодотворнее можно было показать противоречия жизни, основные проблемы действительности. Самая форма романа представляла большие возможности, большую свободу включения огромного жизненного материала, углубленных психологических и социальных характеристик героев, сложной и емкой сюжетной композиции, отличной от композиции поэмы. Некрасов широко учел в своей поэзии эти новые возможности, предоставляемые прозаическими жанрами, прежде всего романом. В таких поэмах, как «Саша», «Коробейники», «Русские женщины», это перенесение методов романического повествования в стихотворную поэму особенно ощутимо.

Остановимся лишь на одном примере — поэме «Саша» и романе Тургенева «Рудин». Некрасов в своей поэме воспроизвел средствами стиха тот же сюжет, что и Тургенев в «Рудине». О сходстве этих двух произведений писали уже современники. А. М. Гаркави убедительно показал на основе исследования рукописей Некрасова, что «сюжет „Саши“, ее основные мысли обсуждались между Некрасовым и Тургеневым осенью 1854 года»,<sup>23</sup> чем и объясняется параллельная работа обоих писателей над сходной темой и сюжетом. Но нас в данном случае интересует не соотношение «Саши» и «Рудина», а то обстоятельство, что Некрасов в стихах разработал тот же сюжет, что Тургенев в романе, во многом уже здесь перенес принципы прозаической характеристики героев, романической интриги, принципов типизации из прозаического жанра в жанр поэмы. Кстати говоря, сам Некрасов в письме к Тургеневу (от 30 июня 1855 года) назвал свою поэму «рассказом в стихах» (X, 223). Вся манера повествования во многом восходит здесь к прозе, что вовсе не означает форму сюжетного прозаического повествования с подробным описанием героев, социального фона и т. д. Некрасов сохраняет поэтичность характеристик, пейзажа, лирическую интонацию.

Прозаическое начало в стихах Некрасова не только в стилистической манере, не только в языковых «прозаизмах», но и во всей внутренней структуре образа, в художественном произведении в целом. Вся внутренняя структура, композиция поэмы «Русские женщины», ее сюжетное построение, манера изображения характеров — всё это в значительной мере идет от метода прозаического произведения — романа. Не следует

<sup>22</sup> Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 399—411.

<sup>23</sup> Некрасовский сборник, т. II, стр. 157

лишь смешивать «прозаичность» с антипоэтичностью (так как проза Тургенева или Толстого не менее поэтична, чем поэзия Некрасова или Лермонтова). Различие не в степени поэтичности или художественности, а в наличии специфических методов словесного выражения. Некрасов расширяет рамки поэзии, стихотворной структуры этой экспансией в прозу, перенесением специфических элементов прозаической структуры в стихи. Некрасов продолжил то, что наметил Пушкин в «Евгении Онегине», «Домике в Коломне» и др., — линию реализма, сочетание стиха и прозы.

С новаторством поэзии Некрасова долгое время не могла примириться современная ему критика. Вот что писал о поэзии Некрасова такой благоприятно относящийся к нему критик, как Е. Н. Эдельсон: «При очевидном богатстве содержания, силе, искренности и чуткости к жизни, она в то же время часто неприятно шекотала нервы людей, привыкших к музыке стиха, или поражала такую небрежностью и угловатостью отделки сюжета...»<sup>24</sup> То, что критике, воспитанной на гладких стихах Майкова, Щербины, Полонского, Мея и других представителей поэзии второй половины XIX века, казалось недостатком, художественной погрешностью Некрасова, на самом деле было его силой, знаменавало расширение поэтических возможностей стиха, включение в него тех тем, сюжетов, материалов, которые до этого были доступны прежде всего прозе. Это позволило Некрасову создать произведения качественно новые, показывающие жизнь в ее многообразии, в ее социальном аспекте с такой правдивостью и реализмом, которого не смогли осуществить поэты его эпохи, пытавшиеся механически продолжить пушкинскую традицию.

Основным на новом этапе изучения творчества Некрасова является изучение художественной формы в единстве с идейным содержанием. Слово, образная ткань художественного произведения могут быть по-настоящему изучены и поняты лишь как значащее, идеологическое начало, а не как внешняя оболочка произведения. Средства художественной выразительности поэта не являются внешним придатком, живописным орнаментом, они сами по себе идеологичны. Вот обнаружение и раскрытие этого единства формы и содержания и является важнейшей и первоочередной задачей исследователей художественного мастерства Некрасова, как и каждого другого поэта и писателя.

Хотелось бы пожелать в связи с этим более широкого и настойчивого изучения поэтики Некрасова. Почему не изучается метрика, рифма Некрасова, его строфика, композиция его лирических стихов, его эпитет, его метафора? Вероятно, потому, что это когда-то делали формалисты, и с тех пор сохранилось предубеждение, что, занимаясь этими вещами, и сам станешь формалистом. Но мы ведь не должны механически принимать методы их исследования, рассматривать вопросы рифмы или эпитета в отрыве от идейного содержания. Задача и заключается в том, чтобы эти элементы поэтического творчества Некрасова рассматривались в свете содержания, смысловой значимости и роли их в произведении. Ведь и рифма, и композиция, и эпитет способствовали в поэзии Некрасова наиболее полному и художественно совершенному выражению того поэтического содержания, которое он вкладывал в свои произведения, их идейной и художественной изобразительности. Дать почувствовать поэтическую художественную силу изобразительных, словесных (в широком смысле этого слова) и композиционных средств поэзии Некрасова — задача не менее почетная и трудная, чем раскрытие идейного содержания.

Говоря о реализме Некрасова, следует всегда помнить, что его реализм принципиально чужд и враждебен всякому объективизму и натурализму. Реакционный критик Е. Марков, современник поэта, с озлоблением писал о Некрасове как о представителе «тенденциозного реализма»: «Некрасов — реалист по своим сюжетам; он не носится в мистических легендах, в мечтах фантазии... Некрасов описывает русскую деревню, русское поле, русскую бабу, русского станового. В том он реалист». Марков понимает реализм как чисто механическое фотографирование действительности, считая, что реализм есть лишь бесстрастное «наблюдение». «У Некрасова... — по его словам, — тенденция почти всегда предшествует наблюдению и приговор исследованию...»<sup>25</sup> Да, Некрасов всегда в свое изображение жизни вкладывает «приговор» о ней. Но в этом и сила некрасовского реализма, его созвучность нашей эпохе, его активная целеустремленность.

Оценивая действительность с передовых позиций, с точки зрения революционной демократии, с позиций народных интересов, Некрасов неизмеримо больше и глубже приходил к пониманию ее, к раскрытию сущности социальных отношений, чем те реалисты на «подножном корму», как назвал их впоследствии Маяковский,<sup>26</sup> которые ратовали за «объективизм».

<sup>24</sup> «Библиотека для чтения», 1864, № 9, отд. «Русская литература», стр. 1.

<sup>25</sup> Е. Марков Критические беседы (Поэзия Некрасова). «Голос», 1878, № 88, 29 марта, стр. 3.

<sup>26</sup> В. В. Маяковский, Полное собрание сочинений, т. 7, Гослитиздат, М., 1958, стр. 209.

Эта особенность реализма Некрасова, в частности, сказалась и во включении в его лирическую поэзию необычайно конкретного, биографически-жизненного облика поэта-гражданина, от лица которого дается оценка и восприятие жизненных явлений. Если в эпических произведениях авторское «я» поэта устраняется, заменяясь народным отношением к жизни, то в лирике образ поэта занимает особенно важное место. В стихах высокого гражданского накала поэт говорит о себе, о своей музе, отбрасывая условные облики «лирического героя»:

Замолкни, Муза мести и печали!  
Я сон чужой тревожить не хочу,  
Довольно мы с тобою проклинали.  
Один я умираю — и молчу.  
К чему хандрить, оплакивать потери?  
Когда б хоть легче было от того!  
Мне самому, как скрип тюремной двери,  
Противны стоны сердца моего.

(I, 158)

Некрасов в своих стихах говорит о себе, он отдает свои думы и переживания на суд читателя, на суд народа. В этом своеобразии его лирики. Он избегает стилизации, приукрашенности своего лирического героя, который выступает в его стихах в глубокой правдивости своего внутреннего облика, своих чувств. Этот живой, волнующий и взволнованный образ поэта-гражданина, поэта-революционера определяет и поэтическую структуру его лирических стихов. Им определяется не только тот личный, страстный тон, которым так привлекает сердца читателей некрасовская поэзия, но и отбор словесных средств, лексика, фразеология, семантика.

Но даже там, где автор не включен в сюжет стихотворения, явно его отношение к тому, о чем в нем говорится, оценка жизненных фактов и явлений. Так, например, в «Забывтой деревне» автор не присутствует. Нарисован пейзаж, объективная картина сельской природы. И тем не менее вы глубоко чувствуете отношение автора, осуждение им той нужды, беспомощности, горя, в которые ввергло крестьянина самодержавно-крепостническое правление.

Реализм Некрасова отнюдь не исчерпывается изображением темных, отрицательных сторон действительности. Он возвышается до высокой патетики и светлого лиризма в тех случаях, когда поэт говорит о положительных явлениях, о народе, о его защитниках и его предстателях. Так это в «Русских женщинах», в «Кому на Руси жить хорошо». Торжественным поэтическим реквиемом звучат его знаменитые стихи памяти Добролюбова:

Какой светильник разума угас!  
Какое сердце биться перестало!

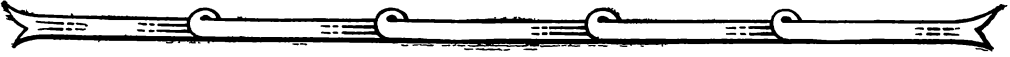
(II, 200)

Эти стихи еще раз доказывают, что Некрасов не боялся высокого, патетического стиля в тех случаях, когда он служил для прославления революции и народа.

При изучении поэтического мастерства Некрасова мы должны руководиться основным принципом народности творчества поэта, должны раскрыть, какие именно художественные средства способствовали достижению этой подлинной народности, доступности и реализма его творчества. Такое изучение поэзии Некрасова будет способствовать решению тех задач, которые указаны в статье Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа».

Наконец, весьма существенной задачей советского некрасоведения является изучение некрасовских традиций в советской поэзии, роль творчества поэта революционной демократии для формирования поэзии социалистического реализма. В этом направлении сделаны лишь первые шаги, тогда как некрасовская традиция необычайно важна для таких замечательных советских поэтов, как Демьян Бедный, Маяковский, Твардовский, Исаковский и многие другие. Изучение некрасовской традиции в творчестве советских поэтов не может быть ограничено лишь отдельными параллелями и сопоставлениями. Следует рассмотреть самое существо реалистического метода Некрасова, его народность как основу для воздействия его поэзии на советских поэтов. Лишь уяснив народный характер, совершенство художественной формы поэзии Некрасова, ее глубокий и многогранный реализм, ее тесные связи с жизнью народа и с народным творчеством, мы сможем сделать новый существенный шаг в деле изучения наследия великого русского поэта, приблизим его народную и революционную поэзию к нашей эпохе, к нашему многомиллионному советскому читателю.





**Е. ГЕРМАНОВА**  
(Чехословакия)

## **Н. А. НЕКРАСОВ И ЧЕШСКАЯ ПОЭЗИЯ В ЭПОХУ ЯНА НЕРУДЫ И ВИТЕЗЛАВА ГАЛЕКА\***

Когда говорят о мировом значении русского реализма, о его влиянии на литературу других народов, то подразумевают в первую очередь русский роман и драму. Для подобного рода предпочтения, отдаваемого прозаическим жанрам, есть немало оснований. Дело не только в том, что прозаические жанры обладают более широкими художественными возможностями, но и в том, что почти во всех литературах, в том числе и в русской, становление реализма в поэзии происходило медленнее, чем в прозе; множество отживших традиционных условностей тормозило здесь изображение усложнявшихся общественных взаимоотношений и внутреннего мира человека. Было бы, однако, серьезной ошибкой недооценивать значение и место поэзии, и в особенности поэзии, порожденной развитием демократического движения, в общем процессе литературного развития.

Творчество Некрасова на фоне новых исторических событий представляло редкое единство революционно-демократической программы и ее эстетического воплощения. Поэтому особенно важно проследить, какими новыми творческими импульсами он обогащал поэзию других народов, из каких источников вытекал интерес к творчеству великого русского поэта и появление каких новых художественных качеств было вызвано его влиянием. И здесь в первую очередь важно исследовать влияние Некрасова на родственные литературы славянских народов и особенно чешскую, в которой поэзия Некрасова имела свою особую судьбу.

Процесс включения творчества Некрасова в живой организм чешской поэзии является одним из наиболее замечательных вопросов русско-чешских взаимосвязей в эпоху Я. Неруды и В. Галека, когда чешская литература вступила на широкий путь реалистического искусства нового типа, разрушавшего традиционные узкие рамки старой романтической словесности. Знакомство с поэзией Некрасова относится к периоду первого соприкосновения чешской культуры с русским реализмом послегоголевского периода, сыгравшего в нашей литературе выдающуюся роль. Особенное место в чешской литературной жизни заняло в это время творчество Некрасова.

Поэзия Некрасова приобрела известность в Чехии в 60—70-е годы, когда интерес к его творчеству характеризовался особенной устойчивостью и непоколебимостью. В следующий период количество переводов значительно уменьшилось.

Весьма знаменательно, что даже буржуазное литературоведение, которое склонно было отрицать общность между русским реализмом и тогдашним чешским литературным развитием, не могло обойти вопрос о влиянии Некрасова полным молчанием, хотя разработан серьезно он и не был.

В настоящей статье не ставится задача исчерпать все вопросы, связанные с влиянием творчества великого русского поэта на всю чешскую литературу и личным влиянием его на отдельных представителей чешской поэзии. Мы ограничимся только постановкой проблемы, кратко проследим процесс проникновения творчества Некрасова в чешскую литературную жизнь и укажем на некоторые основные тенденции процесса литературного развития, породившего шедевры реалистической поэзии Я. Неруды, В. Галека, А. Гейдука, Р. Майера и других чешских поэтов.

Первое соприкосновение чешской литературной общественности с художественными произведениями Некрасова происходит в конце 50-х годов прошлого века, в период, когда поэт в России достигает вершины своей славы, когда в печати уже появились первые переводы произведений Тургенева<sup>1</sup> и других писателей. Во французском журнале «Revue de deux mondes» была помещена статья, посвященная анализу творчества Некрасова, сопровождаемая подстрочным переводом некоторых его стихотворений.<sup>2</sup> Автор ее, публицист Н. Делаво, был связан с редакцией «Современника». И хотя статья носила общий, информационный характер, она пробудила сразу же инте-

\* По техническим причинам примечания помещены в конце статьи.

рес у чехов к ранее неизвестному поэту. Находившийся в то время в Праге А. Н. Пыпин писал В. И. Ламанскому: «Когда вышла в „Revue de deux mondes“ статья Делаво о Некрасове, чехи спрашивают: что это за замечательный поэт ваш Некрасов? Мы и не слышали...»<sup>3</sup>

Необходимо особо отметить, что симпатии к русской культуре приобретали тогда часто характер своеобразного протеста против национального гнета и германизирующих попыток реакционного баховского режима. Уже в 1853 году один из наиболее значительных переводчиков русской поэзии писал, что «изо дня в день растет неотвратимая потребность, дабы образованная часть нашего общества более внимательно приглядывалась к подающему самые большие надежды славянскому племени, будущее которого прекрасно и великолепно», причем тут же добавлял, что последним значительным русским поэтом был Кольцов, после смерти которого в русскую поэзию не было внесено больше ничего нового.

Однако можно с уверенностью утверждать, что имя Некрасова проникло и через оборонительные укрепления баховского режима, восстановленного в Австрии после разгрома революции 1848 года и длившегося до конца 50-х годов. В Чехию доходил некрасовский «Современник», хотя, конечно, не регулярно;<sup>4</sup> в узких кругах переводчиков русской литературы, примыкавших к демократическому крылу литературного фронта, был известен и некрасовский «Петербургский сборник» (1846),<sup>5</sup> в чешской печати мельком проскальзывало имя Некрасова.<sup>6</sup> Но как поэт — основатель новой эпохи в развитии русской поэзии — Некрасов оставался в то время еще совершенно неизвестным в среде передовых чешских литераторов. В чем причина этого обстоятельства, которое явно свидетельствует о том, что чешская литература отставала от развития литературы русской?

Нет сомнения в том, что распространению у нас поэтического творчества Некрасова препятствовало много внешних причин (слабый книгообмен с Россией, усиление цензуры). Очень важную роль сыграла здесь монополизация культурных связей небольшой группой консервативных чешских русофилов, не допускавших проникновения нового художественного направления в чешскую литературную жизнь. Мнения группы этих русофилов, имеющих в своем распоряжении самый богатый книжный фонд, определялись прежде всего взглядами русских реакционных славянофилов на отечественную литературу. Неудивительно, что при создавшихся условиях творчество Некрасова проникало в чешскую литературу слабо. Однако эти обстоятельства сыграли лишь второстепенную роль, главная причина — в общем состоянии тогдашней чешской литературы.

Развитие чешской литературы, определявшееся особенной исторической судьбой чешского народа, имело несколько отличный характер, нежели развитие литературы русской. Именно в период, непосредственно предшествовавший проникновению в Чехию русского реализма, разыгрался решительный бой за направление дальнейшего развития литературы, за ее место в национально-освободительной борьбе и за ее участие в общем течении мирового демократического литературного движения.

Пятидесятые годы, внешне создающие впечатление полной тишины, вызванной жесточайшей реакцией, являлись на самом деле эпохой интенсивных поисков и в художественном, и в идейном направлении. Именно в это время наряду с литературной традицией периода культурного возрождения, отразившего процесс консолидации чешской нации в одно целое, зарождается молодая литература, вдохновляемая революционными идеалами 1848 года, как художественное отражение самостоятельного выступления демократических низов, классовые требования которых совершенно ясно показывали обманчивость представлений о несокрушимом единстве национального коллектива.<sup>7</sup> Программа этой новой литературы, направленная против узкого понимания патриотических и народно-воспитательных интересов старой литературы и борющаяся во имя общечеловеческого прогресса, была в основном сформулирована уже в 48-м году демократом К. Сабинной: «Народ строил города и села, дороги и мосты; куда ни взгляни по всему белу свету, творцом всего, что взор наш объемлет — народ! И что же за все это?... Заперты были перед ним сокровищницы науки и искусства, не осталось ничего иного, как днем и ночью хлопотать, где бы раздобыть себе насущного хлеба. Он строил замки, в которых проживали тунеядцы; посевы и уборка хлеба, пища и одежда — всё было делом его рук, а он, он не познал ничего, кроме нужды, и участью его была лишь бедность и нищета. Должно ли это так остаться?... Зерно новой демократической литературы состоит в стремлении ответить на данный вопрос. Когда это зерно пустит свои ростки, превратится в дерево, ветви и плоды, тогда весь мир приобретет новый облик. Тогда не будет больше зависти и ненависти, не будет ни господ, ни холопов, а все будут родные братья».<sup>8</sup>

Судя по приведенной программе зарождающейся новой чешской литературы, можно было бы предполагать, что ничто не препятствовало передовым представителям последней понимания поэтического творчества великого поэта русской революционной демократии. Однако мировоззрение Некрасова, его эстетические взгляды и их художественное воплощение в собственном творчестве были пока еще далеки от основных тенденций чешской литературы.

Удушливая атмосфера жесточайшего реакционного гнета, столь противоположная предшествующему периоду радостных революционных надежд, оставила свой отпечаток на первых шагах молодой литературы, в которой поэзия играла первенствующую роль. Из сознания противоречия между реальной действительностью и поэтическим идеалом свободы рождалось представление, что литература должна возбуждать активность общества не конкретным анализом жизни, но посредством раскрытия великих революционных перспектив. В молодой поэзии, главным представителем которой был революционер И. В. Фрич, поэтическая фантазия брала верх над правдивостью изображаемого. Несмотря на то, что в многочисленных теоретических выступлениях писателей ощущается уже признание критического реализма, в целом однако чешская поэзия еще не отрешилась от романтического подхода к действительности, от фантастического мира возвышенных идеалов, по-старому придерживалась творческих принципов романтизма. С этих позиций воспринималось и творчество Пушкина и Лермонтова, которых чешские поэты, наряду с другими мировыми поэтами, считали своими образцами. Пушкин привлекал их не тем, что Добролюбов называет «способностью взглянуть на предмет, как он есть на самом деле», а сильным освободительным пафосом своего творчества. Стихи Пушкина, по словам переводчика В. Ч. Бендла, «дышат якобинством, жестокой ненавистью к настоящей действительности»,<sup>9</sup> Лермонтов манит их энергией своего мятежа, увлекает «воинственными песнями»<sup>10</sup> в романтической кавказской обстановке и т. д. Во всем этом проявлялась закономерность развития чешской художественной мысли, и естественно, что стихи Некрасова производили впечатление прозы, лишённой поэтического изящества. Обнаженная социальная реальность, какую вводит в поэзию Некрасов, должна была производить впечатление нарушения незбываемых законов искусства, и поэтому его творчество тогда еще не могло быть понято и оценено чешской литературой.

К некрасовскому поэтическому взгляду на жизнь чешская поэзия шла постепенно в течение второй половины 50-х годов, когда на демократическом фронте, противостоявшем литературно-политическим староверам, развивается борьба двух различных идейных направлений, двух отношений к жизни, значит — и двух художественных концепций. Младшее поколение, сосредоточившееся к концу 50-х годов вокруг альманаха «Май», формулирует впоследствии в огне полемики свои творческие принципы, главными из которых были — демократизация тематики, поворот к «неумытой и непричесанной действительности», анализ социальных явлений и явная демократическая тенденциозность, во многом совпадающие с идейно-эстетической позицией «натуральной школы».<sup>11</sup>

В 1857 году выходит первый сборник стихотворений выдающегося представителя этого поколения Яна Неруды. Если к какому-либо произведению чешской поэзии приложимо требование Белинского «возвысить разум до поэзии», то в первую очередь приложимо оно к «Кладбищенским цветам» Неруды. Сопоставление могущественного идеала свободного человечества с реальной действительностью, «с высокими мозгами и потоптанными сердцами» городской бедноты было в то время неслыханной смелостью, и как художественное произведение оно вызвало некоторое смущение даже в демократическом лагере. Демократ Карел Сабина критиковал эту поэзию за то, что она «не хочет видеть ничего, кроме того, что именно видит», что «одно отрицание — направление менее всего благоприятное для поэзии», и выражал убеждение в том, что «поэзия не только устоит перед реализмом, но даже завладеет им».<sup>12</sup>

Первые стихи Неруды, знаменовавшие возникновение критического реализма в чешской поэзии, были впоследствии поставлены в прямую связь с творчеством Некрасова «В сахарную сладость и сладкую негу существующей эротической и патриотической лирики ворвалась металлическим звуком суровая песня Неруды, — писал поэт Яр. Врхлицкий. — Это было решительно чем-то новым и неслыханным... Если Неруда конгениален с кем-нибудь из современных лириков, так это с русским Некрасовым. К нему он ближе всего со своей горечью и злостью, со своей серьезностью социальных и народных замыслов».

У нас не имеется достоверных данных, подтверждающих влияние Некрасова уже на первый художественный опыт Неруды. Однако такая возможность вполне допускается. Сильно распространенное влияние Гейне до некоторой степени подготовляло почву для постижения творческих принципов Некрасова. Ясно, что чешская поэзия к концу 50-х годов становится более чуткой к новым завоеваниям русской поэзии, что уже существует параллельность художественных влияний, создаются предпосылки для более близких творческих отношений с русской литературой.

Возникший в конце 50-х годов интерес к творчеству русского поэта явился выражением определенных закономерных тенденций, которые именно тогда сильно ощущались в чешском литературном процессе.

В связи с этим необходимо указать на особую важность популяризаторской деятельности А. Н. Пыпина, прошедшего зиму 1858 года в Праге. В Журнале чешского музея он опубликовал три обширные статьи о русской литературе,<sup>13</sup> которые дали чешской общественности ясный систематический обзор новой русской словесности, соединили разбросанные доселе отрывочные сведения в одно целое, при этом опро-

вергли многие укоренившиеся в некоторых кругах чешского общества славянофильские взгляды. Если примем во внимание существующее в то время в литературе напряжение, вызванное принципиальной полемической борьбой между представителями альманаха «Май» и приверженцами консервативного «отечественного» порядка, то станет более понятным значение этих обзоров для демократического лагеря, который накануне решительного сражения ознакомился с современной русской литературной жизнью, представленной страстным поклонником гоголевского направления. Вполне естественно, что на первый план Пыпин выдвинул двух главных представителей новой русской литературы, менее известных чехам — Белинского и Некрасова, из творчества которого привел даже два стихотворения — «Праздник жизни» и «Забывтая деревня».<sup>14</sup> Говоря о характере творчества поэта, о его исключительной популярности, о его «своеобразной, незаурядной, порою и странной поэтической мысли», о простоте его стихов, их громадной идейной насыщенности, называя его «самым любимым и самым резким поэтом униженных и оскорбленных», Пыпин заканчивал общей оценкой творчества русского поэта: «Поэзию Некрасова мы ценим как одно из самых оригинальных и самых ярких проявлений мысли современного поколения».<sup>15</sup> Этот восторженный и одновременно полемический тон статей, направленных как против славянофилов, так и против приверженцев «чистой поэзии», обозначал не только желание представить поэта в самом ярком свете.

Решительная защита Некрасова имела свои особые причины, связанные со взглядами Пыпина на состояние чешской поэзии. Справедливо отрицая официальную линию патристического стихотворства, представленного в русской поэзии «языком Хомякова», Пыпин, однако, не вполне постигал стремления литературы демократической. «Поэтическое направление, проповедуемое „Молодой Чехией“, нечто байроновское или гейневское, приделанное к молодой, полународной литературе, как-то не ладится с остальным содержанием словесности»,<sup>16</sup> — писал он в январе 1860 года.

Высокооценяя поэзию Некрасова Пыпин ставил как пример художественного творчества высокой общественной активности против обветшалого патристического стихосложения и против «эфемерных» альманахов молодых «маевцев». Близкого родства, какое существовало между их стремлениями и Некрасовыми, он не заметил.

Однако именно это сознание близости своих поэтических устремлений с творчеством Некрасова послужило импульсом к первому более широкому переводу некрасовских стихотворений молодым в то время участником литературной жизни, позже известным лингвистом Иозефом Коларжем. В 1860 году была опубликована его обширная статья о Некрасове вместе с переводом тринадцати наиболее характерных стихотворений из сборника 1856 года (Стихотворения Н. Некрасова).<sup>17</sup> Этот первый переводчик, не случайно выступивший в том же году с популяризацией литературных воззрений Белинского, своей статьей о Некрасове и метко подобранными переводами, главным образом его эпических стихотворений, попытался, и не без успеха, включить творчество русского поэта в оживленную тогда чешскую литературную жизнь. Он писал: «Причиной... популярности Некрасова является так называемое „реальное направление“ его стихов, возникшее в русской поэзии при тех же обстоятельствах, как и талант Некрасова, т. е. в душливой атмосфере николаевского режима». Стихи Некрасова он характеризует как «ничем не прикрашенные картины голой действительности», написанные «с такой язвительной иронией, что в сердце читателя каждый мускул дрогнет отвращением и негодованием». Объясняя возникновение стихотворений Некрасова внутренней силой русского народа, Коларж пытался раскрыть ноее содержание, какое они вносят в русскую поэзию: «...выступает в них язвительная ирония, соединенная с горькой меланхолией, выступает — досель неизвестное в русской поэзии — страстное сочувствие и сострадание к бедному русскому народу и скрытая ненависть к его поработителям, и, наконец, в них звучит, по-видимому, и мысль политическая, но тщательно облаченная в слова и образы, что было особенно необходимым при жестоком царствовании Николая». Главное значение статьи Коларжа состоит в том, что он попытался одновременно определить место Некрасова в общем развитии русской поэзии и, опираясь на учение Белинского о «поэзии реальной» и «поэзии идеальной», объяснить некрасовское творчество как закономерную ступень в развитии русской поэзии, в которой вследствие своеобразия общественной жизни сливаются в одно художественное целое реальные и идеальные стороны русской действительности. В этой попытке показать творчество Некрасова не как случайное проявление своеобразного таланта, прерывающего нить традиции, но как органическое продолжение развития, — совершенно отчетливо видно желание доказать не только общественное, но и художественное полноразвитие этого реального направления, которое в Чехии осуществляла группа «Мая».

Каким же откликом встретил первые переводы некрасовской поэзии демократический лагерь, который уже ясно сформулировал свои художественные принципы и смело их воплощал в поэтическом творчестве? Надо заметить, что первые переводы русского поэта относятся уже к периоду падения реакции и началу великого оживления национально-освободительной борьбы. Чешская поэзия чутко реагировала на изменившуюся атмосферу времени, искала пути не только к изображению темных сторон

жизни, но и к воплощению положительного жизненного содержания, которое начало проявляться в возрастающем народном движении.

И именно в это время Некрасов, бывший доселе совершенно неизвестным чешскому читателю, вдруг называется «патриархом русской литературы», «самым выдающимся русским поэтом», и вскоре новые переводы его стихотворений появляются уже в журнале, которым руководил Ян Неруда. При необыкновенной требовательности и принципиальности Неруды это обстоятельство имело большое значение: оно свидетельствовало о великом интересе к творчеству Некрасова.

Один из самых выдающихся литературных критиков прошлого века, Элишка Красногорская в одном из своих частных писем писала об «эпохальных, сенсационных влияниях» русской литературы, оказываемых на чешскую литературу в начале 60-х годов: «...немногие уже сегодня помнят, с каким воодушевлением принимало тогдашнее поколение новый оригинальный мир, который открыли перед ним три русских; никто сегодня не сумеет себе представить, что для нас тогда представляли Гоголь, Гончаров и Некрасов, с каким экстазом читало все это поколение „Мертвые души“, каким евангелием жизненной правды был для нас „Обломов“ и как узкому кругу наших поэтов вскружила головы некрасовская поэзия, когда впервые обратил на нее внимание журнал Музея. И столь противоположные характеры, как Неруда и Галек, обнаружили такую глубокую родственность, что нерудовские „Баллады“ и „Простые мотивы“ и галекские „Сказки из нашей деревни“ могут казаться детьми одного отца. И не явился ли Некрасов посредником этого родства?».<sup>18</sup>

Мнение Красногорской имело глубокую внутреннюю логику и во многом предоставляет ключ к решению вопроса о плодотворном влиянии Некрасова на процесс созревания реализма в чешской поэзии. Оно указывает, что воздействие творчества Некрасова проявилось не только в пристрастии к тем или иным идеям, к тому или иному образу (и было бы ошибочно искать это влияние лишь в некоторых тематических или формальных совпадениях), а прежде всего в общем направлении чешской поэзии.

Нельзя согласиться с мнением Т. С. Карской, которая в своей ценной библиографической работе, где перечисляются отклики на произведение Некрасова в чешской литературе,<sup>19</sup> указывает, что популярность русского поэта объяснялась народностью его поэзии и что революционный пафос поэта остался для чехов совершенно чуждым. Конечно, между политической программой русской революционной демократии и программой чешского демократического движения была существенная разница, но это не играло определяющей роли в восприятии Некрасова в Чехии, не снижало политического пафоса его стихов. Политическая заостренность некрасовских стихов, злободневность и тенденциозность, отмечаемые группой «Мая» как одни из наиболее важных черт новой поэзии, приковывали в первую очередь внимание к его творчеству. Это подкрепляется и отзывом Неруды о Некрасове, которого он называет типом нового поэта, «подлинно современным талантом», подчеркивает, что в творчестве Некрасова «горит неугасаемая любовь к родине», что оно проникнуто «непоколебимым политическим убеждением, в нем глубоко ощущаешь все те вопросы, которые движут сегодняшним обществом».<sup>20</sup> Некрасов, единственный из русских поэтов, причисляется передовой чешской литературой к плеяде мировых демократических писателей, которыми воодушевляется молодое поколение «Мая», между тем как литературно-политические консерваторы видели в творчестве этих писателей «решительно революционную программу общественных и религиозных отношений», «позорную пропаганду для пролетариата», «местами непростительный цинизм».<sup>21</sup>

Демократическая критика ясно говорила о «политическо-социальном оттенке большинства некрасовских стихов» и об «оживляющем их духе политической свободы».<sup>22</sup> Чешская литература высоко оценила русского поэта не только за народность его стихов, но главное — за их политическую направленность. Позже, в 80-х годах, политическая острота поэзии Некрасова затушевывается, его творчество рассматривается в официальной чешской литературе в одинаковом свете с Кольцовым. Но для поколения Яна Неруды подобные взгляды на Некрасова были совершенно чужды.

Представители демократического течения чешской литературы видели в Некрасове «поэта молодой России»,<sup>23</sup> а творчество его рассматривали как решительный шаг в развитии русской поэзии, движущейся в одном русле с могучей русской прозой. Как было указано выше, Некрасов проникает в чешскую литературу вместе с крупнейшими представителями критического реализма. Для того чтобы яснее представить себе, в чем именно состояло влияние Некрасова на развитие чешской поэзии, необходимо в нескольких словах упомянуть о некоторых обстоятельствах, сыгравших немалую роль в отношениях между чешской литературой эпохи Яна Неруды и Вит. Галека и современной им русской литературой.

Если впоследствии Неруда утверждал, что русский реализм занимает первое место в мире,<sup>24</sup> то было бы ошибочным полагать, что в самом начале 60-х годов в Чехии так воспринимали всё новое в литературе, что проникало из России, и что всё это новое сразу же включалось в чешскую литературу.

Новые художественные принципы русской реалистической литературы воспринимались чешской литературой творчески. Чешская литература внутренне уже созрела



для того, чтобы оценить вклад, внесенный русской литературой, понять, в чем состоит ее «евангелие жизненной правды», увидеть решительно новый подход литературы к действительности. Все это воспринималось чешской демократической литературой с учетом своих национальных, исторических условий и художественных традиций.

В прогрессивном лагере высоко оценивалась громадная роль русской литературы в борьбе против ненавистного самодержавия, привлекал ее патриотический пафос и родство с жизненными интересами русского народа. В 1865 году публицист Э. Вавра писал: «Русская литература, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, которые создали и создают на пути ее развития, пышно расцветает, что свидетельствует о внутренней душевной силе народа; сбросив свои оковы, во всем своем великолепии она предстанет перед миром и принесет богатые плоды».<sup>25</sup>

Демократических чешских писателей глубоко потрясала беспощадная правдивость русской литературы в изображении своей действительности. Это являлось и одной из основных проблем чешской реалистической литературы.

Было совершенно ясно, что творчество всех выдающихся русских писателей — Некрасова, Гоголя, Тургенева, Островского — обращено к наиболее злободневным вопросам русской общественной жизни, что оно является обличителем и судьей самодержавной России, что оно призывает к уничтожению существующего порядка во имя свободной и счастливой человеческой жизни. По выполнению своей общественной функции русская литература была примером для чешской демократической словесности, играющей не меньшую роль в жизни своего собственного угнетенного народа. «Если где-либо литературная деятельность является деятельностью политической, то у нас и подавно»,<sup>26</sup> — подчеркивал Ян Неруда.

В литературной программе группы «Мая» главное место занимал вопрос демократизации тематики, выдвигалась задача писать о народе, о жгучих проблемах социальной действительности, подчеркивалась необходимость критики общественного зла. В 60-х годах эта программа расширялась за счет выдвижения новых вопросов, важнейшим из которых являлся вопрос о необходимости художественного изображения нового, положительного содержания жизни, отчетливо проявлявшегося в национально-освободительной борьбе. Таким образом, обращением к новому общественному содержанию чешская литература выражала желание играть важную роль в демократическом движении. Однако романтические традиции (особенно поэзии) не были еще вполне низвергнуты. Передовым демократическим писателям приходилось вести борьбу за новое направление чешской литературы. В 1867 году Неруда писал: «Неужели изображение короля, отправляющегося в поход, более поэтично, чем картины труда, требующего вознаграждения... Неужели любовные страдания и пение соловья более поэтичны, чем изображение отчаяния отца при виде нужды своей семьи?... Скажите, что всё это временное, и что всё временное терпитя до поры до времени и не имеет прав на вечное существование; словами не скрывайте хотя бы то, что нынешний человек имеет пристрастие именно к поэзии *такого рода*».<sup>27</sup>

Напряженные, создавшиеся в чешской литературной жизни в связи с проблемой общественной функции критического реализма и его художественного полноправия, имело сильное сходство с положением во время «наступления» натуральной школы. Это сходство в развитии, которое проявилось как в критике, так и в художественном творчестве, создало важнейшие предпосылки для действительного, глубокого влияния русского реализма как источника новых самостоятельных творческих исканий. Где же это проявилось ярче всего?

Неруда — литературный вождь всего этого поколения — в связи с требованием правдивого изображения жизни писал: «...мы не требуем, чтобы у нас тотчас появились Евгений Сю и Виктор Гюго, мы должны были бы требовать одновременно и Сен-Симонов и Прудонов, но мы требуем поэзию! Кроме зоркого взгляда историка, в историческом романе необходима поэзия, поэзия нужна в деревенской или городской новелле. Если бы мы хотели или должны были бы обойтись без поэзии, мы должны были бы поставить самый крайний ультиматум: отображать лишь правдивые образы действительности, чтобы хотя бы своей правдивостью привлечь к раздумью того, кто не умеет наблюдать собственными глазами...»<sup>28</sup> При всех неотложных общественных проблемах подчеркивалось, что «каждая социальная сторона жизни должна быть воспринята и поэтически, — один реализм недостаточен».<sup>29</sup> Здесь дело не в терминологии, употребляемой в совершенно другом смысле, чем сегодня, но в конкретной сущности этого требования, которое являлось основным и новым в развитии чешской литературы на пути ее к критическому реализму и в развитии чешской художественной мысли вообще. Здесь нельзя не увидеть совпадения с Белинским, с его пониманием поэзии как специфического взгляда на действительность и отклика на известную полемику Некрасова с Писемским о характере произведений Гоголя, о его способности найти поэзию даже в «мокрых галках на заборе», т. е. в самой повседневной прозе жизни. Это еще одно из свидетельств чуткости чешской литературы к художественным завоеваниям русского реализма.

Говоря о значении общественной критики Гоголя, Неруда одновременно указывал на «трогательное, поэтическое перо», каким написан «Ревизор».<sup>30</sup> Второй самый видный представитель этого поколения — Витезслав Галека, открыто заявлявший о том, что русский реализм произвел крупнейший переворот в его художественных воззрениях, говоря о великом критическом значении «Записок охотника», об их роли в борьбе с крепостничеством, подчеркивая их правдивость, добавлял: «Рассказы Тургенева проникнуты таким необычайным духом, что у нас создается впечатление, будто мы попали в царство баллад, так здесь все полно таинственности, а ведь это все те же лица, из мяса, крови и костей, лица, можно сказать, обыденные...»<sup>31</sup> Знаменателен также тот факт, что даже при недостаточно широком знакомстве с русской литературной жизнью Писемского, например, называли «только реалистом», хотя вместе с тем оценивали его острую критику действительности.<sup>32</sup>

Четкое отличие художественного реализма великих последователей Гоголя от «одного лишь реализма» его эпигонов свидетельствует о том, что видные представители чешской литературы поколения Неруды тонко постигали различия в самой русской литературе критического реализма.

В конце 50-х годов, когда в чешской демократической литературе возобладало критическое направление, Неруда так определяет назначение реалистической поэзии: «Если у поэта чувство преобладает над разумом, если он лишь ощущает интересы своего времени, но полностью их не постигает и не умеет выразить, такого поэта называют иногда романтиком; если он полностью постиг свое время и его недуги, но не умеет указать путь к их излечению, говорят о мировой скорби; если он знает, чем помочь, и как пророк может предсказать будущее, его назовут — поэтом-реалистом».<sup>33</sup> Мнение, что реализм в поэзии только тогда побеждает, когда в действительности нашей жизни наличествует положительное содержание, достаточно сильны источники реального идеала, совпадает с учением Добролюбова о «положительном начале и жизненном идеале», которыми отличается новая поэзия, и полностью отождествляется с некрасовской «верой в идеал как в нечто возможное и достижимое». Известно, что именно в творчестве Некрасова, в сравнении с великими произведениями современных ему прозаиков, с наибольшей правдивостью и последовательностью ощущается конкретно-историческая реальность эстетического идеала в том смысле, как его понимал Белинский, идеала, который «дается только сильно развитой народной жизнью».

Именно этим объясняется острый и непреходящий интерес к творчеству Некрасова поколения поэтов, группировавшихся вокруг альманаха «Май». Атмосфера 60-х годов была наполнена великими надеждами и оптимизмом. Размах национально-освободительного движения, приведший к революционной ситуации конца 60-х годов, окрылял литературу: мечты чешских поэтов об общечеловеческом прогрессе находили свое подтверждение в конкретной действительности — в боевой активности народных масс. «Злободневные вопросы облекаются в мясо и прочную кость, ворота грохнутся перед ними»,<sup>34</sup> — замечал Неруда в 1867 году.

И когда поэтические идеалы «Мая» воплощаются в реальные и глубоко национальные формы, о чем наглядно свидетельствуют зрелые произведения 70—80-х годов, углубляется влияние некрасовской поэзии, которая привлекала прежде всего своим идеалом русского борющегося гордого человека, реальным, народным идеалом, противостоящим отвратительной действительности самодержавной России. Чешская поэзия в творчестве Некрасова ощущала это органическое единство национального и общечеловеческого идеала, был ли он изображен в конкретных образах или выражен в его программных стихотворениях. Это еще более приблизило великого русского поэта к чешской прогрессивной литературе.

Публицист Е. Вавра, видный популяризатор русской литературы, примыкавший к группе «Мая», в 1867 году писал: «Стихотворения Некрасова насковь пронизаны самым живым состраданием к простому народу, особенно же к угнетенным и притесняемым классам русского народа и язвительной и жгучей иронией к их поработителям. Такой направленностью своих стихотворений Некрасов выходит из пределов узко отечественных, переставая быть только русским поэтом, входит в плеяду писателей, принадлежащих всему миру. При всем этом Некрасов не лишается своих чисто национальных черт, а наоборот, стихи его отличаются столь характерной национальной русской красотостью, какой наряду с ним могут похвастаться разве только стихи Крылова и Кольцова».<sup>35</sup>

Если бы мы решили проследить влияние Некрасова на творчество выдающихся чешских поэтов, указать, какие стороны его произведений по-разному привлекали их внимание и как это выражалось в конкретных художественных произведениях, то следовало бы обратиться к Витезславу Галеку, к его образам из народной жизни в первых жанровых картинках и особенно в полном глубокой народной мудрости шедевре его лирики — сборнике «Сказки из нашей деревни» — и найти связь их с глубоко поэтизированной образом крестьянства из поэмы «Мороз, Красный нос», особенно заинтересовавшей Галека.<sup>36</sup> Необходимо было бы проследить процесс творческого созревания и другого поэта этого поколения — Адольфа Гейдука, автора сборника «Цимбал и скрипка», написанного в половине 70-х годов и посвященного стихийной борьбе обни-

шавшего словацкого народа, восставшему «сынку бедной матери». Не случайно в начале сборника был помещен отрывок из «Поэта и гражданина» Некрасова.

Еще большую связь можно установить, изучая поэтическое творчество Яна Неруды, поэта самого близкого к Некрасову, лучше всех знавшего его произведения. Величайший чешский поэт утверждал, что в грязи городского «дна» расцветает «скалочный цвет хрустальной чистоты человеческого сердца» и что в самой действительности «живут баллады Некрасова».<sup>37</sup> Основные мотивы его классических реалистических баллад (написанных в 60-е годы), яркие сцены из трагической жизни бедного народа впоследствии легли в основу «Баллад и романсов», явившихся философским обобщением мыслей поэта. Все эти сложные вопросы требуют особого исследования, так как влияние поэзии Некрасова столь своеобразно, многогранно, что нельзя ограничиться поверхностным отысканием параллелей в творчестве разных поэтов.

Даже на основании того, что уже было сказано, можно прийти к выводу, что в творчестве Некрасова чешских писателей больше всего привлекали его эпические и программные стихотворения. Эпика и прежде всего мелкие эпические жанры пользовались тогда самой большой популярностью среди чешской литературной общественности. На это ясно указывает количество переводов и все то, что было написано о великом русском поэте. И это вполне естественно, так как при наступлении эпохи реализма появляется необходимость правдивого отражения в первую очередь социальных проблем, чему наиболее отвечала эпическая форма. Лирические стихотворения, занимающие значительное место в творчестве Некрасова, переводились меньше. Это объясняется прежде всего своеобразием исторических условий Чехии, наложивших свой отпечаток и на ее поэзию.

Идейная близость Некрасова к поэтической деятельности «майского» поколения вызвала повышенный интерес к его творчеству и личности. В начале 70-х годов Некрасов первый из русских писателей был избран почетным членом объединения чешских художников (Умелецка беседа). Переводы его стихотворений всё чаще появляются в периодической печати, газетные сообщения знакомят всё больше с подробностями его деятельности и жизни. О популярности Некрасова в среде передовой чешской общественности свидетельствует, например, то обстоятельство, что именно ему приписывали заслугу русского перевода значительного памятника чешской литературы — Краледворской рукописи, радуясь наличию интереса у русского поэта к культурной жизни чешского народа.<sup>38</sup>

В 1870 году возникает мысль об отдельном издании собрания стихотворений Некрасова.<sup>39</sup> Она укрепляется еще более в 1874 году, когда вышла большая антология русской поэзии, в которой, как совершенно справедливо заметила демократическая чешская критика, мало внимания уделялось Некрасову.<sup>40</sup> В 1876 году под редакцией Яна Неруды, Яр. Врхлицкого и Ферд. Шульца, в переводе страстного поклонника русской литературы Игнатия Мейснера был выпущен в издательстве «Мировой поэзии» сборник стихотворений Некрасова. Это и был первый том неосуществленного, к сожалению, многотомного издания произведений гениального художника, «из дружины передовых современных русских поэтов как Тургенев, Островский, — богатыря самого знаменитого», — как характеризовал Некрасова чешский переводчик.

Книга эта была послана поэту вместе с письмом переводчика и не осталась без ответа. В феврале 1877 года смертельно больной Некрасов диктует благодарственный ответ чешскому переводчику, в котором выражает свою большую радость по поводу того, что труд всей его жизни был одобрен и прогрессивными чешскими читателями. Одновременно поэт послал ему трехтомное издание своих стихотворений.<sup>41</sup>

Поэзия великого революционного русского демократа органически срастается с поэтическим творчеством поколения, проложившего чешской литературе широкую тропу к критическому реализму; она явилась импульсом к постановке важнейших творческих вопросов и содействовала появлению целого ряда новых художественных классических произведений чешской литературы.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Первые чешские переводы Тургенева, рассказы «Бирюк», «Льгов» и «Татьяна Борисовна и ее племянник», были напечатаны в 1858 году в журнале «Lumír».

<sup>2</sup> N. Delaveau. Un poète satirique en Russie. Nicolas Nekrasoff. «Revue de deux mondes», t. 18, livr. du 15 Décembre 1858.

<sup>3</sup> Документы к истории славяноведения в России (1850—1912). Изд. АН СССР, 1948, стр. 25 (письмо А. Н. Пыпина к В. И. Ламанскому от 17 (29) января 1859 года).

<sup>4</sup> Посредством русских славяноведов (прежде всего И. И. Срезневского) «Современник» получал известный чешский поклонник России Вацлав Ганка с того времени, когда журнал перешел в руки Некрасова (см. письмо И. И. Срезневского

В. Ганке от 7 мая 1850 года. «Письма В. Ганке из славянских земель, изд. В. А. Францевым». Варшава, 1905, стр. 1071). Позже «Современник» пересылался в редакцию тогда единственной чешской газеты «Pražské noviny» (см. указанное письмо А. Н. Пыпина В. И. Ламанскому).

<sup>5</sup> Известный переводчик Пушкина В. Ч. Бендл пишет Ганке, что прочел «прекрасный роман Достоевского „Бедные люди“ и большую часть „Петербургского сборника“». Письмо В. Ч. Бендла В. Ганке от 5 октября 1852 года. Archiv lit-hist. XXIII, dopisy V. Č. Bendla, «Listy filologické», 1908, стр. 49.

<sup>6</sup> «Vesna», 1851, стр. 465—466, 523, rubr. «Beletristika ruská».

<sup>7</sup> В 50-х годах достигла своего зенита литературная деятельность К. Я. Эрбена, К. Гавличка и Б. Немцовой, которые явились соединяющим звеном между старой и новой литературой.

<sup>8</sup> Karel Šabina. Demokratická literatura; Sborník «Čeští radikální demokraté o literatuře», Praha, 1954, стр. 55—56.

<sup>9</sup> V. Č. Bendl. Alexander Puškin. «Časopis Českého Musea», 1854, стр. 215.

<sup>10</sup> «Lada-Niôla», Praha, 1855, стр. 53.

<sup>11</sup> Так называемые «полемики майские» открыто вспыхнули в 1859 году. Демократические писатели соединились вокруг журнала Неруды «Obrazy života». Со стороны консервативных писателей нападол прежде всего реакционный публицист Якуб Малый. В ходе полемики, где вместе с Нерудой выступал прежде всего В. Галек и радикальный демократ Карел Сабина, были созданы главные теоретические основы нового чешского реалистического искусства, развивавшиеся далее в критической и художественной деятельности писателей, объединенных в этом кружке (Неруда, Галек, Майер, Светла, Гейдук и др.).

<sup>12</sup> Karel Šabina. Recense na «Hřbitovní kvítí» J. Nerudy; Sborník «Čeští radikální demokraté o literatuře», стр. 125.

<sup>13</sup> Alexander Pупin. Listy o ruské literatuře. «Časopis Českého Musea», 1858, стр. 583—599; 1859, стр. 119—127, 255—263.

<sup>14</sup> Подстрочный перевод этих двух стихотворений сделал В. Ганка.

<sup>15</sup> Al. Pупin. Listy o ruské literatuře. «Časopis Českého Musea», 1858, стр. 593.

<sup>16</sup> А. Н. Пыпин. Мои заметки. Под ред. В. А. Ляцкой, М., 1910, стр. 260.

<sup>17</sup> Josef Kolář. Nikolaj Njekrasov. «Časopis Českého Musea», 1860, стр. 434—459.

<sup>18</sup> Eliška Krásnohorská, Ferd. Strojčkoví 10. I. 1910; E. Krásnohorská, Výbor z díla II, Praha, 1956, стр. 516.

<sup>19</sup> Т. С. Карская. Некрасов в чешской литературе 1860—1870-х годов. «Научный бюллетень Ленинградского государственного ордена Ленина университета», 1947, № 16—17, стр. 120.

<sup>20</sup> Jan Neruda. Podobizny III, Praha, 1956.

<sup>21</sup> V. K. Šembera, «Z mladých pader», Vídeň, 1863. Шембера был младшим приятелем Неруды, свое собрание стихотворений он подарил Неруде и к нему написал послесловие, в котором пародирует критику реакционного лагеря. Здесь же он указывает на Некрасова как на одного из поэтов, к которым устремлены взоры молодежи.

<sup>22</sup> Em. Vávra. N. A. Njekrasov, básník ruský. «Květy», 1867, č. 17, стр. 143.

<sup>23</sup> «Ruská poesie», výbor z národního a umělého básnictva ruského v českých překladech, sestavil Fr. Vymazal, Brno 1874, стр. 183.

<sup>24</sup> J. Neruda. Opět Ostrovskij; Neruda o umění. Praha, 1950, стр. 215.

<sup>25</sup> Em. Vávra. Náortky z literatury ruské; «Čeští radikální demokraté o literatuře», стр. 205.

<sup>26</sup> J. Neruda. Matice Lidu; Dílo J. Nerudy, Praha 1925, sv. XV.

<sup>27</sup> J. Neruda. Moderní člověk a umění; Dílo J. Nerudy, sv. IX, стр. 31.

<sup>28</sup> J. Neruda. Literatura VI, 1862; Dílo J. Nerudy, sv. XXIV, стр. 380.

<sup>29</sup> «Květy», 1866, č. 44, стр. 528, rubr. «Dopisy redakční» (автором этих слов является один из редакторов — Ян Неруда или В. Галек).

<sup>30</sup> J. Neruda. Gogolův «Revisor»; Dílo XXII, стр. 272.

<sup>31</sup> V. Hálek. Ivana Turgeněva «Lovcovy zápisky»; Hálek o umění, Praha, 1955, стр. 156—157.

<sup>32</sup> Antal Stašek. Ruské básnictví a Turgeněv. Osvěta, 1873, стр. 551.

<sup>33</sup> J. Neruda. Básně Ad. Heyduka, 1859; Dílo XXIV, стр. 90.

<sup>34</sup> J. Neruda. Moderní člověk a umění. Dílo IX, стр. 30.

<sup>35</sup> E. Vávra. N. A. Njekrasov, básník ruský; «Květy», 1867, č. 17, стр. 143.

<sup>36</sup> В 1872 году печатается в «Květy» перевод поэмы «Мороз, Красный нос», к которой было дано замечание редактора, обращавшего внимание на «это особенно характерное стихотворение Некрасова». «Květy», 1872, č. 1., стр. 6.

<sup>37</sup> Jan Neruda. «Pražští žebráci».

<sup>38</sup> «Русский поэт Некрасов,—отмечала чешская печать в 1872 году,—который имеет большие заслуги в русской литературе, сделал великое одолжение также и нам, познакомив этим изданием русскую общественность с самым красивым памятником нашей письменности». «Slovaku», 1872, sh. 268.

<sup>39</sup> Инициатива была проявлена Э. Ваврой и И. Коларжем. Переводом занимался А. Дурдик (сохранился его список стихотворений Некрасова, которые должны были войти в книгу). Это начинание по неизвестным причинам не осуществилось.

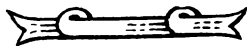
<sup>40</sup> 14 февраля 1874 года молодой Ярослав Врхлицкий на заседании литературной секции «Умелцкой беседы» докладывал об этой книге. Он упрекал Вымазалу в недостаточном внимании к делу «самого большого русского поэта». Заседание ЛОУБ 14 февраля 1874 года (Archiv Umel. Besedy).

<sup>41</sup> Некрасов продиктовал письмо А. Н. Пыпину, который его послал 7/19 октября 1877 г. Мейснару. Оригинал письма пока неизвестен. Опубликованные переводчиком выдержки из него приводятся ниже: «Пишу Вам по просьбе Николая Алексеевича Некрасова, который не мог сам Вам ответить на Ваше письмо. Он уже с весны прошлого года очень болен, и в последнее время нет никакой надежды на улучшение. Когда я его недавно посетил, он говорил о Вашей книге и просил меня написать Вам вместо него, потому что ему было очень плохо.

«Был очень доволен появлением своих стихотворений на чешском языке, очень благодарен Вам за то, что Вы послали ему Ваш перевод его стихотворений и с своей стороны посылает Вам как подарок последние, прилежно собранные стихотворения (три выпуска, именно шесть частей) 1873—1874.

«В первом выпуске Вы найдете печальный манускрипт поэта: „Умираю медленно и мучительно“, — пишет он сам вместо биографии, которую Вы у него просили.

«Если Вас интересует поэзия Некрасова, советую Вам приобрести книгу журнала „Отечественные записки“ (где он вообще в последние годы печатал свои стихотворения) за год 1877. Там найдете его „Последние песни“, так назвал он стихотворения, которые сочинял перед смертью. Эти песни обширны и очень печальны. Если стихотворения Некрасова нравятся чешским читателям, то „песни“ пробудят всеобщий интерес». В этом виде письмо было опубликовано в журнале «Český jich», 1877, с. 22, стр. 3. Книга с посвящением Некрасова, о которой здесь упоминает Пыпин, не найдена.



## НОВЫЕ КНИГИ О САЛТЫКОВЕ-ЩЕДРИНЕ

А. БУШМИН

### НАУЧНЫЙ ВКЛАД В ЩЕДРИНОВЕДЕНИЕ

Из новейших работ о великом сатирике серьезного внимания заслуживает книга Е. И. Покусаева «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы». Она должна быть поставлена в ряд уже широко известных щедриноведческих монографий, созданных В. Я. Кирпотиним, С. А. Макашиным и Я. Е. Эльсбергом.

Монография Е. И. Покусаева характеризуется глубиной научного анализа художественного, публицистического, эпистолярного наследия Салтыкова и посвященной ему литературы, стремлением постичь внутреннюю логику идейно-творческого развития писателя, тщательностью и оригинальностью аргументации выводов и — что особенно примечательно — смелым вторжением в область наиболее трудных и спорных проблем изучения творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Тема книги Е. И. Покусаева, посвященной исследованию основных вопросов идейного развития и общественно-литературной деятельности сатирика в 50-е и 60-е годы, не является новой, она останавливала на себе внимание многих исследователей. Тем показательнее тот факт, что Е. И. Покусаев, возвращая нас к вопросам, уже подвергавшимся неоднократной разработке, сумел сказать действительно новое, обогащающее и уточняющее наше представление о становлении мировоззрения писателя, об эволюции его художественной мысли, развивавшейся в интенсивных исканиях и сложных противоречиях, но всегда устремлявшейся к более полному овладению идеалами революционной демократии.

Сама тема исследования, как «старая» тема щедриноведения, побывавшая под перекрестным освещением с разных точек зрения, предопределила неизбежность частых столкновений Е. И. Покусаева с предшественниками. Поэтому книга приобрела остро полемический характер. Исследователь критически пересматривает — и в большинстве случаев весьма успешно и убедительно — целый ряд положений, выводов, концепций, выдвинутых его предшественниками, в частности — С. А. Макашиным, Я. Е. Эльсбергом, В. Я. Кирпотиним.

Основной смысл полемики сводится к доказательству того, что идейно-творческое развитие Салтыкова-Щедрина в 50-е и 60-е годы было значительно богаче, сложнее, противоречивее, чем это изображалось прежними исследователями. И несомненно, что тот сложный рисунок, который предложен автором рецензируемой книги, дает более верную и более полную характеристику пережитых Салтыковым фазисов идейного развития, сложной эволюции его общественных взглядов.

В работах, посвященных исследованию мировоззрения Салтыкова, довольно обычным является упрощение противоречий идейно-творческого развития писателя в 50-е и 60-е годы. Этот недостаток проявляется двояко. Некоторые авторы, касаясь временных заблуждений Салтыкова, делали поспешные выводы о сближении писателя с либералами и славянофилами. Такая тенденция была особенно заметна в работах 30-х годов. Напротив, в исследованиях последнего времени все чаще наблюдается игнорирование сложности ранних идейных исканий Салтыкова, искусственное «выпрямление» революционной идеологии писателя, снимающее в сущности вопрос о формировании и эволюции его взглядов.

Е. И. Покусаев избежал этих ошибок. Без «снихождения» к слабым сторонам великого писателя (отбросив этот распространенный в нашем литературоведении предубеждение), он тщательно и шаг за шагом раскрывает сложную картину напряженных идейных исканий писателя и связанных с этими исканиями временных иллюзий и ошибок. Вместе с тем, исследователь, тщательно изучив «амплитуду» идейных колебаний писателя, справедливо и мотивированно утверждает, что они никогда не были настолько значительными, чтобы можно было говорить об отрыве писателя — хотя бы и кратковременном — от революционной демократии, что они, эти колебания по отдельным вопросам идеологии и политической тактики, не останавливали восходящего

Е. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы. Саратовское книжное издательство, 1957.

движения писателя, процесса кристаллизации и укрепления его революционно-демократического мировоззрения.

Идейно-творческая эволюция Салтыкова-Щедрина раскрывается в книге Е. И. Покусаева в живом и сложном взаимодействии факторов личной биографии писателя с факторами, так сказать, биографии русской демократии в целом.

Революционно-демократическое направление русской общественной мысли было явлением сложным, многогранным, развивавшимся во времени и обогащавшимся опытом освободительной борьбы. Исследователь вполне справедливо выступает против тех, кто рассматривает революционный демократизм догматически, как нечто всегда себе равное, неподвижное, кто стирает различия в идейной позиции отдельных его представителей. Устанавливая соотношение воззрений Щедрина с воззрениями революционной демократии вообще и воззрениями Герцена, Чернышевского, Добролюбова и Писарева в частности, Е. И. Покусаев сохраняет за Щедриным все своеобразие его оригинальной индивидуальности.

Е. И. Покусаев, исследуя явления во всей их жизненной конкретности и сложности, великолепно дает почувствовать пафос идейных исканий сатирика, страстность его высокой гражданской мысли, никогда не успокаивающейся, никогда не удовлетворяющейся уже достигнутым, всегда зовущей вперед, всегда устремленной к будущему.

Книга Е. И. Покусаева, свободная от схематизма, абстрактных построений и упрощений, показательна и поучительна объективностью научного исследования, стремлением раскрыть конкретную картину живого и противоречивого движения мысли и творчества писателя.

В монографии можно было бы выделить ряд наиболее значительных открытий, проникновенных наблюдений и блестяще мотивированных обобщений. К ним следует отнести прежде всего анализ одного автобиографического признания Салтыкова-Щедрина в «Круглом годе» о своей литературной деятельности в 50-е и 60-е годы. В 1879 году, находясь на вершине своей идейной и художественной зрелости, Щедрин подверг самокритике некоторые слабые стороны своей идейной позиции в 50-е и 60-е годы, выразившиеся в том, что в это время, во имя «принципа пользы», достижения ближайших целей, он порой был склонен к такой тактике «компромисса», «уступок», которая наносила некоторый ущерб теоретическим принципам революционной демократии.

Автобиографическое признание, мимо которого прошли все прежние исследователи сатирика, не только впервые обнаружено Е. И. Покусаевым, не только мастерски извлечено им из иронической оболочки, в которой оно так долго пряталось от взора наблюдателей, но и отлично, с большим познавательным эффектом прокомментировано. Это открытие позволило исследователю по-новому осветить как характерные особенности литературной деятельности Щедрина до середины 60-х годов, так и причины его трехлетнего молчания (1865—1867) на переходе к высшему этапу идейно-творческого развития.

Исследователь полагает, что по своему значению самокритические свидетельства писателя в «Круглом годе» могут быть приравнены к тем, которые содержатся в очерке «Имярек». И это совершенно справедливо.

Книга Е. И. Покусаева является результатом внимательного критического изучения фактов и их строгого научного анализа. Проиллюстрируем это одним примером. Е. И. Покусаеву удалось уточнить, что письмо Салтыкова к Некрасову, датированное редакторами XVIII тома полного собрания сочинений сатирика 5 октября 1863 года, на самом деле было написано 5 октября 1864 года. Новая датировка письма в свою очередь позволила Е. И. Покусаеву установить, что оставшиеся неопубликованными до 1933 года публицистические статьи 1864 года: «Начну с того самого пункта» (корректурa) и «Итак, история утешает» (рукопись) — представляют собою не варианты XI главы хроники «Наша общественная жизнь», как считалось до сих пор, а самостоятельные и разновременные главы хроники, из которых первая предназначалась для апрельской, а вторая для октябрьской книжек «Современника» за 1864 год.

Новая датировка этих статей, в свое время не увидевших свет, установление их места в публицистике 1864 года и тщательный анализ их содержания помогли исследователю внести существенные дополнения и уточнения в сложную картину внутрeredакционных отношений Салтыкова с группой Антоновича в «Современнике», а также в историю участия Салтыкова в журнальной полемике с «Эпохой» Достоевского и с «Русским словом». Статьи заметим, что освещение полемике Щедрина с группой «Русского слова» полно новизны и должно быть отнесено к лучшим страницам книги Е. И. Покусаева.

Достоинства рецензируемой книги настолько значительны и очевидны, что они, по нашему убеждению, будут оценены всяким заинтересованным читателем. Не считаем поэтому необходимым задерживаться дальше на характеристике достижений исследователя и кратко остановимся на таких вопросах, в трактовке которых мы не вполне согласны с автором.

Е. И. Покусаев категорически отвергает точку зрения С. А. Макашина, доказывавшего в своей известной монографии, что в годы вятской ссылки Салтыков пережил

первый фазис своих теоретических блужданий, фазис, породивший, по позднейшей формулировке самого писателя, своеобразную теорию, сущность которой заключалась в «практиковании либерализма в самом капище антилиберализма». Е. И. Покусаев полагает, что идейные настроения, соответствующие этой теории, охарактеризованной Салтыковым в очерке «Имярека», переживались сатириком не в вятской ссылке, а позднее. Категоричность этого утверждения исследователя не кажется нам основательной.

Прежде всего укажем, что Е. И. Покусаев, признавая известную автобиографичность «Имярека» и неоднократно используя его в своей работе именно в этом качестве, вместе с тем не считается с указанием Салтыкова на то, что упомянутая «теория» родилась у Имярека в ту пору его «обязательной бюрократической деятельности», когда он, после юношеских «сонных мечтаний», был вынужден переселиться в глубь провинции.

Вообще заметим, что охотно доверяя автобиографическим свидетельствам Салтыкова, Е. И. Покусаев отступает от этого принципа, как только заходит речь о годах вятского изгнания. Все те идейные искания и блуждания, которые сам Салтыков-Щедрин относил к вятскому периоду своей чиновничьей деятельности (теория «насаждения либерализма» в недрах бюрократии, претенциозность надежд помочь осуществлению идеала чиновничьей службой, поползновение сводить дело «к личностям», смешение понятий о государстве и обществе), — все это Е. И. Покусаев приурочил только к десятилетию служебной и литературной деятельности сатирика, последовавшему за вятской ссылкой.

Исследователь считает, что в вятский период Салтыков никакого идейного кризиса не переживал, и выдвигает тезисы: «Мировоззрение Салтыкова продолжало складываться, развиваться, мужать» (стр. 9), социалистический идеал Салтыкова «не потускнел в столкновении с жизнью в годы изгнания» (стр. 21).

Конечно, эти тезисы, если не верить позднейшим автобиографическим свидетельствам писателя, столь же трудно опровергнуть, как и доказать, ибо литературная деятельность Салтыкова в ссылке прекратилась.

Что же касается особого усердия, проявленного Салтыковым на службе в Вятке, то исследователь объясняет это только стремлением изгнанника заслужить скорейшее освобождение. Такое объяснение, хотя оно и не вполне обосновательно, все же представляется нам недостаточным.

В высшей степени деятельная натура Салтыкова, никогда не отрешавшаяся от общественных задач, заявляла о себе и в период принудительной службы. И в это время он честно служил не только и, как думаем, даже не столько для того, чтобы такою ценою выкупиться из плена, но и чтобы служить обществу хотя бы в меру тех крайне ограниченных возможностей, которые были ему предоставлены. Пусть Салтыков ошибался, пусть его представления о той общественной пользе, достижения которой мыслилось ему на поприще чиновничьей службы, было иллюзорным, однако общественные соображения и в годы службы в Вятке перевешивали над личными и имели под собой, хотя и шаткие, неверные, но тем не менее идейные основания, несостоятельность которых была осознана Салтыковым лишь в более поздние годы.

«Я,— писал он брату в марте 1852 года,— сделался вполне деловым человеком, и едва ли в целой губернии найдется другой чиновник, которого служебная деятельность была бы для нее полезнее. Это я говорю по совести и без хвастовства, и всем этим я вполне обязан Серее (губернатору.— А. Б.), который поселил во мне ту живую заботливость, то постоянное беспокойство о делах службы, которое ставит их для меня гораздо выше моих собственных» (XVIII, 96).<sup>1</sup>

Эти слова Салтыкова, в искренность которых Е. И. Покусаев отказывается поверить и подозревает в них наличие одного житейского «расчета» (стр. 18), в действительности несут в себе именно тот смысл, который соответствует теории борьбы за идеал на бюрократическом поприще.

Свое утверждение о том, что к этой теории Салтыков в Вятке не обращался, Е. И. Покусаев аргументирует следующими соображениями. «Ведь писателя,— говорит он,— наказали обязательной службой в провинции. Ему не было нужды оправдываться, искать какую-то особую форму поведения, службы, чтобы примирить свои убеждения демократа и социалиста с исполнением обязанностей царского чиновника. В том смысле, в каком Салтыков стал бы искать оправданий, его уже оправдывала ссылка, репрессии правительства» (стр. 16).

Вывод этот представляется нам ошибочным, потому что ошибочна та посылка, на основании которой он сделан. Салтыков в вопросах личной морали был человеком требовательным, даже щепетильным. Однако, враг всякого лицемерия, он всегда стремился не просто казаться морально чистым, а быть таковым на самом деле. Ссылка оправдывала его пребывание в лагере бюрократии в первом смысле, т. е. оправдывала перед другими. Но поведение в ссылке, личное его отношение к службе — это уже дело

<sup>1</sup> Цитаты из произведений Салтыкова-Щедрина приводятся по изданию: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. I—XX, Гослитиздат, 1933—1941.



его идейных убеждений. Он жаждал действовать, но действовать в соответствии с внутренними убеждениями. «Теория», о которой идет речь, родилась не в поисках морального оправдания, а прежде всего в стремлении к деятельности во имя идеала даже в обстановке, этому идеалу враждебной.

Если подойти к вопросу с этой, идейной, а не узко психологической стороны, то можно с полным основанием утверждать, что именно в годы вятского изгнания, когда насильственно прервалась литературная деятельность Салтыкова, когда ему оставалось только поприще принудительной чиновничьей службы,—именно в этих условиях и в это время, больше чем в любое другое время своей деятельности, он испытывал потребность хоть малейшего просвета для работы на пользу общую в рамках бюрократической службы.

Этот просвет и явился в виде ущербной теории, выражавшейся в том, чтобы «практиковать либерализм в самом капище антилиберализма». Следовательно, суждения С. А. Макашина по данному вопросу представляются нам в существе своем верными. Вместе с тем, не соглашаясь с противоположным мнением Е. И. Покусаева относительно вятского периода, признаем все значение его заслуги в основном исследовании идейных настроений сатирика, соответствующих рассматриваемой «теории», в последние годы деятельности Салтыкова.

Не можем согласиться мы и с той трактовкой, которую дал Е. И. Покусаев символической картине «похорон прошлых времен», заключающей «Губернские очерки». Исследователь полагает, что это «ироническая» картина, что автор «Губернских очерков» «ничуть не склонен был по-либеральному хоронить „прошлые времена“, возлагать все свои надежды на реформистскую деятельность царя» (стр. 44—45, 81).

В этих утверждениях верно лишь то, что автор «Губернских очерков» не был склонен хоронить «прошлые времена» *по-либеральному* и возлагать все свои надежды на правительственные реформы. Но автор «Губернских очерков» все же был склонен *хоронить* «прошлые времена», исходя не из либеральной, а из своей концепции хода общественного развития.

Щедрин и в это время не либерал, а демократ по своим программным требованиям, он хотел хоронить прошлое глубоко и окончательно. Но независимо от этих субъективных намерений смысл картины «похорон» в «Губернских очерках» объективно сближался с реформистскими чаяниями либералов, это и дало законный повод Чернышевскому упрекнуть сатирика в том, что он «принимает мечты своего воображения за действительность».<sup>2</sup> Критический выпад Чернышевского остался в рукописной редакции его статьи о «Губернских очерках». Критик отказался печатно заявить об этом, очевидно, по соображениям тактическим, т. е. потому, что не хотел ослаблять революционно-демократического звучания щедринской книги, а не потому, что он будто бы воспринял картину «похорон» в том же смысле, что и Е. И. Покусаев.

Сценой «похорон» закончил Щедрин второй том «Губернских очерков» в 1856 году. Появление третьего тома очерков в 1857 году дало повод Добролюбову в декабре того же года сделать следующее ироническое замечание: «Не дальше, как в прошлом году сам господин Щедрин похоронил прошлые времена. Но вот опять все покойники оказались живехоньки и зычным голосом отозвались в третьей части „Очерков“ и в других литературных произведениях последнего времени».<sup>3</sup>

Если Щедрин и прислушался к голосу Добролюбова, то далеко не сразу осознал глубокий смысл его предостережения. После «Губернских очерков» мотив «смерти» прошлых времен проходит через целый ряд произведений, предназначавшихся первоначально для «Книги об умирающих» (1857—1859) и для книги о Глупове и глуповцах (1861—1862), а затем вошедших в состав сборников «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы» или же оставшихся при жизни сатирика неопубликованными. Здесь то и дело встречаемся с утверждениями следующего рода: глуповское мировоззрение «окончательно заявляет миру о своей несостоятельности» (III, 269); «позволительно *нынче* окончательно рассчитаться с прежнею жизнью» (III, 51); «для вас,—обращается Щедрин к командующим глуповцам,—остается одно только приличное убежище: смерть» (III, 52); «вы находитесь накануне смерти» (III, 54); для старого Глупова «времена... величия окончились» (IV, 278) и т. д.

Оптимистические прогнозы о конце господства крепостников-помещиков и бюрократов делались Щедриным не в смысле далекой перспективы, а в смысле ближайшего, конкретного исхода освободительной борьбы, развернувшейся во второй половине 50-х и в начале 60-х годов.

Напомним, однако, позднейшее признание Щедрина относительно неустойчивости пережитых им в эту пору настроений: «Надежды — и рядом отсутствие всяких перспектив», переходы «от расцветания к увяданию и проч.» (XVI, 719). Чередование настрое-

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. IV, Гослитиздат, М., 1948, стр. 929.

<sup>3</sup> Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах, т. I, ГИХЛ, 1934, стр. 197.

ний, переход от надежды к сомнениям, постоянно наблюдается в щедринских произведениях этого времени.

Но при всех этих колебаниях до начала 1862 года вера в близкое торжество крестьянской демократии остается преобладающим мотивом в настроениях сатирика.

На чем основывалась эта вера? Источником ее в обстановке общего подъема освободительного движения служило глубокое понимание исторической несостоятельности крепостнических форм жизни и крепостнического мирозерцания, с одной стороны, а с другой, — убежденность в покоряющей силе передовых общественных идеалов.

Выдвинув образное понятие о трех способах общественного возрождения — глуповского, буяновского и умновского, — означающих соответственно путь дворянских реформ, путь крестьянского восстания и путь мирной пропагандистской победы крестьянских демократов, Щедрин резко отрицательно относится к первому, сомневается в возможности второго, хотя и не возражает против него, и основные надежды возлагает на третий. Представителей «умновского возрождения» немного, но сила их не в числе, а в могуществе передового мирозерцания, время торжества которого исторически назрело. Придавленные массы стали пробуждаться, хотя и не в состоянии еще быть инициаторами возрождения. Напротив, глуповцы, стоявшие до сего времени в центре жизни, переживают чувство страха, агонизируют накануне смерти; глуповский фасон реформ не может остановить наступления новых форм жизни и лишь свидетельствует о тщетных попытках старого мира удержаться на прежней прогнившей почве.

Если для либералов реформы «сверху» были конечной целью желаний, то для Щедрина они — лишь свидетельство вынужденной уступки старого мира перед лицом стихийного напора угнетенных народных масс и сознательной борьбы демократической интеллигенции. Реформы — это лишь начало процесса, первый предвестник наступления нового на старое, наступления, которого уже ничто не остановит. Таким образом, оптимистические надежды на мирную победу демократии внушали Щедрину не реформы, как таковые, а своеобразное понимание их как свидетельства капитуляции господствующего меньшинства и начавшейся неизбежной и бесповоротной победы передовых идеалов.

На первое место в ряду причин, диктующих исторический приговор господству приверженцев крепостнического строя, сатирик ставит ветхость их мирозерцания, несоответствие образа мыслей запросам общественного развития. Глуповец все еще хочет, но уже не может оставаться господином жизни. И в этом смысле глуповское «гупоумие даже утешительно» (IV, 246). Глупов нельзя переродить, но его можно стстранить как неспособного, отстранить энергией Умова, угрозами со стороны Буянова, наконец воздействием на «эмбрион стыдливости». Глуповцы неисправимы в смысле полного перерождения, они должны уйти с командного поста; но они частично исправимы, исправимы в смысле хоть слабого сознания своей исторической обреченности, что может ослабить активность их сопротивления и побудит скорее оставить занимаемые позиции. Именно в этом — и только в этом — смысле Щедрин не отказывается от апелляции к командующим глуповцам.

Щедрин был прав в своем убеждении, что время диктует необходимость коренных перемен в жизни общества и что, хороня старый мир, он действует заодно с историческим ходом жизни. Но конкретные причины этих перемен он понимал все-таки как просветитель-идеалист. Ветхость старого мира он видел прежде всего в несостоятельности его мирозерцания, в том, что у глуповца два желудка и только полголова, да и эта половина головы общита плотной роговой оболочкой, которая не пропускает никаких новых идей, отвечающих неотложным запросам времени. В воззрениях Щедрина прясился историзм, но историзм на идеалистической основе.

Убежденный, что «никакой организм не имеет права два века жить» (IV, 275) и что век старого организма истек, и в то же время поняв этот закон исторической сменяемости эпох прежде всего применительно к мирозерцанию, Щедрин сделал вывод, что наступило время, когда передовая, демократическая мысль, доведенная до энтузиазма, продолбит «камни невежества и предрассудков» (III, 50). Многие страницы произведений этих лет представляют собою страстные, патетические монологи, проникнутые глубокой верой автора в «вулканическую силу» передовой мысли и горячим убеждением, что уже началось «обмиршение» и неуклонное торжество тех общественных идеалов, носителем которых пока является «мыслящее меньшинство». Это была просветительская мечта о возможности достижения больших и скорых практических результатов без насильственного переворота, путем идеологической войны, это была попытка просветительского штурма твердынь крепостничества и самодержавия. Признавая, что будущие социалистические преобразования могут быть осуществлены только организованными и сознательными действиями самих народных масс, Щедрин строил себе кратковременные иллюзии, что уже теперь, в начале 60-х годов, при пассивной поддержке народа, передовые интеллигенты, опираясь на свое идейное превосходство над противником, могут достичь коренных демократических перемен путем героической пропагандистской деятельности. Попытка эта не стала и не могла, конечно, стать успешной, однако она составила яркий и своеобразный этап в идейно-творческом развитии Салтыкова-Щедрина и наложила свою печать на его художественные принципы.

Именно в это время начинает складываться особая система «просветительской» поэтики Щедрина, система эпитетов, метафор, зоологических уподоблений, гротескных образов и типологических обобщений, призванных, так сказать, графически, портретно заклеить варварское мирозерцание и «скотообразие душ» крепостников: «мохнатые чудища», «кремнистоголовые», «огнепостоянные лбы» и т. д. Высшие в этом ряду сатирические обобщения *Глулов* и *глуповцы* возникли в 1861 году в связи с просветительской верой в победу ума над глупостью и таким образом явились закономерным художественным выражением той позиции, которую занял Салтыков-Щедрин в годы первой революционной ситуации в России.

Вскоре Щедрина станет вполне ясно, что идейное превосходство над противником еще далеко не сразу обеспечивает победу в области социальной и политической жизни, что передовые идеи практически побеждают только тогда, когда они находят себе подкрепление в политической сознательности и организованности борющихся угнетенных масс. В очерке «Каплуны» (начало 1862 года), который писался в качестве «последнего сказания» к циклу о глуповцах, Щедрин, исправляя свою недавнюю ошибку, выражавшуюся в излишне оптимистической оценке ближайших перспектив, скажет: «Не будем ошибаться: насилье еще не упразднено, хотя и подрыто; в предсмертной агонии оно еще простирает искривленные судорогой руки» (IV, 281); «насилие не упразднено, а идеалы далеко» (IV, 286).

Итак, идея об умирании «ветхих людей», крепостнического Глулова, положенная в основание ряда произведений 1856—1862 годов, оказалась преждевременной. Глулов не умер, «похороны» его отодвигались все дальше и дальше в неизвестное будущее. Борьба с ним в действительности была значительно трудней, чем ее представлял себе Щедрин, выходя его впервые в своей сатире. Первоначально, в обстановке освободительного подъема, он переоценил роль идей и недооценил реакционную роль политической системы, стоявшей на страже интересов «умирающих». Осознав это, Щедрин заявит в 1864 году: «... Ведь бывает же, что положение вещей, наглядно невыгодное для самого большинства, все-таки существует многие десятки лет, искусственно защищаемое незначительным меньшинством, успевшим сплотить и организовать себя» (VI, 338—339).

Мы считали необходимым остановиться на разъяснении роли мотива гибели старого мира в идейной позиции Салтыкова-Щедрина потому, что этот мотив, наложивший свою печать на административную и литературную деятельность сатирика 1856—1862 годов, исследован в работе Е. И. Покусаева недостаточно. Пробел тем более заметный, что во всех других отношениях идейные искания Салтыкова этого времени освещены в книге в их тончайших переходах и сложных переплетениях. А между тем этот мотив, будь он прослежен более тщательно, не только не колеблет выводов исследователя, а, напротив, дополнительно аргументирует их, углубляет мотивировку тех «практицистских тенденций» и просветительских иллюзий, которые обнаруживаются в позиции сатирика до середины 60-х годов и которые Е. И. Покусаев подверг более строгому научному анализу, нежели это делалось прежде.

Если уже и в вятский период теория «насаждения либерализма» в капище антилиберализма родилась у Салтыкова не столько из побуждений морального оправдания своей чиновничьей службы, сколько благодаря стремлению к деятельности во имя идеала, то теперь в мотиве внутреннего оправдания он вообще не чувствовал особой потребности, так как был увлечен, пусть ошибочной, но тем не менее властно овладевшей им идеей немедленных демократических преобразований, которые, по его мнению, могли быть на подъеме освободительной волны завоеваны демократической интеллигенцией путем административной и пропагандистской деятельности.

Убеждение, что сам исторический ход жизни бесповоротно оттесняет «ветхих людей» — крепостников-помещиков и крепостников-бюрократов — с командных государственных постов и что назрело время замещения освобождающихся постов передовыми, просвещенными деятелями — это убеждение порождало у Салтыкова иллюзию о целесообразности сочетания в собственной деятельности государственной службы с литературной работой и, таким образом, по-новому, с опорой на своеобразно понятую им «логику истории», обосновывало ту теорию «практикования либерализма», которая берет начало еще в вятском периоде.

Сказанное выше касалось некоторых существенных сторон монографии и дискуссионных ее положений. Можно было бы также указать на ряд частных недочетов.

Достоинству мыслей, обнародованных в книге, не всегда соответствует качество отделки, оформления. Рядом с превосходно сформулированными выводами и положениями встречаются и такие, в которых видны следы первоначальных колебаний мысли исследователя, искавшего окончательных решений. Это вносит в работу некоторую шероховатость, разноречия и неувязки. Так, например, в главе второй, специально посвященной «Губернским очеркам», Салтыков оказывается на такой высоте идейной зрелости, которая, в сущности, исчерпывает развитие его как революционного демократа. В соответствии с этим Е. И. Покусаев не признает даже тех справедливых критических замечаний, которые сделал Добролюбов по адресу автора «Губернских очерков». В следующих главах, возвращаясь к первой сатирической книге Салтыкова, исследователь

неоднократно вынужден указывать на те самые «реформистские иллюзии» и идейные заблуждения, от которых он только что так энергично очищал писателя.

Иногда стремление Е. И. Покусаева к восстановлению сложной картины идейных исканий Салтыкова-Щедрина превышает меру реальной необходимости и порождает искусственные усложнения. Предложенные самим Щедриным различные формулировки одной и той же «теории»: «практикование либерализма в самом капище антилиберализма», «вождение влиятельного человека за нос», «приведение влиятельного человека на правый путь» (XVI, 717) порой трактуются как разные и разновременные «теории».

Книга написана темпераментно, живым и ярким языком, однако местами изложение без надобности отягощено цитатами и повторениями.

Напоминаем об этих частных погрешностях прежде всего с той целью, чтобы обратить внимание автора на необходимость внесения некоторых улучшений в книгу при ее переиздании. А переиздание книги, являющейся бесспорным вкладом в щедриноведение, весьма желательно еще и потому, что она остается пока малодоступной ввиду незначительности тиража первого издания (3000 экз.).

Выскажем и еще одно пожелание. Рецензируемая книга является лишь первой частью докторской диссертации Е. И. Покусаева и оставляет читателя в преддверии высшего этапа, в который вступает литературная деятельность Салтыкова-Щедрина в 70-е годы и которому посвящена основная часть большого труда исследователя, пока еще не опубликованная. Несомненно, издание монографии в полном ее объеме явилось бы новым свидетельством успехов советского литературоведения в области изучения наследия великого русского сатирика.

**В. БАСКАКОВ**

## СОВРЕМЕННОКИ О ЩЕДРИНЕ

Современный исследователь жизни и творчества того или иного писателя прошлого находит ценный материал в переписке, дневниках и воспоминаниях современников, подметивших и сохранивших нам иногда мелкие, но тем не менее характерные факты из личной и творческой биографии писателя. В этом отношении нельзя не приветствовать появление в серии литературных мемуаров целого ряда сборников, составленных из воспоминаний и мемуарных записей современников о крупнейших русских писателях прошлого. Снабженные вступительными статьями и обширным комментарием, основанным на богатом историко-литературном материале, они играют существенную роль в изучении и освещении целого ряда сторон личной, литературной и политической биографии А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. М. Горького и других писателей.

Следует сразу же отметить, что недавно вышедший сборник «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», составленный и прокомментированный С. А. Макашиным, по тщательности отбора и распределения материала и по полноте комментирования выгодно выделяется на фоне других подобных сборников, вышедших несколько раньше, хотя и их нельзя упрекнуть в каких-либо серьезных недостатках. Многочисленные воспоминания современников о М. Е. Салтыкове-Щедрине, до сих пор рассыпанные по различным периодическим изданиям, в лучшей, наиболее достоверной своей части теперь стали доступны читателю.

Если говорить о составе сборника, то, пожалуй, трудно назвать что-либо существенное из мемуарной литературы о писателе, что ускользнуло бы из поля зрения составителя. Из нескольких сот известных в настоящее время мемуарных свидетельств современников в сборник вошла лишь их незначительная, но наиболее интересная часть.

Включенные в сборник воспоминания охватывают в основном период с 1848 по 1889 год. Лишь небольшой стрывок из воспоминаний А. Панаевой несколько выходит за эти хронологические рамки в той своей части, где Панаева рассказывает о встречах с Салтыковым-Щедриным у М. А. Языкова в начале сороковых годов.

Характер материала обусловил и композиционные принципы построения сборника. Воспоминания в нем расположены не в соответствии с хронологической канвой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, а распределены на пять групп, с учетом характера отношений авторов воспоминаний к сатирику.

Первый раздел (Среди литераторов), наиболее обширный по количеству вошедших в него воспоминаний, включает мемуарные свидетельства и заметки, принадлежащие перу писателей, в то или иное время непосредственно связанных с М. Е. Сал-

М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина. Гослитиздат, 1957.

тыковым-Щедриным. Авторы их — преимущественно сотрудники «Современника» или «Отечественных записок», а поэтому фактическая ценность и полнота воспоминаний, оставленных ими, определяется прежде всего близостью писавших к редакциям этих журналов, с которыми неразрывно связано имя великого русского сатирика.

Среди мемуарной литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине по точности и важности затронутых вопросов выделяются обширные воспоминания видного участника революционного движения 60-х годов, сотрудника «Отечественных записок» Л. Ф. Пантелеева, долгие годы находившегося в дружеских отношениях с писателем. Занимая центральное место в первом разделе сборника, они представляют собой незаменимый материал для характеристики последних лет жизни Салтыкова. Ценность воспоминаний Л. Ф. Пантелеева увеличивается еще и тем, что их хронологические рамки значительно расширены за счет включения автобиографических рассказов сатирика, записанных мемуаристом.

Значительная часть воспоминаний первого раздела принадлежит перу писателей, лишь эпизодически сталкивавшихся с М. Е. Салтыковым-Щедриным (Н. Н. Мазуренко, Е. С. Некрасова, Ив. Щеглов, В. Г. Короленко и др.). Припоминая свои краткие встречи с сатириком, они большей частью останавливались на отношении М. Е. Салтыкова-Щедрина к себе и своим произведениям, сохранив тем самым для нас целый ряд интереснейших его высказываний по вопросам литературной жизни того времени. Нельзя также не упомянуть воспоминаний Р. И. Сементовского, свидетельствующих о большом интересе М. Е. Салтыкова-Щедрина к польской литературе, к произведениям Г. Сенкевича и Э. Ожешко, для популяризации которых в России он предоставил многие страницы «Отечественных записок». Интересны и страницы воспоминаний П. Д. Боборыкина, характеризующие в некоторой степени отношение сатирика к французской литературе, в частности к творчеству Г. Флобера и Э. Золя. Из отзывов М. Е. Салтыкова-Щедрина о русских писателях привлекают внимание в изобилии рассыпанные по страницам первого раздела сборника высказывания его о В. Г. Белинском, И. С. Тургеневе, Н. Г. Чернышевском, Вс. Гаршине и многих других.

Второй раздел сборника (В редакции «Отечественных записок») включает воспоминания о М. Е. Салтыкове-Щедрине его ближайших соратников по изданию журнала (Г. З. Елисеев, С. Н. Кривенко, А. М. Скабичевский, Я. В. Абрамов, С. Н. Южаков, Н. К. Михайловский). Эти воспоминания, написанные непосредственно после смерти сатирика, относятся преимущественно к периоду его редакторства в «Отечественных записках».

В это время М. Е. Салтыков-Щедрин, окончательно оставив служебную деятельность, все свои силы посвящает литературе. Его биография периода редакторства — это история «Отечественных записок» и, наоборот, — история журнала — это биография его редактора. «Он жил в „Отечественных записках“», — замечает В. Г. Короленко, подчеркивая эту особенность в творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Заключенные в этом разделе воспоминания ценны главным образом своим фактическим материалом, характеризующим деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина — редактора и писателя. Однако идеологические характеристики и общие оценки его деятельности, данные авторами с позиций либерального народничества, далеко не всегда правильны: они, как отмечает в своей вступительной статье С. А. Макашин, «несут на себе иногда явную печать либерально-народнической путаницы и фальши».

Тем не менее, несмотря на ряд путаных и туманных оценок и характеристик, эти воспоминания в основной своей части дают богатый материал и для понимания той атмосферы, которая царяла в редакции «Отечественных записок», и для воссоздания образа Салтыкова как писателя и редактора. Это прежде всего следует отнести к тщательно проверенным и документированным воспоминаниям С. Н. Кривенко, а также к помещенным в этом же разделе мемуарным статьям Н. К. Михайловского.

Воспоминания первых двух разделов составляют основное ядро сборника. Раскрывая отношение сатирика к тем или иным литературным явлениям и отдельным писателям, они в то же время воссоздают, быть может не всегда достаточно полно, ту обстановку, в которой ему приходилось работать. С точки зрения характеристики литературных отношений и писательской манеры М. Е. Салтыкова-Щедрина они, несомненно, играют в сборнике центральную роль.

В мемуарной литературе часто можно встретить самые противоречивые высказывания об отношении Салтыкова-Щедрина к революционному движению. Одни авторы утверждают, что он был даже членом первой «Земли и воли», другие, наоборот, признавая в нем принципиального «легалиста», считают, что он не имел совершенно никаких связей и даже общения с революционной средой. Однако вошибочные, оба эти утверждения опровергаются воспоминаниями, собранными в третьем разделе сборника (Встречи с участниками революционного и студенческого движения).

Преимущественно краткие и немногочисленные мемуарные заметки деятелей революционного движения позволяют, хотя и далеко не полностью, установить круг связей М. Е. Салтыкова-Щедрина в этой среде. В кратких и скупых заметках засвидетельствованы такие далеко не маловажные для биографии сатирика факты, как знакомство его с известным русским революционером Г. Лопатиным, хлопоты об освобождении

Д. П. Сильчевского из административной ссылки, встречи с революционной молодежью, в частности — с братом и сестрой В. И. Ленина — Александром Ильичом Ульяновым и Анной Ильиничной Ульяновой. Не менее интересны и указания С. Г. Стахевича о беседах Салтыкова с Чернышевским на темы о будущем политическом устройстве России.

Собранные воедино, эти воспоминания дают довольно правильное представление о глубоко сочувственном отношении М. Е. Салтыкова-Щедрина к революционному движению и его участникам.

Служба М. Е. Салтыкова-Щедрина, продолжавшаяся более двадцати лет, тесно переплелась с его литературной деятельностью. Поэтому и воспоминания, сгруппированные в четвертом разделе, хотя он и называется «На службе», далеко не всегда ограничиваются только характеристикой Салтыкова-чиновника, но и касаются его как писателя.

Приводимые в этом разделе материалы относятся к самым различным этапам служебной деятельности М. Е. Салтыкова. Отрывки из воспоминаний К. С. Веселовского и заметка И. А. Пузыревского с приложением дневника Н. В. Кукольника освещают подробности апрельских событий 1848 года, ареста и ссылки М. Е. Салтыкова-Щедрина в Вятку. Для выяснения обстоятельств, предыстории ссылки писателя эти материалы имеют первостепенное значение.

Не менее важны и интересны впервые публикующиеся отрывки из дневников А. В. Дружинина и А. И. Армеева, относящиеся к 1856—1857 годам, т. е. ко времени работы М. Е. Салтыкова-Щедрина над «Губернскими очерками». Особого внимания заслуживают дневниковые записи А. И. Армеева, статистика, историка и краеведа, сослуживца М. Е. Салтыкова-Щедрина по министерству внутренних дел. На глазах у Армеева создавались «Губернские очерки», с жизненным материалом которых он был хорошо знаком по своей краеведческой работе в Вятской и Казанской губерниях. Поэтому многие замечания этого очевидца представляют для современного исследователя исключительный интерес, давая богатый материал для комментирования первого крупного произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина. Живые зарисовки и зафиксированные мемуаристом меткие замечания Салтыкова, высказывания его по поводу отдельных своих очерков придают дневнику особый интерес и ценность.

В воспоминаниях, относящихся к рязанскому, тверскому, пензенскому и тульскому периодам службы писателя, также содержится большое количество фактического материала, необходимого для комментирования произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина и для восстановления отдельных звеньев его биографии.

Воспоминания друзей и близких знакомых писателя, наблюдавших его преимущественно в частной жизни, вошли в последний раздел сборника (В кругу семьи, друзей и знакомых). Среди них обширная мемуарная статья Л. Н. Спасской, дочери врача Н. В. Ионина, с которым М. Е. Салтыков-Щедрин был в близких дружеских отношениях в годы вятской ссылки. Воспоминания Л. Н. Спасской, написанные на основании рассказов родителей, — единственный мемуарный источник о жизни М. Е. Салтыкова-Щедрина в Вятке. Здесь же и известные воспоминания Н. А. Белоголового, врача и близкого друга писателя в последние годы его жизни; и воспоминания А. М. Унковского, а также его сына и дочери, которые долгие годы были близки с семьей Салтыковых. Свидетельства этих людей дают интересные сведения об отношениях, сложившихся в семье Салтыкова, о его частной жизни, о его длительной и мучительной болезни.

Таким образом, в сборник вошли воспоминания, в самых различных отношениях характеризующие М. Е. Салтыкова-Щедрина. Одни из этих воспоминаний извлечены из старых, в настоящее время почти недоступных, периодических изданий, другие, печатающиеся впервые, обнаружены в многочисленных архивохранилищах, тщательно обследованных составителем. К последним относятся воспоминания В. П. Буренина, Е. С. Некрасовой, А. В. Дружинина, А. И. Армеева, В. И. Танеева, В. М. Лазаревского, М. А. и С. А. Унковских.

Однако несмотря на тщательно продуманные принципы отбора материала, мы не находим возможным согласиться с составителем, который в своем предисловии пишет, что включение в сборник материалов из переписки современников нарушило бы мемуарный жанр книги. Кстати заметим, что составитель не был строг в соблюдении этого правила и поместил в сборнике извлечения из писем Е. С. Некрасовой. Нам кажется, следовало бы дальше идти в этом направлении и дополнить сборник разделом «М. Е. Салтыков-Щедрин в переписке современников». Это не только не противоречило бы жанру книги, но и сделало бы ее еще более содержательной. Здесь мы имеем в виду интереснейшие характеристики М. Е. Салтыкова-Щедрина как человека и художника, содержащиеся во многих письмах и дневниковых записях Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского и других выдающихся современников. С. А. Макашин дал краткий обзор этих высказываний, но было бы целесообразно использовать их полнее, включив непосредственно в состав сборника.

Относительно композиции сборника следует сказать, что расположение материала по тематическому принципу вполне себя оправдывает. Однако желательно было бы все же координировать тематический принцип с хронологическим, что, на наш взгляд, позволило бы сконцентрировать внимание читателя на некоторых отдельных периодах жизни и творчества писателя. Так, например, следовало бы выделить в особый раздел

воспоминания, характеризующие М. Е. Салтыкова-Щедрина до 1856 года, т. е. до создания им «Губернских очерков». Речь идет здесь лишь о нескольких воспоминаниях, а именно: А. Я. Панаевой, К. С. Веселовского, И. А. Пузыревского (с приложением дневника Н. В. Кукольника), Л. Н. Спасской. Такое выделение, нам кажется, было бы правомерным, во-первых, потому, что эти воспоминания имеют свою резко очерченную хронологическую границу: воспоминания К. С. Веселовского, И. А. Пузыревского (с дневником Н. В. Кукольника) ограничены апрелем 1848 года, мемуарная статья Л. Н. Спасской охватывает период с 1848 по 1856 год и лишь отрывок из воспоминаний А. Я. Панаевой несколько уводит в 60-е годы, хотя в основной его части речь идет о Салтыкове-лицейсте. Во-вторых, посвященные определенному периоду жизни писателя, они, будучи собраны вместе, более отчетливо и ярко воспроизвели бы облик молодого Салтыкова. В-третьих, почти все они (за исключением отрывка из воспоминаний А. Я. Панаевой) связаны общей темой: вятская ссылка М. Е. Салтыкова и ее предыстория.

Второе замечание по композиции касается последовательности разделов внутри сборника. Раздел о службе М. Е. Салтыкова-Щедрина, хотя он и имеет лишь косвенное отношение к характеристике его как писателя, все же следовало бы поместить перед разделом «В редакции „Отечественных записок“», так как Салтыков оставил службу прежде, чем вместе с Некрасовым встал во главе журнала.

Таким образом, не нарушая в основном тематического принципа, принятого при распределении материала, следовало бы более тщательно увязать его с основными этапами жизни и творчества писателя и, где возможно, отразить эту связь композиционно.

Научное оформление книги заслуживает самой высокой оценки, оно вооружает читателя превосходным путеводителем по разнообразному и порой весьма разноречивому мемуарному материалу.

Содержательная вступительная статья не только знакомит читателя с общей характеристикой сборника и его композицией, но и дает широкое представление о всем комплексе мемуарной литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрина, указывает на различный подход мемуаристов к писателю, на различные оценки им его творчества. Заканчивая в себе общую характеристику воспоминаний в целом, вступительная статья неразрывно связана с краткими вводными заметками, предпосланными каждому воспоминанию в отдельности. В них С. А. Макашин дает не только биографические справки об авторах воспоминаний, но и подробно останавливается на характере их отношений к М. Е. Салтыкову-Щедрина. Это позволяет найти правильный подход к истолкованию отдельных высказываний, характеристик и оценок, заключенных в данном мемуарном источнике. Так, например, во вступительной заметке к воспоминаниям В. П. Буренина С. А. Макашин, характеризуя отношение автора к М. Е. Салтыкову-Щедрина, указывает, что Буренин «ни словом не обмолвился... в своих воспоминаниях о подлинном отношении Щедрина к нему — „собственному корреспонденту газеты «Чего изволите?»“, а это отношение, исполненное глубочайшего презрения, было автору воспоминаний прекрасно известно». Таким образом, составитель, останавливаясь на особенностях данного мемуарного источника, дает в руки читателю ключ для правильного его понимания.

Во вступительных заметках использована обширная мемуарная литература, устные воспоминания, в разное время записанные С. А. Макашиным, богатый архивный материал.

Но основу научного аппарата сборника составляет, конечно, историко-литературный комментарий, занимающий более 150 страниц, т. е. шестую часть объема книги. Комментарий С. А. Макашина — это не просто пояснительные примечания к тексту, какие еще, к сожалению, часто встречаются во многих, на первый взгляд научных изданиях, а скорее серия миниатюрных историко-литературных исследований, изложенных в форме комментария, которые в ином издании могли бы выступать в качестве самостоятельных исследований. Так, например, комментируя запись разговора Л. Ф. Пантелеева с Н. Г. Чернышевским о М. Е. Салтыкове-Щедрина, С. А. Макашин подробно останавливается на упоминающейся целым рядом мемуаристов (в сборнике: Е. И. Жуковская, Л. Ф. Пантелеев) истории В. А. Обручева, известного соратника Н. Г. Чернышевского, арестованного в 1861 году за распространение прокламации «Великоруса». Дело в том, что долгое время считалось, будто бы М. Е. Салтыков дал повод для ареста Обручева, передав присланные ему по почте прокламации «Великоруса» тверскому губернатору П. Т. Баранову, а последний отправил их в III отделение, что и послужило непосредственной уликой против В. А. Обручева. Эти слухи, порочащие М. Е. Салтыкова и проникшие в мемуарную литературу, до сих пор не находили исчерпывающего опровержения и, конечно, не потому, что кто-то сомневался в непричастности к этой истории писателя, а просто за неимением достаточных документальных данных, которые позволили бы разоблачить эту давно сложившуюся легенду. Используя переписку современников, материалы III отделения, пользуясь устными справками дочери В. А. Обручева Веры Владимировны Обручевой, Макашину удалось и, надо заметить, очень убедительно доказать непричастность М. Е. Салтыкова-Щедрина к делу В. А. Обручева. Следовательно, привлекая огромный фактический материал — архивный, мемуарный, устный, С. А. Макашин не только комментирует те или иные места публикуемых вос-

поминаний, но и попутно разрешает иногда очень сложные, требующие кропотливого исследования вопросы творческой и личной биографии писателя. Важно подчеркнуть, что комментарий С. А. Макашина имеет не пояснительный характер, а чисто исследовательский. Составитель не ограничивается популярным растолкованием читателю фактов и намеков, содержащихся в текстах воспоминаний, а исследует их и делает свои выводы и заключения, тем самым превращая в самостоятельный исследовательский этюд отдельные части комментария.

Таким образом, сборник «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников» следует отнести к лучшим советским изданиям мемуарной литературы как по подбору материала, так и по научному аппарату, представляющему собой своеобразный свод ценных, имеющих иногда первостепенное значение материалов для дальнейшего изучения биографии и творчества великого русского сатирика.





## ПОЭМА МАЯКОВСКОГО „ХОРОШО!“

### О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА ПОЭТА

За последнее десятилетие изучение творчества Маяковского далеко шагнуло вперед. Опубликованы десятки книг, сотни статей. Из журналов эта тема перекочевала в «Ученые записки», академические сборники. Изучение наследия крупнейшего советского поэта превратилось в самостоятельную отрасль нашей литературоведческой науки, накопившую уже немало полезного материала для осмысления истории советской литературы.

Однако бурный количественный рост не всегда был связан с повышением качества исследования. Несмотря на обилие работ о Маяковском, многие важные вопросы творчества поэта все еще разрабатываются очень слабо. Немало появляется статей и даже книг, авторы которых избегают постановки сложных проблем. Почти не возникает научных споров, хотя в литературе о Маяковском порой сосуществуют совершенно различные точки зрения (так, например, одни исследователи творческий метод раннего Маяковского определяют как метод критического реализма, другие — как метод революционного романтизма).

Совершенно недостаточно изучается влияние творчества Маяковского на развитие советской поэзии. Как это ни парадоксально, но приходится признать, что более подробно обследовано влияние Маяковского на развитие братских литератур (украинской, белорусской, армянской, азербайджанской, литовской и др.), чем на развитие русской литературы.

Во многих работах еще сказывается односторонний подход к изучению Маяковского, неумение, а порой и нежелание рассматривать творчество поэта во всем его живом многообразии, анализировать произведение как нераздельное единство идейного содержания и художественной формы.

В свое время, когда поэтическое наследие Маяковского было изучено еще очень поверхностно, когда в критических статьях порою выдвигались на первый план второстепенные вопросы, связанные с футуристическими увлечениями поэта, резкий акцент на социальном содержании, идейных мотивах его творчества был вполне закономерен и оправдан. Без этого нельзя было преодолеть ошибочные, субъективистские концепции, понять сущность и значение новаторства Маяковского. Однако чем дальше, тем острее стала ощущаться необходимость всестороннего изучения наследия поэта, выяснения идейно-художественного своеобразия его вклада в развитие литературы. Как в крупных работах, так и в целом ряде специальных статей, появившихся за последнее пятилетие после дискуссии о творчестве Маяковского, определилась плодотворная тенденция к обстоятельному и всестороннему исследованию его поэтического наследия.

Пристальное внимание к вопросам художественного мастерства, изучению поэтического стиля характеризует и недавно вышедший сборник «Поэма Маяковского „Хорошо!“», подготовленный Институтом мировой литературы им. М. Горького.

Заслуживает одобрения уже самый выбор темы исследования поэма «Хорошо!» — одно из лучших творений Маяковского — далеко еще недостаточно изучена в нашей науке, причем слабее всего раскрыто именно художественное своеобразие этого замечательного произведения социалистического реализма.

Сборник открывается большой статьей Н. И. Калитина «Слово и мысль», самое название которой указывает на стремление раскрыть смысловое богатство и художественную выразительность поэтического языка Маяковского.

Наблюдения автора, порой очень тонкие, основанные на глубоком проникновении в идейный смысл и эмоциональное звучание стиха поэта, позволяют полнее представить некоторые важные моменты поэтического стиля Маяковского, осмыслить значение и взаимосвязь творческих исканий поэта в области языка, рифмы и ритмики. Эти наблюдения дополняются материалами статьи Г. Г. Афонникова «Сжатое слово», автор которой, рассмотрев способы «конденсации» поэтического языка, справедливо отмечает

внутреннюю связь этой, столь характерной для Маяковского тенденции с расположением его стихотворной строки, знаменитой «лесенки», служащей для графического выражения свойственной стилю Маяковского интонационно-смысловой насыщенности поэтического слова.

Близка к названным работам и статья В. А. Зайцева «Шестая глава поэмы (Из наблюдений над стилем)».

Поскольку все эти работы посвящены вопросам стиля и имеют много общего в самом подходе к изучению материала, хочется сделать несколько замечаний, касающихся исходных теоретических положений, определяющих направление анализа.

Вопросы поэтического стиля в последние годы довольно широко привлекают внимание исследователей (об этом, в частности, свидетельствует библиография работ о поэме «Хорошо!», опубликованная в III разделе сборника). Однако до сих пор самое содержание этого понятия — в теоретическом плане — определяется весьма расплывчато. Совершенно справедливо распространенное мнение, что в стиле, в языке писателя наиболее рельефно, наиболее наглядно проявляется его творческая индивидуальность, свойственное ему художественное видение и изображение жизни. Однако часто забывается при этом другая сторона дела, тот неоспоримый факт, что сама творческая индивидуальность формируется в определенных общественно-исторических условиях, что поэтический стиль большого художника отражает не только своеобразие его поэтического мышления, эстетических представлений и художественных вкусов, но и типические тенденции литературного языка своей эпохи в их индивидуальном творческом преломлении; что, наконец, в стиле нередко проявляется влияние эстетических принципов того литературного направления, с которым связана (или была связана) деятельность изучаемого писателя, и что это влияние порой оказывается весьма значительным. В подтверждение этого достаточно сослаться на увлечение формой сказа, эту литературную «корь», которой, по меткому определению К. Федина, «переболели» многие писатели-прозаики начала 20-х годов, или же вспомнить раннее творчество Маяковского, в котором отчетливо ощущается борьба против влияния символистского стиля.

Конечно, зрелый мастер не увлекается «литературной модой»; собственный творческий опыт позволяет ему выработать своего рода иммунитет и не поддаваться «детским болезням», столь сильно действующим на начинающих авторов. Но и в стиле зрелого художника в той или иной форме проявляются черты своего времени, и это обстоятельство нельзя забывать при анализе его произведений. Нельзя раскрыть «особенности языка и стиля» писателя (эта распространенная формула часто является подзаголовком статей или разделов, посвященных изучению стиля) вне сравнения с творчеством писателей-современников, без учета характерных тенденций в развитии литературного языка данной эпохи.

К сожалению, эта простая, ясная и далеко не новая мысль часто забывается литературоведами, обращающимися к анализу языка и стиля. В результате этого изучение стиля подменяется более или менее удачным комментированием отдельных примеров, теряет свою научную основу, сводится к субъективным оценкам тех или иных «особенностей».

Это отнюдь не означает, что в работах такого рода не может быть ценных наблюдений и даже отдельных верных обобщений. Большую роль играет опыт, литературное чутье, субъективная культура автора, наконец, степень разработанности вопроса в научной литературе. Однако в целом такой односторонний подход к изучению стиля неизбежно ограничивает поле зрения исследователя и не дает возможности дать научно обоснованное решение вопроса.

В рецензируемом сборнике ощущается это стремление ограничить рассмотрение вопросов стиля узкими рамками данного поэтического текста. Наиболее отчетливо это заметно в статье В. А. Зайцева, которая, по существу, представляет собой развернутый и, добавим, чересчур многословный комментарий к центральной главе поэмы «Хорошо!». Доказательность автор порою подменяет восторженными декларациями («патетически-приподнято звучат строки о штабе восстания — Смольном и вожде революции — Ленине» — стр. 107; «строки... удивительны своей образной конкретностью» — стр. 111, «Маяковский использует все богатство своего поэтического и языкового оружия для утверждения победоносности сил революции» — стр. 115 и т. п.). Он ни разу не ссылается на работы своих предшественников, хотя о стиле 6-й главы в той или иной мере говорили почти все критики и литературоведы, обращавшиеся к поэме «Хорошо!». И многое из того, что подмечает В. А. Зайцев, было указано до него и, что самое главное, примерно в той же самой интерпретации.

Можно бы не останавливаться на этих фактах, если бы они имели частный характер. Но дело в том, что эти недостатки связаны с определенным подходом, определенным направлением в изучении стиля. И в статье Н. И. Калигина, значительно более яркой и интересной, ощущается эта тенденция к комментированию текста. Он также не пытается показать движение, развитие поэтического стиля Маяковского, его связь с теми или иными направлениями в литературном языке 20-х годов. «Особенности языка и стиля поэмы» автор стремится выяснить без сопоставления с какими-то аналогичными литературными фактами. Как и В. А. Зайцев, Н. И. Калигин не полемизирует с теми,

кто до него писал о стиле поэмы «Хорошо!», и не обобщает их достижений, хотя, разумеется, его работа во многом опирается на опыт нашей науки.

Мне могут возразить, что автор волен сам избрать то или иное направление работы, что не обязательно в каждой статье упоминать предшественников, что по творчеству Маяковского столько написано, что если начнешь освещать историю вопроса, то не останется места для изложения собственной точки зрения; что, наконец, в статьях сборника есть немало ценного, пополняющего наши представления о мастерстве Маяковского.

Это, конечно, справедливо, и потому в начале рецензии было подчеркнуто положительное значение разбираемой книги. Однако в данном случае речь идет не о сборнике, объединяющем случайно соседствующие статьи, а о работе определенного научного коллектива, единственного в стране научного центра по изучению жизни и творчества Маяковского, о работе, которая будет иметь свое большое продолжение. Вступительная статья редакции тома заключается такими словами: «Выпуская в свет сборник, сектор изучения жизни и творчества Владимира Маяковского ИМЛИ считает это началом исследовательской работы, к которой он приступает вслед за изданием полного собрания сочинений великого поэта Октябрьской революции».

Поэтому мне представляется необходимым не только обсуждение достоинств и недостатков тех или иных статей сборника, но и серьезный разговор о направлении работы, который, видимо, развернется в связи с оценкой этой книги.

Кроме статей, посвященных вопросам поэтического стиля, в сборнике имеются и другие интересные материалы, среди которых в первую очередь следует назвать статью Ф. Н. Пицкель «От поэмы „Владимир Ильич Ленин“ к „Хорошо!“».

Вдумчивое сопоставление этих двух крупнейших произведений Маяковского позволяет автору статьи очень конкретно и убедительно показать развитие идейно-художественных принципов творческой работы поэта, дальнейший рост его поэтического мастерства. Некоторые частные положения, возможно, вызовут возражения (так, например, автор слишком настойчиво подчеркивает «скульптурность» стиля поэмы «В. И. Ленин» в противовес «живописности» поэмы «Хорошо!»; едва ли следует говорить об отказе поэта от распространенных метафор, скорее следует показать изменение самого характера метафоры и т. п.). Однако в целом эта статья привлекает внимание свежестью мысли и точностью наблюдений.

Полезные, хотя и не всегда новые (но, добавим, почти забытые) материалы представлены в статье В. Ф. Земскова «Река по имени „Факт“». (Некоторые исторические источники поэмы «Хорошо!»), в воспоминаниях П. И. Лавута, в сообщении Ю. Т. Ходжаева «Маяковский читает „Хорошо!“ (по страницам газет)». Коротенькая заметка С. С. Лесневского «„Хорошо!“ — оценка эстетическая» акцентирует внимание на отражении эстетических позиций писателя в стиле произведения (кстати сказать, этот вопрос затрагивается и в других статьях сборника).

Ценные сведения о звучании поэзии Маяковского за рубежами нашей родины и, прежде всего, среди братских славянских народов содержатся в статьях второго раздела сборника, авторами которых являются поэты и писатели, переводчики произведений Маяковского. Заряженная огромной силой идейного и эмоционального воздействия, поэзия Маяковского оказывала и оказывает огромное влияние на своих читателей. Именно поэтому, как рассказывает в своей статье Василь Колевски, в Болгарии 20-х годов, в период господства фашизма, враги народа и партии вели борьбу против Маяковского, избрав своим оружием замалчивание и клевету. Та же линия в отношении к Маяковскому была характерна и для буржуазной Венгрии. Только после второй мировой войны венгерские читатели смогли познакомиться с произведениями крупнейшего советского поэта, работа над переводами которых оказалась серьезной поэтической школой для переводчиков.

Интересные наблюдения имеются в статье чехословацкого поэта Иржи Тауфера, много переведившего Маяковского. Он очень тонко подмечает важные стороны поэтического мастерства Маяковского и вместе с тем показывает живое идейно-политическое значение творчества советского поэта. Рассматривая историю постановки «Бани» в Чехословакии, он вспоминает события 1948 года, борьбу чехословацкой народной демократии против остатков реакционных сил. «Многие типы, разоблаченные Маяковским, — пишет Иржи Тауфер, — не были нам еще достаточно ясны, они только „созревали“ — например, буржуа, считающий социализм утопией, „совмещанин“ Победоносиков. Советскую комедию, написанную на злобу дня, наша „чехословацкая злоба дня“ догнала много лет спустя» (стр. 231).

В статье А. Стерна можно найти примеры, характеризующие сложность и трудность перевода произведений Маяковского и в особенности поэмы «Хорошо!», которую автор статьи называет «гениальным произведением», «одной из лучших поэм в мировой литературе» (стр. 248). Автор высказывает правильную мысль об огромных изменениях в поэзии Маяковского послеоктябрьского периода, свидетельствующих о быстром творческом росте поэта (стр. 244). Как можно судить по примечанию редакции, статья А. Стерна написана в начале 1957 года. Тем более странно для советского читателя узнать о последовавшем буквально через несколько месяцев резком изменении позиций

этого польского литератора, который от восхваления октябрьской поэмы Маяковского перешел к повторению давно уже отвергнутой и разоблаченной версии об «удушении» таланта. А. Метченко в своей статье «Против субъективистских измышлений о творчестве Маяковского»<sup>1</sup> дал убедительный ответ подобным выступлениям.

В Польше не прекращается борьба вокруг наследия Маяковского. И в самое последнее время можно встретить совершенно неправильный, сугубо эстетский подход к творчеству замечательного поэта революции, отражающий идейные шатания в среде интеллигенции, столь очевидно связанные с ревизионистскими выступлениями в области политики. Примером может служить рецензия Виктора Ворошильского на вышедший на польском языке сборник стихотворений Маяковского «Поэзия».<sup>2</sup>

Факты этой борьбы еще и еще раз подтверждают живое, политически актуальное значение произведений поэта революции в странах, прокладывающих путь к социализму.

В литературе о Маяковском еще очень недостаточно изучено влияние великого русского поэта советской эпохи на развитие мировой поэзии. Можно надеяться, что публикация статей на эту тему в сборнике, подготовленном Институтом мировой литературы им. М. Горького, послужит началом систематического и планомерного ее исследования.



<sup>1</sup> «Коммунист», 1957, № 18, стр. 70—71.

<sup>2</sup> «Nowa kultura», 1958, N 14—15.

## ЕЩЕ ОДНА КНИГА О М. ГОРЬКОМ

В последнее время появилось несколько значительных работ о Горьком, в том числе, — что особенно ценно, — о Горьком периода советских лет. Все это говорит о том, что пришла пора для создания больших, обобщающих работ о великом писателе нашей эпохи, охватывающих всю его многообразную деятельность. Настоятельная потребность в исследованиях подобного рода особенно ощутима сейчас, когда за рубежом делаются попытки опорочить наследие великого Горького, поставить под сомнение успехи и достижения советской литературы, жизненность и плодотворность метода социалистического реализма.

Естественно поэтому, что книга Е. Наумова не может не привлечь внимание читателей актуальностью своей темы.

Автор поставил задачу определить роль Горького в борьбе за развитие советской литературы в период 1917—1936 годов. Первая глава книги освещает творческую и общественно-политическую деятельность Горького в годы революции и гражданской войны. Во второй главе речь идет о становлении советской прозы в 20-е годы, об участии Горького в литературной борьбе тех лет, его выступлениях против групповой разобщенности писателей. Содержание третьей главы — журнальная деятельность Горького 30-х годов, его роль в подготовке первого Всесоюзного съезда советских писателей, а также участие в дискуссии за чистоту языка и т. д.

Несмотря на значительное число затронутых проблем, имеющих отношение к борьбе Горького за идейность и мастерство советских писателей, заглавие монографии не вполне соответствует ее содержанию. Автор собрал и расположил в определенной последовательности факты жизни и творчества Горького, его отзывы об отдельных писателях, свидетельства современников, в результате читатель получил литературную хронику, лишенную существенных выводов и теоретических обобщений.

Многое из того, о чем пишет Е. Наумов, неоднократно освещалось в различных статьях и монографиях. Однако автор не всегда с должным уважением относится к результатам исследований своих предшественников. В книге отсутствуют ссылки на работы ряда известных литературоведов, изучающих жизнь и творчество Горького. Так, в соответствующих разделах не упомянуты Н. К. Пиксанов как исследователь проблемы «М. Горький и национальные литературы», К. Д. Муратова в связи с изучением публицистики Горького 30-х годов, В. Щербина и А. Волков, достаточно полно осветившие в своих работах взаимоотношения писателя с А. Толстым и А. Серафимовичем.

Проблема горьковских традиций в советской литературе является одной из центральных в монографии Е. Наумова. Нет нужды говорить о важности и сложности этой проблемы, изучением которой занимаются многие литературоведы. В монографиях, посвященных советским писателям, обычно имеется раздел или глава, которые поясняют значение творчества Горького для данного писателя. К сожалению, новая книга мало внесит нового в разработку этого вопроса. Как правило, автор не идет дальше сообщения о взаимоотношениях Горького с писателями, сводки отзывов литераторов о роли Горького в их творческой жизни и установления сходных с горьковскими тем и отдельных ситуаций в их произведениях. Е. Наумов либо декларативно заявляет, что творчество Горького (или какое-либо произведение) оказало влияние на такого-то писателя, либо ограничивается выявлением сходных тем и героев.

Нередко такие сближения делаются в самом общем плане. Так, говоря о «Железном потоке», автор пишет: «Эпопею А. Серафимовича роднит с горьковским творчеством мысль о народе, как движущей силе революции, правильное раскрытие роли и места личности в революционной массе» (стр. 128). Однако эта мысль в годы создания

---

Е. Наумов. М. Горький в борьбе за идейность и мастерство советских писателей. Гослитиздат, М., 1958.

«Железного потока» уже не являлась открытием одного Горького. Сама жизнь, революционные события приводили к этому выводу писателей. Сопоставление «Железного потока» с «Матерью» Горького — и в частности сближение образов Ниловны и бабы Горпины — очень схематично.

Неудачны попытки сблизить «художественное изображение» капитализма у Горького и Маяковского путем сопоставления «Дела Артамоновых» и поэмы «В. И. Ленин» (стр. 173—174). Ясно, что самое изображение капиталистического мира в романе Горького резко отличается от обобщенного сатирического образа капитализма в поэме Маяковского. Здесь может идти речь лишь о близости идейной трактовки темы.

Нет сомнений в том, что Горький оказал огромное влияние на многих советских писателей. Однако нельзя представлять дело таким образом, будто стоило Горькому встретиться с писателем или написать ему письмо, или же этому писателю прочесть то или другое горьковское произведение, как он тотчас же уже переставал ошибаться, и его ждали в дальнейшем только одни достижения. Е. Наумов часто близок к подобному решению вопроса. Упрощенное изложение явно мешает воссоздать картину литературных событий во всей их сложности, а также уловить точку зрения исследователя.

Вот, например, как ведется разговор об известном споре вокруг «Конармии» Бабеля. Изложение этого спора почему-то связывается с вопросом «о горьковских традициях в молодой советской литературе». Почему разговор о Бабеле вклинился между страницами, посвященными «Разгрому» Фадеева, и общей характеристикой пореволюционного творчества Горького — понять невозможно. То ли «Конармия» Бабеля (подобно «Разгрому») и есть какое-то своеобразное воплощение горьковских традиций, то ли, наоборот, это произведение в корне противоречит им — остается неясным. С одной стороны, Е. Наумов добросовестно приводит горьковские похвалы Бабелю: «Горький отводил решительно все упреки С. М. Буденного в адрес Бабеля»; «невозможно не согласиться с Горьким, что политическая характеристика И. Бабеля, содержащаяся в отзыве С. М. Буденного, могла тяжело оскорбить молодого писателя, нанести ему глубокую травму» (137); «И. Бабелем руководило субъективно благородное побуждение запечатлеть незабываемо яркие картины гражданской войны» (138). С другой — Е. Наумов утверждает: «Горький в полемике с С. М. Буденным ни в чем не опроверг своего оппонента» и в своей оценке «Конармии» «отступил» от эстетических принципов, которые сам же формулировал, т. е. защитил «хлам бытовизма» и пр. (138). Е. Наумов вроде бы и соглашается с С. М. Буденным, но в то же время одобряет отзыв Горького; вроде бы считает за «побуждению» книгу Бабеля вполне соответствующей идеям и принципам советской литературы, но тут же прибавляет, что по своему «объективному звучанию» книга Бабеля искажает правду, представляя Конармию «скоплением случайных людей, часто с изломанной психикой, патологическими наклонностями, людей, не столько занятых делом революции, сколько поглощенных своими болезнями переживаниями» (138). Бросается в глаза отсутствие определенности, ясности взгляда. А они необходимы. Ведь спор о Бабеле весьма важен по существу: речь идет о том, как подходить к сложным явлениям литературы 20-х годов: избегать ли анализа противоречий и идеализировать «Конармию» Бабеля, как это было у И. Эренбурга, или же стремиться понять явление во всей его сложности, правдиво говорить о действительных слабостях писателя. Апологеты творчества Бабеля опираются на горьковские высказывания, но положительные оценки «Конармии», прозвучавшие у Горького, как верно подмечает Е. Наумов, в дальнейшем у него не встречаются, и это, безусловно, важно как косвенное свидетельство того, что писатель не настаивал на высказанном. Думается, что неясность позиции Е. Наумова в этом вопросе помешала ему сказать что-либо новое и оставила читателя в недоумении относительно того, какое же значение имеет «Конармия» Бабеля для понимания горьковских традиций в молодой советской литературе. Автор солидной монографии должен не только возбуждать у читателя подобные вопросы, но и посылить на них отвечать. Однако ответа у Е. Наумова на этот вопрос (как и на ряд других) не найти.

В книге Е. Наумова нет подлинного конкретно-исторического подхода к описываемым фактам и событиям. Мелькающие в изобилии на страницах книги слова «трудность», «борьба» не подкрепляются убедительным анализом трудностей и противоречий.

Факты литературной борьбы нередко просто названы, конкретные же поводы выступлений Горького и сущность его суждений не раскрыты. Так, справедливо отмечая, что не все литературные оценки Горького 20-х годов были правильны, автор пишет: «...когда В. Маяковский, А. Безыменский и ряд других поэтов выступили против стихотворения И. Молчанова „Свидание“, в котором проявилась обывательская психология, Горький вступился за И. Молчанова» (стр. 85).

Это все, что мы узнаем о данном эпизоде. Между тем стихотворение «Свидание» забыто читателями старшего поколения и совершенно неизвестно молодому читателю наших дней. Острая дискуссия, поводом которой послужило данное стихотворение И. Молчанова, не привлекала до сих пор внимание исследователей. Это обязывало Е. Наумова раскрыть значение спора и выявить причины, заставившие Горького выступить в защиту И. Молчанова. Однако автор книги не сообщает, когда состоялась эта дискуссия, как называлась статья Горького (О возвеличенных и «начинающих»). Между

тем неискушенный читатель не сможет найти ее сам, так как Горький включал свою статью в сборники уже в переработанном виде. Исключив места в защиту Молчанова, он тем самым признал свою неправоту.

Не раскрыта также и сущность спора Горького с В. Вишневым, хотя спор этот не был случайным. Оборван в самом начале разговор о позиции, занятой Горьким в вопросе о театральном репертуаре в первые годы Октября и т. д.

Много внимания уделяет Наумов взаимоотношениям Горького и Маяковского. В этом разделе имеются некоторые новые материалы, но мало нового в самой трактовке вопроса. Как и некоторые другие исследователи, Наумов объясняет расхождения Горького и Маяковского в 1917 году различием их общественных позиций, оставляя в стороне факты, свидетельствующие о том, что неправильная оценка Горьким событий революции в 1917 году не прервала его дружеских отношений с Маяковским. Подтверждением могут служить дружеские автографы Маяковского на книгах, подаренных Горькому в феврале 1918 года, а также воспоминания К. Федина, приведенные в книге В. Перцова о Маяковском.

Взаимоотношения Горького и Маяковского Наумов характеризует главным образом путем комментирования ряда их высказываний. При этом обстоятельства литературной жизни зачастую оставляются в тени, и в результате комментариев оказывается неглубоким. Страницы книги, посвященные стихотворению «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» (и, в особенности, характеристика отношения М. Горького к эмигрировавшему из советской России писателю И. Калининскому), также дают неполное, одностороннее освещение материала. Наумов предпочитает не углубляться в рассмотрение сложных моментов, объясняя упрек Маяковского простым недоразумением: дескать поэт не знал подлинного отношения Горького к роману «Мощи». В действительности дело обстоит не так просто, и автор монографии должен был бы обстоятельно проанализировать факты.

Спорны, нечетки рассуждения Е. Наумова относительно группы «Серapiroновы братья». Автор склонен считать, что такие произведения, как «Города и годы» К. Федина, повести Вс. Иванова, «Орда» Н. Тихонова, возникли в результате творческой деятельности «Серapiroновых братьев». В действительности же результат творческой группы — это крикливые декларации Л. Лунца, литературные манифесты, рассказы М. Зощенко, ошибочные высказывания и формалистические изощренности, имевшие место у К. Федина, Н. Тихонова и других членов группы. Что же касается таких произведений, как «Города и годы», партизанские повести Вс. Иванова, первые сборники стихов Н. Тихонова, то это результат большого жизненного опыта писателей, который они приобрели до того, как стали «Серapiroновыми братьями». Эти произведения не соответствовали духу данного объединения и свидетельствовали о том, что уже с первых шагов творческого общения обнаружилось разногласия между молодыми писателями.

Касаясь вопроса об отношении Горького к группе «Серapiroновы братья», уже не раз затрагивавшегося и в исследовательской литературе, и в воспоминаниях писателей (К. Федина, Вс. Иванова), Наумов излагает в основном уже известные в литературоведении материалы. Как же он понимает горьковскую позицию в этом вопросе? Путем соответствующего подбора цитат доказывается, что Горький видел недостатки «серapiroнов» главным образом в том, что они «покорствовали» фактам. Е. Наумов в связи с этим пишет: «Источник заблуждений М. Зощенко во многом заключался в том, что Горький очень точно определил одной фразой в... отзыве о сборнике рассказов „Серapiroновых братьев“: „Человек предан в жертву факту“» (98—99). О К. Федине говорится в таком же духе: «единичный факт» «заслонил собою все для писателя». О Вс. Иванове (в связи с оценкой «Голубых песков»): «...и в этом случае Горький выступал против слепой приверженности писателя к факту...» (стр. 105). Таким образом, Е. Наумов уравнивает «серapiroнов»: по его мнению, все они покорствовали фактам, все — эмпирики. А понимание фактов, их оценка, самое отношение писателя к революции, к советской действительности — все это остается вне поля зрения исследователя. Между тем, Горький прекрасно видел различия в творчестве этих писателей и давал им советы, учитывая особенности таланта и своеобразия художественного видения мира. Так, например, В. Каверину он советовал быть ближе к жизни, М. Зощенко — расширять писательский кругозор, ставить перед собою серьезные сатирические задачи, К. Федина — вырабатывать действенное, страстное, партийное отношение к жизни и т. д.

Раскрывая взаимоотношения Горького с советскими писателями, Е. Наумов «по ходу дела» дает анализ произведений этих литераторов. Однако этот анализ, как правило, в очень малой степени обогащает читателя. Автор нередко не улавливает характерное в их творчестве, отчего его характеристики становятся серы и безлики. Вот, например, в каких выражениях говорится о романе Л. Леонова «Барсуки»: «Писатель глубоко раскрыл исторические корни той мелкобуржуазной психологии, в плену которой веками находилось русское крестьянство, сумел обнажить источники анархии, проявлявшейся нередко в годы революции. Роман Л. Леонова убеждал в том, что, оказавшись эта могучая стихия предоставленной самой себе, она поставила бы под угрозу судьбы и революции и самого крестьянства» (153—154). Легко убедиться, что эта характеристика может быть без всяких изменений применена и к произведениям многих других

писателей. Стоит, например, вместо слов «роман Л. Леонова „Барсуки“» поставить — «роман Д. Фурманова „Мятеж“» — и никто не заметит, какая операция проделана.

Чувство неудовлетворенности оставляет и «монтаж» цитат из статей и писем Горького, призванных заменить характеристики творчества Вс. Иванова, К. Федина (стр. 72—74), Ф. Гладкова (стр. 143—146), Л. Леонова (стр. 228—229) и др.

Жизнь Горького за рубежом — наименее изученный период его творческой деятельности. Причина этого кроется в отсутствии значительных публикаций, относящихся к этому времени (1921—1928). Не восполняет этот пробел и книга Е. Наумова. Он, как и его предшественники, ограничивается общим замечанием, что пребывание Горького за рубежом не отрывало его от жизни советской страны. А далее (в который раз) сообщено, с кем из писателей переписывался Горький, кто из них побывал у него в гостях в Италии и какие написал об этом воспоминания.

Ряд положений автора вызывает серьезные возражения. Так, Е. Наумов разделяет ошибочный взгляд, что в 1917—1921 годы в творческой деятельности Горького наступила «пауза» и что в первые годы советской власти он не создал «значительных художественных произведений» (стр. 13). Автор монографии как бы забывает о том, что в те годы ни один писатель не создал большого полотна и что Горьким был написан в это время получивший всемирную известность литературный портрет Л. Н. Толстого, тогда же вынашивался план автобиографической повести «Мои университеты» и ряда очерков («Два купца» и др.).

Не способствует установлению истины и обедняет облик Горького произвольное обращение автора с хронологией. В подтверждение того или другого положения, относящегося к творческой деятельности писателя начала 20-х годов, Е. Наумов нередко цитирует статьи и письма, написанные в конце 20-х — начале 30-х годов. Для примера можно сослаться на вторую главу (стр. 83—84), в начале которой ведется речь об отъезде Горького за границу в 1921 году. И здесь же приводятся отзывы о писателях, высказанные Горьким в конце 20-х — начале 30-х годов (письмо к М. Пришвину — 1926 года, отзыв о пьесе А. Толстого «Патент 119» — 1932 года; письмо к В. Каменскому — 1929 года и т. д.). А затем автор переходит к событиям 1925 года, вследствие чего происходит смещение исторической перспективы.

Подводя итоги, следует сказать, что исследователь увлекся сбором во многом уже известных материалов и не дал углубленной разработки проблем горьковедения. Отдельные содержательные страницы из истории литературной борьбы буквально тонут в общих рассуждениях о путях развития советской литературы. К таким немногим интересным страницам относится небольшой фрагмент об отношении Горького к «крестьянским» поэтам и в том числе к С. Есенину. Более обстоятельно, чем это делалось ранее, раскрывается в книге борьба левовцев и рапповцев с Горьким. Говоря о редакторской деятельности Горького, Е. Наумов, в связи с основной темой книги, останавливает внимание читателя и на журнале «Литературная учеба». В целом же многие части этой работы находятся в прямой зависимости от предшествующих исследований, нуждающихся в дополнениях и порой критическом пересмотре. В книге мало новых материалов, которые позволили бы автору глубоко осветить один из наиболее сложных и малоизученных периодов творческой деятельности Горького (1917—1928). Отсутствие определенной точки зрения не позволило автору сделать большие обобщения в области изучения горьковских традиций и творческих связей Горького с советскими писателями.

Новая книга, как уже сказано выше, напоминает литературную хронику, конспект лекций. И если она до некоторой степени будет полезна читателю, впервые начинающему знакомиться с деятельностью Горького — организатора советской литературы, воспитателя и друга старшего поколения советских литераторов, то читателя, уже знакомого с основной проблематикой изучения жизни и творчества Горького, работа Е. Наумова удовлетворить не может.





# ХРОНИКА

## ДЕСЯТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ ПУШКИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С 4 по 6 июня 1958 года в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР происходила очередная X Всесоюзная Пушкинская конференция. Директор Института А. С. Бушмин в своем вступительном слове отметил, что программа X Пушкинской конференции, учитывая предстоящий в сентябре текущего года международный съезд славистов, содержит наряду с докладами, освещающими некоторые общие проблемы пушкиноведения, доклады о связях Пушкина с литературами славянских стран.

С докладом «Пушкин и проблема „вечного мира“» выступил академик М. П. Алексеев (Ленинград). Доклад, посвященный теме «Пушкин и теория реализма», сделал доктор философских наук, профессор В. Ф. Асмус (Москва). Тексты этих докладов печатаются в настоящем номере.

В докладе члена-корреспондента АН СССР Д. Д. Благого (Москва) был сделан обстоятельный анализ «Песни о Георгии Черном» Пушкина. Сопоставляя стихотворение «Дочери Кара-Георгия» (1820), первое стихотворение Пушкина на южно-славянскую тему, с «Песней о Георгии Черном», написанной в начале 30-х годов, докладчик характеризует ту огромную эволюцию от романтизма к реализму, которую претерпело творчество поэта на протяжении 20-х годов. Не вызывает сомнения источник «Песни о Георгии Черном», установленный в 1956 году английским исследователем Джонсоном, — «Путешествие по Молдавии, Сербии и Валахии» Д. Бантыша-Каменского, — книга, в которой имеется подробный рассказ о яркой личности героя сербского национально-освободительного движения Георгия Черного. Вероятно предположение, что Пушкин ознакомился с этой книгой вскоре после приезда в Кишинев Достоевский (в «Дневнике писателя») назвал «Песню о Георгии Черном» «шедевром из шедевров».

Из всех стихотворений Пушкина, написанных в стиле народных песен, «Песня о Георгии Черном» — единственное произведение, в котором художественными приемами народной поэзии создан яркий психологический образ героя

Возникновению и развитию славянской темы в творчестве Пушкина посвятил свой доклад «Из истории создания „Песен западных славян“» кандидат филологических наук Ф. Я. Прийма (Ленинград), указавший на огромное значение «кишиневского» периода жизни поэта в развитии славянской темы в его творчестве. Анализируя стихотворения «Дочери Кара-Георгия» и «Чиновник и поэт», докладчик привлек новые материалы (очерк о Георгии Черном П. П. Свинына, Воспоминания А. Розаллиона-Сошальского и др.). Работа Пушкина над «Песнями западных славян», начатая в 1828 году, продолжалась и после 1835 года — года издания «Песен». Рассматривая творческую историю «Песен западных славян», Ф. Я. Прийма привлекает «Сказку о рыбаке и рыбке», которую Пушкин одно время (1833) предполагал включить в цикл «Песен». Черновая редакция «Сказки о рыбаке и рыбке» позволяет установить ее связь с «Голубиной книгой», известной в то время в рукописных вариантах.

Анализируя отрывок «Менко Вуч грамоту пишет», задуманного Пушкиным в стиле сербских юнацких песен, Ф. Я. Прийма делает попытку раскрыть содержание замысла Пушкина и установить прототип Менко Вучича. На примере стихотворения «Сестра и братья» докладчик прослеживает принципы пушкинских переводов из южно-славянской поэзии.

Пушкин первый в русской литературе реалистически отобразил национально-освободительную борьбу южно-славянских народов. К славянской теме поэт пришел от живых впечатлений действительности периода южной ссылки; эта тема находилась в центре идейных и творческих исканий поэта. Восходящий к хореческому десятистихию вольный стих «нарольного склада», разработанный Пушкиным для «Песен», и до сего времени сохраняет значение нормы для русских переводов из народной поэзии южных славян.

Профессор Е. М. Двойченко-Шестун (Москва) в докладе «Пушкин и румынский фольклор» рассмотрела вопрос об отражении молдавского фольклора в

творчестве Пушкина. Записанные Пушкиным в период его пребывания в Бессарабии со слов гетеристов два молдавских исторических предания: «Дука» и «Дафна и Дабизна» — являются первой известной записью молдавского предания. В Кишиневе для Пушкина были сделаны записи нот молдавской песни «Жгя мена», получившей впоследствии, в обработке Пушкина, известность под названием «Песни Земфиры», а также записи других молдавских песен. На примере «Черной шали» и «Братьев-разбойников» Пушкина было отмечено характерное явление взаимодействия и взаимосвязи литературы и фольклора: возвращение народных мотивов в народное творчество. К тому же направлению, что и «Братьев-разбойников» с их реалистическим восприятием социального фона, относятся и другие произведения и замыслы Пушкина, которые можно охарактеризовать как «гайдучки»: это незавершенный замысел поэмы о гетеристах, повесть «Кирджали» и интересовавшие Пушкина две исторические народные песни Валахии, недавно обнаруженные М. П. Легавкой в архиве И. П. Липранди.

Анализируя новые исследования, посвященные отражению молдавского фольклора в творчестве Пушкина, Е. М. Двойченко-Шестун выдвинула наиболее значительные, по ее мнению, задачи, стоящие перед пушкиноведами в этой области: 1) поиски не найденных до сих пор оригиналов двух молдавских песен, из которых одна легла в основу «Братьев-разбойников», а другую Пушкин хотел предпослать в качестве эпиграфа к поэме «Цыганы»; 2) выяснение вопроса о том, какое молдавское предание упоминается в рассказе старого цыгана об Овидии; 3) дальнейшее изучение и освещение источников, из которых Пушкин черпал в Бессарабии сведения о молдавском народно-поэтическом творчестве.

Теме «„Евгений Онегин“ в славянских литературах» посвятил свой доклад доктор филологических наук, профессор Н. И. Кравцов (Тамбов).

Потребности развития духовной культуры славянских народов и высокие идейно-художественные достоинства романа Пушкина «Евгений Онегин», появившегося в печати в период национального возрождения славянских народов, определили большое значение этого произведения в обогащении славянских литератур.

В славянских странах, где с романом познакомились и в подлиннике и в переводах, некоторые переводы (Вацлава Бендла в Чехии, Само Бодицкого в Словакии) сыграли важную роль как проводники пушкинского влияния. Переводчиками «Евгения Онегина» были такие видные писатели, как Ваянский и Есенский в Словакии, Вазов и Хрелков в Болгарии, Тувим и Важик в Польше. Роль романа Пушкина была различной

в различные исторические периоды развития славянских литератур и в различных славянских странах. В первой половине XIX века особое значение имели национальная самобытность романа Пушкина и образ Татьяны как национальный тип, а также пушкинский стих, который помогал формированию новых стихотворных систем в славянских литературах. Во второй половине XIX века большую роль играли реализм «Евгения Онегина» и образ современника, а также многосторонность изображения жизни. Они содействовали развитию в славянских литературах жанра реалистического романа, в том числе и стихотворного.

Влияние романа Пушкина было большим в Чехии и Словакии и меньшим в Польше, Болгарии и Сербии. В Болгарии, например, большее значение имела политическая и патриотическая лирика Пушкина, нежели его роман.

Воздействие «Евгения Онегина» Пушкина в славянских литературах было многосторонним: оно содействовало развитию реализма, углублению национальной самобытности литератур, формированию жанра романа и повести, созданию образа современника и изображению идейной жизни эпохи, обогащению художественных средств, совершенствованию мастерства стиха. Роман Пушкина продолжает играть значительную роль в развитии искусства социалистического реализма в славянских странах.

И. Н. Голенишев-Кутузов выступил с докладом на тему «Пушкин в современных югославских переводах».

Знакомство с творчеством великого русского поэта у сербов, хорватов и словенцев началось в 30—40-е годы прошлого века. Первые переводы из Пушкина были выполнены в размере хоря. Это было обусловлено тем, что языки народов Югославии можно назвать хорейскими, т. е. такими, в которых ударение в словах падает по преимуществу на первый слог. Сербско-хорватский ямб возникает в результате длительного развития культуры стиха и литературного языка. Пушкин оказал огромное воздействие на формирование и развитие сербско-хорватского ямба и стихосложения в целом. На примере перевода «Медного всадника» на хорватский язык, сделанного Густавом Кетлицем, докладчик показал высокое мастерство, которого достигли современные югославские переводчики Пушкина. Современные поэты Югославии (Мило Кропчич, О. Жупанчич и др.) стремятся перевести Пушкина так, чтобы он звучал на славянских языках, как на родном; их переводы удовлетворяют самым высоким требованиям.

На заключительном заседании выступили с сообщениями С. Е. Вайнруб (Каменец-Подольский) — «Слово „тип“ в пушкинском употреблении», С. С. Ланда (Ленинград) — «Пушкин и Густав Олизар», Г. Ф. Богач (Кишинев) — «Пя-

тая конференция пушкиноведов Кишинева, и Одессы» и Т. Г. Динесман (Москва) — «Об организации музея А. С. Пушкина в Москве». В прениях приняли участие: Г. Ф. Богач, Н. О. Корст, С. С. Ланда, Б. С. Мейлах, О. С. Сольева, Б. А. Трубецкой.

Участниками конференции были представители научных учреждений и учебных заведений двадцати городов, в том числе Москвы, Риги, Кишинева, Виль-

нюса, Горького, Воронежа, Могилева, Красноярска, Тамбова, Улан-Удэ, Ижевска и др.

В качестве гостя на конференции присутствовал болгарский литературовед Х. Дудевский. Участники конференции с интересом ознакомились с организованной сектором пушкиноведения выставкой иностранной «Пушкинианы», поступившей за последние годы в Пушкинский дом.

О. П. И. И.

## ПЕРВАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТВОРЧЕСТВУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

С 10 по 15 мая 1958 года в Ленинграде проходила объединенная научная конференция лермонтовских семинаров филологических факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (руководитель кандидат филологических наук В. Н. Турбин), Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (руководитель доцент В. А. Мануйлов) и Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена (руководитель доцент Д. Е. Максимов).

Конференция открылась сообщениями руководителей об основных принципах работы семинаров. Было прослушано и обсуждено 14 докладов, посвященных изучению лирики, поэмы и прозы Лермонтова, изданий и переводов его произведений, литературных связей поэта, его биографии. На одном из заседаний конференции было продемонстрировано открытое показательное заседание семинара ЛГУ, посвященное реальному и литературоведческому комментированию «Героя нашего времени». Для комментирования были привлечены данные рукописей и сравнительный материал западных литератур.

В докладе Е. Тудоровской (Ленинград) были рассмотрены некоторые теоретические вопросы изучения поэтики лирических стихотворений Лермонтова. В обсуждении доклада приняли участие В. Е. Холшевников, К. Н. Григорьян, Е. М. Пульхритудова и Г. И. Ионин, которые отметили своевременность постановки вопроса и призвали к дальнейшей углубленной его разработке.

В докладе А. Бахкина (МГУ) прослеживались некоторые особенности эволюции лирики Лермонтова на широком фоне общественной и литературной жизни 30-х годов. Автор охарактеризовал круг идей и образов современной Лермонтову лирики и показал движение лирических жанров этого времени в сторону большей «философичности».

Изучению поэмы Лермонтова «Сашка» были посвящены доклады Т. Скор-

билиной (МГУ) и И. Богачека (Пед. ин-т им. Герцена).

В докладе Т. Скорбилиной поэма «Сашка» рассматривалась как один из этапов на пути к созданию «Героя нашего времени», к решению центральной проблемы творчества Лермонтова — истории современника.

И. Богачек, говоря об идейных и художественных особенностях поэмы «Сашка», охарактеризовал ее как один из первых опытов Лермонтова на пути создания реалистических стихотворных повестей.

В совместном докладе Р. Ивахненко и И. Матвеевой (МГУ) о «Фаталисте» повесть рассматривалась как философское заключение «Героя нашего времени». Авторы проследили, как Лермонтов в своем романе ставит и решает проблему предопределения и свободы воли.

Выяснению социально-исторической обусловленности образов Онегина и Печорина был посвящен доклад И. Ольшевской (Пед. ин-т им. Герцена).

В докладе о «Вадиме» З. Сироткина (МГУ) сконцентрировала свое внимание на философской проблематике романа Лермонтова. Рассматривая основные действующие лица романа как воплощение определенных идей, она подробно остановилась на образе Вадима (идея личной мести, перерастающей в неприятие мира, который предстает перед героем как цепь нелепых случайностей). Автор работы видит в романе попытку разрешения вопроса о личности и миропорядке, о стадиях восприятия мира человеком и столкновении различных мировосприятий.

В. Вацуру (ЛГУ) в своем выступлении анализировал издания Лермонтова за 1917—1957 годы. В обзоре было дано описание и оценка наиболее важных изданий (проблематика вступительных статей, характер комментария; затрагивались вопросы лермонтовской текстологии).

В. Салинка (ЛГУ) представил доклад «Лермонтов на литовском языке».

в котором был собран и систематизирован значительный материал. Характеризуя деятельность литовских переводчиков Лермонтова, докладчик показал эволюцию принципов художественного перевода в литовской литературе.

Автор работы «А. Блок о Лермонтове» Ю. Герасимов (ЛГУ), проследившая изменение взглядов Блока на Лермонтова, выяснил те черты творчества Лермонтова, которые роднят обоих поэтов.

В своем докладе «Ап. Григорьев о Лермонтове» Е. Жуковская и А. Журавлева (МГУ) показали противоречия идеалистической критики Григорьевым положительного идеала и наизюмности творчества Лермонтова. Положительная сторона позиции Ап. Григорьева выразилась в постановке вопроса о необходимости исторического взгляда на поэта.

Обстоятельный доклад аспирантки Е. Пульхритудовой (МГУ) был посвящен теме «Лермонтов и Кюхельбекер». На большом материале докладчик выяснил позицию Кюхельбекера в последние годы

творчества, во многом близкую литературной позиции Лермонтова.

В. Ионов (МГУ) в докладе «Лермонтов, Козлов и Подолинский» подробно остановился на проблеме символа в творчестве Лермонтова. В отличие от Козлова и Подолинского, тяготевших к неопределенности и абстрактности, Лермонтов, по мнению докладчика, постоянно стремился к ясности и конкретности (вещественности) образа.

В работе С. Латышева (ЛГУ) «Лермонтов и А. О. Смирнова-Россет», посвященной биографической теме, была дана сводка обширных материалов, позволяющих представить себе облик Смирновой, а главное — ее литературные и дружеские связи с Лермонтовым.

Большинство докладов вызвало широкий обмен мнениями между участниками конференции. Во многих выступлениях было высказано пожелание о периодическом проведении подобных конференций.

*В. ВАЦУРО, С. ЛАТЫШЕВ*

### **В. А. ДЕСНИЦКИЙ**

**1878 — 1958**

22 сентября 1958 года скончался член редколлегии журнала «Русская литература» Василий Алексеевич Десницкий, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

Человек яркого и смелого таланта, В. А. Десницкий был замечательным ученым, видным общественным деятелем, выдающимся педагогом, воспитателем большого отряда советских литературоведов. В Пушкинском доме он работал свыше 25 лет, и с его именем связано осуществление крупнейших научно-исследовательских трудов и научно-организационных мероприятий Института.

Деятельность В. А. Десницкого как литературоведа отличалась широчайшим диапазоном интересов: вопросы марксистско-ленинской методологии и эстетики, история и теория литературы, русская литература от древних времен и до наших дней, зарубежная литература.

До последних дней жизни, не жалея себя, В. А. Десницкий вел большую работу по журналу, вкладывая в нее все богатство своей творческой мысли и научных познаний.

В лице В. А. Десницкого наша наука понесла тяжелую утрату, ушел из жизни один из зачинателей советского литературоведения, неутомимый борец за передовую социалистическую культуру. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

**РЕДАКЦИЯ**